ISSN 0130-6545

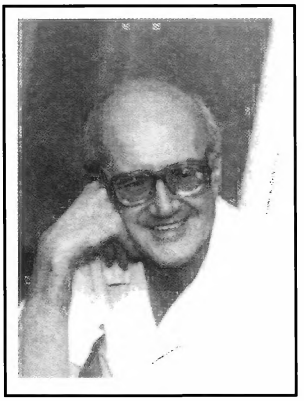
ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[12]

РОМАН АНГЛИЙСКОЙ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ МЮРИЕЛ СПАРК “ПИР” / ФИЛИПП ЖАКОТЕ: ИЗ РАЗНЫХ КНИГ / “ИНВЕНЦИИ” ХУАНА ХОСЕ АРРЕОЛЫ / СОЛ БЕЛЛОУ В РУБРИКЕ “IN MEMORIAM” / “КОСТАС МОНТИС: СОКРАТ НОВОГРЕЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ” ИРИНЫ КОВАЛЕВОЙ В РУБРИКЕ “ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА”

Основан в 1891 году

ПАМЯТИ МИХАИЛА ЛЕОНОВИЧА ГАСПАРОВА
(13.04.1935 — 7.11.2005)



Он был одним из самых популярных русских филологов, хотя занимался не самыми общедоступными предметами. Античная литература, стиховедение, анализы темных стихов — вот основное поле научной деятельности академика Гаспарова. Многим ли интересны проблемы трехиктного дольника или статья "Топика и композиция гимнов Горация"? К тому же затрудненность речи возбраняла ему частое появление на телевидении, тем более на радио, да и в газетах он печататься не любил, сторонясь внешней популярности. Но если читатель начнет вспоминать, что он знает об античной литературе, то очень скоро выяснится: "Поэтика" Аристотеля и "Жизнь двенадцати цезарей" Светония, басни Эзопа, Федра, Бабрия и "Наука любви" Овидия, Диоген Лаэртский и Цицерон, Тит Ливий и Парменид, Плутарх и Пиндар переведены на русский Гаспаровым. А если добавить к этому поэзию вагантов и "Неистового Роланда" Ариосто, "Африку" Петрарки и сонеты Донна, Поля Фора и Йейтса, Эзру Паунда и Рильке, не говоря о многом и многом другом, — масштаб сделанного становится еще более ощутимым.

В книге, самим своим заглавием — "Экспериментальные переводы" — обозначившей то, что так волновало Гаспарова, он представил свои варианты чтения не только поэтов-классиков, но еще и французов, итальянцев, англичан, немцев, греков, поляков, испанцев. Можно быть уверенным, что подстрочниками он не пользовался. Внушает уважение масштаб, но не меньшее — желание дать русскому читателю то, чего раньше у него не было. У любимого Гаспаровым Мандельштама есть памятные слова: "Серебряная труда Катулла: "Ad claras Asiae volemus urbes" — мучит и тревожит сильнее, чем любая футуристическая

...русски". Для того,
...западноевропей-
...л блестящую пор-
...этах "золотого ве-
...ции); для этого он
...на русский (Пуш-
...ыки (автоперево-
...а немецкий).
...его текстов был
...говорить о заме-
...чивым заглавием
...о на протяжении
...туре", а в послед-
...юдь не номиналь-
...ор" (1995). В дни
...ть с нами, но есть
...дних прижизнен-
...й с Е. И. Светлич-
...журнале.

[12]
2005

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный литературно-художественный журнал

3 Мюриел Спарк *Пир.* Роман. Перевод с английского Е. Суриц

80 Хуан Хосе Арреола *Инвенции.* Переводы с испанского. Вступление Ю. Гирина

100 Филипп Жакоте Из разных книг. Переводы с французского. Вступление Бориса Дубина

115 Дж. М. Кутзее *Молодость.* Роман. [Окончание.] Перевод с английского С. Ильина

In memoriam

191 Сол Беллоу *Писатели, интеллектуалы, политики: воспоминания о главном.* Перевод с английского Марии Штейнман

206 Алан Лелчук *Памяти Сола Беллоу.* Перевод Е. С.

Анкета "ИЛ"

218 *В поисках утраченной поэзии.* На вопросы анкеты отвечает Хамдам Закиров

Зрительный зал

226 Наталья Старосельская *Трагедия сознания*

Письма из-за рубежа

230 Ирина Ковалева *Костас Монтис: Сократ новогреческой поэзии*

Среди книг

236 Е. Фалькович *"Славянские ручьи..."*
А. Ермонский *"Что география отшибла..."*
М. Надъярных *Феноменология открытия*

БиблиофИЛ

247 *Издательские планы.* Светлана Силакова беседует с Еленой Калашниковой

251 *У книжной витрины* с Константином Мильчиным

254 *"ИЛ" рекомендует. Наш top-ten: десять лучших переводных книг 2005 года.* Выбор главного редактора

Курьер "ИЛ"

257

Авторы номера

261

Содержание журнала "Иностранная литература" за 2005 год [1—12]

264

© "Иностранная литература", 2005

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. В. Михеев

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

А. Я. Ливергант
заместитель главного редактора

Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Т. Я. Казавчинская
А. В. Нестеров
А. Е. Соколинская
К. Я. Старосельская
Е. В. Тарасова
Л. Г. Харлап

Общественный
редакционный совет:

В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
М. Л. Гаспаров
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
Д. В. Затонский
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Н. Л. Трауберг
М. А. Федотов
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Мюриел Спарк

Пир

Роман

Перевод с английского Е. Суриц

...дело кончилось нанесением ран, и общество разошлось при пролитии крови.

Лукиан *Пир*

...больше всего запомнилось ему, как Сократ побуждал двоих других признать, что гений комедии тот же, что и гений трагедии, и что артист истинный в трагедии есть и в комедии артист.

Платон *Пир*

1

— ЭТО насилие! — голос достиг высот, ему недоступных прежде, и дошел прямо-таки до визга, пока он озирал разгром. — Это надругательство!

Насилия не было никакого, была кража.

Он был лорд Сьюзи; титул был наследственный, и когда это объясняли занятым людям перед знакомством, тем хотелось спросить: "Ну, а сам-то он что?" И правда, сам он мало что совершил. Он приближался к опасному рубежу пятидесятилетия, к мужскому климаксу, как говорится.

© 1990, Muriel Spark
© Е. Суриц. Перевод, 2005
Отдельным изданием роман выйдет в издательстве "Текст".

Два предыдущих брака и два развода пронеслись, как бури на старинных морских путях.

Хелен, нынешней леди Сьюзи, было двадцать два года. Она стояла, сонная, длинноногая, воздев руки к черной стриженой голове, и поражалась. Она была замужем за Сьюзи почти год и уж не раз подумывала смыться. Познакомились они на школьном спектакле, лорд пришел посмотреть, как дочь играет в "Смерти коммивояжера"[1], на сей раз рекомендованной драматическим обществом. Хелен училась в одном классе с Перл, единственным отпрыском лорда Сьюзи, притом от второго брака. Теперь Перл была далеко, на Манхэттене, сидела за компьютером в ООН, писала, что это "не работа, а конфетка", нагоняя на Хелен зависть и досаду. У самой Хелен родители тоже были в разводе. Она скучала по отцу, видно, потому, она объясняла, ей всегда нравились старики, вот в конце концов она и клюнула на Брайана Сьюзи.

Хелен потерянно оглядывала разгром, а два полисмена, среди ночи разбудившие их сообщением, что входная дверь у них настежь, а свет горит, теперь собирались ретироваться. Оба диву давались, как это ни один из супругов не слышал ни звука.

— А шум-то был, похоже, — сказал один.

Хелен сронила с головы руки.

— Я слышала шум и не слышала, — сказала она. — Я, в общем, спала, и во сне был звук, но, возможно, это реальный звук вошел в мой сон.

— Ну что такое она говорит! — кипел Брайан. — То она ничего не слышала, то слышала это во сне.

— А-а, без разницы, — сказал полисмен. — Оно и лучше, что не спустились. Еще бы прихлопнули вас.

Они ушли, и Хелен стала нашаривать взглядом уцелевшую среди битых бутылок. Напала на какой-то портвейн. На кухне, куда не проникли вандалы, в шкафу была куча разных бутылок с выпивкой; она подцепила бутылку коньяка и намешала недавно ею открытый коктейль.

— Брайан! — она позвала. Он сидел на нижней ступеньке, уронив лицо в ладони. Она ему принесла бокал портвейна с коньяком, свою смесь, и подсела к нему на ступеньку.

— Насилие... — он стонал. — Чувство такое, будто тебя изнасиловали.

— Да? Ну, это я не знаю, — сказала Хелен. — Они взяли серебро, технику и старинное зеркало. А остальное переломали.

Дом был викторианский, трехэтажный, в тихой улочке за Кемберуелл-Нью-роуд.

— А раньше тебя когда-нибудь грабили? — спросила она. Они не так давно были женаты, чтоб знать друг о друге всю подноготную.

— Нет. Терял кое-что. Слуги бывали нечестные. Домашние дела. Еще мама однажды потеряла кольцо. Но чтобы так ограбили! Полтретьего, три ночи, а я ничего не слышал. И ты ничего не слышала, согласись. Они же могли подняться и нас уничтожить.

— Надо бы сигнализацию завести, — сказала она. — Полезная вещь. Но они умеют отключать сигнализацию.

— Безумие — хранить серебро, — сказал он. — С ним столько хлопот, а после его крадут.

1. Пьеса Артура Миллера (1949). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

— В основном там были свадебные подарки моих родственников, — сказала она. Его-то серебро было наверху, в большом сейфе в ванной.

— Ненавижу свадебные подарки, — сказал Брайан. — Будь у тебя мой опыт свадебных подарков, ты бы меня поняла.

— Да, похоже, они не сильно скрепляют брак, — сказала она.

— Что за штуку мы пьем?

— Называется возбуждающий сок.

— И они все стены обписали, — простонал он. — Это безобразие, когда обписывают твои стены и все твое достояние. Унизительно.

Хозяйка представляет друг другу тех, кто еще не знаком.

"Лорд и леди Сьюзи, то есть Брайан и Хелен, позвольте представить вам Роланда Сайкса. С Аннабел Трис вы знакомы... Эрнст Анцингер... знакомы, вот и прекрасно. Миссис и мистер Дамьен, Уильям и Маргарет...". Хозяин разливает аперитивы. Всего их десятеро. Дом в Айлингтоне. Гостиная вся сплошной беж, и в дверях лазурный просвет столовой.

Женщины здесь поразительно разные, пятеро мужчин странно похожи, только возраст разный. Хозяева — Харли Рид, американский художник пятидесяти с хвостиком, и Крис Донован, австралийка, вдова и богачка, ей сильно за сорок. Они живут вместе. Исключительно удачный и тесный союз.

Полчаса спустя компания сидит за столом. Кто-то кому-то внове, но, в общем, двое хозяев и восемь гостей куда больше известны друг другу, чем сейчас они, скажем, известны нам.

Харли Рид сидит во главе стола за этим ужином на десятерых, Хелен Сьюзи у него по правую руку, слева сидит Элла Анцингер. На другом конце стола — хозяйка, роскошная и богатая Крис Донован, и внимание ее уже узурпировал Брайан Сьюзи, сидящий справа. Худое, темное лицо, глаза выпучены. "Все стены обписали", — сетует Брайан.

Эрнст Анцингер, загорелый, успешный, слегка поседелый до времени, помещен слева от Крис Донован. В Лондон он, как всегда, наведался по делам из Брюсселя, где он заседает в одной международной комиссии по финансам Евросоюза. Жена его Элла — в точности напротив, рядом с Харли Ридом.

— Все сплошь обписали, — твердит Брайан Сьюзи.

Эрнст мечтает сбить его с темы, поскольку подают сухое шампанское в стройных бокалах, и эти подробности ограбления Брайана Сьюзи, он чувствует, тут решительно ни к чему.

Слуга, недавно обретенный из лучшей школы дворецких, вместе с взятым на вечер подручным, юным аспирантом новейшей истории, плывут вдоль стола, оба в белых куртках, вполне безучастно, но Эрнст боится, что они слышат рассуждения лорда Сьюзи, и явно вздыхает с облегчением, когда лорд переходит к деловому перечню недостающих и поврежденных предметов.

— Вот и я всегда Харли говорю, — вставляет Крис Донован, — как отвернешься от своего имущества, так и пиши пропало. Может, больше ты его никогда не увидишь.

Маргарет Дамьен — романтического вида девица с гривой темно-рыжих волос — поразительного, возможно, природного цвета. Она говорит:

— Есть такие строки Уолтера Де Ла Мара:

...Смотри любовно всякий час
На все, на все...

Харли Рид поднимает бокал с шампанским:

– Предлагаю выпить за Маргарет и Уильяма, за их будущее.

Уильям Дамьен улыбается. Пьют за молодоженов.

Харли Рид на своем конце стола беседует с Хелен Сьюзи, сидящей справа. Хелен, очевидно, сконфужена тем, что при всем желании не может не слышать мужних пеней.

– Это на прошлой неделе было, – говорит Хелен.

– Изнасилование, – жужжит голос мужа. – Я чувствовал себя так, будто меня изнасиловали.

Хелен смотрит в тарелку с заливной семгой, бесшумно перед нею поставленную. Она берется за вилку.

Харли тоже берется за вилку и, передавая крошечные булочки Элле Анцингер, сидящей слева, меж тем продолжает беседу с Хелен.

– А случалось ли вам когда-нибудь слышать, – он спрашивает невинно, – про святую Анкамбру?

– Святую Ан... как?

– Этой средневековой святой, – говорит Харли, – молились, особенно женщины, об избавлении от супругов. Она была португальская принцесса и не хотела идти замуж. Отец ей подобрал мужа. Она молилась о том, чтобы потерять привлекательность, и молитва была уважена. У нее выросла борода, что, разумеется, отвадило жениха. В результате отец отдал ее на распятие. В часовне короля Генриха VII в Вестминстерском аббатстве сохранилось изображение – длинные волосы, окладистая борода.

– Лучше уж я не буду молиться святой Анкамбре, – решает Хелен, чей супруг на другом конце стола продолжает перебирать свои протори, – еще борода вырастет.

– Очень маловероятно, – говорит Харли.

– Тогда попытаю метод Анкамбры, – сдается Хелен.

Элла Анцингер, слева от Харли, хоть и беседует с юным Уильямом Дамьеном, одним ухом ловит эту пристрелку. Элле Анцингер в беседу с Уильямом Дамьеном вставить особенно нечего, раз тема грабежа господствует за столом, Уильям же сообщает, что у жены его, Маргарет, во время свадебного путешествия украли во Флоренции сумочку. Длинные светлые волосы Эллы нежно дымятся вдоль щек.

– Изнасилование, сущее изнасилование! – летит с другого конца стола.

– Но вы обращались в полицию? – спрашивает Элла, заинтригованная мятежной Анкамброй.

– Да-а, – тянет Уильям. Не то чтоб у него вообще такая манера, он тянет сейчас, очевидно оттого, что скучает. – Но сумочку нам не вернули, – объясняет он добросовестно. – Главное, там были документы. Маргарет потеряла паспорт, кредитку, пришлось идти в консульство. Такие дела.

Элла говорит:

– На что вам пришлось тратить время в медовый месяц!

– Ну, все же опыт, – тянет Уильям.

— Да, но стоило ли ради такого опыта ездить за границу? И вообще, лучше бы его никогда не было.

— Пожалуй. — Уильям устремляет взгляд через стол с легкой гримаской, призванной изобразить: "Ну сколько можно?" Но Маргарет на него не смотрит. Женщина слева от него, Аннабел Трис, поглощена другим своим соседом, Брайаном Сьюзи, и его жалобами. У нее высокий лоб, сильная челюсть. Она в голубом платье и в жемчугах.

— Вы живете в Лондоне? — Уильям спрашивает Эллу.

— Мы часто бываем в Брюсселе, муж там работает, но я надеюсь подыскать постоянную лондонскую квартиру. У меня теперь своя работа, я преподаю в лондонском университете. География, картография.

Нет, в общем, она не дура. Здесь за столом нет дураков. Харли и Крис всегда скрупулезно вымеряют интеллектуальный потенциал гостей, устраивая прием. Уильям, ободрясь, смотрит на жену, и та улыбается ему в ответ, с заливным на вилке. Она устремляет свое внимание на Роланда Сайкса, молодого человека слева.

— Возможно, — говорит она, — и в грабежах есть благо.

Роналд Сайкс, посверкивая искусственной сединой своего бобрика, замечает, что в грабеже трудно усмотреть благо, разве что для воров.

— Некоторые мистики, — говорит Маргарет, — видят высшее благо в том, чтоб отрешиться от своего любимого достояния.

— Есть разница, однако, — отрешаетесь ли вы от него сами или вас грабят, — ловко находится Роланд. — Оставя в стороне высокоморальный аспект, с обыкновенной нравственной точки зрения грабеж является преступлением, тогда как добровольный отказ от собственности отнюдь не является.

Кузина Роланда, Аннабел Трис, пытается утешить соседа, Брайана Сьюзи, убеждая его, что воры, вломившиеся к нему в дом, умственно отсталые, наркоманы, и потому скорей достойны жалости, чем осуждения.

— Э-э, но они знали, что делают, — брюзжит Брайан. — Они могли, правда, и больше напакостить, знай они цену тому, чего не взяли. Кстати, оставили на стене Фрэнсиса Бэкона. Оставили гитару жены.

— Вот именно, именно, — подхватывает Аннабел. — Важно не то, что они взяли, а то, что оставили.

— Может, сообразили, что такую картину нелегко будет сбыть, — брюзжит Брайан. — И я нисколько не удивлюсь, если гитару они оставили из солидарности со своим поколением.

— Факт тот, что они умственно ограниченные, — говорит Аннабел. — Или, возможно, отсталые исторически.

Брайан Сьюзи в недоумении. Аннабел, ассистент режиссера на телевидении, увлекается философией и психологией, отдает им массу свободного времени. И даже вывела теорию, согласно которой каждый человек психологически соответствует определенной эпохе. "Кто-то, — просвещает она Брайана, — соответствует восемнадцатому веку, кто-то двенадцатому. Всем психиатрам следовало бы изучать историю. Большинство пациентов исторически отсталые, — она говорит, — застряли в своей эпохе, не могут отвечать на вызовы современности и мириться с ее обычаями".

— Люди, вломившиеся в мой дом, принадлежат, надо полагать, неандертальской эпохе, — не унимается Брайан. — Обписать все кругом! —

Он брюзжит, он чуть ли не рявкает, нет, снисходить к ворам он не намерен, Аннабел же, отнюдь не хорошенькой, не дано умягчить его тон.

Тарелки убраны, подается следующее блюдо. Входит молодой аспирант-подручный, высокий, изящный, в темных кудрях над тонким смуглым лицом, с почти сросшимися бровями, с открытым, приятным взглядом. Он несет блюдо: откормленный фазан обложен колбасками в сале, и рядом гарнир — горошек с морковкой. Приладив раздавальную вилку к ложке, он обносит гостей, начав с Хелен Сьюзи. За ним следует постоянный дворецкий, разливая бордо по бокалам. Юный аспирант, обслужив Хелен Сьюзи, плывет вдоль стола, по очереди склоняясь над каждой дамой. Потом, как было ему предписано, он оделяет мужчин с точно такого же блюда, дождавшегося своего часа на сервировочном столике. Вот все оделены фазаном, у всех в бокалах вино, и дворецкий водворяет на сервировочный столик блюдо с картофелем во фритюре. Все должно идти как по маслу, без промедления, минута в минуту, и чтоб никто этого не замечал. Однако, когда картофель достигает Эрнста Анцингера, дребезжит раздавальная вилка. Вилка упала на пол. "Пустяки, — говорит Эрнст, — ложкой обойдусь". Что он и делает. На самом деле, заминка объясняется тем, что Эрнсту приспичило тронуть запястье юного аспиранта, занятого раздачей.

Элла Анцингер тем временем перегибается через Уильяма Дамьена к Аннабел Трис, сидящей от него слева, впрочем, и его включая в разговор. Тема грабежа отставлена ради вопроса о женской карьере.

— Нет, ну как это — не работать! И замужней женщине тоже хочется чего-то добиться в жизни, все это знают, — говорит Элла. — Вам, девушке свободной, не нужно складывать их пижамы, чистить костюмы и гладить рубашки.

— И вы, правда, все это проделываете? — говорит Уильям. — Тогда я дико рад, что женился. Ой, как-то мне даже не верится...

— Это правда, отнюдь не метафора, и притом довольно часто приходится, — говорит Элла.

Аннабел говорит:

— Это так возбуждает — когда трогаешь мужскую одежду... это такое удовлетворение — психологическое, я имею в виду.

— Ну, если любишь человека, наверно, — говорит Элла.

— Само собой.

2

За три недели до этого ужина в доме Харли Рида и Крис Донован Эрнст Анцингер охорашивал цветы у себя в кабинете в меблирашке, снимаемой из-за его наездов из Брюсселя.

— Элла, — сообщал он молодому человеку, который, сидя на диване, следил за его руками, — как ты знаешь, подыскивает квартиру. Ей нужно обосноваться в Лондоне из-за работы. По-моему, она будет что ни день мотаться в Брюссель, может, даже попеременно со мной. Любопытная ситуация. Элла любит ирисы и розы. Они прелестно смотрятся вместе, если правильно их поставить.

Он досказал все, что хотел, и, не дождавшись ответа, промычал какой-то зачаточный мотив. Потом сказал:

— Знаешь, Люк, а ведь мы с Эллой правда любим друг друга. Когда мы познакомились, ей было шестнадцать, мне девятнадцать. Мы оба из Манчестера.

Люк сказал:

— Элла прямо потрясающая женщина. Это невозможно отрицать.

Люк учился в аспирантуре Лондонского университета, окончив Ратджерс[1] в Штатах. Родом он был из Нью-Джерси. Учился на гранты, а деньги на жизнь добывал, прислуживая за столом в ресторанах и частных домах по несколько раз в неделю. Через три недели он подрядился помогать на званом ужине в Айлингтоне, у Харли Рида и Крис Донован.

Хрустнул ключ в замке.

— Привет, — сказала Элла. — А-а, Люк, привет, — сказала она. — Какие цветочки!

Элла была рослая, подтянутая, очень светлые волосы висели вдоль узких щек. Ей было сорок два года. Она заметно обрадовалась, увидев красавца Люка. Чмокнула его и Эрнста, рассиявшегося при ее появлении.

Это Элла представила Эрнсту Люка, несколько месяцев назад зазвав его ужинать к ним в меблирашку. Она присмотрела Люка в университетской библиотеке. В тот вечер из Брюсселя приехал Эрнст. Молодой человек пришелся по вкусу Эрнсту, он положительно его веселил, тем, например, как, хвастаясь вполне нехитрыми достижениями на академическом поприще, твердо молчал о том, чем по справедливости мог бы гордиться: как храбро он сам, без знакомств и подачек, одолевал свои университеты.

Эрнст был высокий, с проседью, с черными густыми бровями и блестящими глазами, до того темными, что невозможно определить цвет. У него был большой, красивый рот, недавно запущенная седая бородка и длинноватый нос. Что ему шло. Ему было сорок пять лет. Сначала он думал, что Люк спит с Эллой в те дни и недели, когда она приезжает в Лондон одна, бросая его в Брюсселе. Он, в общем, даже не возражал, что ж, дело естественное. Но теперь ему как-то с трудом верилось, что Люк любовник жены, уж слишком явную склонность демонстрировал юноша к собственной его особе.

— Не избаловать бы его, — сказала Элла, потому что Люк к ним зачастил, особенно в дни отсутствия мужа.

Эрнст сказал:

— Не давай ему денег.

— Не буду. Он и не просит.

— Ладно. Накорми, дай выпить, и хватит с него. И пусть накроет на стол и посуду помоет.

— Все он делает, и просить не приходится. Надеюсь, он мне найти квартиру поможет.

У Эрнста с Эллой был единственный ребенок, дочь, недавно она вышла замуж и укатила в Нью-Йорк. Люк, можно сказать, заполнял брешь. Эрнст, такой блестящий, со своими способностями к языкам, предпочитал жизнь в Брюсселе, но раз Элла вздумала строить собственную карьеру в Лондоне, он был вовсе не прочь видеть Люка, наведываясь в столицу, где застревал порой на неделю. Он был вовсе не прочь в первый

1. Университет в штате Нью-Джерси. С 1825 года носит имя известного филантропа Ратджерса.

месяц знакомства, но теперь, два месяца спустя, он, кажется, прямо рехнулся. Старинная блажь, старинная чушь допекала Эрнста, что он ни делал, о чем ни думал, из-за края сознания лезло: Люк; на серьезных встречах, собраньях, на деловых ланчах: Люк. Я положительно на нем помешался, думал Эрнст, захлестывая на себе ремень безопасности и мча от Хитроу в потоке машин к Люку и к Элле тоже, конечно, в свою меблирашку: "Какие цветочки!" Иногда они звонили по телефону вниз, в обслуживание жильцов, заказать еду, а то стряпали сами, у себя в кухонном закутке, и ели там же за стойкой.

— Оставайся ужинать, — сказал Эрнст Люку.

— Не могу, — Люк глянул себе на запястье. — Зафрахтовался на один прием, помогать у буфета, от восьми до двенадцати.

— И как ты ухитряешься заниматься, со всей этой вечерней нагрузкой? — спросила Элла.

— А зачем много заниматься? — сказал Люк. — На лекции ходить, и достаточно. И все абсолютно запоминать. Мы это умеем. Мозги хорошие надо иметь.

— Ну, я просто тобой восхищаюсь, что ты столько работаешь, — сказал Эрнст. — Мало кто из молодежи на такое способен.

— Мозги хорошие надо иметь... — мечтательно протянул Люк, любовно оглядывая свое отражение на глади собственного душевного омута.

Эрнст никак не мог одобрять морального облика юного аспиранта. Тот пил пиво из банки.

Элла вышла за дверь, переодеться. Явилась в брюках и блузке, в ярко-зеленых туфельках на высоченных каблуках. Люк снова глянул себе на запястье.

— Мне пора.

— О, какие часики! Новые, да? — сказала Элла.

— Вполне, — сказал Люк. Он ее расцеловал, помахал Эрнсту и вышел.

Элла взяла бутылку сухого мартини. Уселась на диван рядом с Эрнстом.

— Однако, — сказала она. И наклонилась поправить в вазе откачнувшийся ирис.

— Что — "однако"?

— Часы. "Патек Филипп".

— Кажется, дорогие, — сказал он вкрадчиво, вглядываясь в нее.

— Это тебе знать, — сказала Элла.

— Я и знаю, — сказал Эрнст, — но ты, конечно, знаешь еще лучше.

— Ты подарил ему эти часы, Эрнст?

— Нет, а я думал, ты подарила.

— Я? Ты думал, это я подарила?

— А ты не дарила?

— Нет, конечно. С какой стати? Зачем? Если же он их получил от тебя, с другой стороны, тут был, наверно, какой-то мотив. — Ноги в зеленых туфельках на высоченных шпильках, скрещенные, покоились на кофейном столике.

— Ничего я не дарил ему, Элла, — сказал он. — Я вот думаю, кто ему подарил такие часы? — Эрнст явно нервничал. — Тысячи долларов. За этим стоит серьезное богатство.

— И ты надеялся, что это я подарила, — хмыкнула Элла.

— Чего мне надеяться. Просто я рассуждаю.

— А я-то надеялась, это твой подарок, — сказала Элла. — Раз нет, мне даже страшно как-то.

— Нет, это не мой подарок. Мне и самому страшновато. Дело не в часах, дело в неизвестном факторе.

— Если бы ты не дышал к нему неровно, с чего бы тебе пугаться, — сказала Элла.

— Если бы оба мы не дышали неровно, — сказал Эрнст.

— Кажется, ты в основном, — сказала она. — Но все равно. Не хотелось бы вляпаться. Люк плюс неведомый покровитель — это попахивает опасностью. В конце концов, ну что мы про него знаем?

— О, мы много чего знаем, — сказал Эрнст. — Он страшно способный, но зарабатывает на жизнь, не гнушаясь самой скромной работой. Редкие качества в таком мальчишке. Тебе бы его спросить, Элла, откуда у него эти часы.

— Просто не представляю, как можно спросить.

— Ну, этак по-материнski, я имею в виду. У тебя получится.

— А почему бы тебе не спросить? Этак по-отцовски?

— Я не испытываю к Люку родительских чувств.

— Ну, все равно, и родителям не стоит соваться. Никому не стоит соваться к взрослому человеку. Люк прекрасно обойдется без нашей опеки, — сказала она.

Решили пойти поужинать. Элла надела уличные туфли, и двинулись в греческий ресторан.

— Видела сегодня Харли Рида, — сказала Элла. — На телевидении. Консультирует какой-то там про художника фильм.

— У них всегда это бледно выглядит, — сказал Эрнст. — Ненатурально. Художник сует кисть в палитру, легонько пошлепывает по холсту, а сам меж тем цитирует собственные изречения, якобы в беседе с кем-то, забредшим на огонек. Прямо в студию. Как по-твоему, художники держат студии для приема гостей?

— Ну, понятно, кино, телевидение, — сказала Элла. — Но иногда и прочтешь такое: художник разглагольствует с кистью в руке.

— А-а, это у Генри Джеймса. Но на телевидении-то надо бы поубедительней? И сколько они платят Харли? Он богатый. Зачем ему эта работа?

Элла сказала:

— Знаешь, тут он, по-моему, не на деньги купился.

— Кто бы спорил, — сказал Эрнст. В конце концов, он был человек справедливый. — Кстати, я не большой поклонник его живописи. Нет, если есть там идея, идею как раз я схватил. И конечно же, Элла, эти плоские, декоративные постеры — забытые на пляже машинки, неодушевленно тупые медицинские сестры подле карет "скорой помощи" — мне говорят о бюрократизме. Но он продается по завышенным ценам.

— Крис Донован его раскручивает. Конечно, она верит в Харли, — сказала Элла, а про себя подумала: вечно Эрнст ценник навешивает на каждую вещь.

— Ничто не поет, не течет. Какие-то мертвые знаки. Ни горячо, ни холодно. Абсолютно не пробирает, — сказал Эрнст. — И тем не менее продается за дикие тысячи.

Конечно, у Эрнста был вкус. Он ходил по аукционам и млел, меряя денежной меркой каждое произведение искусства. Сам понимал, что это дурная привычка, но втянулся, не мог отстать. Эрнст был католик.

И даже во время посещения Папы, и то невольно прикидывал земные богатства понтифика (пожизненный владелец Сикстинской капеллы, хозяин земель Ватикана и всего, что на них...). Эрнст сам понимал, что это почти неприлично, но старался себя убедить, что просто он реалист; и как бросишь, это же прелесть какая — примеривать, почем по текущему курсу идет красота.

По молчаливому соглашению Элла с Эрнстом больше не спали вместе. Знать бы только, спит ли он с Люком? И насколько Люк потаскун? Эта жуткая болезнь... Кстати, если бы он только узнал, что у нее с Люком нет ничего, сразу бы его отпустило. А то получается, с кем ни спишь в последние десять лет, до тебя уже переспали. Можно, конечно, предохраняться, хоть Эрнсту такие новшества невдомек. Вот и помрешь через десять лет, она думала, а я не хочу. Эрнст точно так же думал. Они Люка не знают, вот в чем беда; может, Люк сам себя не знает.

При мысли о Люке Эрнст затуманился. Тут не секс, какой секс. Романтическая же любовь теперь не та, абсолютно не та. И как потеряешь голову, предварительно деловито сглотнув таблетку? Люди теперь друг за другом следят. Элла подозревает меня. Подозревает, что я ее подозреваю. Возможно, мы правы оба. Вроде той гадости, когда муж следил за женой, а она — за ним, ходил ли к причастью. Теперь следят, чтобы предохранялся.

Эрнст стал думать про свою работу. Главы государств, их фавориты сидят за огромным круглым столом, тут же бутылки минеральной воды, переводчики, и такой тягучий, такой тягучий у них разговор. В общем, достаточно нудно.

— Крис и Харли через две недели затеяли ужин. Ты сможешь, надеюсь? — спросила Элла.

— Да, я с той недели на целый месяц застряну в Лондоне.

Они шли домой. Греческая еда камнем давила желудок. Было решено: с греческой едой покончено. Навсегда.

3

Была первая неделя октября, больше чем за две недели до званого ужина, который затеяли в Лондоне Харли Рид с Крис Донован. В Венеции еще стояло тепло, и на мосту Риальто, площади святого Марка и прочих приманчивых местах кишели толпы. У Маргарет Дамьен, столь недавно еще Маргарет Мерчи, и мужа ее Уильяма шла вторая неделя медового месяца, первую они провели во Флоренции. Оставалось всего несколько дней, и оба писали открытки, сидя в дорогущем кафе Флориана.

— Стерва эта Венеция, — сказал Уильям.

— Ты ведь так не напишешь, нет? — сказала Маргарет. — Это пойдет открытой почтой. Люди могут прочесть.

— Не напишу. Зато думаю, — ухмыльнулся Уильям.

Вдруг на Маргарет нашла важность.

— Мыслить тоже надо положительно, — произнесла она. — В конце концов, Венеция уникальна.

Жена ему нравилась, даже, в общем, этой своей моралистикой, тем особенно, что принципиально ни о ком плохо не отзывалась. Старомодно, свежо. И необычно, и все замечали.

Маргарет была из Сент-Эндрюса. Рослая, с Уильяма, может даже повыше чуть-чуть.

— И Флоренция уникальна, но там у тебя сумочку свистнули, — сказал он, набиваясь на новую проповедь. Но она промолчала, и он добавил: — Флоренция тоже паскуда, естественно.

— Флоренция была божественна, великолепна, — она говорила так, будто Флоренция исчезла с лица земли, сохранясь исключительно у них в памяти.

На лицо, руки и ноги у ней лег медовый загар. У него кожа была потемней. Из Маргарет вышло бы рыжеволосое тицианово чудо, если б так не выступали передние зубы. Мелодический голосок делал еще слаще ее наставленья. У Уильяма были серые, добрые глаза и приятный рот. Он был плотный, не толстый пока. Ей было двадцать три, ему двадцать восемь; познакомились они в Лондоне, во фруктовом отделе "Маркса и Спенсера" на Оксфорд-стрит, меньше четырех месяцев назад. Она первая заговорила:

— Учтите, эти грейпфруты чуть-чуть помятые.

Он тут же растаял, тем более что только что вдребезги разругался с девицей, с которой прожил чуть не два года, — и как она изумлялась в тот вечер, попозже, в начале двенадцатого, выяснив, что он знаком с одной парой, которую знала одна девушка, с которой они вместе работали в офисе на Парк-лейн — в рекламном агентстве при нефтяной компании. Уильям был младшим научным сотрудником в заведении, где разрабатывали искусственный интеллект, занимался бионикой. Он ей растолковывал эту работу: изучается мыслительный аппарат животных в качестве образца для механических устройств, тут смешанная наука, электроника плюс бионика. Она восхищалась, хотела знать все-все. С таким восторгом ловила каждое слово, что он даже было насторожился, не прикидывается ли она. Ее потрясало, что способность, скажем, кошки концентрировать взгляд на нужном объекте, отсекая ненужный, изучается и воссоздается в наших технических устройствах. Лягушка, пчела, летучая мышь — каждая эксперт по своей части...

— И змея? — перебивала она.

— И змея, — объяснял он. — Змея нам служит биологическим прообразом для синтетических систем.

И вот они были женаты и гуляли по Венеции, будто сошли с цветистых открыток, которые вот только что исписали.

— Упоительно, — вздохнула она.

— Вонь кошмарная, — отозвался он.

Но в своей манере, которая его так пленяла, она что-то такое сказала про вонь, и эту вонь как рукой сняло. Что-то насчет высоких приливов, низких приливов, всегда, в теченье веков; слова Уильям улавливал слабо, слова мало его занимали, зато общий эффект был изумительный, как всегда.

Он таскал ее по улицам и закоулкам Венеции, от каналов подальше.

— Один мой друг все это пишет, — сказал он. — Сам он себя называет Анти-Каналетто. Ни тебе дворцов, ни мостов. Он американский художник, Харли Рид. У него все всегда точно, выверено, как фотография. Можешь себе представить, во что он превращает эти дома. Абсолютно все деревянно, но, в общем, вполне интересно выглядит, особенно под

этим венецианским небом, единственным клочком природы на всем полотне. Он анти много чего.

— Хотелось бы с ним познакомиться.

— И познакомишься, естественно. Он мой друг. Намного старше, конечно. Пятьдесят с хвостом, что-то вроде. С ним живет Крис Донован, тоже мой друг и друг моей матери.

— А он кто такой?

— Крис это она. Она австралийка, вдова, дико богатая. Я люблю Крис, хорошая баба. С ней ты тоже познакомишься. Они живут в Айлингтоне. Дивно принимают гостей.

— А ей сколько примерно?

— Безвозрастная. Ну, сорок, ну, пятьдесят. Конечно, при таких деньгах она может следить за собой.

— Важно выраженье лица, — возразила Маргарет. — Выраженье лица выдает существо человека.

И тут кто-то другой подумал предательски, чуть кощунственно, вместо него: вынесу ли я всю эту добродетель и молодоженскую сладость? Эту медвяность не без желтизны, эту сероватость с безуминкой. Как бы грязным сапогом не ступить на такой большой и пушистый ковер. Не забрести б ненароком...

Он возил ее на vaporetto[1] смотреть Тинторетто, смотреть Джорджоне, любоваться мозаикой. Она так восторгалась знаменитым "Успеньем"[2] во Фрари, что у него язык чесался попросить ее, чтобы случайно не вознеслась в небеса.

Но, наверно, он думал, существенно они расходятся только по части искусства. Может, она, по благости, не слишком взыскательна: в живописи ей подавай возвышенную идею, тогда как он если что ненавидит в живописи, так это мораль. Она купила себе венецианскую куклу, а ему — игрушечного гондольера. И сразу стало тепло на душе.

Когда они вернулись из свадебного путешествия, чуть не в первом из поджидавших писем оказалось приглашение от Харли Рида и Крис Донован к ним на ужин 18 октября.

Уильям позвонил поблагодарить и пригласил Харли Рида заглянуть, опрокинуть стаканчик, познакомиться с Маргарет. И Харли на другой же вечер явился.

Всю гостиную Маргарет заполонила осенней листвой от флориста. Платье на ней было бархатное, зеленое, слишком длинное, с широченными рукавами. Харли решал про себя, с чего взманило ее это прерафаэлитство. Уильям, к его изумлению, был явно от жены без ума. Харли же при виде такого типа девиц всегда разбирала тоска по Америке, по толике здравого смысла в женщине. В чем тут дело, гадал он, глядя на Маргарет, зачем ей понадобилось драпироваться в зеленый бархат на фоне осенней листвы? Отлично б смотрелась в простой цивильной оснастке. И почему бы не заняться зубами?

Так он думал, а сам между тем говорил.

— Так досадно, что мы пропустили вашу свадьбу. Не успели из Нью-Йорка. Твоя мать, конечно, была, — говорил он Уильяму.

1. Пароходик (*итал.*) — в отличие от романтических гондол, более прозаическое средство передвижения по венецианским каналам.
2. "Успенье" — фреска Тициана в церкви Санта-Мария Глориоза деи Фрари в Венеции. Пресвятая Дева там изображена возносящейся на небеса.

— О да, она приехала.

— Такой путь проделала, до самого Инвернесса?

— До Сент-Эндрюса, — поправила Маргарет.

— Ах да, Сент-Эндрюс. Дивное место. Такой четкий, восхитительный свет. Ну, и как Хильда?

Хильда Дамьен, мать Уильяма, жила в Австралии. С юных лет дружила с подругой Харли, Крис Донован. Хильда тоже была теперь безумно богата, сколотила состоянье своим умом. Двадцать лет назад она оказалась вдовой с весьма скромным достатком. Теперь у нее пять газет, сеть супермаркетов. Да, Хильда настоящий магнат.

— Она только на свадьбу выбралась, — сказал Уильям. — И тут же обратно. Но скоро она снова тут будет, нашей новой квартирой займется.

— Надо думать, вы получили неплохой подарок на свадьбу? — попытал Харди.

— Да, вот именно. Квартиру в Хампстеде. Сейчас идет оформление.

— Что ж. Повезло.

— Правда ведь, нам повезло? — сказала Маргарет.

— Молодчина Хильда, — сказал Харли.

— Полностью погружена в философию Les Autres, — сказала Маргарет.

— Как-как?

— Надо еще выпить, — сказал Уильям и отобрал у Харли стакан, чтоб подбавить водки со льдом и тоником.

— Философия Les Autres, — объясняла Маргарет, — это возрождение чего-то старого. Очень ново и очень старо. Смысл тут в том, чтоб отвлечься в делах и в мыслях от себя и целиком сосредоточиться на других.

— А-а, заботиться о других. Но причем тут французский?

— Такое французское течение, — сказала Маргарет. — Так вот Хильда, я говорю, буквально воплощает La Philosophie des Autres. Нет, правда.

— Ну что ж, ладно, значит, встретимся восемнадцатого. Десять человек. Без церемоний. — Харли отставил недопитый стакан, Уильям его проводил до двери.

— Правда, чу́дная? — сказал Уильям. — Поразительно милый характер. И знаете, где мы познакомились?

— Где?

— В "Маркс и Спенсере". Я фрукты покупал. И знаете, что она мне сказала? Она сказала: "Учтите, эти грейпфруты чуть-чуть помятые". Так и вышло.

— Ну, поздравляю, — сказал Харли Рид.

4

— И года на это дело не дам, — сказал Харли Рид. Имелся в виду брак Уильяма Дамьена.

Он ужинал вдвоем с Крис, придя от молодоженов. Крис требовала подробностей.

— Но кто такие эти Мерчи? Она же Мерчи исходно...

— Да кто их знает, — вздохнул Харли. Он ей рассказывал то, что, по его мнению, было действительно ей интересно. — Внешне вполне ничего, только зубы жуткие, дико ее портят. По-моему, она стесняется, что ли? Молодая девушка, полседьмого, будний день, а она вырядилась не-

весть как. Зеленый бархат, дивно зеленый, и вся комната в золотой и рыжей листве, по вазам натыканной.

— Ну, она же знает, что ты художник, может, решила, что тебе захочется ее написать?

— Ты думаешь? — Харли долго, старательно взвешивал эту идею. — Люди довольно странно себе представляют художников. Но нет, конечно... Бог ты мой, казалось бы, могла бы и поуверенней быть, потому что Уильям глубоко, высоко, широко, узко, ну, во всех измерениях, в нее влюблен. Она, знаешь, такая положительная, серьезная, но бодрая и жизнерадостная. Смесь, так сказать...

— И почему ты думаешь, что брак ненадолго?

— И года не дам, — повторил он. — Что-то мне подсказывает. Может, даже это будет с его стороны. Не то, что он станет подавать на развод, но я чувствую, это будет с его стороны. И там же вдобавок такие деньжищи громадные.

— Хильда их детям не раздает. Помогает встать на ноги, а дальше уж как хотят. И правильно.

— Она им купила квартиру в Хампстеде.

— Знаю. Подарок на свадьбу. Но ничего сверх. Она мне по телефону сказала. Говорит — пускай попотеют с мое.

— Хорошая идея.

— Они тебя хоть поблагодарили за наши подсвечники?

— Нет. Может, у нее времени не было — разбирать подарки, писать, и все такое.

— Молодые не пишут, — вздохнула Крис. — У них не принято благодарить. Но почему именно Маргарет? Уильям тоже мог бы сказать спасибо. С ним-то что происходит?

— Они только вернулись из свадебного путешествия. Дай им отдышаться, — сказал он.

— Но эта фамилия — Мерчи, — сказала она. — Уверена, что-то я такое припоминаю, в связи с какой-то историей; какое-то дело в газетах; что-то такое.

— Угу, что-то, кажется, было, не помню, — сказал он. — Само, конечно, всплывет.

Перешли в гостиную пить кофе, погрузились в свои пуховые бежевые подушки, уютно приглашающие к доверительности. Крис держала листок с кой-какими заметками насчет званого ужина, к которому, как всегда, они очень вдумчиво относились.

— Значит, будут Сьюзи, — сказала она. — У Катберт-Джонсов не получится, уезжают на месяц во Франкфурт. Может, оно и неплохо. Ну, позвонила я Анцингерам. Она почти уверена, что они оба смогут. К середине той недели уточнится. А нет — будем думать дальше. Элла, опять же, нам дает этого своего студента, за столом помогать.

— Кто еще точно обещал?

— Роланд Сайкс.

— А-а, гей-меланхолик.

— Но за столом он незаменим, — сказала она. — Посади его рядом с деревом, он и с деревом будет беседовать.

— А еще?

— Еще Аннабел. Она собиралась. Знаешь, она ведь хочет про тебя передачу делать, как-нибудь поближе к весне. Конечно, это не американское телевидение, но ее передачи котируются.

— Конечно котируются.

— И вдобавок она умная, — сказала Крис, — вообще, умное будет общество, особенно, если смогут прийти Анцингеры. Начнем, пожалуй, с заливной семги.

— Только не с заливной семги, — сказал Харли.

— Ну, а тогда с чего?

— Нельзя ли сочинить что-нибудь пооригинальней?

— Вот ты и сочини что-нибудь пооригинальней.

— Я весь день в мастерской работал. Еще краску с пальцев не стер. И для чего нам тогда, спрашивается, повар?

— Ах, так ты, значит, готов положиться на его фантазию?

— Не думаю. С этой его nouvelle cuisine[1]. Его помидорами в виде тюльпанов и дикой спаржей в виде хижины Белоснежки сыт не будешь.

— По-моему, давай пусть будет фазан с гарниром, а потом салат, сыр и крем-брюле.

— Соблазнительно. Только вот, может, недостаточно оригинально, поскольку у нас Корби на кухне, и все это знают.

— Я еще обмозгую, — сказала она. — Если тебе явится какая-нибудь идея, срочно сообщи.

— Ты когда-нибудь слышала о такой философии Les Autres? — спросил он.

— Нет, — сказала Крис. — А в чем она заключается?

— Ну, согласно Маргарет Дамьен, это новое французское течение, и суть его, как я понял, во внимании к другим. Ну, что-то вроде, наверно: сперва другие, потом уж я.

— Я всю жизнь свою так живу, — сказала Крис. — А ты?

— Ну, наверно, — сказал он. — Но, возможно, я упрощаю. Может, дело там глубже, чем кажется.

— Les Autres, — повторила Крис, — что-то новенькое.

— Вот бы и расспросила ее, — сказал Харли. — Восемнадцатого числа. Кстати, она говорит, что Хильда Дамьен погружена в эту философию.

— Хильда?

— Да, она говорит, Хильда в нее погружена.

— Вот уж чушь собачья. Будет Хильда погружаться в идеи и философии, как же. Делать ей нечего. Девчонка, видимо, малахольная.

Но вот и восемнадцатое число, и Харли Риду представляется, что все идет хорошо. Фазан был, пожалуй, удачной идеей, а Харли боялся — не выйдет ли скучно. Крис объяснила, что зависит — какой фазан, как его подать.

Куча разных идей возникала в те несколько недель перед ужином, вечерами, когда Крис и Харли, по обыкновению, обсуждали свои дела. Вполне могли бы есть сейчас aiguillette de canard[2], состоящую из тончайших ломтиков утки в брусничном соусе с горошком и пареным сельдереем. И запивать Côtes du Rhône[3].

1. Новой кухней (*франц.*).
2. Утку ломтиками (*франц.*).
3. "Берега Роны" (*франц.*) — марка сухого вина.

Едят однако фазана, и Харли отмечает, что все идет гладко. Хоть он и художник (но, может, именно при его особом складе таланта такая струнка как раз и положена), для него святое дело — на званом ужине ублажать гостей. Он чу́дно одевается для этих оказий: бархатный пиджак, темные брюки. Крис Донован обожает свои приемы. Харли дорожит своим временем, и раз уж выделит вечерок, он вам распишет его, как по нотам. Они обсасывают все снова и снова, пока не выверят каждую мелочь. Оттого-то есть особый нюанс: тут не честь, тут кое-что потоньше, тут кое-что даже более лестное — в приглашении к ужину у Харли и Крис.

Крис Донован говорит Эрнсту Анцингеру, сидящему слева:

— Спроси у Маргарет про новую философию Les Autres, это ее увлечение.

Отличный предлог — сбыть Эрнста Маргарет Дамьен, его другой соседке.

Харли, занявшись Эллой Анцингер, сидящей слева от него, вдруг замечает: она прелестна. У нее такой опрокинутый рот, что, если его написать с нижней точки, нижняя губа будет всегда нежно улыбаться, а верхняя волнисто ладиться к ней. В Элле все опрокинуто, и Харли, да только ли он, находит это обворожительным. Хелен Сьюзи, от него справа, весело стрекочет с соседом, Роландом Сайксом, зря старается, думает Харли. А сам продолжает с очаровательной Эллой ту тему, которую обкатывал уже с Хелен Сьюзи.

Эта тема — брак. Оставить бы в покое святую Анкамбру. Что-то новенькое нащупать, ведь Элла слышала, как он обсуждал с Хелен Сьюзи основы брака, но почему-то Харли не может переменить пластинку.

— А ты, — спрашивает он Эллу, покуда новый круг почета совершает фазан, — что ты думашь о браке?

— Ну, — отвечает Элла. — Я католичка.

— И это значит — брак нерушим?

— Боюсь, что так.

— И чего ж тут бояться? — недоумевает Харли. — Тебе вообще бояться нечего, раз ты католичка. Милая моя Элла, я сам говорю как католик. Я не согласен, это я тебе говорю как католик, именно как католик, с тем, что брак нерушим.

— И как ты до такого допер? — говорит Элла. Она умная, и она понимает, что до любого вызова католической вере надо еще допереть.

Но Харли Рида, который, последним из десяти, принимается за фазанью добавку, на мякине не проведешь. Сам он так и не женился. Отчасти по причине собственного темперамента, отчасти же потому, что обожаемая Крис Донован, из-за семьи и по налоговым соображениям, вовсе не рвалась замуж. Харли потчует Эллу плодами своих раздумий.

— Брачные обеты, — он говорит, — в основном произносятся под влиянием страсти. Я говорю о современных браках, где партнеры имеют право выбора. Они влюблены. Я не толкую о тех просватанных браках, где родители, семьи, сговорясь, организуют союз. Итак. Берем брак по любви. И поверь, — говорит Харли, — что обеты под влиянием страсти — все равно, что под пыткой добытая исповедь. Любовь эротическая — это безумие. Ни один из двоих не помнит, что говорит. Они in extremis. И обеты их следует воспринимать со скидкой на

страсть. А потому католик, исповедующий, как известно, самую разумную религию, может и даже обязан признавать развод между людьми, которые, будучи влюблены, принесли брачные обеты под влиянием страсти, то есть в состоянии невменяемости. Кстати, и сам католический закон оговаривает возможность расторжения брака по причине безумия.

— Ты хочешь сказать, — говорит Элла, — что смог бы добиться развода на том основании, что был без ума от невесты?

— Именно это я и хочу сказать.

— В жизни ничего подобного не слышала, — вздыхает Элла.

У него язык чешется ответить пышно: "Элла, милая моя девочка, в этом доме ты еще много услышишь такого, чего в жизни не слышала", но он сдерживается. Он не говорит ничего, он подпускает легкую паузу.

Погодя она говорит:

— И браки по сватовству, ты думашь, в основном удачны?

— Где смотря. В Индии. Может, в Южной Америке. У нас с этим делом покончено. Подобные браки удачны только при умных родителях. У нас такие не водятся.

— Тут я с тобой согласна, — вздыхает Элла.

Да, меню могло быть совсем другим, семга вполне могла быть не заливной, а вовсе даже горячей, а после нее подавалась бы эта утка ломтиками или омар с брокколи под ежевичным соусом — омар тоже входил в число многих идей, за последние недели взвешенных Харли и Крис. Но скромный фазан, предпочтенный, восторжествовавший над тонко расслоенной уткой, этот фазан — изумителен. Фазан попал в самую точку. Но все ли отдают ему должное? О, еще как, больше даже, чем можно было рассчитывать.

— Я рад, что мама твоя опять в Лондоне, — говорит Харли Уильяму.

— Да, она на днях прилетела, — говорит Уильям.

— Из-за нашей квартиры, — говорит Маргарет. — Это так изумительно.

— Она заглянет после ужина, — говорит Крис. — Я говорила сегодня с Хильдой по телефону. Сказала, после ужина заглянет.

— Вот и отлично.

Но только Хильда Дамьен не заглянет после ужина. В эту самую минуту она умирает.

5

Еще в сентябре, пока молодые Дамьены были в свадебном путешествии, Крис Донован узнала, как они познакомились. Узнала во всех подробностях от старой подруги Хильды Дамьен, из Австралии прилетевшей на свадьбу. Крис и Харли в то время были в Нью-Йорке, делали Харли выставку на Манхэттене в одной очень стоящей галерее.

О звонке Хильды возвестил Хоспис — так звали, хотите верьте, хотите нет, их новое юное приобретение из лучшей школы дворецких.

— Соедините ее со мной, — распорядилась Крис над неубранным завтраком: кофейник, ошметки тоста. Она еще лежала в постели. Было всего двадцать минут десятого.

— Вот я и думаю, — говорила Хильда, — на что ей сдался этот фруктовый отдел "Маркса и Спенсера"? Нет, я же не утверждаю, что прямо

никто из людей ее типа и поколения туда не заходит за фруктами. Но она ведь на всем готовом жила в общежитии, когда познакомилась с ним? Так на что ей сдались эти фрукты и овощи? Да, она же сказала — овощи, именно овощи. Хотела где-то там пообедать сама по себе. И где, интересно, она собиралась их парить-жарить и по какой методе? Ничего абсолютно не сходится.

Крис думала: в такую рань уже сидит подруга за столом в своем лондонском офисе.

— Может, зашла бы позавтракать? — сказала Крис. — Я никак не очухаюсь. Мы только прилетели из Нью-Йорка.

— Не могу, — сказала Хильда. — В этот раз тебя не увижу. Завтра улетаю, но через недельку примерно вернусь, займусь их квартирой. Мой подарок на свадьбу — и это все. Квартира в Хампстеде, точка.

— Ничего себе "и это все", — сказала Крис.

— Вот и я тоже думаю. Пусть спасибо скажут.

Крис сказала:

— Я ужин устраиваю семнадцатого или восемнадцатого октября. Придешь?

— Не знаю. Я позвоню. Не верю ни одному слову этой девицы.

— Мерчи... Мерчи... — сказала Крис, — что-то такое вертится. И что они собой представляют?

Хильде как раз не хотелось разжевывать, что собой представляют Мерчи. Не то, чтоб она не доверяла Крис Донован, просто сама не могла разобраться в своих чувствах. Женщина деловая, она терпеть не могла растекаться мыслью по древу. За те два дня, когда она видела Мерчи — до и после свадьбы в Сент-Эндрюсе, — у ней не раз мелькало: что-то тут не то. Но сама свадьба, все гости были вполне приличные, симпатичные люди, именно такие, каких ожидаешь встретить на свадьбе такого человека, как ее сын.

И поэтому Хильда сказала:

— Ах, ну Мерчи как Мерчи. Я же их совершенно не знаю. А в общем, смыться хочется. Прямо кажется иногда, что Австралия недостаточно далеко.

— Если б не Харли, — сказала Крис, — я б с тобой улетела.

Хильда Дамьен в свои пятьдесят три изумительно выглядела, что в этом возрасте дается только сверхэнергичным людям. Нужна энергия, мужество даже, чтоб так следить за собой, как принялась за собой следить Хильда сразу же, едва поняла, сколь богатые перспективы перед ней открывает длительное вдовство. Художники, музыканты, писатели и поэты — те могут плевать на себя и свою наружность в погоне за жгучими, летучими целями. А деловые люди в своем большинстве — совсем другой коленкор; они кожей чуют, как для бизнеса важно, чтоб их массировали, трамбовали, стригли, умащали, заставляли худеть, и они, не жалея сил, самоотверженно занимаются своей внешностью. Начинала Хильда как журналист, и теперь, настоящий магнат, считала более чем естественным вскакивать ни свет ни заря, чтоб поспеть к массажистке или парикмахеру. Седые волосы волной убегали назад с ее гладкого, загорелого лба, зубы сверкали, удачные скулы держали лицо; бабье лето, нежный закат; и у нее было сильное тело.

В свои пятьдесят три, тайком от детей, она решила опять выйти замуж, и единственной причиной секретности было то, что Хильда пока не знала, за кого она выйдет. Но она была уверена, и справедливо, что легко найдет человека, лучше вдовца, богатого, стоящего, привлекательного.

Хильда не была феминистка. Она была выше и ниже этого. И ей не нужен был ручной муж, который помог бы влечь бремя домашних забот. У ней не было домашних забот. Ей нужен был ровня, партнер. Хильда по части секса была робка, особым опытом не обладала и только догадывалась о том, какая мощная штука — половое влеченье.

Понятия не имея, за кого выйдет замуж, она зато знала прекрасно, как берут быка за рога. Да, хорошо, что Уильям женился. И поскольку, Хильда не сомневалась, этот брак ненадолго, стоило поторопиться с замужеством, пока не развелся сын.

Одна Хильдина подруга, рано заделавшись богатой вдовой, почти сразу уселась в холле отеля "Эксельсиор" в Риме с собачкой на коленях. И довольно скоро возник господин подходящего возраста, погладил собачку, заговорил с вдовой. От добра добра не ищут, и подруга Хильды вышла за того господина, чуть ли не старика, и жила с ним в счастливом супружестве, пока он не умер. А потом вернулась в холл отеля "Эксельсиор". А еще одна подруга, шестидесяти с хорошим хвостом и трижды вдова, так та решила подыскать себе мужа-ровесника. Поехала на Багамы, у ней там какая-то недвижимость, и — пожалуйста, подцепила очаровательного бизнесмена в каких-то гостях на коктейле. И стал он ее четвертым мужем, и она по сию пору замужем, прямо вся лоснится от счастья. Такие примеры. И Хильда чувствовала, и правильно делала, что главное — сосредоточиться на задаче, и кто-то безусловно всплывет. Может, даже в самолете в Австралию или обратно. И, между прочим, недурно бы, думала Хильда, встретить будущего спутника жизни на свадьбе у сына.

Эти Мерчи устроили дочери вполне пристойную, не показушную свадьбу. Жили они возле Сент-Эндрюса, в строении с башенкой под названием Черненький дом, где комнат было поменьше, и были они похуже, чем обещал фасад. То, что комнатушки такие тесные, согласно Грете, матери Маргарет, было большой удачей: "Не то нам бы их не протопить". Супруг ее, Дэн Мерчи, объявил, что семья занимает дом с 1933 года. И так ударял на этот важнейший факт, будто 1933 год случился в раннем средневековье.

— Ах, как же часто, — Дэн рассказывал Хильде, — я бывал мальчиком на свадьбах! Так и помню эти атласные костюмчики, клетчатые килты. А белокурые головки на этих свадьбах, кудри невесты, наши кудри — могу фотографии показать. Чуть не каждый месяц — желтый атласный костюмчик, голубой костюмчик! В каком-то смысле наши родители умели бросать деньги на ветер. А в каком-то смысле у них ветер свистел в карманах.

— Роскошь, то, что мы теперь называем роскошью, она дешевле была. Портнихи шили чуть не задаром, — вздыхала Грета.

Хильда слушала и не перебивала. Это было ее правило — дать людям высказаться.

Хильда осталась у них переночевать перед самой свадьбой. Комнату ей выделили удобную, уютную, ничего не скажешь. Шторы — то что на-

до, под цвет к покрывалу, все тютелька в тютельку. Отдельная ванная болотного цвета с белыми птицами в полете по кафелю. Туалетная бумага, ватные диски. Полотенца как надо. Все как надо. Хильду сразу же, как приехала, провели в эту комнату. Все было как надо, вплоть до статуэтки дрезденского фарфора на полке: смешной человечек в красных штанишках играет на скрипке. И что с ними не то? Хильда переоделась, что было не так уж нужно, во всяком случае не обязательно, потому что приехала она в изумительных брючках и шерстяном жакете. Осмотрела книги возле постели: три карманных Энтони Пауэлла, "Старший трубач драгунского полка" Томаса Харди, "Золотой клад" Палгрейва[1], три карманных Агаты Кристи, П. Д. Джеймс в бумажной обложке, что-то Теккерея, что-то Алана Силлитоу. Все нормально, не придерешься. Хильда надела платье и пиджак, черное с легким вкраплением белого, все очень хорошее, потрясающее. И спустилась знакомиться с Мерчи. Было полвосьмого вечера.

Тут она увидела Дэна Мерчи, отца Маргарет. Он был в темных очках и вошел в комнату этой чуть скованной, четкой походочкой Ярузельского, которой в свое время мы любовались, когда нам показывали польские новости.

— А-а, Хильда (вы позволите вас так называть?), — сказал он, — как добрались? Садитесь. Я рад, что вы легко нас нашли. Что будете пить? Виски, джин, водку, шерри, что прикажете.

Она попросила виски с содовой. Вошла Грета.

— Как я рада вас видеть, — сказала она (в черном с белым, и эта туда же), — особенно теперь, когда вся суетня закончилась, самое трудное позади, можно расслабиться. Третья свадьба уже с плеч долой. Двух дочерей выдавала, Маргарет третья. Четвертая еще в школе учится, так что, видимо, со дня на день жди новостей. Жаль, вы раньше не приехали, погостили бы у нас, познакомились бы поближе.

Муж налил жене водки с тоником. Себе взял неразбавленного виски, сглотнул, снова налил.

Хильда подумала: "Они вполне ничего, но что-то тут не так". Потом подумала: "Ах, мне-то что, плюнуть и растереть". И откинулась в кресле, зная, что выглядит изумительно, и держа в уме, как, уж конечно, они тоже держали, что она фантастически богатый и независимый человек.

— Ну прямо как гром с ясного неба, — сказала Грета. Хильда как знала: именно эту фразу она произнесет. А что вообще можно сказать или сделать такого, что не скажет и не сделает каждый? Хильда подумала: "Я чересчур преуспела. Оторвалась. Такова, очевидно, обыкновенная, средняя жизнь".

Мерчи жили тем, что добывали из карьера гранит и другой камень. У них было небольшое, хорошо налаженное дело — Хильда навела справки перед вылетом из Австралии. Компания "Дэн Мерчи, от Мерчи и Сыновья, Каменоломни, Добыча, оборудование для шахт" была на грани свертывания. Но этот семейный бизнес был связан по субдоговору с туннелем под Ла-Маншем; и Хильда смекнула, что им нужны такие деньги, какие необходимы, чтоб делать очень большие деньги. Не познакомься Маргарет с Уильямом случайно, во фруктовом отделе "Марк-

1. Фрэнсис Тернер Палгрейв (1824–1897) — английский критик и поэт. "Золотой клад" (1861) — антология английских песен и стихотворений.

са и Спенсера", Хильда конечно бы заподозрила, впрочем беззлобно, что тут идет охота за денежками Уильяма, за ее денежками то есть. Ну а так — нельзя же так сразу, зачем быть чересчур циничной. Люди просто влюбляются, бывает, бывает.

— Вы, наверно, смертельно устали, — сказала она Грете.

— Ну, сейчас-то, знаете, когда все эти фирмы готовы за тебя чуть не всю свадьбу провернуть, это уже не так утомительно. Они же берут на себя цветы, обеспечивают письма, приглашения, подарки, буквально все. А ты контролируй себе, и ладно. Со списком гостей, конечно, всегда морока. У вас списочек не такой уж длинный, по сути, все друзья Уильяма.

— Ну да, я вам писала, мои друзья почти все в Австралии, — сказала Хильда, потягивая виски, — но тех немногих, кто может прийти, приятно будет увидеть. — И подумала: "Первая свадьба Уильяма. Не последняя явно".

С Маргарет она уже познакомилась в Лондоне. Брак ненадолго, конечно. Какой-то сюсюк на палочке, неужели она реальная?

Хильда сидела в их этой теснющей квартирке, болтала, само добродушие, потом вдруг спросила:

— Фруктовый отдел "Маркса и Спенсера". Господи, и что тебя туда занесло, Уильям?

— Я фрукты покупал, — был ответ. — Всегда туда хожу. Мне удобно.

— А вы, — она повернулась к Маргарет в лучшей своей сандринхемской манере[1], — тоже предпочитаете эту лавку?

— Нет, это был просто случай, — она слегка улыбнулась, склонила головку набок. — Счастливый случай, — сказала она.

Уильям сидел и пялился на невесту так, будто она мисс Вселенная, кончившая с отличием Кембридж, или тому подобное чудо.

— Я дарю вам на свадьбу квартиру, — сказала Хильда. — И этим ограничусь.

— Ах, ну что вы, это же так изумительно, — сказала Маргарет.

— Сказочный подарок, — сказал Уильям. А что он еще мог сказать?

— Мои родители, — сказала Маргарет, — умирают хотят с вами познакомиться.

— Исключительно вдохновляющий повод, — сказала тогда Хильда и протянула к Уильяму рюмку, чтоб снова налил.

6

Недели за две до званого ужина Харли Рид наткнулся в студии телевидения на Аннабел Рис. Он присутствовал на совещании в качестве консультанта телевизионного спектакля, где изображался художник. У Аннабел как раз кончился рабочий день. Она была продюсер-документалист. Пошли выпить.

— Там они говорят, что якобы их этот художник — в отставке. Полный бред. Художники не уходят в отставку. Откуда им уходить?

— Но ты им объяснил, я надеюсь, — сказала Аннабел. Она обожала Харли. — В общем, потеря твоего драгоценного времени, эти консультации.

1. Сандринхем в Норфолке — одна из загородных резиденций английских королей. Там умер Георг V, родился Георг VI.

— Ну почему, мне даже нравится — следить, чтоб все было точно, — сказал Харли. — В данном случае, кстати, художник вообще не вполне убедительный. Зачем, скажем, он отводит взгляд от холста, покуда рука орудует кистью? Нет, я люблю, чтоб все делалось точно. Лично я, будь я дворецким или лакеем, все делал бы точно. Я знаю, как это делается.

— Откуда ты знаешь? — сказала Аннабел. — Опыт, что ли, имел?

— Да, в качестве нанимателя, — сказал Харли. — С тех пор, как я с Крис, у нас всегда есть слуга, а то и двое.

— Ах, это интересно, хотелось бы узнать поподробней, на будущее, когда я стану делать про тебя передачу.

— Насчет дворецкого — да ну его, по-моему, — сказал Харли. — Если честно, такие вещи художнику ни к чему. На другом-то полюсе голод, мансарды. Если публика будет думать, что ты чересчур богат, решит — халтурщик, а если ты беден, думают: что-то с его искусством не то, почему не продается?

Но Аннабел было не сбить. Она взяла на вооруженье идею, которая, она чуяла, впечатлит начальство, когда приспеет пора проталкивать передачу о Харли. Эти его выкладки нисколько ее не трогали. (Художник... дворецкий... можно и богатую австралийку приплесть, спутницу жизни...)

— А как фамилия твоего дворецкого? — спросила Аннабел.

— Хоспис, — сказал он.

— Ну да! Не верю.

— Я сам не верил. Но это правда, так у него во всех бумагах значится, в рекомендациях. Мы его только что взяли.

— Ну и как он?

— Великолепен. Вот только уже поговаривает об отпуске на месячишко.

— Так он и выразился — на месячишко? — прицепилась Аннабел.

— Нет, он сказал: "на месяц, сэр". Ему нужен отпуск, чтоб свозить жену-гречанку обратно в Грецию, где ей приспичило выцарапать приданое. Дюжина простынь, шесть наволочек — воображаю. Только что поженились, глупцы.

— По-твоему, глупость — жениться?

Харли пропустил это мимо ушей.

— Крис решила его отпустить. Но сперва он нам понадобится для кое-каких оказий, включая ужин. А потом — пусть себе катится в свою Грецию. Небольшой такой ужин, мы решили, но на уровне.

— Крис меня пригласила, я просто в восторге, — сказала Аннабел.

Он ей перечислил гостей, кое с кем она была незнакома.

— Очень соблазнительно, — сказала она.

— Составится любопытный коктейль, — сказал Харли. — А что еще требуется от званого ужина.

— А я мечтаю увидеть Хосписа, — сказала Аннабел.

— Не на что там смотреть, — сказал Харли. Он улыбнулся Аннабел и заплатил за выпитое.

Кузену своему, Роланду Сайксу, с которым ужинала в тот вечер, Аннабел сказала:

— Я слышала, ты идешь на ужин к Крис Донован?

— Я приглашен. Но не знаю, получится ли у меня, — сказал он; он всегда так говорил, не стоило обращать внимание.

— Я Харли видела, — сказала она. — Он мне перечислил, кто будет. Будут эти молодожены. Он — сын этой богатющей бабы, миссис Дамьен, австралийки. Помнишь, про нее еще статья была в какой-то газете. Так вот, ее сын женился на Маргарет Мерчи из Сент-Эндрюса. Харли говорит, они познакомились в "Марксе и Спенсере", во фруктовом отделе.

— Мерчи? — насторожился Роланд.

— Ну да, старинная шотландская фамилия.

— Знаю. Из Сент-Эндрюса, говоришь?

Родство с Роландом у Аннабел шло по материнской линии, у него с ней — по отцовской. Имея каждый родных братьев и сестер, эти двое были ближе друг с другом, чем с ними. Аннабел была на пять лет старше. Привязанность началась давным-давно, с его четырнадцати, ее девятнадцати лет. Могли бы, конечно, пожениться, стать любовниками, если бы Роланда сызмальства не тянуло больше к мужчинам, чем к женщинам. Роланд снимал просторную квартиру вместе с одним занятым журналистом, к которому питал исключительно дружеские чувства, и только; тот вечно притаскивал на ночь девиц, по уик-эндам уж непременно, но огромность квартиры позволяла Роланду не попадаться им на глаза. Ему было дома вполне уютно. Но свои печали-заботы он нес к Аннабел. Уже несколько лет он подумывал, не стоит ли наконец осесть "на одной стороне", как он выражался, имея в виду, что не мешает покончить с гомосексуализмом, жениться. Предприятие было заведомо трудное, легко ли сказать, неясно даже, как приступиться. Главное, все же знали, что он гомосексуалист, и у тех девушек, на которых ему, в общем-то, хотелось жениться, шансов он пока не имел никаких. Вот эти печали он и выплакивал в жилетку Аннабел; слава богу, о любви между ними уже не могло быть и речи. И когда это было? Теперь их связывали добротные родственные узы. Мысль о том, чтобы лечь в постель с кузеном Роландом, абсолютно не улыбалась Аннабел, он же при своем новом течении мыслей находил ее слишком старой. И все равно, они были ближе друг другу, чем большинство кузенов, чем большинство родных братьев и сестер.

Профессией Роланда была генеалогия, и он был честный специалист, как ни подмывало его порой воспарить в облака мифологии, дабы скрепить разыскание. Он работал на одну крупную фирму частных следователей, главной заботой которых было шпионить за любовниками и обнаруживать канувших без вести. Но основной свой доход фирма получала от трудов Роланда. Он прослеживал родословные разных людей. По большей части это были люди, сколотившие состояние и прозревшие, что они происходят — скорей всего происходят — от какого-то знатного дома, семейства, знатной особы; и многим хотелось иметь какой-нибудь герб и девиз, чтобы выгравировать на ложках и вилках, отлить на печатках. Скажем, члены секты мормонов, святых последнего дня — для генеалогов в Англии просто подарок; от Юты от одной колоссальный доход, ибо происхождение от Джозефа Смита или другого из отцов-основателей у них считается грандиозной личной заслугой[1].

Одним словом, у Роланда дел хватало. Он знал, где искать документы, в какие лазить публичные ведомости, исторические архивы, где от-

1. Джозеф Смит — основатель вероучения мормонов. Штат Юта — средоточие их миссионерской деятельности.

капывать записи, в каких рыться приходских книгах по всей стране, и геральдику всех родов он знал наизусть, и тех, что цветут поныне, и тех, что давно угасли. Вдобавок он был отличнейший палеограф, он умел толковать все тонкости почерка, особенности правописания, знал все диалекты писцов, конторщиков, клира, законников, судей, помещиков, почивших много веков назад. И он был в своем деле честен: в пух разбивал столько же ложных притязаний на знатность, сколько обнаруживал истинных прав. Правда, с трактовкой дело обстояло сложней: были зоны сомненья. Роланд твердо выражал сомненье там, где имело место сомненье, ну, а если клиентам хотелось толковать сомненье в свою пользу — это уж их личное дело.

Сидя у Аннабел в буро-зеленой гостиной, Роланд ждал, когда таймер возвестит, что ужин готов. И, крутя в пальцах рюмку с аперитивом, заглядывая в нее, он пробормотал:

— Мерчи из Сент-Эндрюса, говоришь?

— Ты их знаешь? — спросила Аннабел.

Роланд, безумно занятой молодой человек, обычно не сразу припоминал, что именно связано с той или иной фамилией. Как врачу-специалисту ему приходилось сверяться с записями, если клиент являлся к нему, сообщая, что бывал у него прежде. Слава богу, под рукой было компьютерное обеспечение. Но на память тоже не приходилось жаловаться.

— Что-то про Мерчи было в прошлом году. Из Сент-Эндрюса, кстати, — пробормотал он. — Но, конечно, детали... надо проверить. Кое-что я сверял, да, но там что-то еще оставалось. Претензии на какое-то там наследство, суд отказал, в газетах писали. Но кто сказал, что это именно та самая семья.

— Мы увидим девицу восемнадцатого числа.

— Я не уверен, что смогу выбраться.

— Ах, лапка, ну конечно ты сможешь выбраться на этот ужин. Если в мире есть что-то прекрасное, так это ужины у Харли и Крис Донован. И мне необходимо, чтоб ты там был, мы же потом все должны обсудить.

Динь-динь-динь, прозвякал таймер. Аннабел побежала на кухню, оттуда крикнула Роланду:

— Кушать подано!

Вдруг он подумал: ну что, что бы я делал без Аннабел?

Она сказала:

— Ты прическу переменил. — Обычно волосы у него были темные, на косой пробор. А теперь он постригся бобриком, на темени крохотный хохолок, очень коротко по бокам и подкрашено под седину.

— На сто восемьдесят градусов, — сказал он.

— Едва ли такое может убедить женщину в том, что ты сам на сто восемьдесят градусов переменился, — сказала Аннабел.

— Нынешней юной девице вообще на все это плевать.

— Зато мне, например, не плевать, — сказала Аннабел, — а я не такая уж древняя.

Ей было тридцать два, ему двадцать семь.

— Ладно, пока так похожу, на пробу, — сказал Роланд. — Может, ты и права. Но какие, собственно, возраженья?

— Вид такой, будто ты много часов проторчал у парикмахера, — сказала Аннабел.

— И проторчал.

— Но они же отрастут моментально. И сколько еще часов тратить придется, чтоб такое поддерживать. Нет, я не говорю, — спохватилась она, — что тебе не идет. Ты просто прелесть с этой прической.

— Спасибо. Рад слышать. А то я сам себе надоел.

— Ты принадлежишь к восемнадцатому веку, — сказала она. — Тогда мужчины дико носились со своими волосами, париками. Можешь убедиться по портретам. Психологически ты принадлежишь к восемнадцатому веку.

— Ты уж как-то говорила. Забыл только, в какой связи.

— В той связи, что я сама из восемнадцатого века. В основном мои взгляды оттуда. Потому мы с тобою так и дружим, наверно. Мы оба на генном уровне перемахнули девятнадцатый век.

7

Задолго до того, как Маргарет Мерчи встретила Уильяма Дамьена во фруктовом отделе "Маркса и Спенсера" на Оксфорд-стрит — почти за два года до этого, — она сидела с родителями и дядей в Сент-Эндрюсе, в захламленной гостиной Черненького дома с башенкой, куда достигал гул Северного моря. Стоял дивный октябрьский день; райское сиянье шотландской осени прохватывал звонкий холодок, милый сердцу всякого, кто не прочь померзнуть, как большинство шотландцев.

— И что же ты мне посоветуешь, дядя Магнус? — спросила Маргарет.

Магнус, единственный из всех Мерчи, обладал творческим воображением, но, к сожалению, он был сумасшедший и проводил свои дни в лечебнице Джеффри Кинга, заведении для умалишенных Пертшира, откуда обычно по утрам в воскресенье его на весь день забирали в Черненький дом. Магнус был неизлечим, но современной медициной делалось все возможное, дабы его состояние облегчить. Сразу было видно, что он сумасшедший. Большой, жадно ел. Одно время он так буйствовал, что невозможно было держать его дома, но, благодарение таблеткам, он буйствовать перестал. У него и всегда-то перепадали полосы относительной вменяемости, по нескольку часов подряд полной здравости, а то и целые дни. И вдруг ни с того ни с сего опять начинается бред.

Во многих семьях имеется по крайней мере один абсолютно безумный член, в лечебнице он или нет. Правда, в этих семьях обычно не советуются с сумасшедшими, даже если у тех полоса вменяемости; от них не ждут указаний. С Мерчи дело обстояло иначе.

Дэн и Грета Мерчи свято верили в мудрость Магнуса, старшего брата Дэна. Грета сознавала: он вдохновлен свыше.

— В средние века, — говорила Грета, — сумасшедших считали божьими людьми.

— И он же мой брат, — скреплял Дэн. — Не может он быть уж до того сумасшедшим.

— И человек с сильной волей всегда может принести пользу, — рассуждала Грета. — Можно свою силу воли так употребить, чтоб то, что было не правильно, стало правильно. Всем известная вещь.

Тут Дэн привел мысль святого Фомы Аквинского, которая, как многое другое в учении этого философа, не выдерживает испытания прак-

тикой: "Не до́лжно, — писал святой Фома, — обращать внимание на то, *кто* говорит, но на то, *что* говорится, до́лжно обращать внимание".

Грета подвела черту:

— Эта лечебница стоит нам кучу денег. Так давай хоть немножечко и сами попользуемся.

Собственно говоря, Магнус содержался в частной клинике на свои личные средства, но для Греты и Дэна это не составляло существенной разницы.

Магнус был их гуру вот уже шесть лет. Это он предписал ход действий, который вызвал скандал вокруг семейства Мерчи.

У него была окладистая борода. Ярко-синей, атласно серебрящейся курткой, кожаными черными штанами плюс наимоднейшие темные сапоги грубой кожи, сложнейшей работы, о четырех перекрестных ремешках с тисненным спереди именем Штайнер, Магнус подавлял семейство по воскресеньям.

Престарелая матушка Мерчи лежала тогда больная в эдинбургском доме для престарелых. Сумасшедший Магнус и Дэн были единственные ее сыновья. Было еще три дочери, причем две незамужних и совершенно необеспеченных. Третья жила в Кении, где у мужа был бизнес.

Все знали, что старая угасающая миссис Мерчи отказала свое состояние пятерым своим детям, всем поровну. Она ясно это обозначила. В старомодном шотландском завещании странновато, но четко упоминалось о "равной доле всем чадам". Завещание было составлено давным-давно, в 1935 году, по смерти супруга.

— Устарело, — объявил Магнус. — Кстати, моя часть мне не нужна. Все равно главе сумасшедших пойдет.

Так отнесся он о главе попечительского фонда, ведающего средствами умалишенных.

— Ах, но ты же поправишься, — сказал Дэн. — Выйдешь, нормальный будешь.

— Не хочу, — сказал Магнус. — Ибо сказано: "Господь выйдет, как исполин, как муж браней возбудит ревность; воззовет и поднимет воинский крик, и покажет Себя сильным против врагов своих"[1]. Так я цитирую, и так я говорю. А еще смотрите Исаию, 38:12: "я должен отрезать подобно ткачу жизнь мою; Он отрежет меня от основы". Вот я и предлагаю: сделай так, чтоб Ма изменила завещание, исключила меня и сестер и побольше тебе оставила.

— Легко сказать, — вздохнул Дэн.

— Сходи к адвокату. Право первородства — важный пункт закона, когда речь идет о целостности домов. Когда Ма составляла свое завещание, кому она нужна была — целостность крупных домов. Если ты исключаешь меня, как отрезанного от основы, как неизлечимо больного, ты остаешься единственным сыном, и старшим притом.

Все это Дэн пересказал своей жене Грете. Она сочла, что это удачная мысль — спросить мать Дэна, не хочет ли та переменить завещание, но сама она такое спрашивать не хотела. Никто не хотел.

— Что-то случилось? — спросила старая миссис Мерчи.

— Нет, — отвечал пришедший с визитом сын. — Ну, то есть, возможно, кое-что нам с тобой надо как-нибудь обсудить.

1. Книга Исаии. 42:13.

— Вот приеду домой и обсудим. Говорят, на той неделе отпустят. Ко мне заходил Уотерс.

— Зачем это? — Джеймс Уотерс был адвокат их семьи и жил в Эдинбурге.

— Просто пришел проведать. Кое-кто приходит проведать.

Дэн вздохнул с облегчением. Мысль о том, что придется идти к семейному адвокату по поводу завещания матери, не очень ему улыбалась. Да, ему хотелось получить эти деньги, и деньги были именно ее, не унаследованы от покойного батюшки. Но Дэну не хотелось мрачить нежные отношения с матерью. Грета тоже любила свекровь, и она тоже вздохнула с облегчением, что первый шаг в сношениях старой миссис Мерчи с адвокатом сделан самим адвокатом, пусть и сводясь к тому, что адвокат всего-навсего принес клиентке двенадцать алых роз.

Мать Дэна должна была посетить Сент-Эндрюс на следующей неделе. У нее был недавно сердечный приступ. Все, кажется, обошлось. Грета собиралась заехать за ней утром, в одиннадцать.

Но в четыре утра зашелся возле постели телефон.

— Наверно, мама твоя. Возьми, — сказала Грета.

Дэн взял трубку.

— Да, это ее сын, — говорил Дэн. — Полиция? — говорил Дэн. — О господи, сейчас же. Сейчас же буду. Нет, машина у меня есть; да-да, вполне способен.

Едва ли он был способен вести в таком состоянии. Грета натянула штаны, кофточку и влезла с ним вместе в машину. Миссис Мерчи была убита, ее задушила беглая маньячка, двенадцать лет содержавшаяся в психиатрической лечебнице вследствие неизлечимой наркомании; первопричиной же психического расстройства была врожденная умственная отсталость. Ну и что возьмешь с такой убийцы, хоть ее тотчас схватили: преспокойно брела себе по дороге, в лунном свете, в сторону Лейтских доков.

Но ведь она сбежала из строжайше охраняемого крыла психиатрической лечебницы и почему-то устремилась прямо в дом престарелых в Эдинбурге, где миссис Мерчи лежала в отдельной палате, и как она прокралась в дом, и почему пошла прямо в палату к миссис Мерчи, почему именно к миссис Мерчи? — вот вопросы, на которые полиция, а вслед за нею и пресса сразу стали искать ответа. Искали тщетно, искали недолго.

— Напрасный труд, — сказал Дэну главный инспектор, — выискивать мотив, когда имеешь дело с умалишенными. Они такие хитрые, не зацепишь. Возможно, ее загипнотизировали. А может, она узнала, прослышала про Колтонский дом престарелых и решила, что там ей будет лучше, чем в Джеффри Кинге, вот она как-то и пробралась в палату, в первую попавшуюся палату, обнаружила там вашу матушку и...

— Джеффри Кинг? — перебил Дэн.

— Ну да, клиника возле Перта, откуда сбежала эта особа. Притом — строго охраняемое крыло. Все на замке — а им хоть бы что! Хитрость, нечеловеческая хитрость.

Дэн промолчал. Он и жене даже не стал рассказывать, откуда сбежала убийца; жена в газетах прочла. Следователь констатировал убийство путем удушения от руки недееспособной преступницы. В прессе особого шума не поднимали. Пугающая шапка в газете, отчет о дознании в клинике Джеффри Кинга по поводу мер охраны; и все.

Грета сама, по пути домой с похорон, сказала наконец Дэну — не то чтобы он ей:

— Видно, за этим стоит Магнус.

— Как же так? Ведь, судя по тому, что он говорил в прошлое воскресенье, он хотел, чтоб Ма еще пожила, по крайней мере до тех пор, пока составит новое завещание.

— Подозрительно, что эта сумасшедшая была в одном заведении с Магнусом. И как она добралась до Эдинбурга, и почему, почему сунулась в дом престарелых в Колтоне и как раз в палату к бедной Ма?

Они были буквально потрясены всей этой кошмарной историей, особенно когда узнали, что миссис Мерчи изменила-таки завещание.

— Нет, я с ума схожу, — сказал Дэн. Разумея, что он не в силах связать концы с концами. Только одна Маргарет присутствовала при его разговоре с Магнусом в прошлое воскресенье, когда прозвучала мысль о том, что матери следует изменить завещание.

— Звони Маргарет, — сказал он Грете. У Маргарет была тогда работа и жилье в Глазго. Только она вернулась с похорон — раздался материнский звонок.

— Да, я знаю, что она переменила завещание. Это я устроила ей встречу с Уотерсом. Я там была. Я сказала: "Ты просила привести мистера Уотерса, бабушка, ты ж хотела поменять завещание в пользу папы, и это, по-моему, правильно". Уотерс был совершенно согласен. Цветы ей очень понравились. Он принес черновик нового завещания. Сначала она хотела разделить свое имущество между папой и тетями, но мы сказали, что так ничего не получится. Одним словом, мы подправили этот черновик, и Уотерс его унес. На другой день он вернулся, и она при свидетелях поставила свою подпись. Она была просто счастлива. Значит, она умерла счастливой. И папа теперь богат, и мы сохраним целостность нашего дома.

Все это Грета пересказала Дэну, а потом по телефону двум старшим своим дочерям, совершенно непохожим на Маргарет.

Эти дочери недавно повыходили замуж. У обеих была работа. Старшая, Флора, преподавала в начальной школе, а муж служил в адвокатской конторе; жили они в одном доме в Блэкхизе, где сдавали квартиру, чтоб выплачивать ипотеку. Вторая дочь, Юнис, была замужем за администратором на автомобильном заводе. И преподавала в средней школе в Далидже, где они жили. Флора была невероятно хорошенькая, основательная, рассудительная, с глубокой потребностью в строгом режиме, которой исключительно соответствовал ее молодой супруг; и не имело большого значения, какие сюрпризы подносила ей жизнь, ибо Флора умела как-то так их приладить к испытанной схеме, проверенному прецеденту, расхожей рубрике. Супруг же поставлял нужные формулировки. Убийство бабушки было "несчастный случай", тот факт, с которым успела ознакомиться Флора, что завещание изменено в пользу ее отца, было "совпадение, удачное в данных обстоятельствах". То, что Магнус сумасшедший, было дело обычное, "встречающееся в самых лучших семьях". Тот факт, что маньячка-убийца вышла из того же заведения, где содержался Магнус, ровно ничего не означал: "Одно с другим абсолютно не связано". Флора приняла ванну, как всегда по вечерам, подготовила, что надеть с утра, Берт, супруг, накрыл стол к завтраку. И, не нарушая режима, без забот и тревог они улеглись в постель.

Сестрица Юнис, блондинка со светлыми глазами и длинными волосами, была на шестом месяце. Очерк ее стал нечетким и зыбким, как смазанный снимок. Матери она сказала:

— Надеюсь, эта новость *меня* не расстроит. Такое жуткое убийство.

— Может, не надо было тебе говорить, — сказала Грета.

— Но ты же сказала.

— Я думала, тебе приятно будет узнать, что папа освободился от финансовых забот.

— Повезло.

— Это Маргарет привела к бабушке Уотерса. И устроила, чтоб бабушка изменила завещание.

— И на другой день ее убили?

— Нет, через три дня. То есть в пятницу Уотерс вернулся за подписью.

Умерла миссис Мерчи в субботнюю ночь.

— Очень все это подозрительно, — сказала Юнис. — Не нравится мне это. И Питеру не понравится.

— Нам тоже не нравится, — сказала Грета. — Мы с папой чувствуем, что это выглядит странно. Но что мы можем поделать?

— Значит, это была идея Маргарет?

— Да. То есть нет. Поменять завещание была идея дяди Магнуса.

— Ох, господи. Если пресса пронюхает, будут дикие неприятности. Это так вредно — в моем положении.

Джин, младшую, еще школьницу, отослали в Льежский монастырь, сразу же в понедельник после рокового воскресенья, когда убили старую миссис Мерчи. Грета когда-то училась в школе при этом монастыре. Джин, охочая до приключений, поехала с радостью, ничего не ведая об обстоятельствах бабушкиной кончины. Там-то, в Льеже, прелестном, невинном городе, Джин встретится с сыном старого однокашника Греты, неким Полем восемнадцати лет, готовящимся к карьере еврократа, по собственному его выражению. В результате Джин родит ему ребеночка и станет жить с ним долго и счастливо; но это совсем другая история, верней была бы, не повлияй на судьбу Джин роковое убийство и та поспешность, с какой ее сплавили к боголюбивым монахиням в Льеж.

Маргарет была любимица Дэна. Свое пристрастие он молча скрывал. Дэн мог часами сидеть и просто смотреть на Маргарет. Куда она ни пойдет, глаза его провожали ее, покуда хватал взгляд. Любуясь ее цветущей юностью, он смотрел, как она склонялась над книгой. Он считал ее умницей, слишком оригинальной, чтоб быть оцененной по заслугам.

— Кто-то натравил на маму эту маньячку, — сказал Дэн Грете.

— Это, наверно, Магнус, — решила Грета. — Скорее всего. Там говорят, крыло Магнуса не сообщалось с опасным крылом. Да мало ли что они говорят, что им еще говорить?

— Он узнал, что завещание изменили.

— Значит, кто-то ему сказал, — сообразила Грета.

— Да, наверно, Маргарет ему сказала. Позвонила ему в заведение и сказала, что, наверно, ему приятно будет узнать, что завещание изменили, как он хотел. Он, конечно, обрадовался. Но если в этом деле замешана Маргарет, я просто потрясен.

— А я — нет, — сказала Грета. — И причем тут "если". Во-первых, она прислала Уотерса, чтоб поменять завещание твоей мамы в твою пользу, а потом сообщила Магнусу. Значит, уже замешана.

Маргарет объявилась в тот же вечер. Получила на несколько дней отпуск от этой своей росписи керамики в Глазго. Родители на нее смотрели со страхом, как бы впервые в жизни, не вполне узнавая. Дэн сказал:

— Мне только непонятно, как Магнус связался с той психопаткой? Ведь это Магнус, конечно, ее подослал.

— А что, если нет? — сказала Маргарет. — Как ты можешь возводить на дядю Магнуса такую напраслину? У тебя же нет никаких доказательств.

— Вот и я то же самое говорю, — сказала Грета, хоть говорила она совсем другое.

— Но ведь, — упорствовал Дэн, — она как раз изменила свое завещание, и Магнус это узнал.

— Но изменила-то не в его пользу, — сказала Маргарет. — Неужели непонятно? Бабушка его полностью исключила. И никто не может его обвинить в убийстве бабушки ради денег. В лечебнице говорят, он страшно подавлен. С постели не встает.

— Так ты связалась с лечебницей?

— Я — нет, но связалась полиция. И потом связалась со мной.

— Зачем? — вскрикнул Дэн.

— По поводу завещания.

— Ах ты, господи, — простонала Грета. — С этим завещанием мы же не виноваты. И почему бы, интересно, ей не поменять завещание? Сто лет прошло.

В полиции, по-видимому, тоже так думали или вынуждены были допустить такую возможность. Официальное расследование в Джеффри Кинге не дало ничего, кроме рекомендации о более строгой охране. Суда не было. Убийцу, не способную отвечать на суде, как, впрочем, вообще не способную к членораздельной речи, скорей не злодейку, а жертву, отправили в дом для умалишенных преступников. Пресса перешла к более насущным и волнующим темам и больше не поместила бы даже фотографии в связи с этим делом, не вздумай замужняя сестра Дэна, живущая в Кении, завещание оспорить. Она прилетела на похороны. И с ходу мобилизовала двух незамужних сестер на защиту теории о "давлении", оказанном якобы на ее мать на одре болезни заинтересованной стороной, то есть Дэном. Конечно, доказать против Дэна и Маргарет они ничего не могли. Сиделки в один голос показывали, что миссис Мерчи сама попросила Маргарет привести к ней мистера Уотерса, и мистер Уотерс сам изо всех сил настаивал, чтоб миссис Мерчи, будучи в здравом уме и твердой памяти, по собственному почину составила новое завещание. Дэн уладил дело по обоюдному согласию, как в любом случае собирался, а вот сестрицы обшаривали эдинбургский дом покойной матери, высматривали пожитки, таскали пожитки и распределяли между собой.

Дэн никогда не знал, о чем говорить с матерью. Он был в растрепанных чувствах. Проняло его на материнских похоронах только при виде гроба, при виде темного гроба, этого ящика. Ну, а теперь его потрясало, как дочери разграбляют ее добро — родные дочери, и одна прямо исключительно преданная.

— Неужели мы так и будем молчать? — сказала Маргарет. — Хорошо бы напомнить им о твоих правах.

— Да, хорошо бы. Но именно сейчас это выглядело бы плохо. У нас связаны руки.

Был конец октября. "Оказывалось ли давление?", "Магнус Мерчи: 'Маму не вернешь'" — гласили заголовки. Одна газета более приличного пошиба в редакционной статье указывала, что дни охоты на ведьм миновали. Травля семейства Мерчи никому не нужна. Ясно, что сын ее Дэн, заинтересованная сторона, не причастен к убийству. Столь же очевидно, что перемена завещания была более чем естественна в связи с болезнью несчастной миссис Мерчи: завещание не менялось уже пятьдесят лет. И что могло быть логичней, чем оставить состояние сыну, пребывающему в здравом рассудке? Что до трех дочерей покойной, предварительно решивших завещание оспорить, то те отозвали свой иск. Дело улажено по обоюдному согласию. И людям разумным, конечно, не следует долее докучать Мерчи в постигшем их горе.

Шум улегся к концу года. У Дэна разболелись глаза, чуть не по целым дням он ходил в темных очках, и это в шотландскую зиму. Грета заплатила долги по скачкам; выкупила брошь из залога и послала по чеку Флоре и Юнис, сетуя на их теток, которые, оспаривая завещание бабушки, их "буквально ограбили". "Подумать только, как много мы могли бы достичь всей семьей, не будь ваши тетки такими алчными. Маргарет изумительна. Не желает ни единого пенни тронуть из бабушкиного наследства. Говорит, ей так легче".

Шум улегся, и два года спустя, когда Харли Рид и Крис Донован затеяли свой званый ужин и друзья их судачили о новобрачных Уильяме Дамьене и Маргарет Мерчи, имя Мерчи лишь немногим туманно напоминало что-то когда-то мелькавшее в газетных столбцах. Мерчи, да, нечто в таком духе. Скандал какой-то, но возможно, между прочим, там были просто однофамильцы.

— Чего я ну никак не могу, — сказала Маргарет отцу, — так это наживаться на смерти бабушки.

Дэн глянул на дочь сквозь темные очки, как кролик глянул бы на горностая: смятенье, тоска, страх. Если бы она зарилась на деньги бабушки, теперь его деньги, это бы хоть можно было понять. Но вот прекрасная Маргарет — пожалуйста, очищалась от любого упрека. И в чем ее упрекать? Дэн чуял, нет, не умом понимал, это у него сидело в печенке, что она подослала ту сумасшедшую к своей бабушке.

— Я ни единого пенни не трону, — сказала Маргарет. Дэн обомлел. Он понял: дочка не шутит.

Снова Магнус явился в Сент-Эндрюс в своем попугайском наряде.

— Пошли пройдемся, — сказал Дэн; такое у них не водилось, Дэну не хотелось, чтоб его увидели вместе с расфуфыренным братом. Кому захочется? Только одной Маргарет. Той все равно, что нацепляет на себя дядя Магнус.

Они владели полоской леса, узкой, но длинной. Грета в окно смотрела, как они бродят среди деревьев. И Магнус вспыхивает синим, красным. Она думала: пора бы Дэну, когда финансы, слава богу, в порядке, отставить Магнуса от этой роли гуру и путеводителя. Со стороны Дэна тут просто слабость; безумие. Нет, вообще они психически неустойчивая семья, эти Мерчи.

Но Дэн, бродя с братом по сырости возле пруда, обсуждал с ним не что иное, как Маргарет.

— Ты считаешь ее способной убить маму?

— Я считаю ее способной на все! — взревел Магнус. — Очень способная девочка, полная сил и талантов.

— Но убийство? Подстроить убийство? Подослать кого-то еще?

— А-а, это уж точно, смею сказать.

— Магнус, я ничего абсолютно не понимаю. Это кошмар. Теперь она отказывается брать у нас деньги. Не хочет прикасаться к бабушкиным деньгам, ни к единому пенни.

— Конечно, она же девушка с высокими принципами. Я ничего другого и не ожидал.

— Иной раз я думаю, Магнус, верно ли ты нам советуешь.

— А кто у вас есть еще? — громыхнул Магнус. — Паршивенькие адвокаты, занюханные банкиры из Лондона. Разве это нужно шотландцу!

— Магнус, пожалуйста, не кричи. Говори потише.

Магнус понизил голос.

— Кто есть у тебя, — сказал он, — кроме меня? По недугу моему, по моим скорбям дан мне дар предвиденья и пророчества. Мой божественный недуг — единственный ваш водитель. Помнишь балладу:

Иду к воде сырой тропой,
И ворог мой со мной,
И ворог мой со мной.

— Наверно, — сказал Дэн, — ты не способен быть другом. Может, на самом деле, ты злейший наш враг. Может, так оно и есть.

— Вне всякого сомненья, — сказал Магнус. — Семья дело темное.

— Я вот все думаю, — сказал Дэн, — а вдруг Маргарет сумасшедшая?

— Нет, вероятно. Ну, может, унаследовала от меня кой-какую безуминку. А не пора ли нам выпить?

— Да, и потом я сразу же тебя отвезу обратно.

8

Возможно, не было во всем Лондоне ничего симпатичней, чем прелестная любовь Харли Рида и Крис Донован. Оба считали, что брак для них только все бы испортил, и, конечно, не ошибались. Харли был и отдаленно не так богат, как Крис; будь он мужем, он бы комплексовал, ощущая себя младшим партнером; а так вопрос — больше, меньше — вообще отпадал. Крис, со своей стороны, чувствовала себя моложе при таком положении дел, замужем она уже побывала и привыкла всегда иметь рядом мужчину, с которым можно поговорить, разделить компанию, но теперь она была вдова, богатая притом, и ей нравилась роль холостячки, благо под боком был Харли. С ним она никогда не скучала. Он здорово от нее зависел, она материально его поддерживала в карьере; он, между прочим, был не великий художник, как-то он чересчур был мыслитель, чтобы стать полнокровным, истинным живописцем, хоть и не то чтоб он был великий мыслитель; он был интересный человек, не лишенный таланта. Связь его с Крис длилась семнадцать лет, и все у них

шло как по маслу ко времени задуманного званого ужина, продолжавшего ряд званых ужинов, какие они задумывали и давали.

— А помнишь, — сказал Харли, — тот ужин, какой был у нас... пятнадцать, что ли, лет назад, да?.. Когда та девица, откушав, встала и, воздев руки к небу, призвала на нас благословение Божие? Потрясающее представление.

— И был еще чилийский посол, — сказала Крис. — Ты-то не видел его лица, а я видела.

— Видел я его лицо, видел. Но как же ее звали?.. — задумался Харли.

— Беатрис... Беатрис... Уейдемакер. Нет, Рейдемакер. Да, дочка того Рейдемакера, помнишь?

— Угу. И дело-то было в семидесятых, в середине семидесятых, в моду вдруг опять вошло боговдохновение. Встала и говорит: "А теперь, я считаю, пора помолиться Господу, дабы он всех нас по очереди благословил". И давай всех нас выкликать поименно, помнишь?

— Нет, только некоторых. Очевидно, имен не знала. Но руки возлагала на всех поголовно.

— В сущности, — заключил Харли, — в ее образе действий не было ничего преступного.

— Ты так считаешь? Но если я правильно помню, тогда тебе это понравилось не больше, чем мне.

— Тогда — конечно, тогда — конечно, — Харли не спорил. — Но теперь, оглядываясь назад, говоря абстрактно — был элемент отваги в этой девице. Интересно, куда она подевалась...

— А я не могу восхищаться религией, которая вгоняет в краску и расстраивает людей. Кто спорит с тем, что она говорила, вот только время и место были не очень удачно выбраны.

— Совершенно согласен, — Харли улыбнулся, потом прибавил: — Боже, какой это был кошмар.

— Ну правда же? Конечно, есть эта притча в Библии, насчет того, что кого-то там посылали на распутия, чтобы созвать гостей. Там у хозяина не заладилось что-то, никто к нему не хотел идти[1]. Интересно, а если бы нам так?

— Выйти на улицу и приставать к каждому встречному: приходите на ужин. Арестовать могут.

— Может, будет еще несколько студентов, — вслух размышляла Крис. — Такие, не дотягивающие до среднего класса. Поинтересней и понеожиданней, чем высший класс.

— Ты, наверно, права, — сказал Харли, он в прошлом знавал студентов. — Может, они не отличаются тонкостью застольных манер, зато вызывают скорей симпатию, и с ними куда веселей.

— Да, и вот у меня, — раздумывала Крис, покуда утекал лениво воскресный день и дождь хлестал по стеклам, — низшие классы всегда вызывают больше симпатии: когда я перебираю прошлое, кухарок, зеленщиков и портних я вспоминаю с большим теплом, чем моих светских знакомых. Билл был богат, конечно, и муж прекрасный. Я тосковала по Биллу, когда он умер. Но то же любовь была, это разница. Я говорю про симпатию.

1. Весьма вольный пересказ Евангелия от Матфея. 22:3–9.

— Ну да, — сказал Харли. — Вот, например, этот ужин: я с теплом отношусь ко всем, кто приглашен. То есть почти ко всем. Я едва знаком с Хелен Сьюзи, а с Маргарет Дамьен вообще почти незнаком, и все равно эта Маргарет из головы у меня не идет со своими угрожающими зубами и этой своей философией для бедных родственников — Les Autres.

— А ты бы ее нарисовал, — предложила Крис.

— Я за последние годы ни одного портрета не написал. Разучился, наверно, — сказал Харли, но без особой уверенности, так что Крис показалось, что он, может быть, и не прочь переспать с Маргарет. Крис и не подумала обижаться. У самой у нее была интрижка с одним французским дирижером, она с ним почти каждый раз встречалась, наезжая в Париж; у нее там квартира, он оставался. Но настоящая жизнь у нее здесь, с Харли, а у него — с ней.

— Хильда уверена, — сказала она, — что Уильям не случайно заметил Маргарет, она сама все это подстроила.

— У Хильды преувеличенное представление об обаянии сына, должен сказать, — проворчал Харли.

— Ну почему, на брачном рынке он должен котироваться. Она все, почти все оставляет Уильяму. Он старший сын. Все ему пойдет, получит после Хильдиной смерти. Она сочла, что так будет лучше. Сама мне говорила. Так что не скажи. Наживка для девушки.

— Долгонько ж придется им ждать. Хильда цветет. Она будет жить вечно.

— Дай-то бог. Но она на самом деле волнуется из-за этой своей невестки. Как-то подозрительно, что они встретились во фруктовом отделе "Маркса и Спенсера" совершенно случайно. Может, и правда она его околпачила. Может, заранее нацелилась на него.

— Послушай, — сказал Харли. — ну заговорила она с ним. Он не обязан был отвечать, не обязан знакомиться. Между прочим, ты хоть себе представляешь, что весьма редкие из нынешних юных пар сперва дожидались, когда их друг другу представят?

— Да знаю я все это, знаю. Но Хильда же моя старая подруга, Харли. Она говорит, как-то все было странновато в Файфе[1] во время свадьбы. Хоть вроде бы и не придерешься.

— Ну, это Шотландия. Там все семьи странные, очень странные.

— Хильда говорит, — Крис вела свое, — что они, в общем-то, уж не такие и странные. Даже как-то чересчур все у них тютелька в тютельку.

— Она считает, что они охотятся за ее деньгами, за ее сына деньгами. Позволь тебе заметить, — объявил Харли, — вы, богатые дамы, вечно все меряете на деньги. Вас послушать, так можно подумать, вам не хватает средств. Вечно вы рассуждаете, кто на ком женился и каков капитал.

Крис спорить не стала, хоть обвинение было не очень-то справедливое. Она могла обсуждать очень много разных других интересных вещей, что обычно и делала. Она только сказала:

— Но это же так увлекательно, Харли, нет, ты только подумай, хоть отдаленно себе представь: а вдруг против молодого человека и его матери плетутся козни. Сам ведь говоришь, эта Маргарет странная.

1. Файфа — одна из провинций Шотландии.

— Странная, да. Очень странная даже.

Было время выпивки. Сопряжение понятий в беседе стало несколько сложным. Он сетовал, что весь день даже близко не подходил к мастерской.

— Воскресенье же, — утешала она, будто это хоть что-нибудь объясняло.

Он туманно оглядел каминную полку.

— Обожаю Армию спасения, — заметил он без видимой связи с предшествующим.

— Крем "Нивея", — сообщила Крис, потягивая водку с тоником, — это у меня как "мадлены" у Пруста[1]. Только потому им и мажусь. Исключительно дорог как память.

— А знаешь, — вспомнил Харли, — у этих шампанских виноделов, в семье Ферранди, одного из кузенов жена угробила, жахнув по голове бутылкой шампанского своей же собственной марки. Эти французы дико тяжелые делают бутылки. Для шампанского в частности.

— Хелен Сьюзи и Брайан точно будут, — сказала Крис. — Интересно, сколько продлится их брак?

Люк в это воскресенье наведался к Крис по поводу своей работы официанта на предстоящем ужине. К ее удивлению, он явился с цветком, единственным долгоствольным, большущим желтым георгином.

— Как это мило с вашей стороны, Люк, — сказала она, — просто восхитительно.

Она с ним беседовала в уютной гостиной, на самом деле такой буфетной при кухне.

— Вы ведь, кажется, аспирант искусств? — сказала она.

— Нет, истории, мэм. Прохожу аспирантуру в Лондонском университете.

— Я так восхищаюсь вами, американцами, что, пока учитесь, не брезгуете грубой работой.

— Привычка, мэм, — стараемся, пробиваемся собственными силами. Не надеясь только на гранты. И часто я даже удовольствие получаю. И потом, в конце концов это ж окупится — богатейший опыт, видишь столько разных семей, столько разных домов.

— Вас порекомендовал Эрнст Анцингер, друг мистера Рида. С вашей стороны очень любезно, что согласились нас выручить. Я думаю, вы отличный официант, будет чем похвастаться, когда вы возглавите кафедру истории в престижном университете. Эрнст называет вас Люком. Как прикажете вас называть?

— Просто Люк, — сказал Люк.

Крис пленила его улыбка, смуглая красота, раскованность. Она подумала: гораздо приятней было б его видеть в числе гостей за столом, чем нанимать официантом.

Он ей поведал, как это водится у молодежи с ее беспорядочно широкими планами, что намерен поехать в Китай, как только дела позволят, в Южную Америку, в Северную Африку, в Россию — возможно, учиться

1. Герой Пруста, стоило ему надкусить печенье "мадлен", вспоминал детство. ("В поисках утраченного времени", том 1, "В сторону Свана", глава 1, "Комбрэ".)

или преподавать. Турция, Средний Восток. И не то что одно за другим, а все сразу — "этим летом".

Вошел повар с Маврикия, Корби, маленький, юркий, с виду лет тридцати, как и было ему, на ходу надевая колпак, завязывая тесемки фартука. Завязал и подал ладонь Люку.

— Хоспис в данный момент отсутствует. Но он в курсе, что вы придете помогать.

— Хорошо, — сказал Люк.

— Вы, наверно, знаете этих Сьюзи, — сказал Корби с некоторой величавостью. — Лорда и леди Сьюзи?

— Ну, слышал, — сказал Люк.

— Я вас оставлю, вы разговаривайте, — сказала Крис. — Значит, до восемнадцатого.

— Чего налить? — спросил Корби. — Пива? Чашечку кофе?

— Спасибо. Ничего не надо. Хоспис — это дворецкий?

— Ну, дворецкий. Дворецкий, в общем-то не очень он дворецкий, когда под ним нет штата прислуги и рядом нет экономки. Это как генерал без армии. Из нас и взвода не наскребешь. Но у Хосписа образованье дворецкого. Лично я обучался в Берне и в Лионе.

— Я хотел бы повидать Хосписа, — сказал Люк. — До этого ужина.

— Э, чтоб на стол подавать, это не обязательно. Столовую я сам покажу. Значит, слыхал про Сьюзи? Они тут будут на ужине.

— Надо знать интересных людей, — сказал Люк. И он сказал: — Мне пора. Может, я еще завтра как-нибудь заскочу, послезавтра, повидать Хосписа. Какое время удобней?

— Пять часов, — сказал Корби. — Пять часов для всех и всегда самое удобное время. Проведя, вот как я, чуть не три года в Лионе, такое уж будешь знать.

— Ладно, — сказал Люк, — запомню. Кажется, Анцингеры тоже будут на этом ужине, знаете их?

— По имени, — сказал Корби. — По имени. Хоспис их видел конечно. Еще тут в списке — Дамьены. Мультимиллионеры. То ли муж с женой, то ли мать и сын, точно не скажу.

— Ну, пока, Корби, — сказал Люк.

— Пока, Люк.

Простились они ненадолго, ибо Люк вошел черным ходом в пять часов на другой день. Он застал Хосписа и под тем предлогом, что хочет ознакомиться с точным расположением подсобного стола и буфета в столовой — прямо-таки репетиция, — смог получить куда более детальную информацию о гостях, чем получил от Корби.

— Люди по фамилии Сьюзи, — сказал Хоспис. — Лорд и леди. Потом люди по фамилии...

— Вроде, их уделали, этих Сьюзи, — сказал Люк.

— Можно сказать, — сказал Хоспис. — Это те люди, к которым они залезли. Они были наверху, спали все время, не то чтоб из Лондона отбыли, хоть и планировали, но они все подчистили, кроме одного пункта. — Люка, кажется, ничуть не смущала столь разная соотнесенность местоименья "они". Он, очевидно, знал, кого имеет в виду Хоспис. — Они, — продолжал Хоспис, гордо высясь в синей гостиной Крис Донован, — оставили на стене картину раннего Фрэнсиса Бэкона, а взяли какое-то зеркало.

Идиоты. У них был один багажник, они, говорят, хотели, чтоб влезло. Они, когда увидели, что ограблены, не нарадовались, что картина цела.

Повар Корби сунулся в дверь столовой.

— Шеф? — сказал Хоспис.

— Нет, я ничего, — сказал Корби.

— Я тут разъясняю нашему юноше, — сказал Хоспис, — рельеф местности в связи с предстоящим ужином.

— Небось не банкет, — сказал Корби.

— Банкет не банкет, — сказал Хоспис, — а для меня это повод. Я выкладываюсь по всякому поводу.

— Думаю, я разберусь, — сказал Люк.

— Ему надо знать, кто есть кто за столом, — объяснил Хоспис повару.

— Зачем это? — удивился Корби. — Каждому по тарелке, тарелки небось одинаковые. Если только кто на особой диете.

— Я разберусь, — сказал Люк, явно нервничая.

— Раз вы считаете, что вы разберетесь, зачем вам понадобилось возвращаться для встречи со мной? — проговорил Хоспис очень холодно, очень надменно. — Мистер Корби, будьте так любезны.

— Чего? — сказал Корби.

— Позвольте мне как следует объяснить нашему юноше его обязанности в соответствии с особенностями приглашенных персон.

— Это еще зачем? — сказал Корби. Однако же ретировался. Миссис Донован и мистер Рид ценили Хосписа, они уважали его надменность. Такие манеры в дворецком дорогого стоят, они на вес золота, такие манеры.

— Ну вот, — продолжал Хоспис, когда убедился, что повар не услышит, — еще одна пара будет в это время на ужине и, стало быть, вне дома, — по фамилии Анцингер.

— Я знаю Анцингеров. Элла дает мне работу. Это она меня сюда и послала.

— Их местоположение?

— Подходящее. Но ничего особенного. Не стоит рисковать со знакомыми.

— Мистер Роланд Сайкс. Холостой. Денежки водятся. Вещички могут представлять интерес. Еще молодожены, по фамилии Дамьен. Да, вы провентилируйте у вашего начальства насчет этих Дамьенов. Мамаша — мультимиллионер. Точно не знаю, но, кажется, тоже будет иметь место на ужине. Если она представляет интерес — а как ей не представлять интерес, — дайте знать. А я вам список адресов предоставлю.

Люк выступал всего-навсего в роли осведомителя. Сначала он в самом деле просто помогал на банкетах, по найму — от обслуживающих фирм или частных лиц. И он в самом деле был аспирант современной истории. Но пару месяцев назад, на загородной шикарной свадьбе, к нему подошел другой официант.

— Хорошо бы, — говорит, — иметь списочек этих гостей и их адресочки. Все сегодня долго не будут дома. Такой списочек на уйму денег потянет.

Люк было растерялся, но живо сообразил что к чему. Загрузил поднос шампанским и апельсиновым соком, готовясь циркулировать с ним по залу. Посмотрел на своего напарника, окинул взглядом сотни гостей.

— Денежная публика, — сказал Люк.

— Ну! — сказал напарник из-за покрытого белой скатертью столика. Там он специальным обслуживанием занимался. "Виски с содовой, сэр? Это мы мигом. Какой марки?"

В ту субботу после загородной нескончаемой свадьбы Люк на машине вернулся в Лондон вместе со своим новым дружком, тот велел называть его Гарнет. Пошли в клуб, поесть и расслабиться. Там и узнал Люк про точные цены, какие положены за список с хорошими именами — пусть там даже одно имя будет — тех, кто присутствует на банкете и, значит, сейчас не дома. Люку с Гарнетом и еще кой-кому из самых верных людей в компании, хвастал Гарнет, плата гарантирована, даже пусть и не пригодятся те имена. "Сплошь да рядом, — откровенничал Гарнет, — дело пахнет керосином. Слуги, сторожа, собаки. Сигнализации хитрые. Эти сигналы — они прямо в полицию идут, в доме не слышно, чтоб полицейские успели замести дураков. Нас не касается. Или, например, в последнюю минуту кто-то взял и не пошел на банкет. Не наша забота. К нам не относится. Даешь список — имеешь деньги. И все под честное слово, учти, все устно, чтоб улик никаких. С такой свадьбы, например, я скажу, списочек грандиозные деньги стоит. Ну, кто-то уже подсуетился, ясное дело. Но даже, я скажу, пусть будет и дубликат, список есть список, и хозяева раскошеливаются. Любят поощрять. Щедрые, я скажу".

Как и предсказывал Гарнет, они были щедры с Люком. Он слишком был далеко от поля действий, чтоб чувствовать угрызения совести. Элла и Эрнст, так сказать, головой ручались за Люка. Запирать ничего не считали нужным, когда в доме Люк. И были правы. Они понятия не имели, как Люк процветает.

— Люк, у меня есть друг, художник Харли Рид, а его спутница жизни — очаровательная Крис Донован. Они устраивают званый ужин. Мы там будем. Не пожертвуешь ли своим вечером, чтоб помочь за столом?

— Возможно, — сказал Люк. — Надеюсь, я буду свободен.

Элла сделала вывод, что он, конечно, не откажется от этой работы. Он никогда не отказывался.

Вот только эти часы, эти страшно дорогие часы их заставили призадуматься, хоть думали они оба неправильно, тотчас дружно придя к заключению, что Люк получил эти драгоценные часы в оплату сексуальных услуг.

Хелен Сьюзи писала своей подруге, дочке Брайана Сьюзи:

Дорогая Перл,

Брайан, конечно, тебе уже расписал про то, как нас ограбили. Сама понимаешь, он дико расстроился, даже чересчур расстроился, по моему скромному мнению. Знаю, и ты ведь предупреждала, он принадлежит к другому поколению, они все помешаны на своем барахле. С собой же его не возьмешь. Перл, иногда мне кажется, я с ума схожу. Он говорит, что его изнасиловали, как он, собственно, это себе представляет? Вообще-то, в сложном психологическом смысле, он хочет, чтоб его изнасиловали, говорят, все мы хотим!!! Кажется, я понимаю твою маму, когда она была за ним замужем. Но это тоже ведь другое поколение. Конечно, мне и самой жалко наших вещей, и они же на все кругом помочились. Но со стенами все равно что-то надо было делать. И обивка на этих креслах меня не устраивала. Оказывается, целая шайка шурует в окрест-

ностях Лондона, какой-то в Далидже дом, большой дом в Уэмбли. Хозяев не было дома, но они ранили слугу, до сих пор в больнице лежит. Полиция говорит, это та же самая шайка, которая к нам заявлялась. Там знают, наверно. Мы были в постели. Нас могли убить. Они, кажется, вообще пронюхивают, кто когда идет в гости или в театр. Кстати, очень важная вещь, Брайан тебе, конечно, расскажет — они оставили на стене картину Фрэнсиса Бэкона, дико ценную. Он теперь висит на телефоне, хочет возместить наши потери и прочее, поэтому я тебе не звонила. По моему скромному мнению, нам бы не мешало еще потратиться, чтоб прийти в себя, скажем, съездить в Венецию. Брайан говорит, в Венецию — почему бы нет, так что я, может, его дожму. Нам предстоит пару раз выходить в люди, так что нас не будет дома. Он завел сигнализацию по углам, она электронно мигает, везде, кроме спальни. Я на нее наступаю ногой. Представляешь?

А что с тем мальчиком, которого ты тогда подцепила на поэтическом вечере? В Лондон уехал? Не объявлялся? Значит, до Рождества никак не выберешься? Тут столько всего творится, куда там ООН. Купи мне в Саксе, если там еще есть, баночку Реннета, формула двадцать три. Заплатишь моей кредиткой. Скорей бы уж ты приехала. Беатрис, первая леди Сьюзи, еще до твоей мамы, весьма официально позвонила насчет этого грабежа, узнав о нем из газет, и учила меня жить. Весь фарфор и так далее, оказывается, ее собственность. Я сказала, что немного поздновато все это обсуждать, и лучше ей написать Брайану или его адвокату. Пусть удавится, с этим своим фарфором. Не стану я говорить Брайану, что она звонила. Зачем его еще больше расстраивать?

Тысячи поцелуев. Пиши.

Хелен.

9

Лондонская сквозная улочка, недалеко от собора Святого Панкрата отбегающая от Грейс-Инн-роуд, в два часа пополудни была не слишком оживлена. Трехэтажное строение девятнадцатого века в себе ютило скромный англиканский монастырь Богоматери Доброй Надежды. По этой улочке, короткой и узкой, ездить не разрешалось. Обычные пешеходы были здесь адвокаты и клерки, срезавшие путь. Маргарет Мерчи, явясь тем не менее на мопеде, поставила его на мостовой и нажала кнопку звонка. Ей было назначено собеседование, как будущей послушнице. Один священник епископальной церкви в Шотландии похлопотал за нее.

Вскоре после убийства бабушки в Колтонском доме престарелых Маргарет как-то примолкла; и еще она исхудала и побледнела. Шум улегся, тетушки Маргарет хапнули свою добычу и смылись, отец мог спокойно распоряжаться наследством. Но Маргарет ни под каким видом не желала прикасаться к деньгам. Она довела это до общего сведения. Семью и знакомых поражало ее поведение. Молчаливость Маргарет, ее бледный, унылый вид глубоко тронули и сослуживцев по мастерской керамики в Глазго. Теперь выяснялось, что все ей соболезнуют. Даже сестры, каждая на свой лад, выражали сочувствие к ее мукам и сожалели о том зле, какое все вокруг наносили ей своими тайными подозрениями. Только один Дэн Мерчи, очарованный и ошеломленный дочерью, против воли гадал, что она такое затеяла, в общем, сам себе в этом не отдавая отчета.

"Я всегда говорила, писала Флора в письме к матери, что одно с другим абсолютно не связано. Сама теперь видишь — Маргарет никакого

отношения не имела к тому несчастному случаю. Но я должна закругляться, скоро в постель, пора принимать ванну". Юнис писала: "Такое облегчение для нас с Питером, что этот скандал в конце концов сошел на нет. Это могло ужасно на мне отразиться в моем положении. Бедную Маргарет так подолгу мытарили в полиции и так часто. И вот теперь, ты говоришь, она выглядит больной. Ничего удивительного. Нам с Питером тоже пришлось хлебнуть".

На звонок Маргарет открыла монахиня, молодая женщина в бледно-сером платье модной длины и в сером с белым монашеском покрывале.

— Мне назначено, — сказала Маргарет, — к сестре Строг.

— Она вас ожидает. Если это ваш мопед, пожалуйста, введите его во двор. Одну минуту, я только возьму ключ.

Входная дверь была снова тщательно заперта, монахиня скрылась, но через несколько секунд опять показалась с большим ключом, и была отперта боковая дверь. Маргарет ввела мопед во двор, совершенно пустой, если не считать пикапа на шестерых.

— Сюда, пожалуйста, мисс Мерфи, — сказала монахиня.

— Мерчи, — поправила Маргарет.

— Ах, простите, мне показалось Мерфи. Вот сюда.

Маргарет приходилось слышать, что в монастырях пахнет воском. Заметив, что перила и ступени сияют, она заключила, что мускусный запах, разлитый в воздухе, запах воска и есть. На самом деле, пахло аэрозолью, что нисколько не умаляло, конечно, здешнего строгого монастырского духа. Веревочная циновка заменяла ковровую дорожку на лестнице. Маргарет ввели в тесную гостиную, где были мышино-серые пластиковые стулья, круглый стол с кружевной салфеточкой, на которой стояла ваза из цветного стекла с розами, и бюро, где теснились картонные папки с разлохмаченными бумагами, толстая телефонная книга Лондона и черный телефон. На двух окнах висели нехитрые нейлоновые занавески и по бокам — грубые зелено-бурые шторы.

Маргарет как можно живописней устроилась в кресле, склонив голову набок и одну руку покоя на его спинке. Вошла немолодая женщина в таком же сером коротеньком платьице и под веющим покрывалом. Она пыхтела так, будто страдала одышкой.

— Мисс Мерчи? — сказала она. — Я сестра Строг, заместитель игуменьи. Наша Высокочтимая Матерь в постели, плохи ее дела. Нам всем приходится за нею ходить. — Она перевела дух, прижала руку к сердцу. — Должна вам признаться, — сказала она, — я слишком много курю.

— Разве в монастыре это разрешается? — удивилась Маргарет.

— О господи, а как же. Мы весьма современный орден, знаете ли. Мало кто понимает, как еще держится АЦ[1]. Там они воображают, что поныне господствуют их одряхлевшие догмы; что репрессивная колониально-миссионерская система высших классов может донести нашу весть о Доброй Надежде до третьего мира. Маркса читали? Нет. Могут они понять весть его, посылаемую тяжко трудящимся массам? Нет. Мы, Орден Доброй Надежды...

— Позвольте! Может, стакан воды? — Маргарет вскочила со стула, ибо страдающая эмфиземой монахиня тут принуждена была прервать

1. Англиканская церковь.

свою речь самым плачевным пыхтеньем и свистом. Сестра Строг отмахнулась от предложения Маргарет и ухватилась за край стола, стараясь прийти в себя.

Наконец пришла.

— Благодарю, — сказала она Маргарет. — Жест помощи сам по себе говорит о доброте души. Я получила письмо от его преподобия мистера Ума, и он, конечно, в нем разъясняет ваш случай. Вчера, после вечерних молитв, я прочитала это письмо нашим сестрам. Нас здесь всего девять, включая болящую игуменью. Мы все решили молиться, чтобы вы нам подошли как послушница. Мало кто имеет истинное призвание в нашу эпоху золотой молодежи и мрачной власти капитала. Вы, я надеюсь, имеете. Вы *призваны*. Я прямо могу сказать: вы *призваны*.

— Я чувствую себя призванной, — согласилась Маргарет. — Это такое исключительное чувство.

Как ни грустно об этом свидетельствовать, но из девяти монахинь подле Святого Панкрата лишь три представляли существенный интерес, и как раз эти три были абсолютно беспринципны. Остальные шесть были благочестивы, сознательны, а две из них так даже очень положительны, но все эти шесть были мрачны, как смертный грех.

Маргарет в роли послушницы в монастыре Доброй Надежды делала большие успехи. Орден видел свою миссию больше в общественном служении, но поскольку круг их был узок и скудны средства, приходилось ограничиваться посещением больниц. Утренняя литургия состояла из читки псалмов и молитв. Дальше все утро уходило на уборку, покупки, стряпню. После обеда, очень скромного, с горячей водой на запивку, они посещали пожилых пациентов, которых, за неимением родных и знакомых, больше было некому посещать.

Маргарет приносила пользу тем, что экономила на покупках. На своем мопеде она гоняла в Финсбери и в Кларкенуэлл, где лавки куда дешевле и ненамного хуже продукты.

Дорогой папочка,

жизнь здесь хорошая, и, кажется, у меня есть призвание. Все дело в том, что надо думать о les autres. Да, ну конечно, тебе можно будет приехать и меня повидать. Но пока еще рано.

Сестра Строг замещает мать игуменью. Она левачка, как ты бы сказал, но это результат того, что она думает о les autres. Поглядел бы ты на старцев и старушенций в больничных палатах, сразу бы сам полевел.

Сестра Пэннис здесь имеет большой вес. Она Глава послушниц. У нее буйный художественный темперамент, иногда она бьет стаканы, расставленные по столу в трапезной. Нам дают за обедом теплую воду, с каплей шерри по воскресеньям, когда после службы заходит викарий. Да, возвращаясь к сестре Пэннис. Она известна как монахиня-матерщинница, большая поклонница трехбуквенного словца и подобных коротеньких слов. Сестра Строг смеется, ее слушая, и мне это понятно. Сестра Рук — классный водопроводчик, ты себе не представляешь, какой на нее спрос. Сам епископ за ней послал, когда во всем Лондоне не нашлось водопроводчика, такого, во всяком случае, чтоб разбирался в этих древних трубах. У других монахинь, боюсь, не все в порядке с IQ, мне, по крайней мере, так кажется. Но ничего, разносят себе по больным корзинки с гостинцами, как Красная Шапочка, разве что на голове у них серое, как у нас

у всех. Сестра Рук до трехбуквенных слов не опускается и, как всякий уважающий себя водопроводчик, предпочитает им двух- и трехэтажные конструкции.

Сестра Строг в бешенстве из-за того, что епископ прислал словарь сестре Пэннис. Ему якобы дали понять, что ей не хватает слов, она затрудняется в выборе выражений. Что-то такое он написал. И он, мол, рекомендует ей ознакомиться со словарем и заглядывать в него, когда от нее ускользает точный эпитет. У нас по поводу этого письма было совещание. Сестра Строг написала в ответ епископу, что он нам нанес оскорбление. Написала, что слова из трех букв — живая кровь городских жил, средство общения народа, стимулянт полового чувства, возбудитель и неотъемлемая прерогатива пролетариата. А сестра Пэннис приписала в постскриптуме: вам бы яйца оторвать, епископ, вы говноед и мудак. Я сама отправляла письмо. И ничего этот епископ нам не сделает. Сестра Строг говорит, англиканской церкви никакими средствами не остановить победной поступи марксизма.

Старая мать игуменья прикована к постели. Такой трагический случай.

Целую маму и всех.

Маргарет.

Письмо показали Магнусу после обеда в ближайшее воскресенье. Он был весь в твиде и в войлочной шляпе, которую и в комнате не снимал, когда холодно.

— Насколько я понимаю, — сказал Магнус, — то, что она пишет, правда. Но кое-что, возможно, и плод богатого шотландского воображения. Все Мерчи издревле были большие ругатели, матерщинники и сквернословы; так они себя зарекомендовали по обе стороны Границы[1]. Могу процитировать источники.

— Я и не думал, что отчет ее не соответствует действительности, — сказал Дэн. — Мы с Гретой именно поняли, что она снюхалась с чокнутой публикой.

— Несомненно. Но поскольку она еще не оправилась от удара, из-за ее расстроенности все разрастается в ее глазах вдвое и втрое.

— Конечно, это монашество у нее ненадолго, — сказал Дэн. — Скоро она сбежит. Но все же, как иллюстрация к тому, что порождают эти церкви, письмо не кажется особым преувеличением. Один мой знакомый живет в Суффолке, так у них епископ носит серьгу в одном ухе, и дружок его прислуживает в алтаре, а на нем золотое, прямо-таки ослепительное облачение, подбитое черным атласом. И эти епископы ничего с ним не могут поделать, да и сами небось не лучше.

— Ох, не нравится мне, что старая мать игуменья лежит больная на чердаке, — сказал Магнус.

— На чердаке? — Дэн поднял письмо к глазам и в него вгляделся. — Тут ничего не сказано про чердак.

— Похоже, что на чердаке, — сказал Магнус. — Надеюсь, со старушкой ничего не случится.

— О господи! — сказал Дэн. — О господи!

— Горячая вода по будням и капля шерри по воскресеньям, — вспомнил Магнус, когда Грета внесла на подносе виски, воду и два стакана.

— Тебе на посошок, Магнус, — сказала она.

1. То есть между Англией и Шотландией.

— Я вот тут Магнусу показываю письмо от Маргарет, — сказал Дэн. Магнусу он налил неразбавленного виски, себе — с водой.

— Не увлекайся, — сказала Грета.

— Магнус как раз поднял вопрос о том, правда ли то, о чем пишет Маргарет, — сказал Дэн.

— Ах, ну конечно же правда, — сказала Грета. — Один наш знакомый живет в Суффолке, так ты себе просто не представляешь, что там у них творится. Епископ ходит с серьгой в одном ухе и...

— Дэн мне только что рассказывал, — перебил Магнус. — Правда это или нет — абсолютно тут ни при чем, вот что я вам скажу. Факт тот, что мы совершенно не знаем, как Маргарет распоряжается своей жизнью по ночам. Лично я не могу себе представить, как это Маргарет ложится в десять часов в постель.

— На этот счет она совершенно чиста, — сказала Грета.

— Чистота совершенно тут ни при чем. Факт тот, что безумие часто облекается в форму религиозного фанатизма, — объявил Магнус, нимало не смущаясь тем, что это соображение можно отнести и к нему. — Что ни говори, — продолжал он, — Маргарет ведет свой род от Мерчи, ковенанторов, отринувших власть епископов[1]. Как сказано в писании, во Второй книге Царств, 9:11: "...все, что приказывает господин мой царь рабу своему, исполнит раб твой". Вот о чем вам стоит поразмыслить: Маргарет служит божественной воле. И еще сказано, в Притчах 26:17: "Хватает пса за уши, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую ссору". Сами соображайте. — Магнус сглотнул свой виски и опять потянулся к рюмке.

— Больше не надо, Магнус, тебе вредно, — сказала Грета. И у нее был безумный взгляд.

— Тебе пора, Магнус, — сказал Дэн и встал. Магнус грузно поднялся, хихикая про себя. Он поплелся за Дэном, но на пороге гостиной повернулся и сказал Грете:

— Ты хоть что-то знаешь про гипноз? А ведь он в основе ворожбы. Вспомни Орфея с его кифарой.

— Ну пошли, Магнус, — сказал Дэн.

— Да, до свиданья, Магнус, — сказала Грета.

Вскоре после поступления Маргарет в монастырь телевидение Би-би-си явилось делать передачу о монахинях Доброй Надежды. Предварительные переговоры уже велись три месяца назад между матерью игуменьей и режиссером программы, юной дамой с длинными светлыми волосами и хватким голубым взглядом, в темной юбке по щиколотку и тяжелых башмаках. Мать игуменья, тогда в полном здравии и по моде в коротенькой юбочке, показала ей помещение и дала исчерпывающий отчет о том, как проводят свое время сестры. Рита Джонс, молодой режиссер, была представлена коллективу из девяти монахинь. Она делала обильные пометы в своем ноутбуке.

— Само собою, мисс Джонс, — объясняла мать игуменья, — мы не скроены по одному лекалу, как это водилось в более древних монашеских орденах. Мы предельно индивидуалистичны в своих вкусах, в своих характерах, по судьбе, по взглядам на жизнь и общество, включая религию и политику.

1. Ковенанторы — партия строгих пресвитериан в шотландской церкви. Они признают только авторитет Библии, которой должны повиноваться и церковь, и государство.

Мисс Джонс и это внесла в свой файл.

— Были слухи, что ваш коллектив может отложиться от Англиканской церкви. Это реально?

— Ох, это реально, но не так скоро, — вставила сестра Строг, смекнув, что суть вопроса в том, стоит ли торопиться с программой, если монастырь того гляди перестроится.

— Сестра Пэннис — она Глава послушниц, хотя в настоящее время послушниц у нас не имеется, — еще не закончила свой шедевр, фреску в нашей трапезной. Это займет время, месяцы, годы. Сестра Пэннис художник.

— Можно мне глянуть?

— О нет, не сейчас. Я должна спросить у сестры Пэннис. Но мы можем обещать — кое-что мы подготовим к передаче, если вы надумаете нас снимать. — Сестра Строг понизила голос: — У сестры Пэннис темперамент. Кто спорит. Но по сути она вполне доброкачественный человек. И очень, очень политизированна, как и я. — Она опять повысила голос и отчеканила: — Одной чистой религии маловато.

— Насчет посещения больниц, — сказала мисс Джонс. — Это основной аспект вашей деятельности, не так ли?

— Да, в этом наша миссия, — сказала сестра Строг. — Именно в этом мы мыслим свой профиль. И как бы нас ни критиковали, как бы ни клеймили, никто никогда не сможет сказать, что мы не посещаем больных. Это важнейшая работа. И у нас широкая известность.

— Да, я знаю. Потому мы и задумали программу. — Кажется, Рита Джонс учуяла в словах "как бы нас ни критиковали" плодотворный поворот темы. Она спросила: — Не могли бы вы поподробней остановиться на критике?

— Нет, — сказала сестра Строг.

Мисс Джонс сменила курс:

— Но могли бы мы сделать несколько фотографий членов вашего коллектива во время посещенья больных? — И, узнав, что у монахинь Доброй Надежды возражений не будет, окончательно договорилась о передаче.

Перед уходом мисс Джонс сказала:

— Вы бы занялись своей грудной клеткой, сестра Строг. Очень похоже на бронхит.

Так и вышло, что вскоре после того, как Маргарет поступила в монастырь послушницей, туда, согласно договоренности, прибыло Би-би-си: мисс Джонс и команда из четырех человек с камерами. Первым делом они занялись установкой света в трапезной и рекреационной, громыхая по всему дому в своей неуместно грубой обувке. К ним вышла сестра Пэннис.

— На хрена ты тут растопался, бля? — адресовалась она к старшему оператору, которого тотчас заслонили своими телами четверо остальных.

— Вы, видно, санитарка? — спросил один.

— Нет, я Глава послушниц. А вам яйца поотрывать мало, ну что это за срач? — она указала на аппаратуру и длинные провода, волочащиеся из трапезной. В эту минуту явилась Маргарет. — Сестра Мерчи, наша новая послушница, — объяснила сестра Пэннис. — Вот, полюбуйтесь, — это к Маргарет, — они что думают? Им дадут снимать эту гребаную трапезную? Да какое, бля, они право имеют? Там моя работа, моя незаконченная картина. Нечего этой пьяни на нее пялиться, на недоделанную.

Тут с верхней площадки раздалось:

— Сестра Пэннис, но я *обещала*... — сестра Строг перегнулась через перила. Рядом стояла мисс Джонс.

— Трапезная для нас основное, — сказала она. Операторы задрали головы, ожидая дальнейших указаний от мисс Джонс.

— Идите за мной, — сказала Маргарет, — я объясню вам картину. Это, безусловно, самое значительное из всего, что есть во всем монастыре. Сестра Пэннис скромничает.

— Мать вашу за ногу, — сказала сестра Пэннис.

Сестра Строг и мисс Джонс вприпрыжку сбежали вниз по лестнице и вместе со смущенными операторами и Маргарет последовали в трапезную. Сзади, высокая, тощая, шла сестра Пэннис. "Без году неделя в монастыре, бля, а распоряжается тут", — так отнеслась она о юной сестре Мерчи. Но, кажется, ей было лестно, что Маргарет привлекает внимание к ее фреске.

Пока это был всего лишь эскиз на одной из стен трапезной. Набросано было длинное, огромное ископаемое чудище, изрыгающее клубы дыма. "Дракон?" — догадалась алчущая символизма мисс Джонс.

— Нет, это эскиз поезда. Парового поезда, — звонко отчеканила сестра Строг.

— А-а, поезд, — сказала мисс Джонс. — Фрейдистский символ, по-видимому?

— На х.. фрейдистский символ, — с порога громыхнула сестра Пэннис.

— А это святые? — предположил один оператор, изящный и с виду приличный молодой человек.

— Святые? О чем вы? — осадила его сестра Строг.

У каждой из бледно означенных фигур подле поезда действительно угадывалось над головой нечто вроде нимба или лохматого облака. Некто отдельный, по-видимому, только что сошел с поезда, нимб у него был больше, лохматей, чем у других, и он поднял руку, указывая вверх пальцем.

— Как мне удалось понять, — сказала Маргарет спокойным, деликатным тоном, ненавязчиво оттенявшим недостаток деликатности в прочих присутствующих, — эта настенная роспись изображает сцену на железнодорожном вокзале Петербурга 16 апреля 1917 года, когда Владимир Ильич Ульянов, известный под фамилией Ленин, прибыл из Швейцарии и был встречен огромной толпой товарищей.

— И вы им придали нимбы? — сообразила мисс Джонс.

— Это шапки меховые, корова, — бормотнула сестра Пэннис.

— Я не вполне улавливаю религиозный контекст, — призналась мисс Джонс. — О, ну да. Поняла. Кажется, поняла. Тот, полуголый, в бороде и набедренной повязке, который лежит на облаке пара и перегибается, чтоб прикоснуться к Ленину, — это, наверно, Бог. — Указанный ею объект был чуть не на потолке трапезной. Ленин смотрел на него, задрав руку так, что своим пальцем он касался пальца бородача.

— Не Бог. Карл Маркс, — отрезала сестра Строг, тяжко сопя и свистя. — У вас ложная точка отсчета. — Она строго глянула на представителя Би-би-си, задумчиво зажигающего сигарету. — У нас не курят, — заметила она ему.

Один оператор двинулся со своим треножником к двери, возле которой стояла сестра Пэннис. Она ему преградила путь.

— Пошли вы на хрен, сестра, — сказал он.

— Любишь на баб кидаться, да? — сказала сестра Пэннис.

— Ну, люблю.

Пять дней шли съемки, интервью и посещения больниц, где пациенты и персонал отчасти встречали вторжение в штыки. Маргарет, на редкость фотогеничную, склонили позировать на фоне самых благодарных больных; она им взбивала подушки, охорашивала цветочки на тумбочках. Но лучшие свои минуты съемочная группа вкусила в самом монастыре. Рита Джонс потирала руки. Публика в конце концов разделилась на две части, как всегда она разделяется, когда речь идет о религиозных вопросах, и это обеспечило программе успех. Через две недели после премьеры ее повторили, несмотря на протесты протестующей части публики. Только подкорректировали речь сестры Пэннис, и то не радикально. Сестра Рук, в бородавках, с веселой улыбкой, крупная, но подобранная, в монашеском покрывале, но в комбинезоне водопроводчика, объясняла со своим столь уместным на телевидении шотландским акцентом, как достигла она совершенства в водопроводческом ремесле; и описала все святые места, где ей приходилось чинить сложнейшие канализационные трубы. В ответ на вопросы мисс Джонс она освещала свой опыт по установке стиральных машин, посудомоек, усовершенствованию батарей отопления, ванных и душей. Насчет сестры Рук вся телевизионная аудитория была единодушна. Всем понравилась сестра Рук, как и ее подмастерье, сестра Роз, совсем юная, тоже в монашеском покрове и комбинезоне.

Заявление сестры Строг в процессе интервью, кажется, особенно подкупило одну часть публики и возмутило и оскорбило другую: "Победное шествие марксистской философии, политики и так далее никакими границами не сдержать. Наша молодежь еще хлынет в страны Восточной Европы, прося политического убежища, ища спасения от капиталистического общества чистогана. Будет и на нашей улице праздник". Возмущенную часть публики ни в малейшей степени не заботило, вероятно ли исполнение пророчества сестры Строг или нет; но просто безобразие, что монахиня Англиканской церкви говорит такое.

Монастырская жизнь вновь вошла в привычную колею после набега телевизионной команды. Сестра Пэннис вернулась к работе над фреской. После передачи она бурлила и обижалась на телевизионного критика "Обсервер", решившего, что ее фреска изображает "Анну Каренину, бросающуюся под поезд". Насилу умиротворило ее извинение и правильное истолкование шедевра, для которого газета выкроила-таки уголок.

За пять дней, когда снималась программа, мать игуменья настолько оправилась, что можно было перемещать ее на кресле-каталке в рекреационную. Она объявила, что совершенно здорова, только терпеть не может оставаться одна и не в состоянии заснуть, когда выключен свет. Пока рядом с ней кто-то был, говорила она мисс Джонс в интервью, и пока не приходилось спать в темноте, она была вполне бодрой и сильной Монахиней Доброй Надежды. "Кое-кто решил, что я вот-вот помру. Смотрят на меня, как на привидение, как будто лицо у меня — череп, а под платьем я — голый скелет".

— Ну конечно же нет, — возразила мисс Джонс.

— Ну конечно же да, — сказала почтенная дама, приосанясь в кресле-каталке. — И особенно сестра Строг, которая доит корову безрогую. И знае-

те, кто эта корова? Тут сплошная символика. Я скажу вам, кто эта корова. Муж нашей сестры Строг, вот кто. Ее взял в жены фермер, который посеял пшеницу. У него глаза большие, круглые, как у коровы. Сестра Строг — та самая девушка строгая, которая доила (или лягала?) корову безрогую[1].

Мисс Джонс и это зафиксировала, но потом выкинула, так что в программе ничего подобного не прозвучало. В общем, из речей матери игуменьи ни одна не была воспроизведена, а выглядела она просто роскошно, сидя в кресле-каталке и очевидным своим обаянием делая честь программе. Однако Рита Джонс, не лыком шита, сочла за благо спросить сестру Строг о том, правда ли, что та побывала замужем.

— Я и сейчас замужем, — отвечала сестра Строг.

— Замужем? Но как же ваши обеты?

— Обеты обетами, — объяснила сестра Строг. — А если он фермер? Экология превыше обетов.

— Ах да, но я не вполне улавливаю, — сказала мисс Джонс. — Ваша мать игуменья цитировала "Дом, который построил Джек".

— Да? И что же она говорила?

— Что вы вышли замуж за молодого фермера, сестра Строг.

— Фермер, который посеял пшеницу, который взял в жены ту девушку строгую... Так она говорила?

— Что-то такого типа. Конечно, в программу я это не включу. Ваша игуменья явно заговаривается. Но мне просто...

— И правильно, зачем это в программу вставлять. Она думает, я на ее место мечу.

— Мне просто интересно, ваш муж приходит когда-нибудь в монастырь?

— Случается.

— Хоть это можно упомянуть?

— Нет-нет. В общем-то, как вы это докажете? И другим сестрам это не понравится. Он приходит, переодевшись викарием, — призналась она. Сестра Строг улыбалась, пыхтя и свистя.

Мисс Джонс уже набрала кучу потрясающего материала, так что она решила отставить этот провокативный и несколько туманный сюжет.

Но Маргарет, в чьи обязанности отныне входило составлять компанию старой игуменье и спать с ней в одной комнате, вдоволь наслушалась вариаций на тему о сестре Строг и ей вмененном супруге. Маргарет все присматривалась к викарию с круглыми коровьими глазами.

Спустя два месяца после передачи Би-би-си сестру Роз, всем полюбившуюся юную подручную водопроводчика, нашли мертвой во внутреннем дворике монастыря. Ее задушили, но не изнасиловали, даже не пытались. Девушка она была крупная, сильная; ее задушили двумя большими руками. Не было установлено, мужчина душил или женщина.

При всей объемности и мужественной стати кое-кого из монахинь, рук очень больших как раз не было ни у одной. Вероятность того, что одна из сестер, в аффекте налившись смертоубийственной силой, совершила это преступление, тем самым хоть и не вполне исключалась, все же несколько убавлялась. Мужчины, обычно посещавшие монастырь, двое священников и сельскохозяйственный муж сестры Строг, то-

1. Канонический текст Маршака пришлось видоизменить, чтобы приблизить к цитируемому оригиналу стишка "Дом, который построил Джек".

же исключались, священники потому, что один был в Фулеме во время убийства, а второй — в самолете на Глазго. Супруг же сестры Строг находился в пансионе Сиренчестера, куда она, дабы из него сделать мужчину, направила его изучать агрономию в колледже.

Монахинь допрашивали дотошно, вызывая одну за другой. Пока никто ничего не видел, не слышал и не подозревал. До Маргарет еще не дошла очередь, когда мать игуменья добралась до трапезной, где следователь из Скотленд-Ярда снимал показания с сестры Рук; старая дама, приклонясь к живописной стене, призналась в убийстве.

Это было маловероятно, но чем черт не шутит. Ее признание в полиции рассмотрели со всем тщанием и отложили на неопределенный срок. Допрос монахинь продолжился, а мать игуменью тем временем препроводили в постель. У нее произошла остановка сердца, она оправилась, подтвердила свое признание, попросила и получила Последнее Причастие и умерла. Согласно признанью достопочтенной матери, ее возмутило заявление сестры Роз, которое та сделала по ходу телевизионной программы. Она сказала в своем интервью, что ей не очень хорошо в монастыре. "Как насчет жизни духа? — говорила она. — Почему нас лишают духовной жизни?" И пошла жаловаться, что монастырь, мол, не что иное, как отделение службы здравоохранения, и мать игуменья — главная виновница ситуации.

У большинства монахинь было твердое алиби на час преступления, а у кого не было алиби, у тех не было мотива. Маргарет, которую тоже допросили, в тот вечер ездила к Юнис в Далидж — "поглядеть на новенького племянника".

Нельзя сказать, чтоб у матери игуменьи были большие руки. В интересах следствия прокрутили прежде отставленный эпизод с ее речью. В полиции весь фильм изучали с хищным вниманием. Признание матери игуменьи, кажется, радикально меняло образ старушки, столь тонно и важно сидевшей в кресле-каталке. Пока ей не приходилось спать в темноте, рассказывала она мисс Джонс, она была вполне здоровым и сильным членом коллектива. Голос как будто задержался на словах "здоровым" и "сильным", как бы подчеркивая их. Даже самые упертые из детективов уловили в нем легкую дрожь, когда она продолжала: "Кое-кто решил, что я скоро помру (слегка ударив на "я"). Смотрят на меня, как на привидение, как будто лицо у меня череп, а под платьем я голый скелет".

— Она это, ясное дело, — сказал один полицейский. Когда дошли до интервью с убитой ("...наш монастырь не что иное, как отделение службы здравоохранения. Почему нас лишают духовной жизни?"), всем захотелось вернуться к первоисточнику — к исповеди матери игуменьи. Но поздно было допрашивать ее подробней.

Беда в том, что никто из следователей не мог всерьез поверить, что она совершила это убийство, хоть логические рассуждения к тому и вели. Пытались найти хоть одного сообщника. В комнате игуменьи обнаружился учебник по карате, который все остальные монахини, по их показаниям, в жизни никогда раньше не видели.

В телевизионных новостях прокрутили отрывки из первоначальной программы с комментариями сестры Строг. "Это конец монастыря Доброй Надежды, — говорила она. — Большинство молодых монахинь уже поразъехались. Невольно ощущается вмешательство сверхъестественных сил в столь трагическое событие. Дом перейдет адвокатской фирме".

Дорогой папочка,

я в субботу вернусь домой. Насовсем.

Ужасно оказаться в таком близком соприкосновении с убийством и так скоро после того, что уже пришлось пережить. К счастью, как ты уже знаешь, признание матери игуменьи разрядило атмосферу. В полиции с нами были предельно вежливы, ничего общего с теми муками, какие мне пришлось претерпеть тогда, после смерти бабушки. Никто не может понять, как мать игуменья оказалась физически, не говоря уж морально, способна на такой поступок. Тут какая-то тайна. Оказывается, она занималась карате. И как она могла — в ее состоянии?

Я никак не отделаюсь от мысли, что все это как-то связано с той телевизионной программой. Один из их команды оставил у меня на подушке записку, назначил свиданье. Конечно, это ничего не доказывает. Кроме его нахальства.

Я получила письмо от дяди Магнуса. Он знает, что я была в тот вечер у Юнис. Но намекает, бросает на меня тень подозрения, абсолютно без всякого повода. Представляешь, он даже цитирует Шопенгауэра относительно моего алиби — "хронология не есть причинность". Бедный старик. Я могу на него в суд подать.

Дом продается. Почти все разъехались. Только три монахини еще проделывают свою гидротерапию (моются) на кухне, да сестра Строг осуществляет общее руководство. Сестра Пэннис собирается преподавать рисование в женской школе, а сестра Рук вернется к водопроводческой работе, когда нервы позволят. Очень мало кто думает о les autres.

Привет маме.

Маргарет.

10

Сразу после свадьбы Маргарет с Уильямом Дамьеном Хильда Дамьен дважды звонила из Австралии Крис Донован. Во второй раз она попросила Крис, сможет ли та сама или Харли заверить и сохранить чек на картину Моне, о покупке которой она договорилась на аукционе Сотби.

Харли, придя из мастерской после дня работы, услышал про эту просьбу. Он очень даже хотел поучаствовать в таком забавном деле; был просто в восторге. Хильда, Крис ему сказала, инструктировала своего лондонского адвоката, чтобы тот предоставил Харли Риду полную свободу действий и решение о том, как хранить картину.

Хоспис внес поднос с сухим мартини для Крис и к нему стакан с мастерски изготовленным льдом. В этот час он всегда держал наготове напитки. Далее он занялся виски с содовой и со льдом для Харли.

— И какой же это Моне? — спросил Харли.

— Не сказала. Ну ты же знаешь, Хильда есть Хильда. Она просто покупает "Моне".

Улыбка Харли выражала нечто среднее между презреньем и снисходительностью. Но он сказал:

— Скоро выясню. И она его собралась тащить в Австралию?

— Нет. Представляешь? После всего, что она заявляла, она решила его подарить молодоженам. Только это секрет. Она его повесит у них в Хампстеде, сюрпризом.

— Но, по-моему, она им неплохую квартирку уже подарила?

— Ну, а теперь они получат еще Моне.

— И сколько она за него заплатила?

— Не знаю, — сказала Крис. Она смаковала свой сухой мартини.

— Выясню. Наверно, много. Безумно много.

Хоспис вышел из комнаты.

Люк говорил в телефонной будке:

— Только что имел разговор с дворецким.

— Ну и?

— Восемнадцатое подтверждается.

— Ну и?

— Двое по фамилии Сьюзи. Титулованная пара.

— Занимались мы этими Сьюзи. Пустой номер.

— Анцингеры. Правда, они мои друзья. Не богатые, то есть как богатые бывают богаты.

— Как их?

— Анцингеры. Я буду очень обязан, если...

— А я буду очень обязан, если дождусь продолжения.

— Дамьен.

— Дамьен!

— Ну, Дамьен. Кажется, он считает, что будут мать с сыном. Она им отделывает квартиру в Хампстеде. Картину купила на стену, этого художника по фамилии Моне, француза...

— Моне, говоришь?

— Только что его купила, на днях.

Оставалось всего десять дней до званого ужина Крис Донован.

По Лондону гулял грипп, и Роланд Сайкс его подцепил. Он сидел в кресле у себя в гостиной. Аннабел зашла его проведать.

— Ложился бы ты в постель, — сказала она.

Он шелестел газетными вырезками.

— Насчет этой Мерчи, которая будет на ужине у Крис Донован, — сказал он. — Я вспомнил. Я работал в архиве на адвоката, который вел дело двух ее тетушек. Они оспаривали завещание. Дело закрыли по обоюдному соглашению. Но ты только подумай, что за этим стоит! Я же знал, что там сенсационное что-то. Бабку этой самой Маргарет, которая вышла за молодого Дамьена, убили.

Он потягивал виски с горячей водой, пока Аннабел пожирала глазами газетные вырезки.

— Грипп это не лечит, но чувствуешь себя лучше, — отнесся Роланд о своем питье.

— О господи! Я уже когда-то видела это лицо, — вдруг сказала Аннабел. Она смотрела на большую газетную фотографию Маргарет с подзаголовком: "Маргарет Мерчи на допросе в полиции".

— А-а, да про это тогда все газеты писали.

— Нет, не тогда, потом. Я по телевизору видела. Всего года два-три назад. К убийству бабушки ни малейшего отношения. Какая-то популярная программа, образовательная... Ну я не знаю. Надо вспомнить. Всплывет.

— Интересно, — сказал Роланд, — а Харли и Крис хотя бы имеют представление об этой истории с убийством?

— А что? Ты собираешься их просветить?

— Ну, было бы забавно.

— Я бы на твоем месте оставила это при себе. Ты просто себя выставишь подлецом. Ты же не хочешь, чтоб тебя считали подлецом, правда?

— Не знаю, — проговорил Роланд, плотней запахивая на шее свой шерстяной халат. — Виски, конечно, не лекарство. Но состояние облегчает.

— Давай я тебе еще сделаю, — сказала Аннабел. — И не надо тебе звонить Харли с Крис и очернять перед ними их будущих гостей. Это по́шло.

— Возможно, — сказал Роланд и прижал руку ко лбу, давая понять, как его одолел грипп.

Вернувшись из кухни с новым стаканом горячего виски, Аннабел сказала:

— Хоть бы вспомнить программу, в которой фигурировала эта Мерчи. Там было что-то особенное.

Хелен писала:

Дорогая Перл,

я обхохоталась над твоим письмом. Думаю, ты неплохо провела время на том балу. Брайен говорит, он не против, чтобы ты еще оставалась, раз тебе весело. Я ходила на выставку мод в брайтонском Метрополе, смотреть не на что, сплошное старье, буквально. Какие-то изголодавшиеся выдры, но мужикам же все равно нравится, чтоб человек был похож на куклу Барби.

У меня, наверно, стокгольмский синдром, представляешь? Объясняю. Это когда ты благодарна мужчине, который тебя держит в клетке за то, что он с тобой иногда обращается получше, чем в другие разы или чем другие люди с тобой обращаются. Вот и привязываешься к тому, кто меньше шпыняет. Не скажу, что Брайен меня буквально шпыняет, только вот продолжает зудеть про ограбление. А с чего бы еще я оставалась с твоим дорогим папочкой — честно, не знаю.

Сегодня он, слава богу, ушел в Палату лордов — выражать свои дурацкие мнения о разных вещах и вносить свою лепту в дело управления нами, вполне разумными его согражданами. А вечером — домой, и, можешь не сомневаться, на ужин опять будет ограбление. В конце концов, они же оставили на стене Фрэнсиса Бэкона! И знаешь, какой будет следующий ход? Картина отправится в банк. Этот Бэкон совершенно меня не волнует, но что за идея — хранить картину в банке! Иногда я прямо чувствую, что разрыв в возрасте у нас чересчур кошмарный, а иногда как-то все ничего.

Мы идем на ужин к этому интересному художнику Харли Риду. Помнишь? Еще он тебе так понравился, и его жена — или, наверное, надо говорить подруга? — Крис. Ну, а потом — в Венецию, прелесть, жду не дождусь.

Вкладываю чек. Я заставила его выписать, когда он отчаливал в Палату лордов и был в настроении. Обналичь поскорей, пока он не положил деньги в сейф.

Крепко целую.

Твоя Хелен.

Элла с Эрнстом в отделении для автомобилистов на пароме через Ла-Манш возвращались домой из Брюсселя. Он только позавчера обрился и то и дело ощупывал непривычно голый подбородок.

— Хорошо бы, — сказала она, — Люк не забыл включить отопление.

— Ну подумаешь, включим и пойдем поесть.

— Легко сказать — пойдем поесть, после Брюсселя, — сказала Элла; она была неравнодушна к еде.

Эрнст перебирал бумаги в портфеле у себя на коленях.

— Люк, — сказал он.

— Что — Люк?

— А он ведь, наверно, будет дома, нас ждать, — он улыбался, преподнося ей приятный сюрприз.

— Ты что — ему звонил?

— Ну, звонил.

— Что ж, и его возьмем с собой пообедать.

Эрнст тронул несуществующую бородку.

— Конечно. Именно это я и имел в виду.

Элла пошла поразмять ноги на пыхтящем к Дувру захудалом пароме. Окна затянуло серой пленкой, облупилась краска на рамах. Элла прошла вдоль всего парома, среди пассажиров, одетых не по сезону броско и ярко, как всегда они одеваются в странной уверенности, что на другом берегу Ла-Манша их подстерегает лето. Элла обрыскала беспошлинную лавку подарков, вернулась.

— Чуть не купила ему паркер, — сказала она.

Эрнст улыбнулся.

— Что ему твой паркер — при такой-то внешности, — сказал он.

Люк стал у них излюбленной темой. Их это заметно сближало, и никогда еще за все годы их брака они не были так далеки от развода.

— Да, эти часы... — сказала Элла. — Но, ты знаешь, ведь бывают подделки. Теперь в большом ходу подделка престижных товаров.

— Подделки бывают, — сказал Эрнст, — но, зная Люка, я сильно сомневаюсь, что это подделка.

— Я надеюсь, он здоров, — сказала Элла. — Это главное. Здоров и способен себя поберечь.

— Вот и я надеюсь. И как трогательно, что он готов прислуживать за столом, не брезгует быть на побегушках. Очень хорошо его характеризует.

— Он мне звонил, — сказала Элла, — насчет двух квартир, которые могут нам подойти. В Блумсбери. Как ты насчет Блумсбери?

— Неплохое местечко. Какая цена зависит. Он сказал, какая цена?

Элла откинула с лица длинные светлые волосы.

— Цена как цена, наверно.

— Как бы тебе не пожалеть о нашей конторе обслуживания, — сказал Эрнст. — Так удобно — снял трубку и позвонил.

— Еда отвратная, — сказала Элла. — И сколько у нас вылетает на эту ренту — сто раз можно квартиру купить.

— Хорошо, поглядим, что нам подобрал Люк.

— Если не перехватили. Люк говорит, Харли Рид советовал поторопиться.

— А Люк будет помогать у Харли за ужином?

— Угу. Хочу к этому ужину новое платье.

— Ах, да там же, по-моему, все будет попросту, ничего сверхъестественного.

— Все равно, хочется хорошо выглядеть.

— Ты всегда хорошо выглядишь.

— По-моему, мне нужно новое платье для ужина у Харли Рида, — сказала Маргарет.

— Там не предполагается ничего сверхъестественного. Обыкновенный дружеский ужин.

— Ну а мне хочется хорошо выглядеть.

Она только что застелила их большую двухспальную кровать. Было воскресное утро. Очень бережно она рассадила по покрывалу потертых плюшевых мишек, прочих зверей и трех заслуженных кукол. Уильям в своей холостой жизни сохранял верность старым игрушкам, и Маргарет, обнаружив это, добавила к его коллекции кое-что от себя.

Предыдущая подруга Уильяма терпеть не могла его плюшевых зверей. Приходилось держать их в шкафу все время, пока длилась связь. Она пришла в ужас, когда вдруг их там обнаружила: думала, он их выбросил. Когда она порвала с Уильямом, он первым делом освободил своих мишек, собак, кошек и зайчиков и снова пристроил на одеяле. И он безумно был тронут, что Маргарет не только не осудила его игрушек, но даже к ним прибавила своих потрепанных кукол. Так трогательно, какая же она добрая, нежная. В ванной у него была пластиковая утка, она плавала, шлепала, крякала.

— Черпать вдохновение от сил природы, — говорила Маргарет, — ведь на этом, как я тебя поняла, основано изучение искусственного интеллекта.

— Я как-то не думал, — сказал Уильям. — Ну да, конечно, все это завязано на бионике.

Кажется, ему полегчало оттого, что неизбывная любовь к плюшевым зверюшкам может иметь столь основательное и глубокое объяснение.

— Я всегда чувствовал, — признался он Маргарет, — что они обладают какими-то механизмами восприятия. Звучит дико, знаю, но когда я держал их в шкафу, я чувствовал, что они обижаются.

— Но это же так естественно. От них мускусом пахнет, все их запахи как бы свидетельствуют об их сути.

— Не хотел бы я, чтоб мои коллеги это услышали, — сказал Уильям. — Но определенно в том, что ты говоришь, что-то есть. Не научное, разумеется.

— А занятие искусственным интеллектом — научно?

— Не вполне. Правда, требуется масса научных сведений, чтобы изучать природу, ей подражать, усваивать, применять способ существования живых существ даже для устройства компьютеров. Змеи, бабочки, птицы, растения, скажем, — все преподают нам урок. Речь идет о нервных проводниках, сигналах, нервных системах.

— И твои плюшевые звери?

— Символически, честно говоря, чисто символически.

— Интересно, — задумалась Маргарет, — откуда это пошло, зачем люди втыкают в кукол булавки?

— Это недостаточно изучено, — сказал Уильям.

Она расчесывала длинные рыжие волосы перед зеркалом на туалетном столике, а он сидел на свежезастланной постели и на нее смотрел.

— Я ни за что бы не стала, — сказала Маргарет. — Зачем пытать бедненьких кукол булавками?

Он вышел за воскресной газетой. С одной стороны, разговор с Маргарет получился приятный, с другой стороны, что-то скребло. В общем,

он еще так мало ее знает. Но, он рассудил, она ведь пока тоже очень мало знает его.

Маргарет расчесала волосы, глянула на постель со строем кукол и мишек. И промурлыкала про себя куплет из старинной шотландской баллады:

Что скажешь, одеялко, что скажешь, простыня,
Укрой меня, баюкай, утешь меня.

11

Вскоре после того, как закрылся монастырь, Маргарет вернулась домой, чтобы восстановить душевное равновесие, как она выразилась. Она горько сетовала на сестер, которые опять на нее ополчились.

— Сестру Роз убили, ну и при чем тут я? — говорила она. — Меня же там не было. Даже близко. Я была у Юнис. И что Юнис говорит? "Все это дурно попахивает, Маргарет. Ты была замешана в бабушкином убийстве, и вот замешана в убийстве монашки". Обидно ведь.

— Не придавай значения, — посоветовал Дэн.

— Да? Как это, интересно, — не придавай значения? Она говорит, чтоб я больше к ней носу не смела показывать, она, видите ли, боится за свое визгливое отродье. Конечно, она не сказала "визгливое отродье", сказала "за дорогого Марка". И потом, только я вернулась в монастырь Доброй Надежды, — ну, кто мне позвонил, как не Флора и этот ее муж, бюрократ занюханный. И знаешь, что она мне сказала? Слишком, говорит, много несчастных случаев, начиная с самых твоих школьных дней.

— Что было, то было, — признал Дэн. — Тебя ведь никто не винит.

— Ах, не винит? Не винит? Интересно, я Флоре сказала, как ты это себе представляешь, зачем мне нужно было это убийство сестры Роз, полного и безобидного нуля, притом подмастерья сестры Рук, водопроводчика по крайней мере и тем самым уже не нуля.

— Никто не винит...

— Да-а?! А ты лучше меня послушай. Флору снова допрашивала полиция. Она в бешенстве. Ей сказали, что это только ради порядка. Кажется, ей такое должно бы прийтись по вкусу, не говоря уж про этого ее кошмарного Берта, они оба рабы порядка. Так нет же, к ним заявилась полиция — и пошло-поехало. Во всем я виновата. А ведь каких-то месяца два назад, ну чуть побольше, они уверяли, что им ах так меня жалко. А теперь, ты только подумай, как быстро меняются люди...

— Маргарет, — вставил Дэн, в смятении и тоске разглядывая ее чудную кожу и подобранные темно-рыжие волосы. — Маргарет, не обращай внимания на сестер. Мы с мамой...

— Вот уж нет, вот уж нет, — сказала Маргарет. — Мама струхнула. Мама готова переметнуться на их сторону. Она абсолютно терроризирована. И ты это знаешь.

— Но что же я могу сделать? Против тебя нет никаких доказательств, Маргарет. Никогда не было никаких доказательств. — Ох ты, господи, выходило так, будто всегда было все, за исключением доказательств. Он был в красном шелковом шейном платке, в кремовой рубашке.

Но Маргарет отчеканила в ответ:

— Мать игуменья во всем призналась.

Тут вошла ее мать, Грета: бежевая кофточка, лиловатая юбка, жемчуг; да что толку; но все бы ничего, если б она, по крайней мере, была настроена дружелюбно. Грета наоборот была в ужасе. Она смотрела на Маргарет, и глаза ее говорили: ну что, что такое я произвела на свет?

Странно кажется, что никто из них, ни Грета, ни Дэн, не задали себе этого вопроса хотя бы десять лет назад, когда пошли эти таинственные неестественные смерти. Но ничего тут странного нет. Предыдущие смерти не привлекали внимания публики, а две последние — привлекли. И потому, люди скорей нерешительные, они приняли те первые смерти к сведению и как бы отложили до поры до времени. Теперь же поднялся весь этот тарарам, и пора-время тем самым приспели.

Лучшая школьная подруга Маргарет прыгнула в пруд в школьном парке, стала плавать, запуталась в водорослях и утонула. Пруд был в частном владении, девочкам купаться там запрещалось. Маргарет рассказала, что видела, как бьется подруга — она прибежала к пруду на ее крики, но помочь не успела. Все говорили — какой ужас, бедная Маргарет, ей же только двенадцать лет. Родителям посоветовали не поминать при ней больше этот ужасный случай. Маргарет подыскали другую школу. В Хоике, на шотландской границе.

Там одна учительница пригласила ее в кафе на чашечку чая. У этой учительницы был обычай — одну за другой угощать учениц. Но только на сей раз учительница исчезла. Оставила на столе перчатки, взяла сумочку и вышла, очевидно, в дамскую комнату. Маргарет долго ее ждала, больше часа. Потом она обратилась к хозяевам кафе, те осмотрели дамскую комнату, никого не нашли и позвонили в школу. Учительница, дама слегка за тридцать, жившая в Стаффордшире, так и не объявилась. Какая-то неразгаданная тайна. В газетах тогда без конца об этом писали, местность прочесывали полицейские с собаками. Никто не мог предложить даже отдаленных версий того, что случилось с мисс Дьюар. Говорила она Маргарет что-нибудь такое особенное перед тем, как встать из-за стола? "Да ничего такого особенного. Заказала чай и пошла в дамскую комнату".

— И ты сидела ждала и ничего не делала?

— Я выпила чай, он чуть совсем не остыл, съела два печенья. А потом попросила хозяйку, чтоб проверила дамскую комнату, потому что было долго уже.

Магнус тогда как раз был в хорошей форме и в воскресенье явился к брату пообедать и отдохнуть. Прошло всего четыре дня после исчезновенья учительницы, еще велись поиски.

— Бедная девочка, — говорила Грета. — Она до того впечатлительная. И надо ж такому случиться!

— И такая милая женщина, — сказал Магнус.

— Ну, по фото и по телевидению нельзя судить. А если она психопатка? — сказала Грета.

— Не сказал бы, — ответил Магнус. — Она была высокоинтеллигентная и очень приятная.

Тут только Дэн отметил это употребление прошедшего времени, а затем и некоторую заволоченность братнего взгляда.

— Откуда ты знаешь?

— Я с ней познакомился, когда приходил в школу к Маргарет, — сказал Магнус.

— Ты навещал Маргарет? — встрепенулась Грета. — Когда это?

— Несколько недель назад. Чудная школа. Прелестные места.

— Она ничего не говорила, — сказала Грета.

— О, я вообще люблю навещать Маргарет в школе. Другие девочки — те такие самостоятельные. Все у них честь честью. А Маргарет не такая, как все. Я ее понимаю.

— Магнус, тебе пора возвращаться, — сказал Дэн.

Столько уж лет прошло с тех пор, а мисс Дьюар так и не объявилась. Очевидно, вдруг надумала куда-то пойти, просто никто не знал, куда именно.

— Ты не говорила, что дядя Магнус к тебе заходил в школу, — сказала дочери Грета.

— Забыла. Он часто ходит. Значит, с ним все в порядке, раз его отпускают.

— И он познакомился с мисс Дьюар.

— Ну. Ты с ней тоже знакома.

Маргарет похорошела. От Дэна не укрылось, что они снюхались с Магнусом. Она смотрела ему в рот. Только заимела машину, стала катать в лечебницу Джеффри Кинга. Являясь в Черненький дом пообедать и отдохнуть, Магнус как-то по-особенному здоровался с Маргарет, если ее заставал. То и дело декламировал шотландские баллады, всегда с душой.

Где ты была, любовь моя,
Семь этих долгих лет?
Уж я вернусь к тебе, вернусь,
Припомню твой обет.

Дэн побаивался, себя, Маргарет, Магнуса. Пока две старших еще не повыходили замуж, те тоже боялись Маргарет, хоть сами этого не сознавали. У Флоры, старшей, страх перешел в злобу, а так как она подавляла это нехорошее чувство, оно прорывалось истерикой. Она буквально орала на Маргарет, когда их отпускали из школы по воскресеньям, они сталкивались в Черненьком доме, а там ожидался дядя Магнус.

— Не понимаю, зачем ты его поощряешь. Выставляешь свои прелести. Неужели еще непонятно, что его таблетки обладают побочным эффектом и он на тебе сексуально зациклился?

— Эффектным побочем? — дразнилась Маргарет. И дядя Магнус являлся, одетый, даже в те дни, чересчур экстравагантно; например: светло-голубой твидовый пиджак от Харриса, плюс светло-коричневые от Харриса же штаны и к этому ко всему — фиолетовый галстук. Даже представить себе невозможно, что способен был на себя нацепить дядя Магнус.

Вторая, Юнис, на три года постарше Маргарет, робела перед рыжей красивой сестренкой; робеть робела, но затаилась. Страх у нее перешел во вредность исподтишка, и она была, кажется, в диком восторге, когда дядя Магнус приветствовал Маргарет такими стихами:

Кто — леший ли в чаще глубокой,
Иль ведьма под сенью хвои,
Мужчина иль женщина злая —
Черты исказили твои?

Потом, когда Магнус ушел, она спросила:

— И что это он имел в виду: мужчина или женщина злая? Почему не просто мужчина или женщина?

— Но это ж баллада, и раз там такие слова, — объяснила Маргарет.

— Зачем обращать внимание на Магнуса, — сказал Дэн. — Ну, обожает человек шотландский фольклор.

— Да-а, а сам смотришь ему в рот, — сказала Флора.

— Ах, оставь, пожалуйста, — сказала Грета. — Пусть я буду злая женщина из этой баллады. Но черты Маргарет, по-моему, трудно назвать искаженными; скорей наоборот. Ну? Только честно.

— Но дядя Магнус имел в виду переносный смысл.

— И почему надо вечно смеяться, когда он читает баллады? — сказала Маргарет. — Взяла бы да в лицо у него спросила, что он имеет в виду.

Когда Маргарет говорила так, Юнис всегда терялась.

Но теперь, годы спустя, когда Маргарет вернулась домой после убийства в монастыре, оба они, Дэн и Грета, были напуганы, и не без оснований. Потому что эту способность Маргарет оказываться близ места трагедии ни с какой разумной точки зрения абсолютно нельзя было объяснить. Будь они в состоянии счесть — как, надо отдать им должное, никто другой тоже не мог бы счесть, — что нет ни малейшей — реальной, физической, психологической — связи между поведением самой Маргарет и тем, что происходит с ней рядом, Дэну с Гретой конечно бы полегчало. А так на душе у них вечно кошки скребли. Что вполне можно понять. Разобрались они в Маргарет или не разобрались, они невольно с ужасом ждали новых кошмаров.

— Все оттого, что она снюхалась с Магнусом, — сказал Дэн. — Может, надо их держать друг от друга подальше?

— Поздно, — сказала Грета. — Как ты ей запретишь его навещать.

Дэн, влюбленный в дочку, честно говоря, предполагал, что на фоне брата он явно выигрывает. Он-то знал, что Маргарет напускает на себя доброту, ей вовсе несвойственную. Зачем? Что она этим хочет прикрыть? "Я действительно думаю, — говорила Маргарет, — что хоть кому-то из нас надо навещать дядю Магнуса. Мне не трудно сидеть за рулем. В конце концов, иногда приходится думать о les autres, разве ты не согласен?"

Магнус явился на воскресенье в Черненький дом сразу после возвращения Маргарет из монастыря. Конечно, они снюхались: это был старый союз. Дядю Магнуса, впрочем, вообще любили в семье. Хоть он явно был сумасшедший, зато наименее скучный во всем широком кругу, включавшем брата, невестку и четырех племянниц.

— Тебе надо замуж, — сказал он Маргарет, когда они остались вдвоем. — Я давно об этом подумываю.

— Знаю. Тебе кажется, у меня дурной глаз?

— Кажется? Я это знаю. Это очевидно. Даже до твоих кочаноголовых родителей и сестриц, очевидно, наконец-то дошло.

— Знаешь что, — сказала Маргарет, — мне надоело быть пассивным носителем несчастья. Меня это унижает. И я вот думаю, не пора ли мне взять собственную жизнь и судьбу в свои руки и активно содействовать тому, чтоб несчастья происходили. Чем-то в таком духе хотелось бы заняться.

Она сидела с Магнусом рядышком на софе, откинув назад рыжие волосы, — ну просто студентка последнего курса, вдумчиво обсуждающая свою карьеру с любимым наставником.

– Творить зло? – предложил Магнус.

– Да, думаю, я смогу.

– Такое намерение само по себе уже есть зло, – проговорил Магнус с равнодушно-усталым видом профессора, у которого на сегодня назначено еще двое-трое студентов.

– Приятно слышать, – сказала Маргарет.

На следующее воскресенье Магнус явился в куда более маниакальном состоянии, чем привыкли выносить Дэн и Грета. Откуда он брал такое количество диких рубашек, ни Дэн, ни Грета просто не постигали. На вопросы их он отвечал уклончиво: "А, рубашки, да так, попадаются". Или прямой ложью: "Рубашки? Просто санитара посылаю в соседний магазин. Там есть всех цветов". Позже выяснилось, что Магнус получал посылки из Мексики, Калифорнии, как и с лондонского Чаринг-Кросс. Кто спорит, Магнус потрясающе умел устроиться. Только дикие, буйные припадки безумия, длившиеся, несмотря на все таблетки, даже недели по три подряд, отличали его от обыкновенного шотландского чудака и вызывали необходимость постоянного пребывания в лечебнице. Но поскольку на люди он появлялся лишь в периоды успокоения, большинство сограждан считало, что с Магнусом все в порядке.

В то воскресенье он был в фиолетовой рубашке при огненно-алом галстуке.

– На телевидении приготовился выступать, а, Магнус? – спросил Дэн.

– А-а, ты насчет моей рубашки. Чистая зависть. На себя посмотри: тусклый свитер из дешевой занюханной лавки. Я бы с тобой не поменялся, хоть ты меня озолоти.

После обеда Магнус пошел прогуляться с Маргарет. В сыром лесу путались под ногами прошлогодние листья. Навстречу с тропы поднимался весенний дух. "Я список составил", – сказал Магнус, вынул из кармана сложенный лист бумаги и развернул.

– Что за список?

– Список холостяков из богатых семей, достойных на тебе жениться.

– Список? Целый список? – удивилась Маргарет и взяла у него бумагу.

– Ты выйдешь, конечно, только за одного.

– Но я же никого тут не знаю.

– Тебе только одного надо знать. Я бы на твоем месте его булавкой отметил.

– А потом?

– Потом его придется улавливать. Есть тысячи способов. Но если ты хочешь иметь будущее, моя милая Маргарет, – только замуж, притом замуж удачно.

Несколько недель спустя Маргарет была введена в один из изящных лондонских офисов Уоррена Макдермида, главного директора фирмы Макдермида и Райса, владельцев супермаркетов и телевизионных станций по всему югу Англии, с множеством филиалов, занятых продажей видеокассет, стиральных машин, микроволновых печей, ванн джакузи и прочих товаров, почти еженедельно включавших новую компанию в список дочерних фирм. Уоррен Макдермид был единственный сын Дервента Макдермида, старшего партнера в этой обширной торговой империи. Маргарет его выловила булавкой из списка кандидатов на брак, пред-

ставленных дядей Магнусом. Как ему удавалось выискивать этих богатых, свободных молодых людей по всей стране, была — да, действительно тайна; собственно, не такая уж тайна, если учесть массу свободного времени и, не в последнюю очередь, маниакальную целеустремленность дяди Магнуса. У него были и деньги и возможность скупать все желтые и глянцевые издания; за предметами столь безопасными не возбранялось кого-то послать. В его распоряжении были радиопрограммы, новости биржи и телевизор. Но как он составил свой список всего за три недели, вот в чем чудо.

Подцепив булавкой Уоррена Макдермида, Маргарет раздобыла его снимок в рекламном агентстве и, найдя физиономию сносной, позвонила в офис, позвала его к телефону. И была направлена к секретарше.

— Я хотела бы взять интервью у мистера Уоррена Макдермида, — сказала Маргарет, — для газеты "Индепендент". — Она рассчитала, что, если засыпется, в этом органе к ней отнесутся гуманней, чем в остальных. — Я участвую в серии статей о наших яппи, то есть самых успешных молодых людях, и мистер Макдермид как раз то, что нам нужно, — сказала Маргарет.

Уоррен Макдермид согласился ей уделить полчаса, от двенадцати сорока пяти до часа пятнадцати. Он только что вернулся из Франкфурта.

— Как вы путешествуете, мистер Макдермид?

— О, на личном самолете, — был ответ. — Положение обязывает.

Лет двадцати восьми, чисто выбритый, лоснистый от крема. Вся неприятность в том, что он даже не глянул на Маргарет. Можно подумать, перед ним была толстая шестидесятилетняя каракатица, а не высокая, стройная двадцатилетняя девушка с дивной гривой темно-рыжих волос. Все время он смотрел чуть левей, на стену против бюро, где висел классический морской пейзаж, явно от Сотби. Прикидывал, видно, не переплатила ли фирма.

— А вам приятно быть таким успешным, мистер Макдермид?

— О да, в общем и целом, скажем так, приобретаешь некое новое измерение, особенно если обладаешь полной свободой, как, скажем так, дело как бы обстоит в данном случае.

— Есть ли у вас какие-то личные планы на будущее? Я думаю, вы не женаты? — спрашивала Маргарет.

Он глянул на часы, круглые, плоские, золотые, ответил:

— Привычный вопрос. Женитьба. Конечно, спешить с этим как бы не следует, скажем так. А с другой стороны, безусловно со временем как бы женишься и будешь иметь детей.

Маргарет чиркала перышком, надеясь выдать это за стенографию, которой она не владела.

— Вам нравится жить в Лондоне или вы предпочитаете природу?

— Ну, в Лондоне живешь как бы из-за работы. Но если имеешь некую территорию на природе, особенно где-то подальше, в Девоне, Норфолке, Шотландии, очень даже приятно, скажем так, укатить на уик-энд и стрелять, рыбачить и прочее.

— И вы предпочитаете Шотландии Девон? Или Норфолк? Какое бы место вы выбрали?

— В данном случае имеешь некую возможность, скажем так, пользоваться всем вышеозначенным.

(Чирк, чирк, чирк...)

— Вы любите музыку, мистер Макдермид?

— О, ну посещаешь Ковент-Гарден, Глиндеборн и прочее, когда, скажем так, позволяет время. Ну, а сейчас, мисс Мерчи (однако не переврал фамилию!), боюсь, достаточно поздно. Время поджимает. Мой секретарь вас свяжет с моим пресс-агентом, который, конечно, вам поспособствует во всем, что вы еще пожелаете знать. Был очень рад, очень рад.

Неужели потом, спрашивала себя Маргарет, он не подумал: "Каким же я был идиотом, такую девушку не пригласил поужинать!" Она себя спрашивала, но так и не получила ответа. Жила она в общежитии. Там она выбросила свою стенограмму, вынула список Магнуса, разгладила на столе у себя в комнате, зажмурилась и опять в него ткнула булавкой.

12

Маргарет расстроилась, попав булавкой между двумя фамилиями в списке. Прямое указание ее больше бы устроило. Она поспешила с отчетом в лечебницу к дяде Магнусу.

Магнус просто в ужас пришел, узнав, что юный магнат мистер Уоррен Макдермид не клюнул на чары Маргарет. Он был вне себя.

— Ты такая юная, такая вся лучезарная, твои волосы, кожа, ты вся — ну как бы это сказать? — ты цветешь и пахнешь. Как же он мог этому противостоять?

— Знаешь, дядя Магнус, ты, ну правда, чуть-чуть оторвался от действительности. Люди типа мистера Макдермида не могут противостоять только выгодным сделкам. Он сообщил, что каждое утро выходит из дому в пять, чтобы в пять тридцать уже сидеть за своим бюро и три часа, до восьми тридцати, работать. Получается, он встает в четыре тридцать, или он никогда не принимает душ и кофе не пьет по утрам?

— Он пустит себе пулю в лоб, — предсказал Магнус. — В один прекрасный день его окончательно припечет, он возьмет пистолет и пустит себе пулю в лоб, можешь не сомневаться, миленькая. Нет, он тебе не подходит. И какого он в точности возраста?

— Лет двадцать восемь, двадцать девять.

— Мне, по-моему, было за сорок, когда я получил реприманд за то, что гулял по мосту Челси в чем мать родила. Можешь мне поверить, я и в сорок был еще о-го-го. Бывало, снимешь с себя все до нитки и расхаживаешь по мосту — вот как мы развлекались. А теперь! Этот юный кретин магнат сидит и поглядывает на часы, ты, видите ли, отнимаешь его драгоценное время, а время — деньги. Подумаешь! Свяжитесь с моим пресс-агентом! Нет, Маргарет, нет, прошу меня извинить. Он пустит себе пулю в лоб. Возможно, кучу чужих денег растратил.

— Ну ладно, послушай, — сказала Маргарет. — Опять я зажмурилась и ткнула булавкой. А она, чтоб ее черт побрал, попала между двумя именами: Уильям Дамьен и Вертер Стенхоуп.

— На мой взгляд, Стенхоуп — более удачная партия. Он торгует с японцами.

— И что он им продает? — заинтересовалась Маргарет.

— Ноу-хау, — сказал Магнус. — Ноу-хау — самый ходкий товар. Одна только неприятность со Стенхоупом — он плюгавенького росточка. Конечно, мелкие мужчины часто имеют власть. Колоссальную власть.

Лично я мелких мужчин побаиваюсь, а это кое-что значит в устах одного из Мерчи. А с другой стороны, они любят жениться на дылдах.

Маргарет захотелось знать об Уильяме Дамьене.

— Ну, он, — сказал Магнус, — ну, он... — Магнус потянулся к тумбочке под телевизором в гостиной. Оттуда он извлек бутылку с сигнатурой "Тоник: по столовой ложке с водой три раза в день". Он налил себе стакан этой жидкости, то есть доброго солодового виски, и вернулся к своему рассуждению. — Дамьен ученый. Приятный, высокий, под стать тебе, моя радость. Сам он небогат, но мамаша его — деловая женщина, сказочная богачка в Австралии. Миссис Хильда Дамьен — владелица газет, супермаркетов и всего прочего соответственно. Уильям в делах ничего не смыслит. Живет скромно, но он наследник. Так что лучше уж ты сосредоточься на крошке Стенхоупе, он явно достойный холостяк, отчасти с репутацией плейбоя, но вполне созревший для того чтоб остепениться. Ему тридцать три, ни разу не был женат. Определенно тебе следует взяться за Стенхоупа, пока его не перехватили. А насчет Уильяма Дамьена, ну, у него там какая-то связь, но, судя по сплетням, скоро это дело лопнет. Несходство характеров, постоянные скандалы. Если ты его сцапаешь, потом, конечно, придется заняться мамашей. А теперь мне пора соснуть.

Глаза у него слиплись прежде, чем Маргарет вышла. Она вынула гребенку из сумочки, причесалась перед зеркалом и направилась к двери. Когда она была на пороге, Магнус открыл глаза и сонно проговорил:

— В школе я отлично исполнял леди Макбет. Видно, это у нас в роду.

Из лечебницы Джеффри Кинга она покатила в Черненький дом.

— Я буквально изнемогаю, — жаловалась она матери. — Такие концы. А в понедельник надо снова гнать в офис к половине десятого. Флора с Юнис и не думают навещать дядю Магнуса. Ни единой мысли о les autres. И смотри, как они на меня ополчились. То обвиняли меня, что якобы я причастна к смерти бабушки; потом жалели меня; теперь я, оказывается, виновата в смерти сестры Роз. А меня даже близко не было к этим смертям, к этим убийствам.

— Да, тяжело, — посочувствовала Грета, — и почему бы тебе не оставить эту твою работу, немного не отдохнуть?

— В данный момент я довольна своей работой, — сказала Маргарет. — И я люблю Лондон.

— Но ты можешь встретить хорошего человека. И конечно, ты можешь кого угодно сюда пригласить. Рано или поздно ты еще встретишь свою судьбу.

— То есть такого муженька, как у Юнис или у Флоры? — пропела Маргарет своим мелодичным голоском. — Так знай, что Берта и Питера я считаю дичайшими занудами. Да будь они моими мужьями, я бы им синильной кислоты подсыпала в чай.

— Пожалуйста, не надо так говорить, — сказала Грета, взбивая подушки. — Даже в шутку.

Обязанности Маргарет в рекламном бюро при нефтяной компании в Парк-лейн заключались, главным образом, в том, чтоб в истории аукционных торгов выискивать знаменитые картины, а затем компания иногда их приобретала. Работа не очень сложная. В основном, Маргарет покупала или просматривала в библиотеке каталоги продаж и владельцев

до столь отдаленного прошлого, какое только было доступно проверке. Отношения на службе были у нее идеальные. Женатые сотрудники приглашали поужинать. Один неженатый время от времени водил на дискотеку; один женатый все время хотел ее щупать, с ней спать. Как-то Маргарет сказала что-то задушевное о les autres, и тут одна девушка в офисе вспомнила:

— Я уже это слыхала.

— Ну, это такое французское направление.

— Да нет, я по телевизору слышала. Кто-то, ну вылитая ты, говорил про философию Les Autres. Я-то лично всегда считала, что надо думать о других, быть внимательной к людям и вообще.

— Это в религиозной программе? — заинтересовалась Маргарет.

— Да, наверно. Про каких-то монахинь.

— Ах да, что-то было такое, — припомнила Маргарет.

Время у нее, в основном, уходило на то, чтоб выслеживать Уильяма Дамьена с безопасного расстояния. "Безопасного" означает, что в определенные часы она оставляла машину на ближайшей стоянке и бродила по кварталу, где он жил в современной пятиэтажке. По списку жильцов в подъезде она вычислила расположение окон. Тот факт, что Маргарет в шпионстве не профессионал, а всего-навсего новичок, явно служил ей на пользу. Промахи, какие она могла допустить — и таки допускала, — устраняли всякую вероятность того, что она на самом деле следит за Уильямом.

Он ее даже не замечал. Случайно, хоть ничего тут странного нет — имя Дамьен говорит само за себя, а кто знает Уильяма? — оказалось, что кто-то на работе у Маргарет в родстве с парой, которая не только знает Уильяма, но знает, "кто он". То есть знает, что он наследник громадного состояния.

Вышло так, что второстепенный французский художник рубежа веков по имени Франсуа Роз, о котором раньше никто слыхом не слыхал, несколько месяцев назад был выставлен на торги. Нефтяная компания, на которую работала Маргарет, решила приобрести этого Франсуа Роза, изобразившего несколько сочных кистей винограда на выпяченном пузе голой лежащей особы. Маргарет дали задание — разузнать подоплеку продажи. Она выяснила, что картина принадлежит австралийской коллекционерке Хильде Дамьен, которая больше не в состоянии ее выносить. И тут ассистентка Маргарет пропищала: "Моя сестра Мэй и ее муж, так вот они дружат с сыном этой богачки, с Уильямом. Он, между прочим, работает — на жалованье живет".

Это Маргарет как раз и без нее знала. Но через девицу можно было заполнить пробелы, которые оставляла информация дяди Магнуса. С ассистенткой Маргарет обращалась небрежно, на грани хамства — верный способ выудить ценные сведения. "Послушай, — говорила ей Маргарет, — я здесь не для того, чтоб изучать черты и нравы всяких сыночков всяких владельцев картин, которые наша компания, мо-ожет быть, купит. Заметь себе — мо-ожет быть. Единственное, что я хотела бы знать — сколько Хильда Дамьен отдала за картину".

Это было далеко не единственное, что Маргарет хотела бы знать. Оказывается, первоначальную покупку устроил сын, примерно два года назад.

— Он женат? — осведомилась Маргарет у ассистентки — строго, исключительно в интересах дела.

— Нет. Живет там с одной. — И тут уж ассистентку, конечно, понесло. — Года два с ней живет, но все, вроде, без толку. Дикие скандалы. Как говорится, любовь-ненависть.

— Она любит его деньги, но ненавидит его самого? — рассеянно бросила Маргарет, роясь у себя в сумочке.

— Денег, в принципе, нет. Мать ничего ему не дает, ни шиша, буквально. На жалованье крутится. Иногда прямо хоть зубы на полку. Подруга должна на хозяйство вносить. По-моему, скоро она его бросит. Да, определенно, Мэй говорит, скоро она его бросит. А вообще-то он, если честно, странный. Не взрослый какой-то — не приведи боже.

Маргарет отыскала колледж, где Уильям занимался своими исследованиями. Узнала день, когда девица наконец отчалила, с двумя чемоданами дождалась в вестибюле такси, шофер побросал чемоданы в багажник, а сверху, раздвинув шторы, Уильям глядел им вслед. Девица не вернулась. Маргарет выждала три недели.

"Молодой Дамьен порвал с невестой," прочитала она в светской хронике глянцевого журнала.

Теперь Маргарет ходила за ним повсюду и таки достала во фруктовом отделе "Маркса и Спенсера".

— Учтите, эти грейпфруты, — она сказала, — чуть-чуть помятые.

Он посмотрел на нее, посмотрел на грейпфруты, опять на нее.

— Да, в самом деле. Спасибо, — сказал он. Его поразила рыжая красавица с сексапильно выдающимися зубами, стоявшая рядом, готовая тут же уйти. Она сочла, что он вполне ничего, если только прекратит толстеть.

Через четыре месяца они поженились.

Вернувшись из свадебного путешествия, Маргарет вскоре поехала навестить дядю Магнуса.

— Видала в газете про кроху Вертера Стенхоупа? Что он застрелился?

— Ты же Уоррена Макдермида предсказывал, — отвечала Маргарет, скидывая синие туфельки, часть своего приданого; туфельки немного жали. Она была в огненно-пунцовом платье, и Магнус нашел, что это как раз то, что надо при ее волосах.

— Уоррен Макдермид или Вертер Стенхоуп — какая разница? Ну, положим, я слегка промахнулся. Пока. Возможно, и для Макдермида придет час расплаты, да, непременно придет. Кстати, если б ты вышла за Стенхоупа, а не за Дамьена, ты бы в данный момент была богатой вдовой, а не женой бедняка с богатющей мамашей. Но, в общем и целом, ты неплохо устроилась. Как предполагаешь избавиться от Хильды Дамьен?

— Дождусь подходящего случая, — сказала Маргарет.

— Может, твоего дурного глаза будет достаточно, — сказал Магнус. — Ты только думай об этом, сосредоточься, и что-то такое с нею случится.

— Ты, кажется, так меня и не понял, — сказала Маргарет. — Я хочу активно ликвидировать эту даму. Дурной глаз, дурной глаз — при чем тут. Мне хочется настоящего, классного преступления. Кстати, она мне как раз не нравится.

— Кормильцы часто не нравятся, их даже ненавидят.

— Тоже мне, кормилица. Такая ограниченная, все-то она знает. И достаточно жадная к тому же.

— У нас в Шотландии, — сказал Магнус, — народ склонен творить добро, равно как и зло, более чем где-то еще. Почему это так, не знаю, но

это так. Что дает тебе преимущество. Я же со своей стороны хочу напомнить тебе о Юдифи, и как поступила она с Олоферном. Дай-ка сюда Библию.

Маргарет собралась уходить.

— Все это не так просто, как ты воображаешь, — сказала она, — тут нужен план.

Магнус читал:

— ...и, приблизившись к постели, схватила волосы головы его и...

— План. Надо составить план, — говорила Маргарет.

— ...изо всей силы дважды ударила по шее *Олоферна* и сняла с него голову[1].

— Хильда на той неделе заявится. В четверг у нас этот ужин, а в пятницу вечером или утром в субботу я хочу их с Уильямом отвезти в Сент-Эндрюс. Может, приедешь на воскресенье в Черненький дом? И мы поведем ее в лес погулять, дядя Магнус.

— Где она в Лондоне остановилась?

— В "Рице".

— Если быть совершенно честным, — сказал Магнус, отстраняя священную книгу, — мне не хочется неприятностей. Достаточно мы уже пролили крови, если ты это имеешь в виду.

— Между нами, — сказала Маргарет, — мы можем устроить несчастный случай.

— Невозможно, — сказал Магнус. — Никаких гарантий успеха. Слишком рискованно.

— Вечно все подозрения падали на меня. Так почему же я не могу действительно что-то сделать? Меня без вины заставляли себя чувствовать виноватой, это унизительно, пойми. Я хочу испытать наконец чувство вины с полным на то основанием.

— Вообще говоря, — сказал Магнус, — виновные редко испытывают чувство вины. Они испытывают чувство восторга, триумфа, они довольны собой.

— Вот и чудно. То, что мне надо.

— Надо тебе или нет, — сказал Магнус, — судьба за тебя распорядится сама.

Она сказала:

— Лучше придумай что-нибудь до двадцать первого, до воскресенья, а то я больше никогда не приду. Все. Я сказала. Думаешь, мне очень интересно сюда таскаться? — влезла в свои синие туфельки, схватила плащ, вышла. Через минуту сунула голову в дверь: — Сейчас дико скользко, такие дожди. Столкни ее в пруд. Ты-то знаешь, как это делается, — и ушла.

Магнус хлебнул своего лекарства и стал смотреть в окно, где, лилово-оранжевый, пышно пылал закат. Вошел санитар — уложить в постель пациента.

— Все это, — сказал ему Магнус, кивнув на окно, — детальнейшим образом отражено в ряде романов сэра Вальтера Скотта. Никому закат не удается так, как ему.

— Факт, — сказал санитар.

1. Книга Иудифи, 13:7–8.

13

Аннабел сказала Роланду:

— Я рада, что этот человек съехал.

Она имела в виду соседа Роланда, журналиста, который переехал-таки на житье к подруге.

— Экономически будет сложней, — сказал Роланд. — А так-то хорошо одному. Легче думается.

— И тебе, между прочим, будет над чем подумать, — сказала Аннабел. Он как раз оправился от своего гриппа и пригласил к себе Аннабел — перекусить. Решил сам приготовить ужин, и пусть Аннабел палец о палец не ударяет. Все нужное закупила работница, являвшаяся три раза в неделю, и сейчас Роланд шлепал — бокал в руке — из кухни в гостиную, где Аннабел прохлаждалась за мартини с водкой. Она сообщила Роланду, что вспомнила телевизионное шоу, где была та же самая Маргарет, что и в газете. — Она была в монастыре, там кадры: едет на мопеде по Виктория-стрит, потом посещает больных. Я организовала, мне прокрутили.

— Та самая? Ты уверена? И фамилия?

— Фамилию не называли. Дай сюда фотографию, и я скажу, она или нет.

Роланд вытащил фотографию и оставил Аннабел, удалившись к плите. Вдруг его осенило. Он убавил газ и вернулся в гостиную.

— Аннабел, — сказал он, — ту про монахинь программу, ведь я ж ее вспомнил. Мельком кусочек видал — уморительно. Но, ты знаешь, было ведь продолжение. Одну монахиню убили, то ли в монастыре, то ли в монастырском дворе, забыл; никого не арестовали. Убийцу так и не нашли. Пожилая монахиня, совершеннейшая гага, взяла на себя, но кто ей поверит. Да-да, вспомнил. Еще думали, это мужчина, тот, кто задушил. Помню, рассуждали: если левша, то он напал сзади, а если нет — то наоборот, спереди. По отпечаткам на шее определили.

— Но это уже второе убийство, в котором замешана Маргарет Мерчи. Если это, конечно, она.

— Могу выяснить, она или нет.

— Я тоже могу. Но я и по фотографии почти уверена, что это одно и то же лицо. И что она делала в монастыре?

— Замаливала грехи, — сказал Роланд.

— Псих, очевидно, — сказала Аннабел.

— С чего ты взяла?

— Ну, просто все эти обстоятельства и что-то в лице.

— Ладно, посмотрим — в четверг у Харли на ужине.

Приступили к еде. Телячьи отбивные, горошек, салат. Кларет.

— Надо бы Харли поставить в известность, — сказал Роланд.

— Я умираю хочу рассказать Харли — с тех еще пор, как ты тогда выяснил насчет первого убийства. А может, он сам уже знает?

— Нет, по-моему, — сказал Роланд.

Аннабел выдержала паузу.

— И по-моему тоже, — сказала она. — Но все равно, какая разница? Муж, молодой Дамьен, уж точно все про нее знает.

— Интересно, — сказал вкрадчиво Роланд, попутно разливая вино по стаканам, — а вдруг муж вообще ничего про нее не знает.

— В таком случае, — сказала Аннабел, — тебе категорически нужно держать свой длинный язык за зубами, Роланд. Ты будешь выглядеть подлецом, если начнешь распускать байки о прошлом этой девицы. И мы ведь всего лишь предположили, что та монахиня и Маргарет Мерчи — одно лицо.

— Могу проверить, — сказал Роланд.

— Я тоже могу. Но помни — Харли ни звука, — сказала Аннабел. — Ты выставишь себя в отвратном свете. Ну зачем тебе репутация сплетника, ну правда же, Роланд; постарайся молчать.

Наутро Аннабел просмотрела те кадры на Би-би-си. Да, Маргарет Мерчи, у которой убили бабушку, была та же самая, что одна из монахинь рокового монастыря.

Роланд ей позвонил — сообщить тот же факт и присовокупить плоды своих собственных нехитрых трудов: из интервью Юнис в глянцевом женском журнале следовало, что бедной Маргарет, еще будучи школьницей, пришлось дважды подвергаться допросу, один раз, когда одноклассница утонула в пруду прямо у нее на глазах, и второй раз, когда учительница, с которой они в кафе пили чай, пошла в дамскую комнату и исчезла навеки. "Что-то такое есть в Маргарет, — говорила, оказывается, Юнис. — Мне, конечно, жаль ее, как не жалеть, но собственных детей тоже будешь держать от такого подальше". Уточнять она отказалась. ("Ваши дети боятся Маргарет?" — "Нет, милый Марк пока еще грудной".)

Флора с Бертом вместе отвечали на все вопросы. Берт напомнил интервьюеру о законах относительно клеветы и о пределах закона, каких сам он лично намерен придерживаться. Указанные факты, он объяснил, не имеют один с другим ничего общего. И Маргарет была не единственной свидетельницей тех несчастных происшествий. Флора сказала: "Моя сестра, конечно, человек очень практический, заземленный. А земля, как вы знаете, это магнит. Вот Маргарет и притягивает таких людей, как журналисты и телевизионщики. Волосы у нее натурально-рыжего цвета. Против нее абсолютно ничего нельзя доказать. И безобразие, когда к нам на дом является полиция и нас допрашивают. Нам скрывать нечего".

Роланд все это зачитал Аннабел по телефону. Аннабел не понравилось, что он так ужасно возбужден. Ну, занятно, ну действительно все это полный кошмар, но она никак не могла понять этот тон городского сплетника, это злорадство, которое иногда на него находило.

— Роланд, держи это при себе, — сказала она. — Ты меня понял? Ты только сам себе навредишь, если станешь направо и налево об этом трепаться.

— Но ведь сплошная жуть, да?

— Тут загадка какая-то, а в общем, не наше дело. — Она извинилась тем, что ей кто-то дозванивается; Роланд ужасно ее огорчал.

А потом она стала обмозговывать эту историю Маргарет Мерчи. И вдруг набрала номер студии, в том же здании, что ее офис, где делался фильм про художника, который консультировал Харли Рид. Его вскорости ждали. Аннабел попросила ему передать, чтобы он позвонил. Аннабел всегда была такая отзывчивая, тактичная, вечно всем готова помочь добрым советом. Но в последнее время ей дико надоело, что каждый день — все одно и то же, и нет постоянного друга, и вдобавок еще этот Роланд вечно ей портит кровь; тут, естественно, никакие нервы не вы-

держат. Ей безумно, ну прямо никаких сил, захотелось рассказать Харли Риду все, что она выяснила про Маргарет Мерчи, и лучше, конечно, чтоб он пока ничего не знал, но в крайнем случае можно будет с ним это обсудить. На худой конец. И за окном как раз зарядил нудный дождь.

Аннабел с Харли в обеденный перерыв пошли вместе съесть по бутерброду и выпить в баре через дорогу. Харли порадовал Аннабел, будучи буквально огорошен ее рассказом. "Я и сам чувствовал, — сказал он тем не менее, — что с девицей что-то не то. Крис ни на секунду не верит, что они встретились с Дамьеном случайно. Конечно, соваться нехорошо, и не наше, собственно, дело. Хотелось бы только думать, что Хильде Дамьен ничто не грозит". И он бледно улыбнулся.

— Ну, в конце концов, саму-то девицу ни в чем никогда и не обвиняли, — сказала Аннабел. — Естественно, если в семействе есть сумасшедший... — Сплетни все-таки облегчают душу. Теперь можно было перейти к обсуждению предполагаемого документального телевизионного фильма о жизни и творчестве Харли. — Надеюсь, — она сказала, — удастся задействовать Хосписа.

— Сама понимаешь, — сказал Харли, — дворецкий неуместен, когда речь идет об искусстве.

— Может, и так, — сказала Аннабел. — Но с психологической точки зрения, преданность всегда привлекает. Если тебя показывают с преданным слугой или с преданным другом, это к тебе располагает; значит, ты вызываешь преданность.

— Ах, да ведь Хоспис совсем недавно у нас. А насчет преданности — не знаю, не знаю. Крис мне предана, ну, конечно, предана, не то зачем бы она меня стала терпеть. И я ей предан. — Но эти мысли не получили отражения ни в одной телевизионной программе. Он сказал, что ему пора, чмокнул Аннабел: — Ну, до четверга.

Хильда летела из Австралии в Лондон. Собиралась оформить квартиру в Хампстеде, свадебный подарок Уильяму с Маргарет, и вдобавок сюрпризом подарить им Моне, о котором Хильда пока знала только, что это — вид на Темзу в светлых тонах, писанный в 1870 году.

Она любила эти долгие перелеты в Англию. Можно забыть о делах, почитать, расслабиться, выспаться. В первом классе было всего шесть пассажиров, так что каждый привлекал к себе внимание. Даже, пожалуй, слишком.

Через проход сидел цветущего вида седой господин, чем-то похожий на нее, но только в явно мужском варианте, так что на невнимательный взгляд сходство не бросалось в глаза. Но он был, очевидно, одного с ней пошиба — тоже богатый и тоже доброжелательный.

Они вежливо улыбались друг другу, пока стюард их обносил напитками.

— Любите летать? — спросил господин. По произношению судя, американец или канадец.

— Люблю, правда. Можно расслабиться, — сказала Хильда. — Сперва боялась, потом освоилась.

— Иначе нельзя. Лучше всего — отвлечься, не думать. От судьбы, как говорится, не уйдешь. Просто надо расслабиться, как вы говорите. И, раз уж никуда не денешься, лучше получать удовольствие.

— Я верю в судьбу, — сказала Хильда.

По телефону Крис она говорила, едва устроилась в своих комнатах в "Рице":

– Знаешь, с кем я познакомилась в самолете? Очаровательный человек, вдовец. И представь, это Эндрю Джей Барнет, ну, из конструкторско-инженерной публики. Так здорово вышло. Одно удовольствие было лететь. Он в Лондон на несколько дней, и в пятницу мы вместе ужинаем.

– Но в четверг мы увидимся, Хильда. Ты заглянешь после ужина, да?

– После ужина. Пока Маргарет с Уильямом будут у вас, я воспользуюсь их отсутствием и втащу к ним Моне. Такой сюрприз! Надеюсь, они оценят.

– И что за вещь?

– Сама пока не видала.

– А сегодня вечером ты как? – спросила Крис.

– Свободна, а ты? Приходи, поужинаем.

– Отдыхай, – сказала Крис.

– Да я не устала.

– Ну, я после ужина загляну. Может, Харли тоже зайдет. Нам хочется с тобой поговорить.

– И мне.

Явившись в "Риц", Харли с Крис увидели, что Хильда любуется огромной охапкой цветов всевозможных видов – соответствующих и не соответствующих сезону.

– Прелесть, – сказала Крис. – Подарок от администрации?

– Нет, это мой попутчик. – Хильде явно было весело, кажется, она смеялась сама над собой.

– А Уильям с Маргарет знают, что ты в Лондоне? – спросила Крис.

– Нет пока.

– Как у тебя с Маргарет?

– Сама знаешь как. Не верю я ей. Что-то тут не то. Ни за что не поверю, что их встреча во фруктовом отделе "Маркса и Спенсера" была случайной.

– Ну, бывают случайные встречи. Встретилась же ты случайно с этим поклонником, который прислал цветы, – сказал Харли.

– И, будем надеяться, это был счастливый случай, – вставила Крис.

– Нет, именно в эту историю Маргарет про случайную встречу я не верю, – сказала Хильда. Погодя, когда уселись за кофе с выпивкой, прозорливая Хильда спросила: – Вы же что-то мне хотели сказать?

– Нет, ничего, – сказал Харли. Вдруг ему подумалось: полный абсурд. Являться вдвоем с Крис, чтобы ябедничать человеку на его же невестку. Не слишком красиво. Крис тоже молчала. Уловила его настроение. И только наутро по телефону Хильде все было сообщено. Крис излагала по возможности коротко и ясно.

– Но, – прибавила Крис, – положим, она была впутана в такие ужасы, это ведь еще ничего не значит...

– Чуяло мое сердце, что здесь что-то не так, – перебила Хильда. – Я, правда, думала, может, все свекрови такие.

– Ну, в общем-то, большинство, наверно, – уступила Крис. Конечно, кому приятно изобличать только что вышедшую замуж девушку перед свекровью.

Но все-таки, прежде чем попрощаться, она сказала:

— Ты уж поосторожней, Хильда.

— Я обещала в субботу утром поехать в Сент- Эндрюс и побыть у этих Мерчи. По-твоему, не ехать? Отвертеться? — спрашивала Хильда.

— Сама не знаю. Но ты уж поосторожней.

— Люк, — сказала Элла, — ты последнее время что-то неважно выглядишь. Слишком много занимаешься? И вечером вечно работа и все такое.

— Еще трусцой бегаем каждое утро, — сказал Люк.

— Господи! Это же сколько энергии надо иметь!

— Энергии куры не клюют, — сказал Люк.

— Но ты что-то неважно выглядишь, — повторила она.

Он уходил с большой сумкой. Заскочил за вещами, которые оставил в последний раз, когда жил тут в квартире. Очень похоже было, что Люк не собирается возвращаться.

— А кто тебе подарил такие изумительные часы? — спросила Элла.

— Один джентльмен подарил.

— Нет, не можешь ты заниматься как следует. Это физически невозможно, — сказала Элла. — У тебя же впереди такая карьера, у тебя такие способности. Брось ты этого джентльмена. Ты же не кончишь аспирантуру.

— Да неужели?

— Совершенно определенно, — сказала она.

— Да, насчет квартиры — вы как? — спросил Люк, демонстрируя, значит, что он и про нее не забыл.

— Да, Люк, наверно, я остановлюсь на втором варианте. Блумсбери — это нечто. Я дам тебе знать, как только все окончательно утрясется. Очень мило с твоей стороны, что ты ее подыскал.

Он поднял сумку, направился к двери.

— Ну, до четверга, — сказал он.

— До четверга?

— До ужина у Крис Донован.

— Ах, ну да, конечно, ты же будешь помогать.

Он вышел с поспешностью, намекавшей на какое-то важное, неотложное дело.

Люк ушел. Теперь он вне сферы ее влияния, вне орбиты Эрнста. Они, можно сказать, оба его потеряли. "Один джентльмен" ему подарил часы. И зачем — она недоумевала — ему еще надо где-то прислуживать за столом?

Тут как раз пришел Эрнст. Она узнала по хрусту ключа — только он так открывал дверь.

— Я внизу встретил Люка, — Эрнст откинул назад волосы.

— Да, он за вещами явился. И что он сказал?

— Я рта не успел открыть. Помахал мне, забросил сумку в машину. И укатил. "Порше", между прочим, весьма дорогой, новейший. Чей, интересно?

— Может, его собственный, — вздохнула Элла.

— Нет, мир сошел с ума, — ворчал Эрнст. — Прислуживает за столом, а сам щеголяет, весь с иголочки, на "порше" последней модели. Ты заметила, как он одет?

— Мне совершенно не интересно, как он одет. Но что-то тут явно не то.

— Нет, мир сошел с ума. Мне как раз на службе в Брюсселе рассказывали: один синхронный переводчик от переутомленья спятил. На международном совещании вдруг стал плести невесть что. А потом схватил нож, стал бегать и всем угрожать.

Элла принесла ему выпить.

— У синхронных переводчиков часто проблемы с психикой, — она заметила. Может, его история имела отношение к Люку. С Эрнстом это часто — одно скажет, другое в уме. Но сама Элла тут никакой абсолютно связи не улавливала. Кстати, даже и не пробовала уловить.

14

Выйдя замуж, Маргарет бросила работу в нефтяной компании. Про то, что на Сотби продан Моне, она понятия не имела. Вообще она утратила к данному роду деятельности всякий интерес; зачем это ей, если цель достигнута. Когда назавтра после приезда в Лондон Хильда пришла к ним обедать, Маргарет глаз не могла от нее отвести.

Сначала Хильда решила, что Маргарет узнала про покупку Моне. Ведь ей по службе положено. Но, с другой стороны, имя покупателя держится в тайне. Только Крис и Харли знают, что купила она.

Чего только не передумала Хильда, какие только подозрения не мелькали у нее в голове. И все время, пока ждали к обеду Уильяма, Хильда болтала. А меж тем — сознавала собственное блестящее положение, жуткое прошлое этой девицы, и по взгляду, каким сверлила ее Маргарет, поклясться могла, что та что-то против нее затевает. И она, между прочим, помнила те два дня, которые провела у Мерчи.

— Я, может быть, не сумею выбраться на выходные, — сказала она. — Столько дел.

— Ах, не говорите так, ну пожалуйста, так не говорите, — пропела Маргарет нежнейшим своим голоском. — Уильям ужасно расстроится. Мы рассчитывали, что эти выходные проведем с вами вместе, на природе. И мама с папой ждут не дождутся. У них так мало радостей — надо же думать о les autres.

Подозрения Хильды переросли просто в дикую панику. А за что ухватишься? Не за что; э нет, есть за что. Моне, новая картина Моне. Маргарет безусловно знает, что купила его Хильда, но где уж догадаться, что это подарок на свадьбу Уильяму, ей самой. Но с чего Хильда, умнейшая женщина, взяла, что опасность идет от Моне? Это можно объяснить только паникой, в какую ее повергала Маргарет. Судьба, это судьба, думала Хильда. Отравить она меня хочет, что ли? Что затеяла? Что-то она определенно затеяла. Полный кошмар.

Рассуждала Хильда совершенно логично. Но только Маргарет палец о палец не придется ударить. Сброд, шайка, по наводке Люка и Хосписа, о которой Маргарет слыхом не слыхала, прикончит Хильду Дамьен из-за Моне.

— Может, я в субботу выберусь, — предположила Хильда. — До субботы просто не продохнуть.

— Вот и чудненько, — сказала Маргарет, — чудненько.

Уильям явился минут через пятнадцать всего после Хильды. Он разрядил обстановку, хоть слегка недоумевал, почему у матери такой затравленный вид.

В самый день ужина, 18 октября утром, огромный фургон остановился перед домом Крис Донован в Айлингтоне. То была большая партия мебели для Харли Рида, которую он сто раз умолял свою овдовевшую мать ему не посылать. Недавно она переехала в дом поменьше под Бостоном и ничего лучшего не придумала, как отправить излишек мебели, целый дом, в сущности, своему единственному отпрыску, Харли. Харли казалось, что в последней телефонной беседе с матушкой договоренность была наконец достигнута. "У меня места нет", – он ей говорил, и не раз говорил, сто раз повторял. А она столько же раз повторяла, что не продавать же такую дивную мебель, она должна остаться "в семье". "В какой семье?" – клокотал Харли. Главное, мать знала прекрасно, что давным-давно он живет с Крис, он даже их познакомил, они подружились, все очень мило. И все равно – невозможно, видите ли, расстаться с мыслью, что Харли "вдруг когда-нибудь женится", и ему остро понадобятся эти кровати, столы, столики, полки, эти кресла, массивные, деревянные или обитые кожей на гвоздиках, эти шкафчики красного, орехового, черного дерева. Не говоря уж об орнаментальных лампах, о бронзовых всадниках, которым, Харли знал, надлежало венчать и освещать всю эту деревянную роскошь. И вот, несмотря на его мольбы, она их отправила Харли наложенным платежом; и уже фургон бесповоротно загромоздил дорогу, и уже люди в комбинезонах спрыгивали, откидывали заднюю дверцу...

– Стойте! – заорал Харли.

Вышел старший, протянул документ. "Рид тут проживает?"

– Это я, – сознался Харли, – но не надо это сюда тащить. Тут места нет, и так все забито.

– Велено доставить, – был ответ. Остальные роились рядом, прислушиваясь.

Так продолжалось с полчаса. Организовался затор, Харли метнулся в дом, стал бешено названивать на все склады, какие нашел в справочнике. Только к половине двенадцатого Харли удалось весьма щедро их убедить, чтобы отвезли все эти прелести в наконец-то обнаруженный склад, готовый их тотчас принять. Но все равно Харли пришлось сопровождать туда фургон на своей машине и лично платить за разгрузку.

– Ну и денек, – жаловался он Крис, вернувшись домой. – К работе и не прикасался. – Они ели бутерброды, которые изготовил Корби. Корби делал дивные бутерброды, с настоящей едой, как он выражался, не то что вам всучат в этих кафе. Харли обожал такой ланч – бутербродики Корби с фруктовым соком. Крис подбавляла водки во фруктовый сок.

Хосписа не было, уборщица тоже ушла.

Корби, искусный маврикиец индийского корня, сунулся темной физиономией в дверь:

– Ну как?

– Чудесно, спасибо, – сказал Харли.

Он скрылся, и Крис сказала:

– Чем-то Корби расстроен.

– Что такое? Ведь, кажется, обкатали меню?

— Ах, меню... с этим все в порядке. Не в том дело. Хоспис. Не нравится он Корби. Он его в чем-то подозревает, а как стану расспрашивать, только трясет головой. Говорит, чтоб мы поосторожней разговаривали при Хосписе.

— Поосторожней разговаривали? Господи, да что такого мы говорим?

— Конечно, на этом Маврикии еще столько всего примитивного, знаешь. Это их колдовство. Ведовство.

— Может, ведовство Корби не обманывает, — сказал Харли. Не будь он так истерзан всей этой волынкой и борением с мебелью, он бы тут же призвал к себе Корби и порасспросил.

— Не будем влезать в их дрязги, — сказал он.

Крис сказала:

— Я Корби пообещала, что завтра мы все обсудим. Мне же еще причесаться и надо ведь поспать для красоты перед ужином. — Потом она сказала: — Знаешь, мне не хочется после стольких лет терять Корби. В том, что он говорит, возможно, что-то есть.

И Харли пошел в мастерскую — отвести душу.

До вечера Крис дважды звонили. Один раз Хелен Сьюзи сообщила, что в Лондон вдруг нагрянула дочь Брайана, Перл, теперь отсыпается.

— Можно, Перл зайдет после ужина и с ней еще кое-кто из друзей?

— Да, конечно, — сказала Крис. — Буду очень рада.

Второй звонок был от Хильды Дамьен.

— Отнесу картину к ним в Хампстед, сегодня, сама. Да, вполне исполнимо, надеюсь, таксист поможет. Ну конечно есть лифт. Картина такая чудная, вот бы ты посмотрела. Даже захотелось себе оставить.

— Так за чем дело стало?

— Ну, я ведь, в общем, суеверная. Для них покупала, им пусть и достанется. Крис, я так нервничаю из-за Маргарет, после всего, что ты рассказала.

— Я не хотела тебя настраивать.

— Настраивать — при чем тут? Факты есть факты. Всегда лучше знать, да я и без тебя чувствовала, как она буквально источает враждебность. С самого начала. Прямо мороз по коже. Уильям такой дуралей, все твердит: "Учтите, эти грейпфруты чуть-чуть помятые" или что-то в таком духе, ну, фразу, которую Маргарет произнесла, когда они впервые столкнулись у "Маркса и Спенсера". Как маленький.

— А знает он что-нибудь о ее прошлом, об этих Мерчи?

— Если честно, — сказала Хильда, — по-моему, он ничего абсолютно не знает. Ничего она ему не станет рассказывать. Я просто уверена.

— Ну, Хильда, но ведь она, кажется, никакого преступления не совершала.

— Положим, она абсолютно чиста, насколько мы можем судить. Но эти злобные флюиды! Как думаешь, она что-то против меня замышляет? Я буквально комок нервов. Уильям на нее не надышится. Не хочется его восстанавливать против себя, оговаривая ее за спиной, так сказать. И эти рыжие волосы...

— На твоем месте, — сказала Крис, — я бы взяла картину себе и тут же улетела домой. Ты же умница, Хильда, ты блестящая женщина, и все это знают. Держись ты от них подальше. Я тебя такой просто не помню.

— И не ехать к этим Мерчи на выходные?

— Нет, не ехать, ни в коем случае.

— Но картину я им все-таки хочу подарить. Лучше я подарю. Может, это ее умаслит. Квартира в Хампстеде, лондонский вид Моне, что ей еще надо?

Фазан (flambé[1] в коньяке, между прочим) пользовался большим успехом, многие брали еще, все было так вкусно, этот горошек, сосисочки, картофель sauté[2]. Хоспис нес одно блюдо, Люк плыл следом с другим. Харли разливал вино на своем конце стола, Крис — на своем, Брайан и Эрнст ей наперебой помогали слева и справа.

Больше на пол со звоном не брякнется раздавальная вилка. Тарелки сменили, и на континентальный манер — сыр перед сладким, в угоду Крис, а не в обратном, английском, порядке, который бы предпочел Харли — подается стилтонский сыр, салат, неспешно, в абсолютном молчании, на прелестном веджвудском фарфоре.

Они болтают между собой — гости и двое добрых хозяев, — и в то же время мысли ветвятся вокруг Маргарет. Под хорошую еду и вино на все, в сущности, можно взглянуть проще, включая неясное положение в обществе Маргарет с этими ее длинными рыжими волосами и синим, в стеклярусе, платьем.

Крис думает: нет, не станем же мы втягиваться в эту охоту на ведьм. Вполне милая девушка. "Я совершенно согласна", — говорит она Эрнсту, соседу, объявившему, что безумие чистой воды вкладывать деньги в этот канал под Ла-Маншем.

— Кто спорит, — говорит Эрнст, — Ла-Манш кончился. Как Берлинская стена. Но вкладываться в туннель — тоже, знаете ли. Разговоры в пользу бедных. И французский франк, ох ты, господи! — он смотрит на Маргарет, припоминая, где он мог ее видеть в Брюсселе. В каком-то ночном заведении? В Антверпене, в том дивном ресторанчике подле доков? Или нигде? Только что вышла за деньги Дамьенов, н-да. Он ищет глазами Люка и успокаивается, видя, что тот стоит себе возле буфета.

— Вот так-то. Пол-одиннадцатого утра, — Харли рассказывает Элле Анцингер: — А на меня обрушивается гора мебели. Только этого мне не хватало. Ну, я говорю: "Стоп. Остановитесь. Не открывайте фургон. Если хотите, можете зайти в дом, — говорю, — сами убедитесь, что нам своей мебели девать некуда". Ну что тут будешь делать? Пришлось все утро убить в поисках места... — Он думает: а неплохо бы ее написать, если только отвадить от прерафаэлитских претензий с этими ее вызывающими волосами и зубы подправить. В любой момент можно вернуться к портретам. А она неплохой экземпляр, в сущности, если только сидела бы тихо и отставила это дикое платье.

Элла говорит:

— Мысль о переезде — это такой кошмар. Мы переезжаем в Блумсбери и решили — будем беспощадны. Мебель может мешать карьере, может даже мешать духовному и художественному росту. Берегитесь мебели, Харли, — Элла смотрит через плечо, туда, где, дожидаясь следующей

1. С пламенем (*франц.*).
2. Жареный (*франц.*).

смены блюд, стоит Люк. Рядом с ним появляется Хоспис. Элла слышит, как Люк говорит что-то про "Миссис Дамьен" и навостряет уши. "Ее тут нет, мамаши. Рыжая — это невестка... ошибочка". Голос тонет в других шумах. На Люка она сердита, на днях так по-хамски себя повел. Они с Эрнстом, можно сказать, его выручали в Лондоне, поили, кормили, советы давали, подбрасывали вечерний приработок, чтоб только учился, а он себя повел, можно сказать, как свинья. Спасибо, хоть сегодня объявился, не подвел. Но это, наверно, в последний раз, да, конечно, это в последний раз.

— Венеция, — Роланд просвещает Хелен Сьюзи, — в ноябре часто бывает прелестна. Схлынули толпы туристов. Легче передвигаться. Конечно, случается, что многие музеи и галереи закрыты, якобы для реорганизации, для уборки, а на самом деле, чтоб отдохнул персонал. Как войти в закрытый музей? Да просто-напросто черкнуть хранителю несколько слов на обороте визитной карточки. У вас есть визитная карточка?

— Нет, но у Брайана есть.

— И чу́дно. Они вас сочтут избранными и впустят. В Венеции и в Неаполе куда угодно можно проникнуть, если ты избранный. А вот в Тоскане, в Умбрии, Ломбардии, между прочим, со своей избранностью никуда ты не ткнешься. В Риме все избранные, так что привилегии отменяются сами собой; если сам ты не в Ватикане, так уж твой дядя; если ты не при правительстве, так будешь на той неделе. По-итальянски говорите?

— Я — нет, Брайан немножечко говорит.

— Вот и чу́дно. Пусть черкнет несколько лестных слов досточтимому директору музея, если закрыто. Если лично директор отсутствует, один из его мирмидонов вас впустит.

Крис с удовлетворением отмечает, как честно Роланд исполняет свою роль "беседующего с деревом"; самому Роланду Хелен отнюдь не кажется деревом. Вот досада, он думает, что эту тростинку, стриженную под мальчика, на той неделе потащит в Венецию эта развалина лорд Сьюзи с нудным недержанием речи — клинический случай. А как бы славно, думает Роланд, самому побродить по Венеции с этим хорошеньким, плоскогрудым глазастиком. Ну, а Маргарет Дамьен — уф, просто мороз по коже — сидит, сюсюкает, будто она до сих пор еще монахиня в Доброй Надежде. Будь я действительно подлец, он думает, за какого меня держит Аннабел, я бы тут же взял и спросил: "Вы ведь были связаны с тем монастырем, где убили молодую послушницу? Я вас по телевизору видел".

Снова меняют блюда. Люк и Хоспис парят, это какой-то балет. Белое вино льется, искрясь, в посверкивающий хрусталь, для него предназначенный. Подается сладкое, которое англичане маниакально именуют пудингом, будь то нечто твердое, как камень, или что-то воздушное до нереальности; в данном случае это crème brûlée.

— Crème brûlée, — замечает Аннабел, — это на самом деле креольское кушанье.

— Да? А я и не знала, — говорит Крис.

— Узнать бы, как это делается, — говорит Аннабел. Через стол она смотрит на Маргарет, молодоженку. — Вы умеете стряпать? — она спрашивает.

— Только самое простое, — отвечает Маргарет, — прошла трехнедельный курс. А вы?

— Когда время есть, — говорит Аннабел, — и когда есть с кем разделить трапезу, я люблю что-нибудь приготовить.

— Все это вопрос о les autres, — Маргарет говорит. — Нельзя жить только для себя. — Ей так хочется к себе, в Шотландию, туда, где отец затравленно вглядывается вдаль сквозь темные очки, а мать бьется с долгами за скачки и со своим климаксом. Скорей бы уж выходные и воскресенье. Воображение жадно рисует, как Хильда Дамьен падает в пруд, один толчок, и — дядя Магнус стоит на коленках, ее прижимает. Маргарет думает: зачем я среди этих людей, чего я тут не видела? И пока вокруг идет трескотня, и Уильям на нее смотрит влюбленно, с легкой опаской, какое же облегчение — мысленно уничтожать Хильду. В уме всплывает из дикой баллады:

Пошла ты прочь, в тартарары, —
Гоню я ведьму злую.
Ни за какие за дары
Тебя не поцелую.

— Собственно говоря, — сообщает она Аннабел, — у меня есть возможность вернуться на службу, думаю, так я и поступлю. — И она описывает Аннабел свою службу в нефтяной компании.

— Да, очень интересно, — говорит Аннабел. — А до этого вы чем занимались?

— Ну, было разное, то да се, — отвечает Маргарет с некоторым вызовом.

Аннабел помнит о телевизионных кадрах Маргарет в монастыре и молчит. Джекилл и Хайд в женском варианте, она думает. А какие, собственно, преступления совершил мистер Хайд? Нам толком так и не сообщили.

Говорит Брайан Сьюзи:

— Этим ворам, очевидно, только того и надо, чтоб мы сидели за ужином и их обсуждали. А нашу собственность они оскверняют, в основном, для того, чтоб выхваляться друг перед другом.

— А по-моему, — говорит Уильям, — они выражают презренье, только когда им нечем поживиться.

— Ну, у меня на самом деле они могли бы очень даже хорошо поживиться, — говорит Брайан. — Просто мы оказались дома. Полиция их обнаружит, конечно. Это шайка; приходят, когда хозяева отсутствуют.

Все сидят в гостиной, с чашечками кофе. Люк проплывает с подносом, разносит ликеры. Наконец-то Хелен может получше его разглядеть. Она думает: какой хорошенький мальчик.

Заходится звонок. Грохает входная дверь, впуская, кажется, бездну голосов. Вваливаются четверо молодых людей, но кажется, что гораздо больше, такой они вносят шум и переполох. Перл, дочь Брайана, оказывается, немыслимо хорошенькая. Она привела молодого человека и двух подруг. Девушки все в темных коротеньких балахончиках при длиннющих ногах; этот шик совершенно сражает остальных женщин в

вечерних дорогих туалетах, а мужчины вдруг чувствуют, что поезд ушел. Четвертый в компании — юнец в бархатном черном костюме, с каким-то белоснежным мазком на подбородке и жиденькой белоснежной кудрей на голой в остальном голове. Вот расселись, с соками и тому подобным, и тут выясняется, что, кроме Перл, все учатся в художественной школе, а сама Перл поступит на следующий семестр. И главная приманка вечера для них, разумеется, Харли.

Он думает: все теперь поступают в художественную школу. Скоро уж стен не хватит — их творенья развешивать. Меж тем, по-отечески, как старый маэстро, он каждого по очереди расспрашивает о замыслах, о работе. Молодой человек все нарывается на спор, но Харли очень ловко его отбивает. "Видели выставку Руо? Непременно поглядите. Стоит, ей-богу, съездить в Париж". "Рейберна[1] работы смотрели, кстати о портретах? До восьмого ноября провисят". Так он аккуратно от себя отводит их любопытство, и Крис, перехватив его взгляд, знает, о чем он думает. Мечтает завтра вернуться к себе в мастерскую. Она перемешивает гостей, умело подходя к одному, к другому. Уильям смотрит на часы.

— Мама, видно, уже не придет.

— О, время есть еще, — говорит Харли и встает, чтоб наполнить чей-то бокал. Но Крис-то знает, что вечер, в сущности, кончился.

Хильда около девяти добирается до Хампстеда с картиной. Картина тяжелей, чем она думала, но таксист поднялся на лифте в квартиру и, щедро вознагражденный, ушел. Хильда не собирается вешать картину. Просто она ее прислонит к стене, чтоб Уильям и Маргарет сразу увидели, как войдут.

Прислонять картину к стене Хильде не придется. Едва она закрывает входную дверь за таксистом, на нее нападают трое. Они вышли из кухни. Они без масок, они узнаваемы. Накладка, за которую Хильде пришлось расплатиться жизнью. Она кричит — громко, долго, пока хватает сил. Двое, молодые, проворные, спокойно уносят картину, а третий, постарше, потяжелей, тем временем душит Хильду. Он не схватил ее за горло, как сгоряча сообщали газеты, нет, он изо всех сил пригнул ее головой к дивану, этот человек оперся на нее коленкой и давил, пока она не умерла.

И все же крики ее услышали. Увидели, как две машины унеслись с подозрительной скоростью. Двое соседей вызвали полицию.

До десяти часов была схвачена шайка, за которой полиция гонялась неделями; Хильду обнаружили без признаков жизни.

Харли и Крис прощаются с друзьями, как вдруг раздается звонок.

— Хильда! — кричит Крис.

Это не Хильда, это полицейский. Имя Харли нашли в ее дневничке. "Заглянуть после ужина".

Харли стоит с полицейским у входа. Другой полицейский в машине, ждет. "Хильда Дамьен? Но тут ее сын". Уильям смотрит, не понимая, на человека в мундире.

1. Сэр Генри Рейберн (1756—1823) — шотландский художник-портретист.

— Украли картину. С прискорбием должен вам сообщить, что миссис Дамьен стала случайной жертвой. Мои соболезнования. Пройдемте, если не возражаете.

— Нет! Нет! — кричит Маргарет. — Зачем же до воскресенья!

— Крис, пригляди за Маргарет. Я пойду с Уильямом, — говорит Харли.

Полицейский бросает взгляд в сторону кухни, где Люк торопливо сменяет официантскую куртку на уличный пиджак.

— Куда это? — окликает его полицейский.

— Домой, — говорит Люк.

— Спешно?

— Да.

— Ладно, придется пройти со мной, — говорит полицейский.

Харли говорит гостям — те стоят охая, разиня рты:

— Всем спокойной ночи. Идите, пожалуйста, по домам.

Сверху несется отчаянный вопль Маргарет:

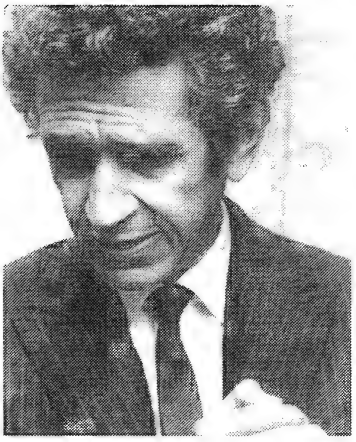
— Нет! Нет! Зачем же до воскресенья!

Наутро Эндрю Джей Барнет прочтет в "Таймсе", что новая его знакомая, магнат под стать ему самому, Хильда Дамьен убита шайкой домушников, которые по наводке домашних шпиков орудовали последнее время в богатых районах.

До Эндрю Барнета даже не сразу дойдет, что сегодня он не поведет ее ужинать. А какая она была в самолете, обаятельная, роскошная, привычная к богатству, к успеху, и с первых же слов у них возникло такое взаимопонимание. Еще он заказал и послал ей эти цветы.

У него буквально сорвется рабочий день. Да, он отменит все деловые встречи, а потом найдет у себя в записной книжке телефоны английских знакомых, они ему будут нужны позарез. Больше всего на свете ему захочется говорить, говорить, рассказывать, как он познакомился с Хильдой Дамьен.

Хуан Хосе Арреола



Инвенции

Переводы с испанского
Вступление Ю. Гирина

Игры Единорога

Все испытав, пройдя огонь и воду,
терзаемый страстями и разладом,
лишь тени истин настигаю взглядом,
в волнах сомнений не нащупав броду.

Х. Х. Арреола

Хуан Хосе Арреола (1918—2001) — писатель очень латиноамериканский и очень мексиканский. Как мало кто другой, он отразил в своей человеческой натуре и писательской манере так называемую мексиканскую сущность, весьма противоречивую по природе. При всем этом Арреола писатель необычный. Он даже как бы и не совсем писатель — он скорее артист, игрец, лицедей, персонаж себя самого. И все написанное им, все многочисленные книги каждый раз с перетасованным составом кажутся поэтому летающими в руках жонглера, бродячего актера-хуглара (каковым он себя и считал), загадочными и малопонятными вещами. Для Арреолы, как сказал его соотечественник Октавио Пас: "Писать, играть и жить — взаимозаменяемые реальности", то есть равноценные способы существования. Это он привил мексиканской литературе игровое начало, научив ее искать собственное лицо не в привычном, стереотипном образе, а в неуловимой изменчивости многоразличного бытия, в переливах, в перепевах, в передразнивании и самоиронии. В то же время Арреола всегда проявлял себя как публичная личность, как актер (в начале своей творческой жизни он нашел себя на профессиональной сцене), как известный миллионам телезрителей неутомимый декла-

D. R. © 1995, Fondo de Cultura Económica
© Ю. Гирин. Перевод, вступление, 2005
© Е. Хованович. Перевод, 2005
© В. Капанадзе. Перевод, 2005

матор, собеседник и просто говорун ("Я не писатель, я *говоритель*", — утверждал он, а Борхес однажды заметил по поводу их беседы: "Маэстро любезно позволил мне вставить несколько мгновений молчания"), наконец, как нарушитель всяческих гласных и негласных табу.

Сам Арреола всю жизнь стремился постичь некое идеальное начало, недостижимостью которого мучился. Символом этого устремления был для него мифический Единорог — индивидуальная эмблема писателя (отменный рисовальщик, он не раз воспроизводил его образ). Но Единорог — образ двойственный: это символ и сакральной чистоты, и плотского вожделения. Неслучайно Арреола говорил о "радикальном разладе", раздирающем его душу, о "величайшем стремлении к чистоте, которому препятствует моя собственная неискоренимая нечистота". Отсюда отчаянность его поисков: "Я сражаюсь за мое собственное ви́дение мира. Я хочу понять самого себя, мою жизнь. Но я также хочу, в меру моих скромных возможностей, постичь смысл истории и эволюцию духа. Пока что я наблюдаю лишь один грандиозный провал, несмотря на все религиозные, научные и политические устремления. И я думаю о новом мире. Я думаю об этом новом мире, о моей встрече с самим собой, о мире во мне самом, пусть даже на тот краткий срок, что мне еще остался... Вот почему все во мне устремлено к апокалипсическому преображению, к видению зари, образу земли обетованной, к откровению, хотя бы и настигло оно меня в час моей смерти". Это двойственное сочетание надежды и отчаяния, веры и безверия, любви и сарказма, эта скрученная воедино, как острый рог Единорога, противоречивость является стержневой и для Арреолы-человека, и для Арреолы-художника.

В "рассказах" Арреолы, жанрово близких к притче и апологу, много невероятного — потому он и называл их *инвенциями*, — и все на свете он парафразирует, стилизует и пародирует. Поэтому и действительность писатель берет таковой, какая она есть, но заставляет увидеть все ее условности, ее неустойчивость, неосновательность, относительность и неподлинность. "Я заставляю ощутить беспокойство, некоторое отвращение. То самое отвращение, которое я испытываю к столь многим вещам..." Этой цели словообильный Арреола достигает крайним сгущением словесной материи, в жестком лаконизме которой оказывается отражено, однако, великое многообразие бытийного опыта. "Сочетаясь так или иначе одно с другим, слова нас исполняют призрачной иллюзией, будто мы можем высказать или высказываем то, что невозможно высказать никак". Так возникает парадоксальная поэтичность прозы Арреолы, которая часто оказывается поэзией как таковой — неслучайно еще Х. Кортасар отмечал, что Арреола пишет "из поэзии" и видит мир глазами поэта. В самом деле, его притчеобразные миниатюры, имеющие к жанру рассказа лишь отдаленное отношение и чаще всего исполненные бодлеровской антикрасотой, поэтичны редкостной концентрацией смыслов и эмоциональной напряженностью поистине "на разрыв аорты". Это не стихотворения в прозе и не поэтическая проза — это поэзия, воплощенная в прозе, которой Арреола сообщает страстную пульсацию ритма (иногда лишь намеченного, а иногда — бьющего колоколом).

Вопреки утвердившемуся в Мексике мнению, стиль Арреолы далеко не идеален, но в этом и состоит секрет творческого обаяния писателя, вечно тяготевшего к столь важному для него, но и бесконечно, безнадежно далекому идеальному "тексту" жизни. Сам он на заданный ему однажды прямой вопрос о пресловутом стилевом совершенстве его письма досадливо воскликнул: "Эх! Я сплошное несовершенство, а мне всю жизнь приклеивают ярлык совершенства!" И дальше объяснил, что за совершенство стиля наивные читатели принимают тщательно сработанные насмешливые, издевательские маски.

А уж толк в ремесленной выделке Арреола, сам мастеровитый рукодельник (в его доме немало самодельных вещей), знал, как немногие. Он и к слову относился как к вещи, в которой больше всего ценится обработка — пусть не идеальная, но заставляющая ощутить запах, цвет, фактуру, стиль, руку мастера. Нарочитой, стилизованной грубостью, кстати, и отличается типично мексиканский способ выделки истинно ремесленной вещи. Арреола же говорил: "Творческий акт состоит в том, чтобы взять слово, подмять его, и тогда оно будет выражать больше, чем обычно выражает". Вот почему при всей краткости слога его художественный язык производит впечатление сверхизобильного, избыточного: роскошность наготы ослепляет. А за актерством, рисовкой, игрой скрывалось постоянное мучительное осмысление экзистенциальных вопросов к самому себе, к другим, к миру, Богу, бытию: "Все то немногое и спорное, что я написал, имеет смысл постольку, поскольку затрагивает драму человеческого существования".

Главными книгами Хуана Хосе Арреолы остаются написанные им еще в 40—50-е годы "Инвенции", "Конфабуларий" и "Бестиарий", к которым позднее присоединились новые миниатюры, а затем и отдельные циклы, выросшие в самостоятельные книги, — "Палиндром", "Просодия", "Отзвуки злобства и муки" и "Синтаксические вариации". Как истый шахматист Арреола относился к своим книгам, как к шахматным этюдам, в которых производил беспрестанную смену позиций. В разных сочетаниях и с разными добавлениями эти циклы составили основу опубликованных писателем впоследствии сборников. В одной из бесед, оглядывая с высоты своих восьмидесяти лет собственную жизнь в литературе, писатель, на мгновение отринув обычный горький скепсис, с каким-то затаенным чувством проронил: "Мне хотелось бы, чтобы однажды были прочитаны в другом свете страницы, которые я написал".

Рисунок Хуана Хосе Арреолы

О *памяти и о забвении*

Я, знаете ли, сам из Сапотлана, того, что прозван Сапотлан-эль-Гранде[1]. Уже сто лет тому как городок наш стал таким великим, что удостоился переименования в Сьюдад-Гусман[2]. Но на самом деле он остался все тем же заштатным городишкой, и потому мы называем его просто Сапотлан. Он расположен посреди долины, заросшей кукурузой и зажатой меж грядами гор, единственным достоин-

1. В Мексике исторически существовало несколько населенных пунктов с аналогичным названием на основе индейских топонимов – отсюда необходимость в дифференциации. Арреола происходит родом из самого крупного из них, расположенного в штате Халиско. Этот город знаменит также тем, что в нем родился Х. К. Ороско (1883—1949) – мексиканский художник, один из основателей национальной школы монументальной живописи. (*Здесь и далее – прим. переводчиков.*)
2. Имя присвоено в честь военного и государственного деятеля Антонио Гусмана (1829—1899).

ством которых является их мирный нрав, над нами — голубое небо, неподалеку — озеро, что появляется и исчезает, словно сон. С мая по декабрь окрестные поля, прореженные огородным разнорядьем, сплошь наливаются кукурузной желтизною.

Еще промеж себя мы называем нашу родину Сапотлан-де-Ороско, поскольку тут он родился, неистовый Хосе Клементе. И как его земляк, я чувствую, что тоже родился у подножия вулкана[1]. Да, кстати, что касается вулканов. Помимо неуемного Хосе Клементе, у нас их еще два: один, заснеженный, Невадо-де-Колима (он так называется, хотя находится в Халиско)[2]. Так вот этот, потухший, служит только зимним украшением. Зато другой еще курится. В памятном 1912-м он покрыл нас пеплом, и наши старики со страхом вспоминают тот воистину помпейский день, вдруг ставший ночью, когда все решили, что настал день Страшного суда. Да и в прошлый год случился выброс лавы, все затряслось, и кратер задышал. Привлеченные случившимся, приехали геологи и стали повсюду щупать пульс да мерить градусы. Ну, мы их угостили, как водится у нас, гранатовой настойкой, и они нас по-научному заверили, что все, дескать, в порядке, что эта бомба под подушкой, может, и рванет, но если не сегодня, то, значит, как-нибудь в другой день из ближайших десяти тыщ лет.

Ну так вот, сам-то я четвертый сын в семье, где нас всего было четырнадцать детей, и те, слава богу, все живы, так что родню бы можно пока еще пересчитать. Сами видите, не очень-то я и жалостлив. А все с того, что в моей плоти за едину кость, словно собачьи своры, грызутся Арреолы и Суньиги, одни — безбожники, а другие — вроде как святоши. Хотя те и другие соединяются в далеком баскском прошлом. Однако, став переселенцами, в краю, где все метисы, они в себя впитали и ту смешанную кровь, что делает нас мексиканцами, а кроме того, — кто бы знал, какой такою притчей, — и иноческую кровь одной француженки, оставшейся в девицах. В роду у нас есть предки почти библейские, я уж и не знаю, к худу или к добру; но сефарды[3] точно есть. Никто не знает точно, кто назвался первым Арреолой; наверное, мой прадед, дон Хуан Абад, пытавшийся свести след обращенного (Абад ведь происходит от *abba*, что на арамейском означает отец). Но не беспокойтесь, я не стану сажать перед вами мое генеалогическое древо, ни подтверждать свое плебейство родством с безвестным переписчиком приснопамятного "Сида"[4], ни утомлять деталями родства с безродным Торре де Кеведо[5]. Но есть и благородство в слове "Арреола". Слово чести. Слово родословия прямого и старинного, к которому и я принадлежу: по материнской линии мы родом кузнецы, со стороны отца — все столяры. Вот откуда моя страсть мастерового по отношению к языку.

Я родился в 1918 году, среди смертей бушующей "испанки", в день апостола Матфея и Пречистой Ифигении, среди кур, свиней, индю-

1. Город находится в активной вулканической зоне.
2. Колима — соседний с Халиско штат. Но Арреола принимает в расчет и поражающее мексиканцев созвучие с русской Колымой.
3. Крупная ветвь этнических евреев, выходцев из Испании.
4. "Песнь о моем Сиде" — испанский героический эпос XII в.
5. Имеется в виду следующее: Франсиско де ла Торре — испанский лирик XVI в., о жизни которого практически ничего не известно кроме того, что его произведения издал величайший классик испанской литературы Франсиско де Кеведо, на основании чего возникло подозрение, что первый был всего лишь псевдонимом второго.

шек, коз, коров, ослов и лошадей. Первые шаги я совершил в сопровождении черного барашка, пришедшего со скотного двора. Здесь истоки той неизбывной маеты, что отложилась невротическим расстройством на жизни и моей и жизни моей семьи и, уж не знаю, к счастью или нет, не разрешилась ни разу эпилепсией или безумием. Этот черный агнец преследует меня всю жизнь, мои шаги неровны — это неуверенная поступь неандертальца, преследуемого мифологическим чудовищем.

Как большинство детей, я тоже ходил в школу. Но долго я не смог учиться по причинам, которые, хоть и важны, мне недосуг рассказывать: в ту пору разгорелось восстание "кристерос"[1], ввергнувшее нас в хаос. Были закрыты церкви и религиозные колехио; я же, племянник святых отцов и инокинь, не должен был переступать порога обычной школы, не то бы превратился в безбожника и нечестивца. Тогда отец мой, который славился умением находить пути из тупиковых ситуаций, не стал мудрить: он не отдал меня в духовное училище и не отправил в проправительственную школу, а попросту послал работать. И вот так двенадцати годов от роду я стал учеником дона Хосе Марии Сильвы, владельца переплетной мастерской, откуда перешел работать в книгопечатню. Отсюда берет начало моя великая любовь ко всякой книге — в ней я вижу плод ручной работы. Другая моя страсть — к тому, что в книгах, — зародилась раньше стараниями школьного учителя Хосе Эрнесто Асевеса, которому я навек признателен: он мне открыл, что в мире есть поэты, а не одни только торговцы, крестьяне или мастеровые. Здесь я должен внести ясность: мой отец, а он знает все на свете, был торговцем, мастеровым и земледельцем (всем понемногу), но ни в чем не состоялся — он в душе поэт.

Итак, все знают: я — самоучка. Но в свои двенадцать лет и в Сапотлане я прочитал Бодлера, Уолта Уитмена и всех, кому обязан складом письма: Папини, Марселя Швоба, еще полсотни писателей не столь известных... И вслушивался в песни и в народные реченья и восхищался говором простых селян.

С 1930-го по сию пору я переменил десятка два различнейших занятий и профессий... Я служил бродячим разносчиком товара, сборщиком налогов, носильщиком и журналистом, типографом, комедиантом и хлебопеком. Да мало ль кем еще.

Но было бы несправедливым не вспомнить человека, который придал моей жизни новый смысл. Прошло двадцать пять лет с того момента, как Луи Жуве[2] забрал меня с собой в Париж из Гвадалахары. Все было сном, который невозможно воскресить: там, на подмостках "Комеди Франсез", я представал галерником, рабом Антония и Клеопатры[3], покорствуя Жану Луи Барро[4] и Мари Бель[5].

По возвращении из Франции я стал работать в издательстве "Фондо де культура экономика", куда меня определил мой добрый друг Антонио Алаторре, выдав за филолога и эрудита. После трех лет, прошедших в правке корректур, чтении переводов и рукописей, я и сам подался в писатели (первый вариант "Инвенций" появился в 1949-м).

1. Восстание "кристерос" (1926–1929) — вооруженный мятеж католиков против ограничения прав церкви, вылившийся в гражданскую войну. Штат Халиско был одним из очагов междоусобицы.
2. Луи Жуве (1887–1951) — французский актер и режиссер.
3. Х. Х. Арреола исполнял роль гребца в пьесе Шекспира "Антоний и Клеопатра".
4. Жан Луи Барро (1910–1994) — французский актер и режиссер.
5. Мари Бель (1910–1985) — одна из ведущих актрис театра "Комеди Франсез".

И последнее меланхоличное признание. Я не сумел стать профессиональным литератором — мне было некогда. Но всю жизнь я отдал тому, чтобы любить литературу. Я люблю язык более всего на свете и преклоняюсь перед теми, кто сумел вдохнуть душу в слово, от пророка Исайи до Франца Кафки. Я почти не знаю современной литературы. Я живу в окружении благожелательных теней классиков, которые лелеют мои писательские грезы. Но вокруг себя я собираю молодежь — будущее мексиканской литературы; на них я возлагаю то, что сам не смог поднять. Для этого я каждый день им открываю, что мне было дано познать в часы, когда моими устами завладевал другой — тот, кто однажды мне явился неопалимой купиною.

Решив представить все написанное мною[1], мы договорились с издателем, что каждая из книг останется в возможно первозданном виде. В силу разных обстоятельств "Инвенции", "Конфабуларий" и "Бестиарий" начиная с 1949 года порядком перемешались между собой. ("Праздник" — отдельный случай.) В этом же издании все книги отдают друг другу свои долги и остаются чистыми. <...>

В конце концов, имеет ли значение, если с пятого издания моих текстов, не важно, полных или нет, все они начнут именоваться, скажем, "Всеобщим конфабуларием" или, что то же, "О памяти и о забвении"? Замечу только, что автор и читатель помимо своей воли вступают в соучастие в измышлении и, равно причастные сим притчам, быть может, образуют нечто целое. Итак, воспоминанья и забвенья дают баланс, полученный путем сложенья-вычитанья и умножения на каждого из нас.

Из книги "Бестиарий"

Пролог

ВОЗЛЮБИ ближнего своего, тварь убогую и недостойную. Возлюби ближнего своего, наизловонного, в одежды нищеты облаченного, грязью земли помазанного.

Прими в сердце твое сие чучело из плоти и крови, что от имени всего рода человеческого вручает тебе нижайше свою грамоту жидкостуденистую, протягивает тебе свою руку рыбьедохлую, устремляет на тебя свой взгляд пёсьепреданный.

Возлюби же этого ближнего твоего свинячьекурячьего, что в нетерпении трясется, вожделея проникнуть в тучный рай скотского имания.

И возлюби ближнюю твою, что одесную твою вдруг преображается в телицу и, облачившись в затрапезное одеянье коровьей покорности, принимается жевать тягучую жвачку домашнего повседневья.

Носорог

ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ. Поднимает тяжелую голову. Отступает на шаг. Вдруг разворачивается и несется со скоростью пушечного ядра, слепой от ярости живой таран, устремивший вперед свой единственный рог с тупой напористостью закоренелого позитивиста.

1. Данное предисловие было написано для издания сборника 1971 г., после чего Арреола еще не раз менял состав своих книг.

Как правило, он врезает мимо, но зато всегда остается удовлетворен ощущением своей безмерной мощи. Раздув клапаны ноздрей, он запаленно пыхтит, напоминая паровой котел.

Перегруженные броней носороги в период брачных игр сходятся на турниры, лишенные какого-либо рыцарского искусства и мастерства ристания, бои, сводящиеся к средневековой грубой сшибке.

В плену же носорог обычно превращается в меланхоличную заплесневелую скотину. Его чешуйчатая толстая броня составилась в разломы доисторических времен из кожистых пластин, спрессованных давлением геологических пластов.

Но иногда он делается неузнаваем: из его сухой поджарой плоти выметывается вдруг, подобно току вод, что бьет в расщелинах меж скал, мощнейший стебель стихийной жизни, своей извилистостью схожий с изгибом рога и причудливостью формы вторящий мотивам алебарды, копья или орхидеи.

Так воздадим же хвалу твердокожей странной бестии, чей грозный облик дал начало красивейшей легенде. Ибо, сколь ни странно, сей первобытный гладиатор оказался духовным прародителем изящного созданья, что на старинных шпалерах предстает рядом с Пречистой в обличье благородного Единорога.

Полоненный добродетельною Девой свирепый носорог преобразился, потеряв свой дикий норов; он обрел оленью стать, глаза газели и покорство паладина, преклонившего колени. А рог тупого дикого самца претворился перед взором чистой Девы в изящный жезл точеной кости.

Бизон

КОМОК времен, сгущение бесплотной вечной пыли, струение песчинок, ожившая гряда — вот что такое бизон для нас сегодня.

Прежде чем в бег пуститься, оставив человеку пустынные просторы, стада животных в последний раз взъярились и расплодили бизонов стаи, косяки живых таранов. Передвигаясь медленно в скопленьях плотных, бизоны были словно частью земной коры с волнистыми буграми гор; еще они казались бурой пеленою туч, грозою несшейся понад землею.

Однако человек, не убоявшись грохочущей лавины рогов, копыт и пенных морд, вооруженный луком и стрелами, стал бить их из укрытья. И таяли стада бизонов. Наконец осталось их так мало, что однажды уцелевшие бизоны собрались и сгрудились в загоне, сооруженном их врагом неандертальцем.

И тогда был заключен почетный мир, начало положивший владычеству людей. Плененные могучие герои породили племя рогатого скота, источник пропитанья человека. И на выю легло ярмо.

Но побежденный и одомашненный бизон оставил победителю награду — животную безудержность восставшей плоти.

Вот почему признательный неандерталец, которого мы все в себе несем, восславил в образе бизона силы мира, запечатлев его на стенах Альтамиры.

Пернатые хищники

ЧТО сие — разоренный зал охотничьих трофеев иль осквернённая монашья келья? Каково им там, вольнолюбивым птицам?

Для них надменность высей и великолепье далей сменились в одночасье затхлым убожеством курятника, теснотою проволочной клетки, что навсегда сокрыла от их взоров лазурные просторы небосвода.

Все: грифы, кондоры, орлы и ястребы — теперь они листают, молчаливые монахи, книгу часов тоскливых, и грустные их будни протекают средь зловония помета и гниющей падали. Осклизлая студеность требухи — жалкая потреба их точеным клювам.

Остались в прошлом свобода воспаренья меж горною вершиною и тучей, широкие круги полета в поднебесье и роковое низвержение на жертву. Теперь напрасно отрастают маховые перья, растут, остреют и кривятся когти, ненужные в неволе, — так в себе сгорает принужденный к ничтожеству вольнолюбивый витязь.

Но все они, и кондоры, и ястребы, и грифы, в своей темнице непрестанно и ревниво оспаривают друг у друга право на главенство среди пернатых хищников. (Уже орлы есть окривевшие, ощипанные ястребы, оклеванные грифы.)

Над всей геральдикой кичливой лишь королевский гриф бесстрастно высит свой белоснежный герб: два горностаевых крыла в лазоревом щите распахнуты в полете, чеканный профиль золотой главы украшен драгоценными камнями.

В своем узилище аристократические птицы к тому же сделались заложниками собственных понятий светской чести. Строжайше соблюдая степени и ранги, они рассаживаются согласно родословным на зыбкие куриные насесты. И каждый восседающий повыше марает честь и герб того, кто ниже.

Страус

ТОЧНО одичалая органная труба, шальное горло страуса возносит оголтело на все четыре стороны песнь совершенной наготе его нарядно-праздной плоти. (Напрочь лишенное духовного начала, его земное естество колышется согласно ритмам срама и бесстыдства.)

Не цыпленок — здоровенный цыплак в пеленках. Вот кому бы миниюбку и низкий вырез декольте. Всегда полуодетый, страус небрежно щеголяет в своих отрепьях бонвивана, пренебрегая прихотями моды. Пусть его перо уж не в ходу средь светских львиц — они с охотой прикрывают свою убогость повадками сей странной птицы: как пава разрядиться да выставить наружу все, что видеть не годится. А если ненароком что случится, то поторопится глаза закрыть, если не голову в песок зарыть — и будь что будет. С бесподобной развязностью блещут они легкостью суждений и глотают что ни попадя, безрассудно полагаясь на здравость своего пищеваренья.

Несуразный, наглый, жадный, забавно вытанцовывающий мрачные угрозы страус есть образ, противный красоте. Что ж удивительного в

том, что ревнивые мужи-святоши измыслили то ль казнь, то ли забаву — неверных грешниц в перьях вывалять да выставить нагих всем на потеху?

Насекомые

МЫ все принадлежим к проклятому семейству насекомых, в котором заправляют могущественные самки, столь же охочие до крови, сколь малые числом.

Вся наша жизнь — сплошное бегство. Мы бежим от кровожадных самок и во спасенье оставляем их ненасытным жвалам все наше пропитанье.

Но сезон любви меняет положение вещей. В эту пору от них исходит аромат соблазна. И в возбужденьи мы спешим за ними на верную погибель. За каждою надушенною самкой тянется охвостье страждущих самцов.

Потеха начинается, как только самка соберет сполна желающих. Она ждет домогательств. Едва кто попытается насильно взять ее, как тут же она извертывается и в мгновенье ока пожирает кавалера. За этим занятием ее и застигает новый претендент, которого постигнет та же участь.

И так до самого конца. Соитье совершается с последним из оставшихся в живых, когда она уже устала и относительно сыта; она уже не в силах одолеть последнего самца, который исступленно предается страсти.

Затем царица сладко почивает средь останков своих поклонников. Отойдя, она спешит подвесить на ближайшей ветке целую дробницу наследников. Так родятся мириады новых жертв, а с ними — неизбежная когорта палачей.

Буйвол

ПЕРЕД нашим взором буйвол бесконечно, словно Лао-цзы или Конфуций, все пережевывает негустую жвачку вечных истин. Чем и заставляет нас признать раз и навсегда восточную природу жвачных.

Конечно, все они так или иначе коровы и быки, и нет в них ничего, что бы оправдало их заключенье в клетках зоопарков. Обычно посетители проходят мимо их почти домашних морд, но внимательному взору откроется родство их абриса с рисунком Утамаро.

И мнится: много прежде, чем орды татар под предводительством их хана покорили ширь степей, их наводняли буйволиные стада. Понемногу их потомки видоизменились согласно разному укладу жизни и растеряли исконные черты, которые являет нам сегодня облик буйвола: угловатость крупа, кряжистость хвоста, венчающего вогнутый хребет, отлогий сколок пагод, редкий волос, обобщенный образ копытного — от оленя до окапи. Но главное у буйвола — рога: полого уплощенные у комля, двоятся плавною лукою, словно описывая в воздухе овал, безмолвный символ слова “буйвол”.

Филин

ПРЕЖДЕ чем пожрать свою жертву, филин мысленно переваривает ее. Он никогда не разделается со всей мышью, если не составит себе предварительное представление о каждой из ее частей. Насущность трепещущего в его когтях ужина оборачивается в его сознании прошлым, предваряемым неспешным аналитическим процессом пищеварительного становления. Перед нами феномен основательного осмысления предмета через его усвоение.

Глубоким проникновением когтей филин мгновенно схватывает объект и принимается реализовывать собственную теорию когнитивности. Точно неизвестно, каким именно способом открывается ему вещь в себе (пресмыкающееся, грызун или птица). Возможно, посредством интуитивно-молниеносного схватывания; возможно, путем логического расчленения — не случайно ведь филин представляется нам погруженным в себя интровертом, в своей недвижности вряд ли подверженным охотничьим страстям, азарту гона и искусству ловли. Отсюда вытекает, что существует ряд созданий, предназначение которых — блуждание во мраке, темный силлогизм, чреватый отрицаньем бытия вослед категоричной посылке клюва. Последний аргумент является обоснованием природы филина.

Резного оперенья капитель, несущая античную метафору; ночная колокольня, зловеще отбивающая час ведьмовских забав, — таков двоякий образ сумеречной птицы, могущей служить эмблемой всей европейской философской мысли.

Медведь

МЕЖДУ откровенной враждебностью, скажем, волка и отвратительной услужливостью обезьян, готовых тем не менее усесться за ваш стол обедать целым выводком себе подобных, бытует равновесная душевность медведя, что послушно пляшет и кружит на велосипеде, но коли осерчает, то уж кости перемелет. С медведем возможна некоторая дружба при соблюдении границ, если только в руках у вас не будет медовых сот. Душа медведя подобна его мотающейся башке: она колеблется между рабством и бунтарством. Его норов согласен цвету шкуры: белый — знак кровожадности, черный — добродушия. К счастью, медведь всегда выказывает состоянье духа различными оттенками от серого до бурого цветов.

Каждый, кто в лесу встречал медведя, знает, что, завидев человека, он тут же поднимается на лапы, словно в знак привета. (Продолженье встречи зависит исключительно от вас.) Вот только женщинам не стоит их бояться: медведь питает к ним извека особое почтение, что выдает в нем дальнего потомка доисторического человека. Медведь всегда, каким бы зрелым и могучим ни был, сохраняет в себе что-то от ребенка — случайно ли, что женщины мечтают родить хорошенького медвежонка? И многие из них в девичестве играют с плюшевым медведем — обетованьем тайным материнства.

Нам следует признать, что все мы состоим в родстве с медведем с доисторических времен. Средь ископаемых преобладают останки пещер-

ного медведя, который соприсутствовал всем поселеньям наших первобытных предков. Да и в наше время берлога остается самым пригодным для жизни логовом из всех звериных нор.

А древние германцы и латиняне, что равно поклонялись медведю, усердно нарекали его именем (Bera или Ursus на их наречьях) огромное количество святых, героев, городов.

Ламы и верблюды

ШЕРСТЬ ламы нежно-шелковиста, хотя ее пушистое руно завито в пряди леденящим ветром гор, среди которых она степенно шествует, горделиво воздымая голову на длинной шее, дабы насытить взор бескрайностью просторов и напитаться пречистым духом горных высей.

А где-то там, в пустыне, меж жаркими барханами, верблюд плывет, качаясь, словно волокнистая гондола среди песчаных волн, и знойный ветер ударяет в косые паруса его горбов.

И как верблюд в своей продубленной утробе таит для жаждущего животворность влаги, так мягкая, округлая и женственная лама для взора одинокого являет миражный образ ласковой супруги.

Г*иена*

НЕМНОГОСЛОВНОЕ животное. Описание гиены должно быть кратким и сделанным словно на ходу. Итак, смешенье воя, вони и мерзкой пегости клоками. Перо отказывается описать чудовищную помесь свиньи и тигра, тупорылость собачьей морды и трусливую покатость сильного извилистого тела.

Но стоп. Необходимо занести особые приметы преступника: вооруженные острыми клыками гиены склонны нападать на жертву целой шайкой, в пустынном месте и всегда с оглядкой. Их клокочущий, как хохот, лай, пронзающий ночную тишину, заставляет вспомнить дом умалишенных. В своей развратной алчности гиена предпочитает смрадный дух гниющей плоти, а для победы в любовных игрищах приберегает снадобье зловонное у себя меж задних ног.

Но прежде чем расстаться с этим мерзким цербером из царства хищников, трусливо ждущим мертвечины, заметим, что у гиены немало продолжателей, и ее уроки не пропали даром. Возможно, никакая иная тварь не возымела столь многих подражателей среди людей.

О*лени*

С медлительной стремительностью проносятся олени вне времени и вне пространства. Непостижимо совмещая движенье с неподвижностью, олени вылетают в иное измеренье — в вечность.

Движением или покоем олени равно преображают прилежащее пространство и тем самым изменяют наши представления о времени, пространстве и законах перемещенья тел. Как будто призванный ре-

шить античный парадокс, олень собой являет сразу и черепаху, и Ахилла, лук и стрелу: он всегда бежит вдогонку своему же бегу, а остановившись, оставляет нечто бегущее вовне.

Олень всегда в движении; в своем скольжении он подобен тени, что призраком мелькает меж дерев, — как в яви, так и в предании легенды; таковы олень святого Иоанна, несущий крест в ветвлении рогов, и олениха, что вскормила молоком святую Женевьеву. И повсюду, где ни встретится чета оленья, их явление равнозначно чуду.

Потому мы все стремимся причаститься естества оленья, хотя бы только взглядом и на отдаленьи. Неспроста Хуан де Йепес[1] воспевал высокость лета дичи, которую ему дано было настичь: то был образ не голубя земного, но оленя, недостижимого в бездонности полета.

Водоплавающие птицы

ОНИ вольготно плавают по глади вод и праздно бродят по тверди берега — дурынды шалые, кичливо обряженные в чудные облаченья. Все они птицы высокого полета, здесь каждый умывается в перчатках.

Казарки, селезень и мандаринка блистают перьями галантерейного отлива. Играют переливы ярко-алого, бирюзовой голубизны с лилейной белизною и золота. Есть особи, что отливают всей палитрой, а как вглядишься — то заурядная лысуха или темноперый баклан, живущий отбросами и претворяющий в сиянии красок свои искания в болотистых низинах.

Народец пестрый и болтливый, где каждый голосит по-своему, не внемля никому иному. Громила пеликан рвет соломину из клювика утенка. Гусыни без конца хлопочут ни о чем, оставив всю кладку преть под жарким солнцем и катиться под уклон; и никому на ум нейдет взять под надзор потомство. Все эти господа и дамы, мнимых салонов шаркуны, стремятся превзойти друг друга валкостью походки. Исполненные непроницаемого лоска, живя в воде, они воды-то и не знают.

Всего пошлее лебеди в пруду, эти напыщенные поэтические штампы, отблеск ноктюрнов и полных лун, жалкий реквизит в жарких лучах полуденного солнца. А символический изгиб лебяжьей шеи назойливо зудит извечным вопрошаньем... Добро, средь стаи лебедей нашелся один черный: он прибился поближе к берегу, и его сумрачная шея выглядывает сонно, точно кобра из корзины перьев.

Средь этой публики нам исключеньем станет цапля, которая известна тем, что опускает в грязь лишь одну ногу, являя достойнейший образчик свайной конструкции. А временами она сонно прячет клюв в глубинах своих легких перьев, словно бы расписанных дотошно японским мастером, искусным знатоком деталей. Цапля единственная не поддается искушенью пасть в отраженье неба, где ждет ее ложевье из грязи и гнилья.

Перевод Ю. Гирина

1. Имеется в виду Хуан де ла Крус, испанский поэт-мистик XVI в.

Из книги "Отзвуки злобства и муки"

Святочная история

ДЕВОЧКА пришла на рождественские гуляния с завязанными глазами, чтобы разбить пиньяту[1], но расколотой оказалась сама. Она была нарядно одета, тело ее источало соблазн, а душа — сочувствие.

(Мой друг — профессиональный психиатр — как-то объяснил мне подоплеку страсти мексиканцев к разбиванию глиняных сосудов, наполненных плодами и предварительно украшенных бумажными гирляндами и золотой фольгой. По его словам, это ритуал, посвященный плодородию и призванный развеять декабрьскую тоску. Пиньята символизирует оплодотворенное чрево; девять праздничных дней — девять месяцев беременности; палка — одиозный сексуальный символ; завязанные глаза — любовное ослепление и т. д. и т. п., но вернемся к нашей истории.)

Мы остановились на том, что девицу долбанули прямо во время гуляний.

(Да, надо еще добавить, что, разбивая пиньяты различной формы — голубков, бычков, осликов, ракеты, пьеро с коломбинами, — согласно все тому же авторитетному мнению, гуляющие удовлетворяют агрессивные порывы, направленные против близких.)

Вот так: раз-два палкой — да при всем честном народе. Тут, конечно, не обошлось без рома. А чем же дело кончилось? Ну, чтобы узнать об этом, придется несколько месяцев подождать. Конец может быть счастливым, если девица в срок принесет плоды, которыми чревата ее пиньята. Тем самым будет дано почти метафизическое подтверждение теориям моего друга-психиатра, известного сочинителя святочных рассказов.

Перевод Е. Хованович

Отто Вейнингеру (Основываясь на трудах барона Якоба фон Икскюля)[2]

НА солнцепеке чесотка становится нестерпимой. Лучше оставаться в тени, под этой стеной, которая грозит обвалиться.

Как у всякого добропорядочного романтика, моя жизнь прошла в мечтах об одной обольстительной сучке. Я следовал за ней по пятам, сгорая от вожделения. За той самой, что плела кружева лабирин-

1. Пиньята — глиняный сосуд, наполненный плодами и сластями, который разбивается палкой во время народных праздников.
2. Отто Вейнингер (1880—1903) — австрийский ученый и писатель, покончивший с собой после выхода книги "Пол и характер" (1903), отмеченной болезненным женоненавистничеством. Якоб фон Икскюль (1864—1944) — немецкий биолог, зоопсихолог и философ. Исследовал нервную систему и физиологию животных.

тов, ведущих в никуда. Это был даже не тупик, куда я мечтал ее загнать. Не далее как сегодня, хотя мой нос источен болезнью и давно утратил нюх, я восстановил один из тех немыслимых маршрутов, виляя по которым она то и дело оставляла свои благоухающие визитные карточки.

Я так больше и не увидел ее. Мои истекающие гноем глаза почти ослепли. Но время от времени недоброжелатели спешат сообщить мне, что встречали ее то на одной, то на другой окраине города, где она крутилась в компании огромных кобелей, в исступлении переворачивая мусорные баки.

Всякий раз я испытываю нечто похожее на бешенство и готов вцепиться зубами в первого попавшегося, а потом смиренно сдаться санитарной службе. Или выскочить на середину улицы, чтобы меня кто-нибудь переехал. (Иногда, ради порядка, я лаю на луну.)

Тем не менее я остаюсь на прежнем месте, шелудивый отшельник с шершавым, как наждачная бумага, хребтом. У подножия этой стены, прохладную громаду которой я помалу подрываю. Потому что все чешусь, чешусь и не могу остановиться...

Метаморфоз

ОНА возникла как сверкающая вспышка средь бела дня, как яркая живая драгоценность, чуждая пошлости мушиного племени, чей удел — беспомощно барахтаться в тарелке с супом; так появилась эта бабочка и тут же, как на грех, взяла и угодила в чечевичную похлебку.

Завороженный внезапным сиянием (угасшим сразу в жирной гуще супа), хозяин дома прервал каждодневный обеденный ритуал и бросился спасать маленькое чудо. С маниакальным терпением собрал он одну за другой крохотные черепички ее чешуек, восстановил по памяти рисунок верхних и нижних крыльев, вернул первоначальное изящество усикам и ножкам, долго колдовал над брюшком, пока не добился осиной талии в том месте, где оно переходит в грудку, заботливо очистил каждую драгоценную частичку от мельчайших остатков жира, пятен и влаги.

Густая семейная похлебка окончательно остыла. Завершив свой труд, занявший лучшие годы его жизни, хозяин дома с огорчением узнал, что препарировал экземпляр самой что ни на есть заурядной бабочки Aphrodita vulgaris maculata[1], из тех, что попадаются на каждом шагу и, насаженные на булавки, во всевозможных вариациях и разновидностях непременно присутствуют в самых захудалых музеях естественной истории и в сердце каждого мужчины.

Перевод В. Капанадзе

1. Букв.: Афродита обычная, запятнанная (*лат.*).

Ловушка

Есть птица, которая летает в поисках собственной клетки.

Ф. Кафка

ВСЯКИЙ раз, когда ко мне приближается женщина, трепетная и неотвратимая, тело мое пронзает дрожь наслаждения, а охваченная ужасом душа возрастает до небес.

Я вижу, как они раскрывают и как складывают лепестки. Будь то безоружные розы или плотоядные росянки — у каждой есть специальные ловчие листы: нежные створки, чуть тронутые дурманом. (Вокруг вечно жужжит рой молодых самодовольных шмелей.)

Меня притягивают эти липкие, покрытые ядовитым клеем бумажные души, я вляпываюсь в них, словно в лужи сиропа. (Испытанный в подобных передрягах, осторожно — одну за другой — высвобождаю свои тоненькие лапки. Но в последний раз у меня надломился хребет). И вновь я летаю один.

Лживые Сивиллы, они, словно паучихи, запутываются в собственной паутине. А я обречен кружить в одиночестве в поисках новых оракулов.

О, проклятая, да сгинет навсегда вопль летучего духа в колодце твоего безмолвного тела!

Перевод Е. Хованович

Встреча

ДВЕ точки, чтоб соединиться, не обязательно должны искать прямую. Конечно, это самый краткий путь. Но некоторые предпочитают бесконечность.

Люди попадают в объятия друг к другу и не задумываются, как это все произошло. Обычно они плутают по жизни. И лишь завидев объект, к нему стремятся, чтобы слиться воедино. И встреча эта — столкновенье двух снарядов. Удар силен настолько, что обоих отбрасывает вспять, к исходной точке. И втиснувшись обратно в орудийный ствол, они впечатываются в свои пустые гильзы. Вот только порох уже истрачен.

Но бывает, та или иная пара отходит от этого неотменимого пути. Вначале их направление линейно и безусловно прямо. Но почему-то они вдруг попадают в лабиринт. Они не могут жить в разлуке. Это единственное, в чем они уверены, но их уверенность тает в процессе поисков друг друга. И когда один из них вдруг совершает ложный ход в надежде встречи, другой проходит мимо, как будто ничего и не заметил.

Перевод В. Капанадзе

В комнате после ухода влюбленных остался отвратительный осадок любви. Повсюду мишура, увядшие лепестки, опивки вин и пятна пролитых духов. Над развороченной постелью, над смятением подушек роятся мухами густые и пахучие слова, гуще, чем сок алоэ и фимиам. В воздухе еще жужжит: "птенчик мой", "обожаю".

Пока я мою полы и привожу в порядок постель, утренний ветерок слизывает своим невесомым языком эти тонны карамели. Нечаянно я наступаю на нераскрывшуюся розу, выпавшую вчера из ее декольте. Ах, жеманная барышня! Я так и слышу, как в истоме она просит приласкать ее, обнять покрепче. Но придут иные времена: и ей придется когда-нибудь одиноко тосковать в своем гнездышке о возлюбленном, упорхнувшем в поисках новых пташек под чужие карнизы.

Я его знаю. Не так давно он набросился на меня в лесу и безо всяких уговоров и церемоний повалил на землю и овладел мною. Так лесоруб забавы ради, на ходу напевая похабные куплеты, срубает одним махом тонкий стебель пальмы.

Перевод Е. Хованович

Из книги "Просодия"

Свобода

СЕГОДНЯ я провозгласил независимость своих действий. На церемонии присутствовали лишь несколько неудовлетворенных желаний да два-три невыразительных поступка. Обещал быть еще грандиозный замысел, но в последний момент уведомил, что покорнейше просит его извинить. Все происходило при гробовом молчании собравшихся.

Видимо, я ошибся с сопровождением: фанфары и колокола, петарды и барабаны наделали слишком много шуму. Вдобавок ко всему провалилась затея с фейерверком, задуманным как торжество морали и пиротехники: хитроумные заряды тлели, но не срабатывали.

В итоге я оказался в одиночестве. Полночь меня застала свободным от атрибутов власти, склонившимся над листом бумаги с пером в руке. Собрав остатки былого героизма, я взялся за тяжелый труд по составлению статей пространной конституции, которую наутро хотел представить генеральной ассамблее. Работа увлекла меня, сняв с души осадок неудачи.

И вот они кружатся, точно мотыльки над лампой, мои мятежные идеи, столь же коварно неотвязные, и лишь порою сор пустопорожних фраз развеивается от дуновенья "Марсельезы".

Карта утерянных вещей

В человеке, продавшем мне эту карту, не было ничего необычного. Вполне заурядный, невзрачный тип, разве что не совсем здоровый. Он привязался ко мне на улице, и повадки у него были точь-в-точь как у всех этих торговцев, встречающихся на каждом шагу. Денег за свою карту он запросил самую малость, уж больно ему хотелось от нее избавиться. Когда он предложил испытать ее действие, я из любопытства согласился, потому что дело происходило в воскресенье и заняться мне было нечем. Мы отправились в какое-то место неподалеку и там отыскали жалкую вещицу, которую, наверно, он сам же и подбросил, уверенный, что на нее никто не польстится, — целлулоидную гребенку розового цвета, усыпанную мелкими стекляшками. Я до сих пор храню ее среди множества таких же безделушек и испытываю к ней особую нежность, потому что она стала первым звеном в цепи. Жаль, конечно, что эта коллекция неполна: кое-какие вещи проданы, а монетки давно истрачены. С той поры я живу за счет находок, сделанных с помощью карты. Жизнь эта довольно убога, что и говорить, зато теперь я навсегда избавлен от всяческих забот. А время от времени, изредка, на карте вдруг обнаруживается потерянная женщина, которая таинственным образом мирится с моими скромными возможностями.

Перевод В. Капанадзе

Обезумевший от любви

Гарси-Санчесу де Бадахос[1]

САД на рассвете безлюден. Туда, мучимый любовной бессонницей, бредет Гарси-Санчес де Бадахос, настраивая незримую лютню.

По саду грез, обезумевший от любви, идет он, покинув темницу рассудка. Стремясь узреть среди лилий коварный влажный ров. Долой мир, долой разум. Камнем вниз по склону темных, жестоких, равнодушных очей. Прямо в бездонную пропасть нечуткого к пению уха.

Влажными комьями скорбных стихов завалит он труп отвергнутого, свой труп. И соловей споет ему погребальную песнь холода и забвения. Слезы не утешат его: чуда не будет. Глаза его сухи, в последнюю ночь любовного ненастья в них запеклась жгучая соль. "Меня не любовь убила, убила жажда любви".

Но ты, умерший от любви, умрешь не весь. Некому гласу суждено звучать и поныне в твоем романтическом саду. Это нота той песни, которую истязательница твоя не пожелала услышать. Птицы еще поют в ветвях лавра над твоею могилой, о безумный влюбленный святотатец.

1. Гарси-Санчес де Бадахос (1460—1526) — испанский поэт.

Ибо прежде, чем вознестись в рай безумства, Гарси-Санчес рухнул в преисподнюю любви. И услышал там и донес до нас песни, ранящие слух малодушных и боязливых. Но каждый стих его как бы случайно предстал оправданием перед очами незримых судей.

Из книги "Палиндром"

Семейное счастье

ЦВЕТНОЕ кино в Блэксонвиле обречено на провал, заявляет Сэм, а вслед за ним и я, специальный корреспондент отдела паранормальных явлений "Стандард ревью". Эксклюзивный репортаж "Не было бы счастья..."

Вчера вечером все мы отправились в кино. Я говорю "мы", ибо душой я с очевидцами событий. Я говорю "все", ибо опытным путем доказано, что битком набитый зал вмещает всех до единого обитателей поселка, включая детей, ведь Сэм никогда не показывает фильмов, куда дети не допускаются. Проблема незначительных колебаний в числе зрителей, вызванных меняющимся соотношением рождений и смертей, а также внезапными визитами иногородних, решается за счет складных стульев, которые то устанавливаются в зале, то выносятся из него и которые особенно неудобны, когда стоят у самого экрана. Именно там и располагался я, но не думаю, что события, свидетелями которых стали все присутствующие, объясняются искаженным углом зрения.

Широкоэкранный цветной блокбастер, лишь для видимости заявленный в качестве гвоздя программы, запомнился нам вкусом сластей и шипением газировки. Мы, молодежь обоего пола, пришли не ради цветной кинокартины, а ради черно-белой короткометражки, появившейся лишь благодаря выдержке кинематографиста-любителя, нашедшего в себе силы не вмешаться в драку, а запечатлеть ее на кинопленке. (Еще до того, как шестнадцатимиллиметровая лента была проявлена, Сэм приобрел исключительные права на демонстрацию фильма на всей территории страны, от океана до океана и от границы до границы. Что касается показа за пределами родины, то с этим еще не ясно – Перри у нас дальтоник.)

Короткометражный предмет нашего восхищения непременно попадет в сокровищницу мирового кинематографа, ибо жители Блэксонвиля в качестве импровизированных актеров оказались на голову выше тех, кого можно было бы назвать белыми фигурами на социальной шахматной доске. Мы, местные, – крупнейшие специалисты по черной коже во всех ее тончайших оттенках. Здесь запрещено держать серых кошек, и слово "серый" заменено любопытным неологизмом, который, однако, уже включен в самые солидные словари: "свет, слегка замаранный тьмой". Да, друзья мои, между добром и злом для нас не существует полутонов, и никакое преломление лучей невозможно. Именно потому вчера вечером мы проявили такую находчивость и отвагу пред явлением призрака.

Но вернемся к фильму, прерванному на самой волнующей сцене, когда Сэм, ветеран бейсбола, капитан и менеджер местной девятки, всегда готовый подать руку помощи землякам в чрезвычайных обстоятельствах, опускал со всего размаха свою бейсбольную биту на голову Джо. Тут-то и явили себя потусторонние силы.

Совершив сложный прыжок одновременно в длину и в высоту, Джо с экрана выскочил в первые ряды партера. (То есть туда, где сидел я.) Пробежав по проходу в центре зала, он наклонился и шепнул что-то на ухо миссис Перри. Элис забилась в истерике в объятиях Сэма. А то в чьих же? Ведь на то он ей и муж. Как подобает истинному демократу, сидит Сэм всегда в партере, чтобы в непосредственной близости наблюдать реакцию публики.

Потрясенные таким вопиющим неуважением к власти, почти все мы повскакали с мест. Но лишь Дикси, джентльмен, каких нынче днем с огнем не сыщешь, схватился за пистолет. Негр задал стрекача и — прямиком обратно на экран. Мы знали, что его ждет, ведь до этого фильм нам показывали раз одиннадцать. Но вдруг — о ужас! — Сэм изо всех сил размахнулся и застыл, как Бейб Рут[1] на фотографии. Раздавшиеся было аплодисменты разом смолкли, а негр знай себе бежит, причем голова его целехонька. Тогда Дикси, не растерявшись, своим зычным басом, загустевшим от обильных возлияний, приказал остановить проектор. Изображение застыло, как и все мы: бита так и зависла в воздухе, а негр продолжал улепетывать, огибая неподвижные препятствия, то бишь всех жителей Блэксонвиля, принявших участие в потасовке. Джентльмен до мозга костей, Дикси дал Джо последний шанс, приказав ему остановиться. Не зря он у нас начальник полиции.

Негр продолжал бежать. Тогда Дикси, не теряя времени, сделал удивительный по меткости выстрел. Джо упал у самой линии горизонта, застывшей на экране.

Один мальчишка в поисках сбежавшего теленка набрел на труп негра у линии горизонта, что видна от Блэксонвиля. Негра опознали по отсутствующим голубым глазам Джо. Изъятие глаз приписывают единственной хищной птице, мародерствующей в наших краях. Речь идет об исчезающем виде, имперском орле Flaminis fulvea, которому осточертела мертвечина, а потому он с разрешения общества охраны животных таскает понемногу мелкую скотинку.

Труп Джо взывал к правосудию, но никто за ним не пришел — вонял он ужасно, — так что Дикси предал его земле по христианскому обычаю. На средства, собранные по подписке, которую организовал Сэм, рукоятка пистолета Дикси в память о чуде будет оправлена золотом.

Nota bene: местная газета под рубрикой "Семейное счастье" опубликовала заметку, порадовавшую нас всех. После долгих лет бездетного супружества госпожа Элис Перри наконец преждевременно, но счастливо разрешилась совершенно здоровым младенцем. В тот самый вечер, после просмотра фильма с привидением. Событие тем более удивительное, что после многих поколений сероглазых в семье впервые за десятилетия появился ребенок с небесно-голубыми глазами, точно такими, как у легендарного родоначальника семейства, заселившего со време-

1. Бейб Рут — американский бейсболист, выступавший между 1914 и 1935 гг.

нем весь Блэксонвиль. Того знаменитого Сэмуэля Перри, памятник которому стоит посреди поселка. Он изваян из белоснежного мрамора, ибо наш предок с фанатизмом пророка противился освобождению рабов, несмотря на непреодолимое влечение к темнокожим красоткам.

Баллада

СНОВА ад, снова "после вчерашнего", снова ненавистных приятелей мат монотонный, словно вой по покойнику. То ли в колодец бездонный, то ли в полуоткрытую дверь, куда в полночь впускают любого, лишь бы деньги платил, заманили: "Красавчик, на улице мерзость, на душе непогода. Озяб, стосковался о лете? Здесь тепло, заходи, обогрейся, забудь, на котором ты свете". Ты ввалился, и тьма пред тобою разверзлась. Выход из пустоты в пустоту, сон рассудка больного...

О, не дай угодить в твои сети!

Снова скрежет зубовный и пьяниц похмельная рвота, над очком бесконечного нужника клекот и стоны. Мутный взгляд друг на друга, гримаса, земные поклоны над клоакой с настойчивостью идиота. Полудохлые дурни рогатые, вмиг постаревшие дети, от недуга любовного ищем спасенья в борделе. Мы ведь шли к вам на праздник, но видеть нас не захотели... Вечный в памяти шанкр, вечно совесть вопит на рассвете. Об заклад головой против ляжек мне биться до смертного пота.

О, не дай угодить в твои сети!

Я в оркестре покинутых – рог, на котором трубишь ты свои позывные, дудка-единорог, атакующий с риском разбиться. Я ушиблен не раз о барьеры фальшивой и лживой девицы. Есть разумные, знаю, но мне попадались шальные, школы боли и мрака способнейшие ученицы. Я светильник без масла, вотще возмечтавший о свете. Я козел отпу... нет, отвращения: сам не заметил, как во рву оказался зловонном и вязком, где правят коварные львицы и откуда к тебе я взываю, пока не сомкнулись клыки их стальные.

О, не дай угодить в твои сети!

Посылка

Боже воинств, ответь мне, за что пред тобой я в ответе, если сам ты расставил капканы тоскующей плоти, и я вновь подавился наживкой, как давятся лакомством дети, той наживкой со вкусом порока и смерти; и крик мой, в полете оборвавшись, затих. Ты опять не ошибся в расчете.

Так не дай разорвать твои сети!

Перевод Е. Хованович

Филипп Жакоте

Из разных книг

Переводы с французского.

Вступление Бориса Дубина

Я хотел озаглавить или хотя бы начать эту заметку так: "Филипп Жакоте — воплощенное достоинство слова", но тут же себя остановил. Самомалейшее повышение тона — не в характере швейцарского поэта. Достоинство им сказанного обеспечено долгим молчанием и совестливым сомнением, его знак — вопрос, а оброненное о любимом Джорджо Моранди[1] — "живопись приглушенная, почти отсутствующая" — можно отнести к самому Жакоте. Многое говорит сам его почерк: волосяные линии на открытках или в инскриптах, оставленные как будто не стержнем, а кисточкой, словно не решаются коснуться бумаги, — не то слабый след, не то его стирание, выветривание, истаивание.

Сборник стихотворений Жакоте середины пятидесятых годов назывался "Неискушенный" ("L'ignorant"), и это отношение к миру — дорогое ему, добавлю, в заглавном герое "Идиота" Достоевского — поэт пронес через всю жизнь. Недаром в книге "Спустя много лет", а это уже середина девяностых, он признается, что "так и не повзрослел". Сегодня Филиппу Жакоте — восемьдесят. Его острое зрение — по-прежнему внутреннее, но никогда не самопоглощенное, и читатели следующих ниже страниц, с их неисчерпаемыми звуками и тончайшими красками, в этом, уверен, убедятся. Поэзию Жакоте — прозаическая форма записи нисколько не мешает всему написанному им быть поэзией — я бы назвал "духовной", имея в виду не столько "духовные стихи" английского или испанского барокко (поэт их знает, ценит, переводит), сколько то, вероятно, главное измерение в искусстве XX века, которое в самом его начале наметил Василий Кан-

© Gallimard, 1970, 2001
© Борис Дубин. Вступление и перевод, 2005
© Арина Кузнецова. Перевод, 2005

1. Натюрмортам итальянского живописца Джорджо Моранди (1890–1964) Жакоте посвятил книгу "Чаша паломника" (2001).

динский. По альпийским тропам вдоль Виваре и Монмирай, по дорогам Греции, Италии, Германии поэта ведет поиск, говоря его же формулой, "возможности невозможного" или — закончу любимой Жакоте цитатой из Борхеса — "неминуемость откровения, которое снова и снова откладывается".

Самосев. Книга третья

Записные книжки 1995–1998[1]

1995

февраль

КИСТИ рук, особенно там, где каменеют суставы, становятся все тверже: так в зеленой лощине прорезаются утесы. Приближаешься к состоянию камня; кость выпирает, показывает силу, одолевает – и надолго. Но не навсегда. Из нас прорастает смерть – не плодом, как мечталось Рильке, а камнем. Оболочка, наоборот, сечется, обтрепывается. Вот, по крайней мере, хоть что-то твердое, и на это можно опереться или, напротив, отказаться уже от всякой опоры.

май

Погода совсем летняя. И неотрывная от этой поры, от сада, слышанная уже столько лет птичья попевка непоодаль, короткий мотив, похожий на трель иволги, – до чего он всегда напоминает зов, голос, доходящий с другой стороны мира, этот почти неуловимый, чистый, текучий голос, намекающий, как будто бы намекающий на расстояние между нами, указывающий на него и оттого звучащий почти приманкой, но слегка и насмешкой, словно у ребенка, выкрикивающего, что его не поймать, или женщины, уверенной, что ее не догонят и не обнимут, хотя все эти сравнения, как обычно, предают неповторимую реальность попевки, которая кажется неотрывной от погожих дней, от первого настоящего тепла. Попевки, спокойно, даже с некоторым безразличием говорящей, что внутри нашего мира есть другой, – и говорящей это совершенно ясно.

И вот он опять надо мной, в еще один майский день с незамутненным небом, которое просвечивает сквозь сеть, сотканную ласточками, а то и попадает в петли их виражей, – этот чистый, звонкий, словно бы текучий зов, две разновысокие ноты, а чаще три, одна долгая и две короткие, и средняя (но иногда она может идти первой), звучит в густеющей на глазах листве выше других.

Потом невидимая певунья смолкает или перелетает подальше. Птица-лозоход. Птица-водонос. Крик водоноса, торговца свежей водой на восточных базарах – здесь, в лабиринте весенней листвы.

1. Фрагменты из "Записных книжек 1980–1994" были также опубликованы в "ИЛ" 2002, № 9. (*Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, – прим. переводчиков.*)

ноябрь

Дымок, похожий на шагающее дерево. Плавучий гребень огня.

*

Вечер: золотое успокоение, опускающееся мягко, как птица. Словно прикосновение руки, теплое дыхание на лбу или музыка, которая перед тем, как стихнуть, замедляется до того, что разрывов между тактами уже не слышно.

1996

март

В "Исповедях самозабвения" — слова Хильдегарды Бингенской[1] (ее музыкальные сочинения сейчас воскресили, и они в большом ходу): "Но открывшийся мне свет шел не из одной точки и был бесконечно прозрачней облака, несшего солнце. Ни глубины, ни протяженности, ни широты я в нем не увидела. И стала называть это для себя тенью света живого".

июль

У Ольги Седаковой, русской поэтессы, с которой я имел удовольствие познакомиться в Москве, мне особенно понравилось — насколько я смог, и наверняка не без ошибок, его понять — вот это стихотворение "Надпись"[2]:

> Нина, во сне ли, в уме ли, какой-то старинной дорогой
> шли мы однажды, как мне показалось, вдоль многих
> белых, сглаженных плит.
> — Не Аппиева, так другая, —
> ты мне сказала, — это неважно. У их городов
> мало ли было дорог,
> которые к гробу от гроба
> переходили. — Здравствуй! — слышали мы, —
> здравствуй! (Мы знаем, это любимое слово прощанья.)
> Здравствуй! как ясно ты смотришь на милую землю.
> Остановись: я гляжу глазами огромней земли.
> Только отсутствие смотрит. Только невидимый видит.
> Так скорее иди: я обгоняю тебя.

сентябрь

Снова взявшись за "Прогулки одинокого мечтателя", чтобы проверить, не зря ли видел когда-то в этой книге отдаленный источник и прообраз всего мною написанного, я убеждаюсь, что Руссо, если исключить пятую, по праву знаменитую прогулку, где он передает восторг минутного

1. Хильдегарда Бингенская (1098–1179) — святая, немецкая монахиня, настоятельница монастыря в Рейнской области, автор мистических трудов, религиозных песнопений и музыкальных драм.
2. В оригинале далее следует перевод, выполненный Филиппом Жакоте. Он посетил Москву в мае 1996 года, когда и состоялось упомянутое знакомство.

единения с космосом, крайне редко говорит о природе, а куда чаще о психологии, о морали и (стоит ли удивляться?) о себе. Перечитывая потом "Зеленую тетрадь", я замечаю, что Морис де Герен[1] куда точнее в описаниях, как будто его взгляд, не настолько поглощенный собой, делается от этого внимательнее и острее. И вот я, к собственному изумлению, опять захвачен этими страницами, как прежде, в 1943 году, когда их для себя открыл, и даже глубже.

На последних страницах, написанных двадцатичетырехлетним юношей (через пять лет он умрет), его голос, немного жалобный и всегда трогающий за живое, набирает крепость, широту. Как, веком позже, Гюстав Ру[2] будет писать свою первую книгу "Прощание", сокрушаясь, что потерял дар слова, а на деле — чтобы предотвратить эту потерю, так Морис де Герен обретает голос именно в тот миг, когда опасается, что вдохновение в нем иссякло: "Всего за неделю моя душевная жизнь ослабела, источник пересох так быстро, что после нескольких дней уцелела лишь слабая струйка. А сегодня и последняя капля скатилась". Музыка рождается предчувствием конца: "Сегодня я как будто бросаю тень на всё вокруг, любой предмет непроницаем и наглухо запечатан смертью. Как по ночной дороге, я иду, отрезанный чувством собственного "я" от безжизненных призраков окружающего". Этот торжественный и тайный шаг раздается уже у самых границ немоты, на пределе слова; слышишь почти ту же гармонию, что у Гёльдерлина в "Гиперионе", у Новалиса в "Гимнах к ночи", и не просто гармонию, а новый опыт, мысль, подытоживающую жизнь (и такую краткую жизнь), тягу всего существа к более глубокому истоку: "Природа допустила меня в самую уединенную из своих неземных сокровищниц". (Поразительно, что Рамю[3], думавший писать по Герену диплом, начал с подражаний ему, а потом и молодой Шаппаз[4], поколением позже, тоже был им захвачен. Все это, вплоть до чувства, что жизни в нем осталось только на тень: "Вот она, природа моих мыслей — клочок уплывающего тумана", — откликнулось потом в сокрушениях Гюстава Ру на самых прекрасных страницах его прозы.)

Снова и снова возвращаюсь к финалу "Зеленой тетради", к записи чуть позже 2 февраля 1835 года — дня, когда умерла Мари де Морвонне, юная жена его друга Ипполита, которую он здесь в первый раз упоминает; эта тень, как Софи для Новалиса, стала для него путеводной вехой: "Теперь она покинула видимый мир и принадлежит пространству мысли..." Тончайшая музыка сопровождает это прощание, воплощает его. "Я расстался с мыслью о ее земном существовании, вычеркнул ее образ из внешнего мира...", "Иду, представляя себе, насколько могу, сокровищницы чистого духа...", "Легкий и беззвучный шаг воображения снова ведет меня по любимым тропам..." Этот непрестанный осмос между внутренним и внешним характерен и привычен для него: шепот мыслей сливается с шепотом листьев. "Они [мысли] ожидают своего рождения, будущего, открытия непрерывных таинств жизни, поддерживая друг друга словами внутренних увещеваний или время от времени умолкая,

1. Морис де Герен (1810—1839) — французский поэт, один из создателей жанра "стихотворений в прозе".
2. Гюстав Ру (1897—1976) — швейцарский франкоязычный поэт и прозаик, переводчик Новалиса, Гёльдерлина, Тракля и других поэтов немецкого языка, наставник и друг Жакоте.
3. Шарль Фердинанд Рамю (1878—1947) — швейцарский франкоязычный писатель.
4. Морис Шаппаз (р. 1916) — швейцарский поэт и прозаик, переводчик идиллий Вергилия и Феокрита, пишет на французском языке.

чтобы вслушаться в кипение скрытого потока мудрости, струящегося в глубине иных жизней наподобие тех потоков, что бегут в стенах монастырей...” (Что он имел тут в виду? Не знаю, а мне вспомнился увиденный, кажется, на кухне португальского монастыря в Алькобасе канальчик с проточной водой, такой неожиданной в подобном месте. И все же я вряд ли заметил бы его, не задержись прежде на этих нескольких словах, где предельная быстрота и пылкость соединяются фразой, подступающей, кажется, к самой сути вещей, с неподвижной и молчаливой отрешенностью монастырской обители.)

Последняя запись “Зеленой тетради”, от 13 октября, звучит уже почти как проза “Кентавра”: “Я отправился в путь. Не знаю, какой поворот судьбы привел меня на берег реки, впадающей в море...” (Здесь уже как будто слышишь другую, более безоглядную и неистовую душу: “Мне нужно было броситься в путь, развеять эти осадившие мозг наваждения. Над морем, к которому я стремился так, будто оно должно было смыть с меня всю грязь...”[1])

Герен, или высокое искусство туше. Но этот Куперен — в глубоком разладе с собой и своим веком.

Строки, которые я только что привел, заканчиваются словами: “О, кто меня вынесет на этот нильский берег?” Видимо, он подумал о колыбели ребенка Моисея, спасенного ласковой египтянкой, и это наводит на мысль о еще одной перекличке, на сей раз с Пуссеном.

Гереновского “Кентавра”, переведенного Рильке, я помню довольно хорошо, а вот “Безымянные страницы”, написанные вслед за “Зеленой тетрадью” и смертью юной Мари, совершенно забыл, и они меня теперь поразили. Почти за сто лет до того, как Рильке в образе юноши будет идти по следу Жалоб к источнику Радости все более суровой и беззвучной равниной, Герен прошел за юной умершей по “глухим и темным дорогам”, которые ведут туда, где разлука — стоит живому существу раскрыться, стоит нам с доверием открыться навстречу миру — обернется полнотой осуществленности. И как только Герен сказал об этом самораскрытии, на сцену, словно сквозь брешь в плотине, устремляется хор Муз, иначе говоря, миф, греческий миф, который он воскресил с той же силой или, по крайней мере, с той же ясностью, как незадолго до него Гёльдерлин, — иначе говоря, входит космос, чье стройное и размеренное движение руководит мыслью и прозой поэта, как небесными созвездьями.

Но особенность Мориса де Герена, умершего молодым и предчувствовавшего раннюю смерть (“Над моей душой тяготеет уходящий день...”), — то, что он пишет “в отсветах заката”, из всех времен года предпочитая осень, а из всех часов дня — вечер. В силу этого он и может лучше других передать декрещендо, раллентандо любого финала, но доводя его до такой тишины, которая уже не пустота, а послезвучие музыкальной фразы, до такого завершения, в котором нет тупика и безысходности, — и может это, кроме прочего, постольку, поскольку заранее принимает пологость мира, которая переходит для него в то, что он замечательно называет “чистым и благосклонным доверием” Мари: “Друг мой! Моя душа с чистым и благосклонным доверием продолжает назначенный ей путь и стремительно спускается по склону ледяной горы к дышащим жизнью долинам... <...> Похожая на луговой ручей, скользящий по ложу склоненной травы, моя

1. Из стихотворения Артюра Рембо “Бредовые видения II” (сб. “Лето в аду”).

душа с мягким журчанием следует своей природной склонности...” Еще и в этом Герен предвосхищает Рильке, который должен был очень любить слова “Neige” и “Neigung”, эквивалент французского “penchant”, “наклон”, чтобы с такой задушевностью уравнивать “склонность” и “нежность”.

Если же говорить о “Кентавре”, который тоже открывается образом пещеры, тоже меняет местами времена и воды, тоже увенчивается неподражаемо умиротворенным декрещендо, то что здесь сказать, кроме одного: смесью природы и мифа, их растворением то в словесной, то в живописной музыке это как бы полотно Пуссена, только на два века старше и потому окутанное большей меланхолией.

И если говорить о созвездиях, то лучше всего дать под конец слово “Вакханке”: “В размеренном подъеме по горным кручам я хотела найти то умиротворение, которое находят на своих путях небесные светила, поскольку дорога возносила меня к вершинам гор так же, как они поднимаются по уступам ночи”.

1997
февраль

Шубертовская фортепьянная соната си бемоль мажор в исполнении Клары Хаскил[1]: вещь, к которой возвращаешься снова и снова, но какими словами о ней рассказать? Чем она — особенно в первой части — доводит почти до слез? Я не знаю ничего, что лучше, и всякий раз заново, передавало бы чувство преодоления границы, стены, чувство движения в “Открытости”, этом внутреннем и вместе с тем внешнем пространстве, которое представлял себе Рильке, отпуская в нем на свободу своих ангелов, и которого достигают в “другом состоянии”, описанном Музилем. Но нужно, насколько удастся, уточнить: в движении по этим пространствам нет ничего отвлеченного, бестелесного, в них есть свои неровности, оттенки, взлеты и падения, — жалоба, ностальгия, даже страсть, овеянные дыханием сути, преображены здесь с естественной простотой, так что беда и тоска теперь уже не преграждают путь к миру, а по-своему расцветают ему навстречу.

Еще Шуберт, его песни в исполнении Элизабет Шуман[2]. Их звуки связаны для меня с целым миром образов, отсылающих к Германии и только к Германии, хотя — нужно ли это уточнять? — в песнях, о которых я сейчас думаю, никогда не было ничего “местного”: это и картины Каспара Давида Фридриха с их повернувшимися к нам спиной героями, погруженными в созерцание пространства; и силуэты городов с колокольнями, башнями, бастионами, всем, что при взгляде на затянутый летним туманом Эставайе по другую сторону Невшательского озера всегда и непреодолимо напоминало мне Гёльдерлина; и дороги с лошадьми, с белокурыми девушками, множество дорог, то мощеных, то грунтовых; и хол-

1. Клара Хаскил (1895–1960) — румынская пианистка, в 1927–1940 гг. жила во Франции, после 1942 г. — в Швейцарии.
2. Элизабет Шуман (1888–1952) — немецкая певица (сопрано), с 1937 г. жила в США.

мистые долины со снегом, сияющим (как у меня на родине) на вершинах далеких Альп; и тяга к бродяжничеству (странствия Вильгельма Мейстера, странствия Антона Райзера[1]); и великие взлеты и приступы глубочайшей меланхолии (почти по тем же дорогам пройдет позднее такой человек, как Гюстав Ру); и жизнь и труд людей, еще связанных со стариной, — мукомолов, пастухов, рыбарей; и Gemütlichkeit, стиль бидермейер, этот душевный уют без взрывов, тем более — без грандиозных фантазий романтиков вроде Гюго, особенно без его готических или восточных вычурностей... Да, по сути дом и жизнь Ру в Каруже были еще совсем близки подобному миру.

Du lachst wohl über den Träumer
Der Blumen im Winter sah[2] —

"Кому не смешон мечтатель, что видит зимой цветы". Эти цветы, которые Шуберт воскрешает в одной из лучших Lieder своего цикла "Зимний путь", Ру видел каждую зиму у себя на стеклах, и рисунок мелодии, сопровождающей два приведенных стиха, кажется, в силах растопить самый твердый душевный лед.

апрель

Если существует молчаливое или тайное (однако все менее молчаливое) братство душ, которое живопись Моранди воскрешает у нас на глазах, как ставший редким язык, язык глубоко внутренний и вместе с тем совершенно не субъективный, то существует и семейство душ, чары которых уже столетиями исходят с фаюмских портретов; впрочем, обе эти семьи — в чем нет ничего удивительного — нередко сливаются. (Листая книгу "Немой призыв", которую посвятил этим портретам Жан-Кристоф Байи[3], и глядя на цветную репродукцию "Мужчины с оливковой ветвью", я поразился, до чего эта ветвь, розовая и зеленая на фоне белой тоги, по цвету и даже по мазку напоминает великого болонца.)

Байи пишет о фаюмских портретах очень точно. Мало того: его собственный язык, приглушенно вибрирующий и остающийся при всей серьезности легким, в высшей степени достоин своего предмета. Ведь эти портреты смотрят на нас "с порога страны мертвых", оттуда, где не стоит повышать голос, если они сами этого не делают. В египетском представлении о смерти, противопоставляя его греческому, но не думая одним опровергнуть другое, Байи подчеркивает самое главное: "Жуткую тишину Стикса этот "любящий тишину край" сменяет другой тишиной, — она включает смерть в общий счет живого и объединяет жизнь и смерть напряженностью общего вслушивания. По представлениям греков, поток и скважина разом, Стикс, которого, если верить Гесиоду, "страшатся даже боги", — это своего рода смерть в глубине смерти, всегда живая память об изначальном хаосе. В этом смысле он близок к еги-

1. "Антон Райзер" (1785—1790) — автобиографический роман немецкого писателя-романтика Карла Филиппа Морица (1756—1793).
2. Из стихотворения немецкого романтика Вильгельма Мюллера (1794—1827) "Мечты о весне", вошедшего в цикл "Зимний путь".
3. Жан-Кристоф Байи (р. 1949) — французский поэт и эссеист.

петскому небытию, чья угроза неизменно подстерегает живущих. Но притом, что Стикс походит на Гадес, а последний почти неразличим и как бы укутан полутьмой, египетская мысль в ответ на угрозу хаоса находит в смерти ясность избавления. Яростного Цербера здесь сменяет молчаливый пес, всезнающий бог".

И дальше: "С этих портретов на нас смотрит само неистовство, с которым жизнь вторгается в жизнь, но которое мягко удержано на границе, где жизни приходит конец. <...> Взгляд тут ничего не символизирует, ничего не выражает, он молчалив и непроницаем, как ничто иное, как не молчаливы даже сомкнутые губы, поскольку перед человеком сейчас одно: мир, куда он некогда пришел и откуда сейчас уйдет, — так что взгляд здесь не выражает прощание, он и есть это прощание..."

За книгой Байи мне впервые пришло в голову, до чего эти портреты должен был любить Рильке (хотя упоминал ли он о них, не помню), Рильке, который, вместе со всей современной эпохой опираясь лишь на ностальгию по сакральному, так часто навещал воображением подобные края, рубежи между жизнью и смертью, и с такой страстью мечтал, что рубежи сотрутся, как стерлись они когда-то для Орфея и как стираются сегодня для пригрезившихся Рильке ангелов.

июнь

Среди книг этого лета со мной по-прежнему Байи, чью "Сущность языка" я читаю с тем же ощущением единомышленника, что и "Немой призыв", только еще более острым, особенно когда речь у него заходит о мелочах мира, которые, как я чувствую, все нежней и настойчивей говорят мне о беге времени, — и тогда мысленная близость смешивается едва ли не с досадой, поскольку признаешься себе, что во многих случаях не сумел бы сказать лучше.

Вот о цветах: "...бутон, раскрывающийся, как дар, живет сам по себе и никого не имеет в виду, цветы не возносят молитв и не поют песен, роза не обращена ни к кому" (эти последние слова навеяны Ангелом Силезием[1]), — точно то же почувствовал я, но не прямо сейчас, а постепенно, со временем и раз за разом возвращаясь к этому чувству.

Так же и со светляками, чью диковинную феерию я незадолго перед тем для себя открыл, — что о них напишешь после этого: "Эти крошечные существа, чьи крылышки, ударяя по светящемуся тельцу, и вызывают мерцание, можно было бы назвать блуждающими, но блуждающими, как неприкаянные души, как непроизнесенные слова. Призрачные души без тел, живущие единственный миг ночного свадебного торжества..." Как удается оставаться таким точным, не умерщвляя тайны, а, напротив, углубляя ее насколько возможно? Следом за процитированными идут страницы о могилах: "В Зальцбурге, на кладбище Святого Петра под скалой, или на островах Греции у каждой могилы горит лампада. В ее слабом свете живет, превращаясь в воспоминание, душа умершего. Безымянный, этот горящий светильник оказывается сильнее имени, поскольку не принадлежит миру. Представляя покойного или мысль жи-

1. Ангел Силезий — прозвище немецкого (силезского) католического поэта-мистика Иоганнеса Шефлера (1624–1677).

вых о нем, тончайшее пламя живет над землей и перекликается с ночным небом. Чудесно было бы представить Землю отражением небес, чтобы лампады мертвых молчаливо отвечали созвездиям. Словно присевшая на стекло ночная бабочка, здесь вдруг возникает мысль о Земле, уменьшенной до последнего приюта, до исчезающего следа, и, как ни странно, вместо страха картина спящего мира вдруг озаряется светом: над "вечным покоем", кажется, реют светляки".

И еще, о тайне: "Тайна неописуема, поскольку не может и не должна быть описана. От нее доходит одна молва — смутное "говорят", которое ни о чем не говорит, а только молчит, говоря, что нужно умолкнуть. Но тем самым весь язык, вся возможность членораздельной речи неразрывно связываются с этим молчанием, и не столько ограничены, сколько зачарованы им, кружа у входа в святыню, как вьются в слепом танце притянутые огнем мотыльки. По правде говоря, еще таинственнее здесь другое: что этот огонек не гаснет, что память о богах или о том, именами чему они служили, продолжает молчаливо жить в языке, который уже так далеко от них ушел..."

Недавно мы чуть было не встретились с Байи в залах фонда Маньяни-Рокка под Пармой, где висят несколько замечательных вещей Моранди: по их поводу он придумал небольшое представление, которое должно было, о чем я не знал, состояться вскоре после того, как я уже уехал. Неважно. Он часто бывает в местах, где я только что побывал, всюду, где еще жив этот огонек, который для меня, пожалуй, дороже всего иного и который упорно светит в двух шагах от молчания, — там, где черный пес Анубис кладет на нас свою лапу, неся гибель и спасение разом.

август

Обычный, повторяющийся у меня, да, наверное, и у многих других, кошмарный сон: потерять дорогу.

В разгаре светский прием у П. В., множество приглашенных, толпа растет, повсюду люди, всё больше из крупной буржуазии или аристократии, разные уголки парка, статуи среди скал, часовенка, внутри которой виден крохотный человек, занятый каким-то своим делом. Эта скученность, эта толчея и сбивает меня с толку. Дороги тонут в лощинах, темнеет, и страшно уже не только заблудиться, но и споткнуться. Как предупредить, как успокоить домашних?

Позже я возвращаюсь в Гренобль, там меня сопровождают двое моих детей, но как попасть в Гриньян, по-прежнему непонятно. Такси нет (кажется, кто-то объяснил нам почему). Потом находится автомобиль, который нас отвезет, мы с облегчением забираемся в кабину, но шофер отлучается к себе взять что-то забытое, а машина сама трогается с места, и мы, без водителя, оказываемся в лабиринте незнакомых улиц. Любой ценой нужно найти дорожную карту. Перед нами еврейская книжная лавочка, совсем старая; окошко, к которому нагибаются, если хотят спросить. Потом, уже в "настоящем" книжном магазине, мы так и не обнаруживаем ни одной карты района, только планы города с выездами из него. Тоска и страх наваливаются, растут, пока я наконец не просыпаюсь.

1998

январь

Похоже на март, хотя зима еще в начале. Из окна мне видны — как много раз прежде, хотя сегодня, может быть, еще лучше, поскольку гостиничный парк подрезан, — тени стволов, легко лежащие на лужайках, и переливающиеся кроны лип; это свечение неподвижных веток (в воздухе ни ветерка), это слабое излучение, это совершенно безмятежное ожидание похоже на дневной сон: сиеста деревьев. И то же самое — на вершине Ванту, то же самое — в прядках облаков, то же самое, если бы я мог рассмотреть, — на Луне.

*

"Музыкальная комната" Сатьяджита Рея[1] — одно из самых прекрасных и самых грустных выражений благодарности красоте, когда она приходит к концу. Этот образ жизни, эта архитектура (куда чего только не намешано), сама эта музыка от нас далеки, но скрытая в них мечта все-таки живет в нас с тех пор, как мы научились читать, с незабываемых страниц "Тысячи и одной ночи"; это даль, спрятанная в глубине сердца, и благодаря искусству режиссера мы чувствуем себя почти такими же зачарованными, а под конец такими же потрясенными, как эти собравшиеся в гостиной раджи. Даже когда огни в последних кадрах гаснут, ничто не мешает светильникам по-прежнему выглядеть невесомым и лучезарным чудом; даже когда смерть становится жестокой реальностью в виде севшей на мель черной лодки, ничто не может помешать хозяину дворца любоваться танцовщицей, все убыстряющей свои каллиграфические движения, как будто ее тело выводит в воздухе самые прекрасные стихи о любви, которая только могла пригрезиться человеку.

февраль

Византийские церкви Армении, Грузии, Каппадокии, открытые мне двумя книгами: "Искусство Армении" ("Фламмарион", 1989) и "Средневековая Византия" ("Галлимар", 1996), — чем они так глубоко захватывают, хотя видишь простые фотографии? Закрадывается мысль, что во всем современном искусстве нет ничего даже близкого (справедлива она или нет, но эта мысль приходит). А еще признаешься, что изо всех мест, куда бы еще хватило смелости отправиться, к этим тянет больше всего. Почему?

Вспоминаю свой восторг перед храмом Святого Анфима в полях, к югу от Сиены (и перед многими другими храмами, к которым, не веруя, приходил), — что здесь, то же самое? И то же, и другое.

То же — это присутствие в самих храмах и вокруг них чего-то сакрального, все еще колышущегося здесь как слабое, но неопровержимое пламя.

1. Сатьяджит Рей (1922–1992) — индийский кинорежиссер.

А другое — это, быть может, их местоположение на краю, в пустынях, на взгорьях. Словно выдвинутые вперед башни, сторожевые или оборонительные: слово, воздвигнутое там, где опасность больше всего.

Камни, высящиеся над рассыпанным щебнем.

(Достаточно лиственной вязи, тонкой аркатуры, чтобы мы поняли: это не просто узилище, колодезный голубец или пилон.)

Массивные, плотные, чтобы надежней сберечь невидимую суть. Кажется, возведенные по образу гор, которые их окружают и осеняют. Несущие в себе семя божества.

*

Баховские сонаты для скрипки и клавесина: они вызывают во мне тот же восторг, что и в первый раз, когда наша подруга Андреа В. сыграла одну-другую, сев за орган на хорах Гриньянского собора. Представляются какие-то венцы, умиротворенное венчание, замершие в воздухе ангелы с "Крещения Христа" Пьеро делла Франчески: свободный строй, открытый, настежь распахнутый храм. А еще нечто складывающееся и раскрывающееся, как большое белое крыло.

Когда сразу после слушаешь одну из сонат, написанных для тех же инструментов Моцартом (скажем, опус 376), поражает торжествующая молодость, легкость, живость, временами почти дерзкие, невесомость птицы. Да и птичий дрессировщик неподалеку: в третьей части, кажется, различаешь его смех, — Ариэль, залетевший в Вену. На этой высоте воздух и вправду до того чист, до того переливчат, что самого тянет рассмеяться, но так, как смеется ребенок или засмеялась бы фея. Светлым, неомраченным смехом.

сентябрь

Быстрота смены этих дней, как будто они и вправду бегут, ускользают, ничего по себе не оставляя. Словно бросившиеся опрометью кони? Это первое, что приходит в голову — и приходит невпопад. Неистовства, дикости тут нет и в помине.

Сильный, неутомимый ветер сносит в одну сторону листву и птиц. Как дым из одного очага. И как эти дни.

Кажется, они стали бежать даже быстрее. Словно вода из пустеющей ванны, которую бесповоротно влечет вниз. Оттого ли, что, обескровливаясь, они теряют ощутимость, теряют вкус? Не исключено. Кончится, скорей всего, тем, что наши руки призраков смогут удерживать лишь тени вещей.

Но это было бы слишком удачно. Для нас все не обойдется так легко: мы — не листья.

*

Розовые оттенки зимних роз, облаков, листьев, туманов как будто на миг оживают в холодном воздухе, когда солнце вот-вот исчезнет за

горизонтом. Пылающая эстафета. Жезл, тайком передаваемый от одного к другому, всего лишь палочка, которую на секунду зажигает розовый вечер. Не спеши выпустить ее из рук.

Перевод Бориса Дубина

Пейзажи с пропавшими фигурами[1]

Глава из книги

БОЛЬШЕ других времен года я люблю в этих краях зиму, она делает их беднее и чище. Это сезон ангелов — но нужно отказаться от связанных с этим словом избитых образов, наследства стареющих религий (упитанные розовые существа с крылышками или безучастные призраки), и представить их такими, какими они должны быть, если существуют, — стремительные и ясные силовые линии, ослепительно сверкающие челноки ткацкого станка, недоступные даже ликованью, вечно ткущие материю света. Ведь угасло нежное свечение цветов, смолкли их зовы, сомкнулись их очи; осыпалась на землю и лежит, совсем уже незаметная на ней, зеленая прежде листва, что сплетала потаенные укрытия для грез и воспоминаний, тенистые беседки, подобные гроту, где Эней и Дидона схоронились от одной бури, чтобы предаться другой, не менее влажной и жгучей[2]. Дух перестает прислушиваться к опаляющим судорогам, падению наземь и прерывистому дыханию, тайному, обволакивающему, — настойчивому шепоту жары; взгляд свободно устремляется вдаль, измеряет пространство и возвращает его стихиям.

Травы, что совсем недавно колыхались, насколько хватало глаз, до самого горизонта, полные насекомых во всех изгибах и звеньях, высохли, полегли, превратились в солому; деревья, если взглянуть против света, похожи на угли, окутанные дымом, а если наоборот — то на зависшие облака пыли; пашни открывают взгляду темную землю, тяжелую, немую, словно сфинкс, выползающий на поверхность.

Солнечные цвета, кровь и золото, гнев и роскошь, куда они делись? На время Лев и Телец ушли из мира, но он словно и не проиграл от этого в силе. Никаких больше завоеваний, разве что для взгляда! Синий цвет перестал быть материей, но стал далью и сном. А зеленый, который все упорствует в виде плюща и каменного дуба, покрывается пеплом и тенью, как мысль, хранящая тайну, становится частью смерти, чтобы длить свое существование.

Не звоном и стремительным блеском оружия, обрушиваясь с небес, кося под корень и попирая все своими знаменами, фанфарами и плюма-

1. Французское название книги "Paysages avec figures absentes" отсылает к искусствоведческому термину "пейзаж с фигурами", в частности употребляемом в отношении произведений XVII века (картины Пуссена, Лоррена). "Фигуры" — это персонажи картины, чаще всего мифологические герои или боги. Сегодня в моих пейзажах остались только "исчезнувшие фигуры" — следы нимф, божеств и т. д. (*Прим. автора.*)

2. Бурю обрушу на них, всколыхну все небо громами.
Все разбегутся врозь, затерявшись во тьме непроглядной;
Вместе в пещере одной троянский вождь и Дидона
Скроются. Буду я там, и, твое коль твердо желанье,
Там совершится их брак.
Вергилий. Энеида. Книга четвертая. Перевод С. Ошерова.

жами, торжествует победу зима; ее сила — в длительности, упорстве; земля терпелива, неподвижна, сосредоточенна, она носит цвета монашеского плаща и самшита — смирения и молчания; твердыня прошлого, тьма, незапамятное; каменный монумент — он уже не высится, вызывая трепет, но медленно превращается в огромный, вросший в почву фундамент, и нужно склоняться долу, чтобы воздавать ему почести (и плющ, который не поднимается вверх, а льнет к почве, назван "венцом земли"); надо всем этим небо становится еще просторней, еще доступней для вольных, ярких колесниц дней, омытых от двусмысленности и заблуждений, которыми чреваты цвета.

Сейчас словно наступило согласие между плотным и легким, ажурным: на одно мгновение земля становится огромной лодкой из видавшего виды дерева, где вместо паруса — светлое небо, но только на одно мгновение, потому что слишком настойчивое сравнение мешает. И все равно ощущается за душу берущая древность источников, прокладывающих себе путь среди темных пней в глубокой чаще леса, старых корабельных днищ, так много вместивших в себя (одни — рыб, другие — мертвых); и в самом деле чувствуется в деревьях, в этой сияющей белизне, заменившей листья, трепет и зов далей... И мир, если вдуматься, вовсе не стоит на якоре...

...Огромные пространства, заполненные камнями; но здесь еще растет вечнозеленый дуб, чьи листья словно колючая масса панцирей отлинявших насекомых. Под этими камнями, которые со скрежетом передвигает плуг (лемех его так чист, что в нем можно было бы увидеть отраженный полет голубей, а идущий за ним человек словно зарывает зеркало в землю, погружает в нее льдистое небо; и можно еще на минуточку представить, будто следишь за водяным форштевнем среди морской зыби древнего леса), — под этими камнями формируется нечто вроде пахучего торфа, который жадно обнюхивают, словно втягивая в себя, собаки; черные сплющенные губки с полными земли порами, чья угольная чернота так подходит этому холодному времени года; темные шарики, медленно истлевающие, исходящие на нет, но не в огне, а в собственном благоухании, сильном, почти невыносимом, словно идущем из иного мира... Единственные животные, которые приспособились к каменистым пастбищам, — это овцы; они одного цвета с камнями; с пугливой, почти безмолвной наивностью носят они свои потрепанные и грязные клочковатые шкурки — подобно Иоанну Крестителю. Ночью можно слышать, как нежное блеяние разносится под луной — наверное, она кажется им молочно-белым фонарем над входом в овчарню. Днем это диковатые паломники, которые шествуют вперед, и перед их кортежем звучит сухая россыпь кузнечиков, драгоценных камешков, без конца падающих в свой призрачный ларец...

...Попадаются и кусты можжевельника; и хотя никто и никогда не высаживал их в определенном порядке, а выросли они там, куда ветру вздумалось занести семена, это почему-то не выглядит случайным; кажется, что их расположение соответствует каким-то таинственным законам создания земных созвездий, в которых они — светила, ибо сердцевина каждого куста заключает в себе нечто светоносное, хочется даже сказать — свечу. Они похожи на скромные пирамидки, чья темная зелень (цвет времени, цвет воспоминаний) побелела от инея: маленькие мону-

менты памяти и серебряной глубины, среди них застывает путник, словно попадая в незримую сеть. Мелодия, безошибочно найденная ветром, пространство обелисков, посеянных дыханием невидимого Странника — он был, но сразу исчез, он всегда не здесь...

Герб зимы — песочно-желтый, серебряный, зеленый; днем — геральдический горностай (серебряное поле с треугольниками песочного цвета), если лежит снег, а ночью наоборот — песочное поле, усеянное серебряными треугольниками.

(Сравнения всегда говорят больше, чем нужно, они оправданны лишь отчасти; их следует воспринимать как указатели на пути к цели. Эти явления, эти пейзажи не должны рядиться в чужие одежды; поэтические образы не могут подменять собою реальность, их задача — показать, каким образом эта реальность раскрывается и впускает нас в себя. Непростая задача.)

...Постоянно удивляет еще одно. Так, однажды вечером, после Рождества, когда закатное небо напомнило мне Лукаса ван ден Лейдена — не по размышлении, но непосредственно, по какой-то, возможно ошибочной, ассоциации, — мне вдруг вспомнилась картина, о которой писал Арто (этой книги у меня больше нет[1]), носящая название "Дочери Лота", с пожаром на заднем плане; небо в тот вечер и в самом деле было окрашено в цвета старинных картин, розовый и золотой — цвета почти нереальные. Сначала возникла позолоченная лента вдоль горизонта, потом, над нею — розовый круг, расцветающая роза, или, точнее, облако, припудренное розовой пылью, чуть тяготеющее к кругу. А тем временем нижняя часть картины все темнела, свет оставался только на соломенного цвета полях, на обширных пространствах влажной соломы. Пейзаж цвета соломы и навоза, бескрайнее ледяное стойло. И вверху, надо всем, и опять — как выразить, как не изменить тому, что открылось зрению? — внизу, почти у горизонта, — это розовое и золотое сияние... В мыслях быстро сменяются образы: дарохранительница, драгоценное украшение, Византия, ореол, нимб... И еще кадильница, курящийся дым, и в этом дыме, там, где он рассеивается, одинокая, хрустальной чистоты звезда. Но в этом есть и другое — и оно поразительнее, сильнее, проще. Произносить слова "дарохранительница", "кадильница" — значит снова вводить в заблуждение. Чувствуется, что искать нужно на большей внутренней глубине и, самое главное, выражать это более непосредственно и прямо. Как настигает стрела или взгляд. Мгновенно, даже не успев задуматься: луч звезды над яслями. Внизу влажный сумрак цвета дерева и соломы, испарения овечьего помета (зима, бедность), а вверху эта волшебная яркость, которая не может быть подменена словами "золотой" и "розовый" — они обрекают на не-

1. Десятого декабря 1931 г. А. Арто прочитал в Сорбонне лекцию об этой картине. Рукопись лекции имеет заглавие "Картина". Толчком для ее написания стало впечатление, полученное Арто в Лувре от полотна Лукаса ван Лейдена "Дочери Лота". В переработанном виде лекция была опубликована в "Нувель ревю франсез" 1 февраля 1932 г. В частности, Арто пишет: "Невозможно лучше выразить подчиненность различных деталей пейзажа явившемуся на небе огню, не показав, что они, обладая собственным светом, все же связаны с ним, как отзвуки далекого эха, как живые отметины, оставленные им здесь, чтобы вовсю развернуть свою разрушительную силу" (IV, 42).

подвижность, как и любые сравнения, допустимые лишь в качестве дополнения, заметки на полях. Нужно говорить скорее об огненной пыли, описать это как разверстый выход в другой мир, как вознесение, *преображение*, то есть опять касаться религиозных идей, в то время как даже небольшой крен в эту сторону был бы преувеличением; да, это все, названное выше, но одновременно — нечто иное. Потому что таковы *реалии видимого мира* – земля и небо, облака, борозды, кустарники, звезды; они действительно преображаются сами, они вовсе не символы, а мир, в котором мы живем, дышим и умираем, когда становится нечем дышать.

...Но в тот вечер меня ожидало еще одно, более таинственное и волнующее зрелище, когда за поворотом улицы открылся вид на противоположную сторону горизонта, на восток, и я увидел над стенами и крышами, среди редких деревьев, невысокую гору, озаренную вечерним светом, с чуть заметными прожилками снега у самой вершины. Почти невозможно описать, каким образом эта гора вдруг заговорила со мной и что сказала. Снова таинственный сумеречный свет, прозрачность и момент высшего затишья — все, что возникает в сознании при слове "ясность", но опять-таки совсем иное, для точности выражения нужен язык ангелов (хотя, повторяю, речь идет о самом простом, близком и повседневном): воздух словно завис, подобно невидимой хищной птице, что удерживает мир своими когтями или просто одним взглядом, как если бы огромное пернатое колесо очень медленно вращалось вокруг невидимого источника света, над его рассеянным ореолом...[1]

Картины природы, возвышающие, вос-хищающие дух, — они манят в лабиринт, где блещет водная нить; проводники взгляда, в любовном безмолвии созерцающего неверное пламя светильника, — несомого кем? — мы не знаем, но иногда, кажется, смутно прозреваем его образ (однако не слишком ли это иллюзорно?) — там, на другом берегу, где он возвращает жизнь умершим...

Перевод Арины Кузнецовой

1. Образ "крылатого колеса", как замечает автор, связан с финалом "Божественной комедии":

Я увидал, объят Высоким Светом
И в ясную глубинность погружен,
Три равноемких круга, разных цветом.

Один другим, казалось, отражен,
Как бы Ирида от Ириды встала;
А третий — пламень, и от них рожден.

Перевод М. Лозинского

Дж. М. Кутзее

Молодость

Роман

Перевод с английского Сергея Ильина

Глава пятая

Уже поздно, за полночь. В выцветшем голубом спальном мешке, привезенном из Южной Африки, он лежит на софе в квартире своего друга Пола на Белсайз-парк. У другой стены комнаты начинает похрапывать спящий в настоящей кровати Пол. В щели между шторами посверкивает ночное небо, натриево-оранжевое с лиловатым оттенком. И хоть он накрыл ступни подушкой, они все равно холодны как лед. Ну и не важно: он в Лондоне.

В мире существует всего два, от силы три города, в которых можно жить полной, напряженнейшей жизнью: Лондон, Париж, вероятно, Вена. Париж стоит на первом месте: город любви, город искусства. Однако, чтобы жить в Париже, нужно было закончить школу для отпрысков высшего общества, школу, в которой преподают французский. Что касается Вены — Вена для евреев, возвращающихся в нее, чтобы предъявить наследственные права: на логический позитивизм, двенадцатитональную музыку, психоанализ. Остается Лондон, куда южноафриканцу не приходится тащить с собой кучу документов, город, в котором говорят по-английски. Лондон может быть безжалостным, лабиринтообразным, холодным, однако за его пугающими стенами сокрыты мужчины и женщины, которые занимаются настоящим делом — пишут книги, картины, сочиняют музыку. Ты каждый день проходишь по улице мимо них, не догадываясь об их тайнах, и причина тому — прославленная и прекрасная британская сдержанность.

За половинную долю в квартирке, состоящей из единственной комнаты и закута с газовой плиткой да раковиной, из крана которой течет лишь холодная вода (ванная и туалет находятся наверху и служат всем, кто живет в доме), он платит Полу два фунта в неделю. Все его привезенные из Южной Африки сбережения сводятся к восьмидесяти четырем фунтам. Нужно срочно искать работу.

Он посещает учреждения Совета Лондонского графства, оставляет свое имя в списках свободных учителей, готовых по первому зову приступить к работе. Его направляют в Барнет — это самый конец Северной линии — на собеседование в средней современной школе. У него две университетских степени — по математике и по английскому. Дирек-

Окончание. Начало в "ИЛ", 2005, № 10.

тор школы хочет, чтобы он преподавал социологию, а кроме того, два раза в неделю надзирал за плавающими в бассейне учениками.

— Но я не умею плавать, — протестует он.

— Значит, придется научиться, не так ли? — отвечает директор.

Он покидает школу, унося под мышкой учебник по социологии. На подготовку к первому занятию у него остаются лишь выходные. Подходя к станции, он уже клянет себя за то, что согласился на эту работу. Однако для того, чтобы вернуться и сказать, что передумал, он слишком труслив. Из почтовой конторы на Белсайз-парк он отсылает учебник в школу, с запиской: "Непредвиденные обстоятельства сделали невозможным исполнение возложенных на меня обязанностей. Прошу принять мои искреннейшие сожаления".

По объявлению в "Гардиан" он отправляется в Ротамстед, расположенный за пределами Лондона сельскохозяйственный институт, — там когда-то работали Холстед и Макинтайр, авторы "Планирования статистических экспериментов", одного из его университетских учебников. Собеседование, которое предваряется экскурсией по делянкам и оранжереям института, проходит хорошо. Он подает заявление о приеме на должность младшего экспериментатора. Обязанности МЭ, как выясняется, состоят в разбивке площадок для опытных посадок, регистрации урожаев, получаемых при различных режимах выращивания, и анализе полученных данных на институтском компьютере — все это под руководством одного из старших экспериментаторов. Работы, собственно сельскохозяйственные, производят огородники, за которыми надзирают агрономы, так что руки ему пачкать не придется.

Через несколько дней он получает письмо, подтверждающее предложение этой работы с годовым жалованьем в шестьсот фунтов. Он не в силах сдержать ликование. Какая удача! Работа в Ротамстеде! В Южной Африке никто этому не поверит!

Правда, имеется одна оговорка. Письмо заканчивается так: "Поселиться вы сможете в деревне или в одном из муниципальных домов". Он посылает ответное письмо: предложение он принимает, однако жить предпочел бы по-прежнему в Лондоне. А в Ротамстед будет ездить поездом.

В ответ ему звонят из отдела кадров. Ездить сюда из Лондона нереально, говорят ему. Предложенная работа не подразумевает отсиживания определенных часов за письменным столом. В какие-то дни придется приступать к ней самым ранним утром, в другие — работать допоздна, иногда и по выходным. Поэтому он, как и все прочие сотрудники, должен будет поселиться вблизи института. Не будет ли он так добр еще раз все обдумать и сообщить о своем окончательном решении?

Восторженное настроение его разбивается вдребезги. Стоило ли проделывать путь от Кейптауна до Лондона, если придется жить в спальном районе, отстоящем от центра города на многие мили, и вскакивать на заре, чтобы измерить высоту, до которой вымахали какие-нибудь бобовые? Он хочет работать в Ротамстеде, хочет найти применение математическим знаниям, приобретенным годами труда, но хочет также и посещать поэтические вечера, знакомиться с писателями и живописцами, заводить романы с женщинами. Сможет ли он заставить работающих в Ротамстеде людей — мужчин в твидовых куртках и с трубками в зубах, женщин в жидких кудряшках и совиных очечках — понять

все это? Сможет ли произносить в их присутствии такие слова, как "поэзия", "любовь"?

Но при этом — как можно отвергнуть подобное предложение? Работа — да еще и в Англии — сама идет ему в руки. Стоит сказать одно только слово — "да", — и он сможет сообщить матери новость, которую ей так не терпится услышать, а именно, что ее сын занят достойным делом и получает за него хорошие деньги. Тогда и она в свой черед сможет позвонить отцовским сестрам и объявить: "Джон работает в Англии, ученым!" И *это* положит долгожданный конец их брюзжанию и издевкам. Ученый: куда уж солиднее?

Солидность — вот чего ему вечно недоставало. Солидность — его ахиллесова пята. Ума у него предостаточно (хоть и не так много, как полагает мать и как сам он когда-то полагал), а вот солидности не было отродясь. Ротамстед же дал бы ему если и не солидность — не все сразу, — то по крайности звание, кабинет, прибежище. Младший экспериментатор, потом, когда-нибудь, просто экспериментатор, а там, глядишь, и старший: уж за таким-то в высшей степени респектабельным прикрытием он сможет наедине с собой, втайне, продолжить труды по преображению своего жизненного опыта в искусство, труды, ради которых он и явился на свет.

Таковы доводы в пользу сельскохозяйственного института. Довод против сельскохозяйственного института один — находится он не в Лондоне, не в этом романтическом городе.

Он пишет в Ротамстед. По зрелом размышлении, сообщает он, и с учетом всех привходящих обстоятельств он считает за лучшее отклонить полученное предложение.

В газетах полным-полно объявлений: требуются компьютерные программисты. Ученая степень желательна, но не обязательна. О компьютерном программировании он слышал, однако ясных представлений о нем не имеет. Да и компьютера ни разу в глаза не видел, разве что на карикатурах, где компьютеры выглядят этакими ящиками, извергающими рулоны бумаги. Насколько ему известно, в Южной Африке компьютеров нет вообще.

Он выбирает объявление Ай-би-эм — это самая большая, самая лучшая компания — и, облачась в черный костюм, купленный перед отъездом из Кейптауна, отправляется на собеседование. Проводящий собеседование сотрудник Ай-би-эм, мужчина тридцати с лишним лет, тоже одет в черный костюм, только помоднее, более строгого покроя.

Первое, о чем спрашивает этот мужчина: покинул ли он Южную Африку навсегда?

— Навсегда, — отвечает он.

— Почему? — спрашивает мужчина.

— Потому что эта страна катится к революции, — отвечает он.

Молчание. Возможно, "революция" — не то слово, которое следует произносить в стенах Ай-би-эм.

— И когда же, по вашему мнению, — осведомляется мужчина, — она произойдет, революция?

Вот на это ответ у него имеется. "В течение пяти лет". Со времен Шарпвилля все так и говорят. Шарпвилль ознаменовал начало конца правления белых, *все более безнадежного* правления белых.

После собеседования он проходит тестирование на IQ. Тесты эти всегда ему нравились и всегда удавались. Он вообще лучше справляется с тестами, опросами, экзаменами, чем с реальной жизнью.

Через несколько дней Ай-би-эм предлагает ему место программиста-стажера. Если он хорошо закончит учебные курсы, то станет собственно программистом, а со временем и программистом старшим. Карьеру свою он начинает в Бюро обработки данных Ай-би-эм, на Ньюмен-стрит, это совсем рядом с Оксфорд-стрит, самое сердце Уэст-Энда. Время работы — с девяти до пяти. Начальное жалованье — семьсот фунтов в год.

Условия он принимает без колебаний.

И в тот же день натыкается в лондонской подземке на плакат с предложением еще одной работы. Приглашаются желающие занять пост мастера учебного депо — семьсот фунтов в год. Минимальные требования к образованию: свидетельство об окончании школы. Минимальный возраст: двадцать один год.

Это что же, дивится он, в Англии за любую работу платят одинаково? Если так, зачем вообще оканчивать университет?

На учебных курсах компанию ему составляют еще два стажера — довольно симпатичная девушка из Новой Зеландии и молодой прыщеватый лондонец — плюс с дюжину клиентов Ай-би-эм, бизнесменов. Ему по праву следовало бы оказаться лучшим из них — ему и, возможно, девушке-новозеландке, тоже имеющей диплом математика, — на деле же он с большим трудом понимает, о чем идет речь, и плохо справляется с письменными заданиями. В конце первой недели все они пишут контрольную работу, которую он едва не заваливает. Преподаватель им недоволен и, не обинуясь, об этом своем недовольстве объявляет. Он теперь в мире бизнеса, а в мире бизнеса, как выясняется, вежливость не обязательна.

В программировании присутствует нечто, ставящее его в тупик, и это при том, что даже бизнесменам оно дается без всякого труда. Он-то наивно полагал, будто компьютерное программирование связано с кодированием символической логики, переводом теоретических положений в цифровые коды. Вместо этого он только и слышит что о товарных запасах и их расходовании, о потребителе А и потребителе Б. Что такое товарные запасы и их расходование, какое отношение имеют они к математике? С таким же успехом он мог податься в клерки и складывать стопками перфокарты или в мастера́ учебного депо.

Под конец третьей недели занятий он пишет выпускную работу, получает за нее посредственную оценку и перебирается на Ньюмен-стрит, за письменный стол в комнате, где работают еще девять молодых программистов. Вся мебель в конторе серая. В ящике своего стола он обнаруживает бумагу, линейку, карандаши, точилку и маленький еженедельник в черном пластиковом переплете. На обложке еженедельника красуется выведенное жирными прописными буквами слово "ДУМАЙ". На столе его начальника, занимающего в главном офисе небольшой отсек, стоит табличка, на которой также значится "ДУМАЙ". "ДУМАЙ" — это девиз Ай-би-эм. Такова главная отличительная особенность этой компании, объясняют ему, неослабная приверженность к работе мысли. Сотрудникам Ай-би-эм полагается думать всегда и всюду, поднимаясь тем самым до идеала основателя компании, Томаса Дж. Уотсона. Если

сотрудник не думает, он не подходит для Ай-би-эм, этого аристократа в мире деловых машин. В штаб-квартире Ай-би-эм, что в Уайт-плейнс, Нью-Йорк, расположены лаборатории, где проводится больше передовых исследований в области вычислительной математики, чем во всех университетах мира вместе взятых. Ученые из Уайт-плейнс получают больше университетских профессоров и обеспечиваются всем, что им только может понадобиться. А взамен от них требуется только одно — думать.

Хотя рабочее время на Ньюмен-стрит длится с девяти до пяти, он вскоре обнаруживает, что на любого сотрудника-мужчину, уходящего с работы ровно в пять, здесь смотрят косо. Женщины, которым следует заботиться и о семье, могут уходить в пять, никакого неодобрения на себя не навлекая; от мужчин же ожидают, что они будут работать по крайней мере до шести. А если работа срочная, им приходится задерживаться и на всю ночь, прерываясь лишь для того, чтобы перекусить в пабе. Поскольку пабов он не любит, то просто работает себе и работает. Домой он раньше десяти попадает редко.

Он в Англии, в Лондоне; у него есть работа, хорошая работа, лучше, чем учительство, работа, за которую ему платят. Он покинул Южную Африку. Все складывается замечательно, первой своей цели он достиг, есть чему радоваться. На деле же он, по мере того как проходят неделя за неделей, чувствует себя все более несчастным. С ним случаются приступы паники, которые он преодолевает с трудом. В конторе отдохнуть глазу решительно не на чем — всё сплошь плоские металлические поверхности. Он ощущает, как под резким, не оставляющим места для тени светом неоновых ламп начинает распадаться сама его душа. Это здание, лишенный отличительных черт куб из стекла и бетона, словно бы выделяет газ — без цвета, без запаха, — проникающий ему в кровь, сковывающий его. Ай-би-эм, он готов поклясться в этом, убивает его, обращает в зомби.

Но ведь не уходить же отсюда. Школа в Барнет-хилл, Ротамстед, Ай-би-эм: он не может позволить себе в третий раз потерпеть неудачу. Неудача придала бы ему слишком большое сходство с отцом. Это реальный мир испытывает его через серое, бездушное посредство Ай-би-эм. Необходимо скрепиться и терпеть.

Глава шестая

От Ай-би-эм он спасается в кино. В хампстедском "Эвримене" взорам его предстают фильмы со всего света, снятые режиссерами с совершенно новыми для него именами. Он просматривает ретроспективу Антониони. В фильме под названием "L'Eclisse"[1] женщина блуждает по улицам обожженного солнцем, пустынного города. Ее томит беспокойство, боль. Причина этой боли ясна не вполне, лицо женщины не выдает ничего.

Это Моника Витти. Она, с ее бесподобными ногами, чувственными губами и отрешенным лицом, преследует его; он влюбляется в Монику Витти. Ему снится, что он — именно он, единственный из всех мужчин

1. "Затмение" (*итал.*).

мира, — избран, чтобы успокоить и утешить ее. Он слышит стук в свою дверь. Перед ним Моника Витти — палец ее прижат к губам: молчание. Он делает шаг к ней, заключает ее в объятия. Время останавливается; он и Моника Витти — единое целое.

Но подлинно ли он — тот возлюбленный, которого ищет Моника Витти? Сможет ли он утолить ее боль лучше, чем мужчины из фильмов с нею? Даже если он отыщет для них двоих комнату, тайное прибежище в каком-нибудь тихом, потонувшем в тумане квартале Лондона, она, скорее всего, так и будет выскальзывать в три утра из постели и сидеть за столом в сверкании единственной лампочки, вынашивая, выкармливая свою боль.

Боль, которая мучает Монику Витти и других персонажей Антониони, принадлежит к разновидности ему незнакомой. На самом деле это совсем и не боль, но нечто более глубокое: Angst[1]. Ему хотелось бы узнать вкус этой Angst — пусть даже для того, чтобы понять, что она собой представляет. Однако, сколько он ни старается, ему не удается отыскать в своей душе ничего, что могло бы сойти за Angst. Похоже, что Angst — принадлежность европейская, сугубо европейская, ей еще предстоит отыскать дорогу в Англию, не говоря уж об английских колониях.

Статья в "Обсервер" утверждает, будто Angst европейского кинематографа произрастает из боязни ядерного уничтожения, а также из неопределенности, возникшей после смерти Бога. Ему не верится, будто Монику Витти, которая могла бы преспокойно сидеть себе в прохладном гостиничном номере или предаваться любви с мужчиной, погнала на улицы Палермо, под яростный красный шар солнца, именно водородная бомба или неспособность Бога побеседовать с нею. В чем бы ни состояло объяснение поправдивее, оно должно быть сложнее этого.

Angst гложет и героев Бергмана. В этом и состоит причина их неисцелимого одиночества. Впрочем, что касается бергмановской Angst, "Обсервер" рекомендует не принимать ее слишком всерьез. Тут попахивает претенциозностью, говорит "Обсервер", аффектацией, не лишенной связи с долгими скандинавскими зимами, с ночами беспробудного пьянства, с похмельем.

Даже газеты, которые представлялись ему либеральными — "Гардиан", "Обсервер", — враждебно, как начинает он понимать, относятся к жизни сознания. Сталкиваясь с чем-то глубоким, серьезным, они спешат посмеяться, отделаться остро́той. Новое искусство — американская поэзия, электронная музыка, абстрактный экспрессионизм — воспринимаются всерьез лишь в крохотных нишах наподобие Третьей программы[2]. Современная Англия оказывается страной до обидного мещанской, мало отличающейся от Англии У. Г. Хенли и "Пышных и торжественных" маршей[3], на которые в 1912 году так гневался Эзра Паунд.

И что же в таком случае делает он в Англии? Не был ли приезд в нее огромной ошибкой? Ведь перебираться куда-то уже слишком поздно? Быть может, Париж, город любви, подошел бы ему куда больше, если бы, конечно, он сумел освоить французский. А Стокгольм? Он подозре-

1. Страх, беспокойство (*нем.*).
2. Третья программа — до 1967 г. одна из трех основных программ Би-би-си: классическая и современная музыка, беседы на научные и литературные темы, радиопьесы.
3. Пять маршей композитора Эдуарда Элгара (1857—1934).

вает, что в духовном отношении чувствовал бы себя в Стокгольме как дома. Да, но как быть со шведским? И чем он станет зарабатывать на жизнь?

В Ай-би-эм он держит фантазии насчет Моники Витти при себе — как и иные свои артистические притязания. По причинам ему непонятным один из коллег-программистов, Билл Бригс, выбрал его себе в приятели. Билл Бригс коренаст и прыщав; у него есть подруга, Цинтия, на которой он намерен жениться; в скором времени он собирается внести первый взнос за одноквартирный домик в Уимблдоне. В то время как прочие программисты отличаются безупречным, приобретенным в классической школе выговором и начинают день с просмотра финансовых страниц "Телеграф", выясняя цены на акции, Билл Бригс говорит с явственным лондонским акцентом, а деньги свои хранит на счету "Строительного общества".

Каково бы ни было его социальное происхождение, не существует причин, по которым Билл Бригс не смог бы преуспеть в Ай-би-эм. Ай-би-эм — компания американская, к британской классовой иерархии она относится неприязненно. В том-то и сила Ай-би-эм: любой человек может подняться в ней на самый верх, потому что в счет идет только преданность компании да усердный, упорный труд. Билл Бригс работает с усердием и несомненно предан Ай-би-эм. Более того, похоже, что Билл Бригс отчетливо сознает главные цели и Ай-би-эм, и центра обработки данных на Ньюмен-стрит, чего он о себе никак уж сказать не может.

Сотрудникам Ай-би-эм выдают книжечки с талонами на питание. Один такой талон позволяет вполне прилично поесть на три шиллинга и шесть пенсов. Сам он предпочитает пивную "Лев" близ станции подземки "Тотнем-корт-роуд", там можно пастись в салатном баре сколько душа попросит. Однако любимое место программистов Ай-би-эм — это у "Шмидта" на Шарлотт-стрит. Поэтому с Биллом Бригсом он ходит к "Шмидту", съедая там шницель по-венски или рагу из зайца. Разнообразия ради они иногда заглядывают в "Афину", что на Гудж-стрит, полакомиться мусакой. Если нет дождя, они, прежде чем вернуться к своим рабочим столам, совершают после ланча небольшую прогулку по улицам.

Список тем, которые он и Билл Бригс безмолвно согласились в своих разговорах не затрагивать, настолько пространен, что существованию оставшихся вне его можно только дивиться. Они не обсуждают своих желаний или серьезных планов, семей и обстановки, в которой выросли, политики, религии, искусства. Футбол мог бы оказаться вполне приемлемым, если б не то обстоятельство, что об английских клубах он ничего не знает. В итоге остаются: погода, забастовки железнодорожников, цены на жилье и Ай-би-эм — планы Ай-би-эм на будущее, клиенты Ай-би-эм и планы этих клиентов, а также кто и что в Ай-би-эм сказал.

Разговоры получаются скучноватые, но это лишь внешняя их сторона. Всего два месяца назад он был бестолковым провинциалом, сошедшим в саутгемптонской гавани под мелкий дождичек. Теперь же он в самом сердце Лондона, неотличимый в своей черной униформе от любого другого лондонского служащего, обменивающийся с самым настоящим лондонцем мнениями касательно обстоятельств обыденной жизни, успешно следующий всем правилам беседы. Если так пойдет и дальше, если он будет уделять больше внимания произношению гласных, на него вскоре и вовсе перестанут обращать внимание. В толпе он

будет сходить за лондонца, а со временем, глядишь, даже и за англичанина.

Теперь, когда у него появился заработок, появилась и возможность снять отдельную комнату на Арчвей-роуд, в северном Лондоне. Комната расположена на третьем этаже, из окна ее открывается вид на водохранилище. В комнате имеется газовый обогреватель и маленькая ниша с газовой же плиткой и полками для припасов и посуды. В углу висит счетчик: опускаешь в него шиллинг, и счетчик отмеривает тебе газ ровно на эти деньги.

Стол его неизменен: яблоки, овсяная каша, хлеб и сыр плюс острые сардельки, именуемые "чиполата". "Чиполату" он предпочитает обыкновенным сарделькам потому, что они не требуют холодильника. И не покрываются, подсыхая, сальной пленкой. Есть у него подозрение, что в них подмешано к настоящему мясу немалое количество картофельной муки. Однако картофельная мука — это не так уж и плохо.

Поскольку уходит он рано утром, а возвращается поздно, прочих жильцов ему случается видеть не часто. Вскоре устанавливается рутинный распорядок. Субботы он проводит в книжных магазинах, художественных галереях, музеях, кинотеатрах. По воскресеньям читает у себя в комнате "Обсервер", потом отправляется посмотреть фильм или прогуляться по парку.

Хуже всего вечера — субботний и воскресный. Вот когда на него накатывает одиночество, которому он обычно не дает воли, одиночество, схожее с дурной, серенькой и сырой лондонской погодой или с твердыми, холодными мостовыми. Он чувствует, как застывает, как тупеет от немоты его лицо — даже Ай-би-эм, с ее шаблонными разговорами, лучше, чем это безмолвие.

Он уповает на то, что из безликой толпы, в гуще которой он движется, выступит вдруг женщина, которая ответит на его взгляд, зашагает, не говоря ни слова, бок о бок с ним, дойдет (все еще бессловесная; каким может стать ее первое слово? — не угадать) до его комнаты, ляжет с ним, а после скроется в темноте и вернется на следующую ночь (он будет сидеть над книгами и вдруг услышит стук в дверь), и снова обнимет его, и снова, при первом полночном ударе часов, скроется, и так оно и будет продолжаться, преображая его жизнь, высвобождая поток затаенных стихов, похожих на "Сонеты к Орфею" Рильке.

Из Кейптаунского университета приходит письмо. Вследствие сданных им с отличием экзаменов, говорится в письме, ему назначается стипендия в двести фунтов для учебы в аспирантуре.

Сумма слишком мала, слишком мала для поступления в аспирантуру английского университета. К тому же, у него работа, и о том, чтобы бросить ее, нечего и думать. Если не отказываться от стипендии, остается только одно: зарегистрироваться в Кейптаунском университете в качестве аспиранта in absentia[1]. Он заполняет регистрационный формуляр. В графе "Область исследований" проставляет, поразмыслив, "Литература". Приятно было бы написать "Математика", но, что уж тут кривить душой, для занятий математикой ему не хватит ума. Литература, быть может, и не столь благородна, как математика, но по крайней мере в ли-

1. Зд.: заочник (*лат.*).

тературе ничто его не устрашает. Что касается темы исследований, он подумывает поначалу предложить "Песни" Эзры Паунда, но в конечном счете выбирает романы Форда Мэдокса Форда. Чтение Форда хотя бы не требует знания китайского языка.

Форд, урожденный Хьюффер, внук живописца Форда Мэдокса Брауна, опубликовал свою первую книгу в 1891-м, в возрасте восемнадцати лет. С той поры и до самой кончины в 1939-м Форд зарабатывал на пропитание исключительно литературным трудом. Паунд называл его величайшим стилистом-прозаиком своего времени и поносил английскую публику за то, что она его игнорирует. Сам он до сей поры прочитал пять романов Форда — "Хороший солдат" и еще четыре, образующих "Конец парада", — и пришел к заключению, что Паунд прав. Его увлекает сложная, поразительная хронология сюжетов Форда, хитроумие, с которым некая нота, мимоходом взятая и безыскусно повторяемая, несколько глав спустя претворяется в лейтмотив. А кроме того, его трогает любовь Кристофера Титженса и куда более молодой Валентины Уонноп, любовь, которую Титженс отказывается довести до последнего разрешения, несмотря на полную готовность к этому Валентины, поскольку (говорит Титженс) мужчине не следует идти по жизни, попутно лишая девиц невинности. Нравственный мир Титженса, основанный на здравомыслии, немногословности и порядочности, представляется ему совершенно обворожительным, квинтэссенцией всего английского.

Если Форд сумел создать пять таких шедевров, говорит он себе, наверняка должны существовать и другие, еще не признанные, разбросанные по его неупорядоченному, едва-едва каталогизированному наследию, шедевры, которым он-то и поможет увидеть свет. И он немедля приступает к чтению всего написанного Фордом, проводя в читальном зале библиотеки Британского музея все воскресенья, плюс еще два вечера в неделю, те, в которые этот зал открыт допоздна. Поначалу чтение разочаровывает его, однако он не отступается, извиняя Форда тем, что тот, когда писал эти книги, должно быть, только еще набирался мастерства.

В одно из воскресений у него завязывается разговор с девушкой, сидящей за соседним столом; они вместе отправляются в чайную музея. Ее зовут Анна, она полька, еще не успевшая избавиться от легкого акцента. Говорит, что она исследовательница, посещение читального зала — часть ее работы. В настоящее время она изучает материалы, посвященные Джону Спику, человеку, открывшему истоки Нила. Он рассказывает ей о Форде, о сотрудничестве Форда с Джозефом Конрадом. Они беседуют о времени, проведенном Конрадом в Африке, о ранних годах его жизни в Польше и поздних стараниях обратиться в английского землевладельца.

Пока они так разговаривают, он гадает: не знамение ль это, что ему, исследователю Форда, выпало познакомиться в читальном зале Британского музея с соотечественницей Конрада? Не Анна ли — та, что ему предназначена? Конечно, она не красавица: эта женщина старше его; лицо у нее костистое, даже костлявое; на ней практичные туфли без каблуков и бесформенная серая юбка. Но откуда же следует, что он заслуживает большего?

Он совсем уж было собрался пригласить ее куда-нибудь, возможно в кино, однако храбрость изменила ему. Что, если даже после того как он

расскажет ей о себе, между ними не пробежит никакая искра? Как он тогда выпутается из этой истории, не испытав унижения?

В читальном зале есть и другие завсегдатаи, такие же, наверное, одинокие, как он. Индиец с изрытым оспой лицом, к примеру, от которого исходит душок фурункулов и несвежих повязок. Всякий раз, как он выходит в туалет, индиец идет за ним и, кажется, сейчас заговорит, но так и не решается.

Наконец, как-то днем, они оказываются рядышком у раковины умывальника, и индиец задает ему вопрос. Он не из Кингс-колледжа? — смущаясь, спрашивает индиец. Нет, отвечает он, из Кейптаунского университета. А не хотел бы он выпить чаю?

Они сидят в чайной, индиец пускается в долгий рассказ о своих исследованиях, посвященных социальному составу публики театра "Глобус". Ему это не так уж и интересно, однако он старается слушать индийца внимательно.

"Жизнь сознания", говорит он себе: не ей ли мы посвящаем себя, я и прочие одинокие скитальцы по недрам Британского музея? И обретем ли мы когда-либо воздаяние за то, что ведем эту жизнь? Расточится ли когда-нибудь наше одиночество, или жизнь сознания и есть сама по себе воздаяние?

Глава седьмая

Три часа пополудни. Он сидит в читальном зале с самого открытия, читает "Мистера Шалтая-Болтая" Форда, роман настолько нудный, что у него слипаются глаза.

В скором времени читальный зал закроется, как закроется и весь огромный музей. По воскресеньям зал и вовсе не открывают, от нынешней субботы и до следующей читать придется урывками, по вечерам — час там, час здесь. Следует ли ему исправно продолжать чтение, хоть его и раздирает зевота? И какой вообще смысл во всей этой затее? На что компьютерному программисту — если он так и останется на всю жизнь программистом — степень магистра искусств по английской литературе? И где они, никому неведомые шедевры, которые он надеялся обнаружить? "Мистер Шалтай-Болтай" к их числу определенно не относится. Он закрывает книгу, собирает свои бумаги.

Снаружи уже смеркается. Он бредет по Грейт-Рассел-стрит до "Тотнем-корт-роуд", а там поворачивает на юг, на Чаринг-кросс. Большую часть заполняющей тротуары толпы составляют люди молодые. Строго говоря, он их ровесник, однако себя таковым не чувствует. Он чувствует себя человеком пожилым, преждевременно состарившимся — одним из тех бескровных, высоколобых, иссохших ученых, чья кожа осыпается чешуйками при малейшем прикосновении к ней. В глубине же души он все еще остается ребенком, не понимающим своего места в мире, испуганным, нерешительным. Что делает он в этом огромном холодном городе, где даже для того, чтобы просто-напросто уцелеть, необходимо цепляться обеими руками за что ни попадя, стараясь не упасть?

Книжные магазины на Чаринг-кросс-роуд открыты до шести. Стало быть, до этого часа ему есть куда податься. После шести придется попросту дрейфовать в субботней толчее искателей развлечений. Какое-

то время он сможет плыть в их потоке, притворяясь, будто и ему есть куда пойти, есть с кем встретиться, но в конце концов он сдастся и сядет в поезд, идущий к станции "Арчвей", к одиночеству его комнаты.

"Фойлс", книжный магазин, название которого известно даже в Кейптауне, его разочаровал. Похвальбы насчет того, что в "Фойлс" имеются все, какие только изданы, книги, — явное вранье, да и продавцы, которые в большинстве своем моложе его, где что искать, не знают. Он предпочитает "Диллонс", хоть книги там и расставляют как бог на душу положит. Старается заходить туда раз в неделю, просматривать новинки.

Среди прочих журналов он натыкается в "Диллонс" на "Африкэн комьюнист". Об этом журнале он наслышан, однако до сих пор его не видел, поскольку в Южной Африке журнал этот запрещен. Некоторые из авторов оказываются, как то ни удивительно, его кейптаунскими сверстниками — студентами из тех, что днем спят, а ближе к ночи отправляются на вечеринки, напиваются, тянут из родителей деньги, проваливают экзамены и растягивают три года учебы на пять. И тем не менее они пишут авторитетные по тону статьи об экономике мигрирующей рабочей силы или волнениях в сельском Транскее. Откуда берут они, погрязшие в танцульках, пьянстве и распутстве, время, необходимое, чтобы узнать хоть что-то о вещах подобного рода?

Впрочем, на самом-то деле он ходит в "Диллонс" ради журналов, посвященных поэзии. Они лежат неопрятными стопками на полу, прямо у входной двери: "Амбит", "Агенда", "Поун"; брошюрки, размноженные на копировальных аппаратах в таких богом забытых местах, как Кил; разрозненные, давние выпуски американских периодических изданий. Он покупает их все, по одному каждый, притаскивает всю кипу домой и погружается в чтение, пытаясь понять, кто и что пишет, куда ему лучше сунуться, если он тоже захочет что-нибудь напечатать.

В английских журналах преобладают пугающе коротенькие стишки, посвященные будничным мыслям и переживаниям, стихотворения, которые и полстолетия назад не заставили бы никого даже бровью повести. Что произошло здесь, в Британии, с честолюбивыми мечтаниями поэтов? Или в ней так ни до кого еще и не дошло, что времена Эдварда Томаса давно миновали? Или Паунд и Элиот, не говоря уж о Бодлере, Рембо, греческих эпиграмматиках, китайцах, так ничему их и не научили?

Но, может быть, он судит британцев слишком поспешно? Может быть, он читает не те журналы; может быть, есть и другие, более смелые, не нашедшие пути в "Диллонс"? А может быть, существует круг творцов, которые относятся к преобладающим умонастроениям с таким пессимизмом, что просто не дают себе труда посылать издаваемые ими журналы в магазины, подобные "Диллонс". "Боттеге-Оскуре", к примеру, — где можно купить "Боттеге-Оскуре"? И если эти просвещенные круги существуют, как узнать о них, как к ним подобраться?

Что касается собственного сочинительства, он надеется оставить после себя, если назавтра ему случится вдруг умереть, несколько стихотворений, которые — после того как их отредактирует какой-нибудь бескорыстный эрудит — будут частным порядком изданы в виде книжечки в одну двенадцатую долю листа и заставят людей покачивать головами и вполголоса повторять: "Как много он обещал! Какая утрата!" Такая у не-

го надежда. Правда, однако же, состоит в том, что стихотворения, которые он пишет, становятся не только все более и более короткими, но и — он невольно чувствует это — все менее значительными. Похоже, в нем уже не осталось того, что позволяло ему сочинять стихи вроде тех, какие он писал в семнадцать лет, в восемнадцать, — стихи, занимавшие иногда по нескольку страниц, порой беспорядочные, громоздкие и тем не менее дерзкие, полные новизны. Те стихотворения, во всяком случае большая их часть, порождались и его постоянными любовными терзаниями, и безудержным, точно лавина, чтением. Ныне, четыре года спустя, он все еще продолжает терзаться, однако терзания стали привычными, даже хроническими, подобием неизбывной головной боли. Теперь он сочиняет натужные, короткие вирши, *незначительные* во всех отношениях. Какова бы ни была их условная тема, осью, вокруг которой они вращаются, остается он сам — оказавшийся в западне, одинокий, несчастный, — и в то же время — он не может этого не сознавать — стихам не хватает энергии да, собственно, и желания всерьез разобраться в душевном его тупике.

На самом-то деле он постоянно чувствует себя выжатым до предела. Пока он сидит в офисе Ай-би-эм за своим серым рабочим столом, его донимает зевота, которую он изо всех сил старается скрыть; слова, которые он читает в Британском музее, плывут перед глазами. Ему хочется лишь одного — уронить голову на руки и заснуть.

И все-таки он не желает смириться с мыслью, что жизнь, которую он ведет здесь, в Лондоне, лишена цели и смысла. Столетие назад поэты губили себя опиумом и вином, подходя к самому рубежу безумия, чтобы посылать с этого рубежа донесения о своих провидческих переживаниях. Таковы были средства, позволявшие им обращаться в пророков, в прорицателей будущего. Опиум и вино не по нему, он слишком боится того, что они способны сделать с его здоровьем. Но разве усталость и горести не способны совершать ту же работу? Разве жизнь на самом краю физического изнеможения ниже жизни на краю безумия? Разве человек, затворявшийся в левобережной мансарде, за которую он давно уже не платил, или бродивший из кафе в кафе — небритый, немытый, зловонный, клянчивший выпивку у друзей, — приносил бóльшую жертву, губил себя в большей мере, чем тот, кто, облачившись в черный костюм, отправляется в офис ради убивающей душу работы, кто примиряется с пожизненным одиночеством или с лишенной желания плотской любовью? Да, собственно, абсент и лохмотья выглядят ныне несколько старомодными. И много ли, вообще говоря, геройства в том, чтобы надувать домовладельца, не платя ему за жилье?

Т. С. Элиот работал в банке. Уоллес Стивенс и Франц Кафка работали в страховых компаниях. И Элиот, и Стивенс, и Кафка страдали, каждый на свой манер, ничуть не меньше По или Рембо. В том, чтобы предпочесть для себя удел, подобный уделу Элиота, Стивенса, Кафки, никакого бесчестья нет. Да, он выбрал, как и они, черный костюм и будет носить его, точно власяницу, не злоупотребляя ничем, никого не обманывая, живя своим трудом. В эпоху Романтиков художники впадали в безумие с экстравагантным размахом. Безумие выплескивалось из них потоками строк или брызгами краски. Эта эпоха завершилась: собственное его безумие, если ему предстоит претерпеть таковое, будет иным — тихим и сдержанным. Он засядет в углу, настороженный и сгор-

бленный, как сидит на гравюре Дюрера человек в плаще с капюшоном, терпеливо ожидающий, когда завершится срок его пребывания в аду. И когда этот срок завершится, пережитое лишь сделает его куда более сильным.

Так говорит он себе — в лучшие свои дни. В другие, худшие, он гадает, способны ли чувства, столь монотонные, как его, напитать великую поэзию. Тяга к музыке, когда-то такая мощная в нем, уже ослабла. Не теряет ли он теперь — постепенно — и тягу к поэзии? Не уводит ли его от поэзии к прозе? И не такова ли тайная суть прозы: второе по качеству предпочтение, прибежище падшего творческого духа?

Единственное из написанных им за последние пять лет стихотворение, нравящееся ему, состоит всего из пяти строк:

> Жены ловцов лангустов
> привыкли просыпаться в пустых постелях,
> мужья их веками уходят на утренний лов;
> но и сон этих жен не так тревожен, как мой.
> Если уходишь, иди к португальским ловцам лангустов.

"К португальским ловцам лангустов"... Он тихо радуется тому, что смог исподтишка протащить в стихи фразу настолько обыденную; пусть даже само стихотворение выглядит при ближайшем рассмотрении все менее осмысленным. У него имеется целый список набранных про запас слов и фраз, расхожих и темных, ждущих, когда для них отыщется место. Вот, скажем, "полымя": он еще поместит "полымя" в эпиграмму, тайная история которой будет сводиться к тому, что ее создали как оправу для одного-единственного слова — подобно броши, которую создают, чтобы оправить один-единственный драгоценный камень.

Достаточно ли одних эпиграмм, чтобы создать себе имя в поэзии? Что касается формы, в эпиграмме нет ничего дурного. Мир чувств можно ужать до единственной строки, греки доказывали это снова и снова. Однако его эпиграммы далеко не всегда достигают сжатости, отличавшей греков. Слишком часто чувства-то в них и не хватает; слишком часто они отдают всего лишь начитанностью.

"Поэзия — это не выброс эмоций, но бегство от них, — таковы слова Элиота, которые он переписал в свой дневник. — Поэзия — не выражение личности, но бегство от нее". А следом, поразмыслив, Элиот добавляет с горечью: "Но только те, кто обладает личностью и эмоциями, понимают, что означает желание бежать от них".

Простое излияние эмоций на лист бумаги внушает ему отвращение. Стоит ему ввязаться в это занятие, как он перестает понимать, где следует остановиться. Это все равно что рассечь артерию и смотреть, как из тебя истекает жизнь. Проза, по счастью, никаких эмоций не требует: хотя бы это говорит в ее пользу. Проза подобна ровной, спокойной глади воды, на которой можно менять галсы, неспешно и по собственному произволу выводя какие угодно узоры.

Под первый свой прозаический опыт он отводит два выходных. Появляющийся в итоге рассказ, если это, конечно, рассказ, настоящего сюжета лишен. Все существенное происходит в сознании рассказчика, совсем такого, как он, безымянного юноши, который приводит безымянную же девушку на пустынный берег и наблюдает за нею, пока она

плавает. По каким-то ее пустячным поступкам, по бессознательным жестам он вдруг с уверенностью понимает, что девушка ему неверна; более того, понимает, что и она заметила: ему все известно, однако ее это ничуть не заботит. Вот и все. Так заканчивается рассказ. Таково его содержание.

Дописав рассказ, он не знает, как с ним поступить. Его совершенно не тянет показать кому-то написанное — разве что прототипу безымянной девушки. Но он утратил с ней связь, да и не узна́ет она себя без подсказки.

Действие рассказа происходит в Южной Африке. Он с неудовольствием понимает, что все еще пишет о ней. Он предпочел бы оставить свое южноафриканское "я" позади — как оставил саму Южную Африку. Южная Африка — плохое начало, помеха. Ничем не примечательная сельская семья, дурное образование, язык африкаанс: каждое из этих образующих целое препятствий он более или менее сумел обойти. Теперь он живет в большом мире, сам себя обеспечивает — вообще, справляется недурно, по крайней мере не терпит неудач, явственных. И напоминания о Южной Африке ему нисколько не нужны. Если завтра из Атлантики накатит приливная волна и смоет южную оконечность африканского континента, он не проронит ни слезинки. Он-то останется среди уцелевших.

Хотя рассказ, написанный им, и мелковат (о чем тут говорить?), он вовсе не плох. И все-таки в попытках напечатать его он никакого смысла не видит. Англичане рассказ не поймут. Пляж, о котором в нем говорится, они подменят своим, английским пляжем — полоской гальки с набегающей на нее мелкой волной. Они не увидят ослепительного простора песка у подножия скалистых утесов, о которые разбиваются буруны, не услышат в небе криков чаек и бакланов, сражающихся с ветром.

По-видимому, между поэзией и прозой существуют и еще кое-какие различия. В стихах действие может протекать везде и нигде: совершенно не важно, где живут одинокие жены ловцов лангустов — в Калкбае, Португалии или Мэне. А вот проза, похоже, настоятельно требует четко обозначенной обстановки.

Англию он знает пока не настолько, чтобы воссоздавать ее в прозе. Он не уверен даже в том, что сможет воссоздать уже знакомые ему кварталы Лондона — Лондона бредущей на работу толпы, холода и дождя, квартирок с лишенными штор окнами, с лампочками в сорок ватт. Предприми он такую попытку, у него, скорее всего, получится город, неотличимый от Лондона любого другого клерка-холостяка. Возможно, у него и есть собственное ви́дение Лондона, однако никакой уникальностью оно не обладает. Быть может, в видении этом и присутствует некая напряженность, но лишь по причине его узости, а узостью этой оно обязано неведением чего бы то ни было, лежащем вне его самого. Нет, Лондоном он не овладел. Если уж кто кем и овладел, так скорее Лондон им.

Глава восьмая

Свидетельствует ли этот первый прозаический опыт о том, что меняется весь настрой его жизни? Не собирается ли он навсегда забросить поэзию? Он в этом не уверен. Однако, если он намерен заняться прозой,

надо идти до конца и стать джеймсианцем. Генри Джеймс — вот пример писателя, вознесшегося над всем национальным. По сути дела, далеко не всегда ясно, где происходит то, что он описывает, — в Лондоне, в Париже, в Нью-Йорке, — так высоко воспаряет Джеймс над механикой обыденной жизни. Его персонажам не приходится платить за жилье, они явно не имеют нужды держаться за работу, все, что им требуется, — это вести сверхъестественные по утонченности разговоры, в которых власть переходит от одного собеседника к другому шажками настолько мелкими, что они почти неуловимы, приметны лишь для хорошо натренированного взгляда. Когда же шажков набирается достаточное число, выясняется вдруг, что распределение власти между персонажами рассказа изменилось (voilà!) необратимо. И все: задачу свою рассказ выполнил, можно ставить точку.

Он пробует поупражняться в манере Джеймса. Выясняется, однако, что овладеть джеймсовским стилем куда трудней, чем ему представлялось. Попытки заставить придуманных им персонажей вести сверхутонченные разговоры сродни потугам научить млекопитающих летать. Миг-другой им удается, плеща руками, держаться в воздухе. Потом они валятся вниз.

Что и говорить, Генри Джеймс намного тоньше, чем он. И все же одно только это не способно полностью объяснить его неудачу. Джеймс хочет, чтобы читатель поверил: разговор, обмен словами — только это и важно. Он готов принять кредо Джеймса, но не может, как выясняется, следовать ему, во всяком случае не в Лондоне, городе, который перемалывает его своими безжалостными зубцами, городе, который должен обучить его писательству, — а иначе зачем вообще он сюда попал?

Давным-давно, еще невинным ребенком, он верил, что единственное точное мерило — это ум, что ум позволит ему достичь всего, к чему он стремится. Учеба в университете расставила все по местам. Университет показал ему, что он далеко не самый умный, в конечном-то счете. Теперь же он окунулся в реальную жизнь, а в ней нет даже экзаменационных оценок, на которые можно было бы опереться. Похоже на то, что в реальной жизни у него хорошо получается только одно — страдать, ощущать себя несчастным. В чем-в чем, а в этом он может дать фору кому угодно. Несчастья, которые он способен навлечь на себя, а следом и вытерпеть, пределов, сдается ему, не имеют. Даже бродя по холодным улицам этого чужого города, никуда, в сущности, не направляясь, просто стараясь вымотаться настолько, что можно будет вернуться к себе и по крайней мере заснуть, он отнюдь не собирается надломиться под гнетом страданий. Несчастье — его стихия. Он в ней как дома, как рыба в воде. Отними у него несчастье, и он не будет знать, как жить дальше.

Счастье, говорит он себе, ничему научить не может. Несчастье же закаляет человека, готовит к будущему. Несчастье есть школа души. Окунувшись в воды несчастья, ты выходишь из них — на другом берегу — очищенным, сильным, готовым к вызову, который бросает тебе жизнь в искусстве.

И однако же, окунаясь в несчастье, он вовсе не ощущает себя отмытым дочиста. Напротив, все происходящее с ним походит на купание в грязной луже. Каждый новый наплыв страданий оставляет его не поумневшим и окрепшим, но отупевшим и еще более вялым. Спрашивается,

как же оно работает — прославленное очищение страданием? Может быть, он недостаточно глубоко окунается в него? Может быть, следует плыть дальше — за край несчастья, в меланхолию и безумие? Он никогда не встречал человека, которого можно было б назвать сумасшедшим с достаточными на то основаниями, однако помнит Жаклин, которая "проходила", как она выражалась, "лечение" и с которой он провел, пусть с перерывами, шесть месяцев в одной комнате. И ни разу за это время в Жаклин не возгоралось божественное, живительное творческое пламя. Наоборот, она оставалась погруженной в себя, непредсказуемой, трудной в общении. Быть может, и ему до́лжно опуститься до подобного уровня и лишь после этого он сможет стать художником. А с другой стороны, безумный или несчастный, как можешь ты писать, когда усталость сжимает, точно рука в перчатке, твой мозг и давит, давит? Или то, что он предпочитает звать усталостью, есть на деле испытание, еще одно завуалированное испытание, в котором он терпит неудачу? И вслед за усталостью придут испытания новые, и будет их столько, сколько кругов в Дантовом аду? Не есть ли усталость лишь первая из проверок, которые обязаны проходить великие мастера — Гёльдерлин и Блейк, Паунд и Элиот?

Как хочется, чтобы ему дарована была возможность воспрянуть и хоть на минуту, хоть на секунду узнать, что это такое — сгорать в священном огне искусства.

Страдание, безумие, секс — три способа призвать на свою голову священный огонь. Он опускался в пучину страданий, он свел знакомство с безумием, но что ему известно о сексе? Секс и творческий дух неизменно идут рука об руку, все так говорят, да он и сам не сомневается в этом. Будучи творцами, художники владеют тайной любви. Женщины же обладают интуитивным даром, который позволяет им различить пылающее в художнике пламя. Сами-то женщины этого священного пламени лишены (есть, впрочем, и исключения: Сафо, Эмили Бронте). Именно в поисках огня, коего им не дано, огня любви, женщины ищут общества художников и отдаются им. Предаваясь любви, художники и их любовницы вкушают — на краткий, мучительный миг — жизнь богов. И после любовных объятий художник возвращается к своим трудам обогащенным, исполненным новых сил, а женщина возвращается к своей преобразившейся жизни.

А что же он? Если ни единая женщина все еще не различила за его деревянным обличием, за его скованным угрюмством ни проблеска священного пламени, если ни одна из них не отдается ему безраздельно, если любовная близость, какой он ее знает, порождает в женщине, как и в нем самом, либо опасения, либо скуку, либо и то и другое, — означает ли это, что художник он не настоящий или что страдал он все-таки маловато, недостаточно времени провел в чистилище, распорядок коего включает и борцовские схватки безлю́бого секса?

Величавое безразличие Генри Джеймса к жизни как таковой обладает для него значительной притягательностью. И все же, как он ни силится, ощутить на своем лбу благословляющее прикосновение призрачной руки Джеймса ему не удается. Джеймс принадлежит прошлому: ко времени его рождения Джеймс уже двадцать лет как лежал в могиле. А вот Джеймс Джойс был тогда еще жив, хоть и находился на волосок от смер-

ти. Джойса он обожает, он даже может наизусть цитировать целыми кусками "Улисса". Однако для того, чтобы занять место в его пантеоне, Джойс чрезмерно пропитан Ирландией и заботами ирландцев. Эзра Паунд и Т. С. Элиот, сколь они ни дряхлы и ни окутаны мифами, живы и по сей день — один в Рапалло, другой здесь, в Лондоне. Но если он собирается забросить поэзию (или поэзия собирается забросить его), какой пример способны и далее подавать ему Паунд с Элиотом?

В итоге из великих фигур настоящего остается всего одна: Д. Г. Лоуренс. Лоуренс также умер до его рождения, однако это можно считать случайностью, поскольку умер Лоуренс еще молодым. Лоуренса он впервые прочел школьником, когда "Любовник леди Чаттерлей" был самой известной из всех запрещенных книг. К третьему своему университетскому году он проглотил уже всего Лоуренса, не считая произведений ученических. Да и другие студенты тоже были увлечены этим писателем. Они учились у Лоуренса разбивать хрупкую скорлупку цивилизованных условностей, являя на свет тайную свою суть. Девушки носили свободные платья, и танцевали под дождем, и отдавались мужчинам, обещавшим открыть им свои темные глубины. От тех же мужчин, которые ничего им такого не обещали, девушки досадливо отмахивались.

Сам-то он оставался настороже, не желая обращаться в приверженца культа, в лоуренсианца. Женщины из книг Лоуренса внушали ему чувство опасливое, он представлял их себе лишенными жалости самками насекомых — пауков и богомолов. Под пристальными взорами бледных, одетых в черное университетских идолопоклонниц он ощущал себя нервным, суетливым жучком-холостячком. Кое с кем из них он с удовольствием лег бы в постель, этого он отрицать не станет — в конце-то концов, мужчине удается добраться до своих темных глубин, лишь окунув в *ее* темные глубины женщину, — но уж больно он их боялся. Любовные их восторги вполне могли оказаться вулканическими, а он был слишком хил, чтобы выдержать подобное извержение.

А кроме того, у этих последовательниц Лоуренса имелся свой устав непорочности. Они на долгие сроки впадали в ледяную холодность, стремясь обходиться лишь собственным обществом или обществом своих сестер, и тогда даже мысль о том, чтобы отдать кому ни на есть свое тело, воспринималась ими как скверна. И пробуждал их от этого ледяного сна лишь повелительный призыв темной мужской натуры. Он же ни темным, ни повелительным не был, или, вернее, сущностной тьме и повелительности его только еще предстояло родиться на свет. Приходилось довольствоваться другими девушками, теми, которые женщинами покамест не стали да могли так никогда и не стать, потому что темных глубин у них — во всяком случае таких, что заслуживали бы упоминания, — не имелось; девушками, которым в душе заниматься *этим* вовсе и не хотелось, как, собственно, и ему, если уж быть совсем откровенным.

В последние кейптаунские недели у него завязался роман с девушкой по имени Каролина, студенткой театрального факультета, мечтавшей попасть на сцену. Они вместе ходили в театр; провели целую ночь, обсуждая достоинства Ануя в сравнении с Сартром и Ионеско в сравнении с Беккетом; делили постель. Беккет был его любимцем — но не Каролины: Беккет слишком мрачен, твердила она. Подлинная причина

этой ее нелюбви состояла, подозревал он, в том, что Беккет не писал женских ролей. Поддавшись ее уговорам, он и сам попытался написать пьесу — драму в стихах, о Дон Кихоте. Однако быстро зашел в тупик — духовный мир стародавнего испанца был слишком далек от него, он не мог придумать, как в этот мир проникнуть, — и сдался.

Теперь, месяцы спустя, Каролина появляется в Лондоне, отыскивает его. Они встречаются в Гайд-парке. Ее все еще покрывает южный загар, она полна жизни, в восторге от Лондона, в восторге от встречи с ним. Они гуляют по парку. Пришла весна, дни удлинились, деревья покрыты листвой. Они едут автобусом в Кенсингтон, туда, где живет Каролина.

Она производит на него сильное впечатление — своей энергией, предприимчивостью. Всего несколько недель в Лондоне — и уже освоилась. У нее есть работа, она разослала свои резюме всем театральным агентам, живет в фешенебельном квартале, в квартире, которую делит с тремя девушками-англичанками. Как ты с ними познакомилась? — спрашивает он. Подруги подруг, отвечает Каролина.

Они возобновляют любовную связь, и сразу же возникают сложности. Каролина работает официанткой в уэст-эндском ночном клубе, предсказать, сколько времени она проведет на работе, невозможно. Встречаться с ним она предпочитает у себя; чтобы он забирал ее из клуба, не хочет. Поскольку соседки ее против того, чтобы отдавать чужим людям ключи от квартиры, ему приходится поджидать Каролину у дома, на улице. В итоге он едет по окончании рабочего дня поездом к себе, на Арчвей-роуд, ужинает хлебом с сардельками, час-другой читает или слушает радио, потом садится в последний автобус до Кенсингтона — и начинается ожидание. Иногда Каролина возвращается из клуба уже к полуночи, но бывает, что и в четыре утра. Они любят друг дружку, потом засыпают. В семь звонит будильник: ему полагается покидать квартиру до того, как проснутся ее соседки. Он возвращается автобусом в Хайгейт, завтракает, влезает в черную униформу и отправляется на работу.

Скоро все превращается в рутину, рутину, которая — когда ему удается на миг взглянуть на нее со стороны и задуматься — его изумляет. Он ввязался в роман, правила которого устанавливает женщина и только она одна. Выходит, именно это и делает с мужчиной страсть: лишает его гордости. Но испытывает ли он к Каролине страсть? Что-то не похоже. В то время, какое они проводят врозь, он о ней почти и не думает. Откуда ж тогда эта покорность, уничижение? Ему нравится ощущать себя несчастным? Этим и стало для него несчастье: наркотиком, без которого не обойтись?

Хуже всего ночи, в которые она и вовсе не появляется. Час за часом расхаживает он по тротуару или, когда льет дождь, забивается под козырек какой-нибудь двери. Вправду ли она работает допоздна, в отчаянии гадает он, или клуб в Бэйсуотере просто большая ложь, а Каролина лежит в эту самую минуту еще в чьей-то постели?

Обращаясь к ней с упреками, он получает в ответ всего лишь расплывчатые оправдания. В клубе выдалась суматошная ночь, говорит Каролина, мы закрылись только на рассвете. Или — у нее не было денег на такси. Или — пришлось пойти выпить с клиентом. В мире театра, раздраженно напоминает она, все решают знакомства.

Они еще продолжают совокупляться, однако все переменилось. Мысли Каролины блуждают неведомо где. Хуже того: он, с его угрюмостью и обидами, быстро становится для нее обузой и чувствует это. Будь у него хоть немного здравого смысла, он бы немедля оборвал их связь и ушел. Но он не делает этого. Каролина, быть может, и не та загадочная, темноокая девушка, ради которой он приехал в Европу, она, быть может, всего лишь девица из Кейптауна, из прошлого, такого же банального, как его собственное, однако сейчас она — все, что у него есть.

Глава девятая

Английские девушки внимания на него не обращают — может, оттого, что облик его еще не утратил черт колониальной неотесанности, а может, просто потому, что он не так одет. Помимо костюма, предназначенного для Ай-би-эм, у него только и есть что серые фланелевые штаны да привезенная из Кейптауна зеленая спортивная куртка. Молодые же люди, которых он видит в поездах и на улицах, носят узкие черные брюки, остроносые полуботинки и плотные, просторные куртки с множеством пуговиц. Кроме того, у них длинные, свисающие на лоб и уши волосы, он же по-прежнему подстригается сзади и с боков очень коротко, а то, что остается сверху, расчесывает на аккуратный пробор, навязанный ему в детстве провинциальными парикмахерами и одобряемый Ай-би-эм. В поездах взгляды девушек просто проскальзывают по нему, а если задерживаются, то в них читается пренебрежение.

Что-то тут неправильно: он бы и разразился протестами, да не знает, куда и к кому с ними обратиться. Интересно, что за работа у этих его соперников, если она позволяет им одеваться как бог на душу положит? И почему вообще он обязан следовать моде? А внутренние его качества, они, что же, совсем ничего не значат?

Самое разумное — купить себе такой же наряд, как у них, и облачаться в него по выходным. Однако стоит ему представить себя в подобной одежде, одежде, которая кажется ему не только чуждой его натуре, но и скорее средиземноморской, чем английской, в нем нарастает внутреннее сопротивление. Не может он так поступить: это было бы равносильно бессмысленному фарсу, актерству.

Лондон переполнен красивыми девушками. Они съезжаются сюда со всего света: как au pair[1], просто как туристки. Волосы их спадают по сторонам лица до самых скул, будто сложенные крылья, глаза подведены темной тушью, лица хранят выражение вкрадчивой загадочности. Красивее всех рослые шведки с кожей медовых тонов; впрочем, не лишены обаяния и итальянки — маленькие, с миндалевидными глазами. В любви, говорит ему воображение, итальянки искусны и пылки, совсем не то что шведки, те скорее томны и улыбчивы. Вот только представится ли ему когда-нибудь случай проверить это? Даже набравшись храбрости и заговорив с одной из этих прекрасных чужестранок, что он им скажет? Если он назовется не программистом, а математиком, будет ли

1. Помощница по хозяйству (*франц.*) — иностранка, работающая за жилье и стол, одновременно обучаясь языку.

это ложью? Польстит ли ухаживание математика девушке из Европы или лучше сказать ей, что он, несмотря на тусклое его обличье, — поэт?

Он повсюду носит с собой в кармане сборник стихов, иногда Гёльдерлина, иногда Рильке, иногда Вальехо. В поезде он демонстративно извлекает книгу и углубляется в чтение. Это проверка. Лишь незаурядная девушка сможет по достоинству оценить то, что он читает, и увидеть в нем незаурядного человека. Однако девушки в поездах никакого внимания на него не обращают. Похоже, это первое, чему они научаются, приезжая в Англию: не обращать внимания на подаваемые мужчинами сигналы.

То, что мы зовем красотой, есть лишь первое проявление ужаса, говорит ему Рильке. Мы повергаемся пред красотою ниц, благодаря ее, не снизошедшую до того, чтобы нас уничтожить. Если он решится приблизиться к этим прекрасным созданиям из иных миров, к этим ангелам, растопчут ли они его или сочтут слишком ничтожным для этого?

В одном из поэтических журналов — в "Диапазоне" не то в "Повестке дня" — ему попадается на глаза объявление насчет проводимого Поэтическим обществом еженедельного семинара молодых, еще не публиковавшихся авторов. В черном своем костюме он приходит в указанное объявлением место, в указанное время. Женщина, открывшая ему дверь, взирает на него с подозрением, спрашивает, сколько ему лет. "Двадцать один", — отвечает он. Это ложь: ему двадцать два.

Собратья-поэты, сидящие в расставленных по кругу кожаных креслах, осматривают его, сдержанно кивают. Все они, похоже, знакомы друг с другом — он единственный здесь новичок. И все моложе его, подростки в сущности, если не считать прихрамывающего мужчину средних лет, представителя Поэтического общества. Они по очереди читают свои последние стихи. Те, что читает он, заканчиваются словами "гневные волны моего недержания". Хромец находит выбор последнего слова неудачным. Для всякого, кому доводилось работать в больнице, говорит он, слово это означает "неуправляемое мочеиспускание", если не что похуже.

На следующей неделе он снова приходит туда и после семинара отправляется выпить кофе с девушкой, прочитавшей стихотворение о погибшем в дорожной аварии друге, хорошее стихотворение — тихое, без претензий. Помимо писания стихов, сообщает девушка, она еще и учится, в лондонском Кингс-колледже; этим объясняется строгость ее одежды — темная юбка, черные чулки. Они договариваются о новой встрече.

В субботу под вечер они встречаются на Лестер-сквер. И уж почти решают пойти в кино, но ведь они поэты и обязаны испытывать жизнь во всей ее полноте, а потому направляются в ее комнату на Гауэр-стрит, где он с разрешения девушки раздевает ее.

Голые, они лежат, обнявшись, но страстного пыла не ощущают, и, как выясняется, ждать этого пыла им, пожалуй что, не приходится. В конце концов девушка отстраняется от него, прикрывает ладонями груди, отталкивает его руки, молча качает головой.

Он мог бы попытаться как-то уломать ее, склонить к продолжению, обольстить — может быть, даже и получилось бы, но ему не хватает на это духу. Все-таки она не просто женщина, наделенная женской интуицией, она еще и художник. А то, во что он пытается ее втянуть, — не настоящее, и она наверняка это понимает.

Они одеваются, молча. "Прости", — говорит девушка. Он пожимает плечами. Он не сердится. Не обвиняет ее. Он тоже не лишен интуиции. Приговор, который она ему вынесла, мог вынести и он сам.

После этого он больше в Поэтическом обществе не появляется. Все равно никому он там не интересен.

Не везет ему с английскими девушками. В Ай-би-эм их хоть пруд пруди — секретарш, пробивальщиц перфокарт, — как и возможностей поболтать с ними. Однако он ощущает исходящее от них недоверие, эти девушки словно бы не понимают, кто он такой, зачем приехал в их страну, что им движет. Он присматривается к ним, к тому, как они ведут себя с другими мужчинами. Другие мужчины флиртуют с ними на веселый, льстивый английский манер. И девушки отвечают им взаимностью, он же видит: раскрываются, точно цветы. А вот он флиртовать так и не научился. Он даже не уверен, что одобряет флирт. Да и как бы там ни было, нельзя, чтобы девушки Ай-би-эм узнали, что он поэт. Они принялись бы посмеиваться над ним между собой, разболтали бы об этом по всему Бюро.

Высшее его упование, более высокое, чем роман с англичанкой, да даже и со шведкой или итальянкой, — найти себе француженку. Любовная связь с француженкой могла бы, он в этом уверен, изменить его, приблизить к совершенству — самим изяществом французской речи, утонченностью французской мысли. Но с какой стати француженка снизойдет, да еще и скорее, чем англичанка, до разговора с ним? И не так уж много француженок видел он в Лондоне. В конце концов, у французов имеется Франция, прекраснейшая на свете страна. Зачем им тащиться в холодную Англию и присматривать там за чужими детьми?

Французы — самый цивилизованный в мире народ. Все почитаемые им писатели пропитаны французской культурой, большинство их считает Францию своей духовной родиной — Францию и до некоторой степени Италию, хотя для Италии наступили, по всему судя, трудные времена. С пятнадцати своих лет, когда он почтой перевел в Пелманский институт пять фунтов и десять шиллингов и получил в ответ грамматику да стопку листков с упражнениями, которые надлежало выполнить и возвратить в институт на предмет выставления оценки, он пытается выучить французский. В чемодане, привезенном им из Кейптауна, лежат пятьсот карточек с выписанными на них основными французскими словами, по одному на каждой, чтобы можно было носить их с собой и заучивать; в голове вертятся французские обороты — je viens de, я только что; il me faut, я должен.

Но все его старания ни к чему не приводят. Не чувствует он французского. Слушая записи французской речи, он по большей части не может определить, где кончается одно слово и начинается другое. И хоть он способен читать простые прозаические тексты, уловить внутренним слухом звучание их ему не удается. Язык сопротивляется, отвергает его, а найти лазейку в него он не может.

Теоретически французский не должен вызывать у него особых затруднений. Он же знает латынь и даже читает порою вслух, для собственного удовольствия, фрагменты латинской прозы — не прозы Золотого или Серебряного века, но пассажи из "Вульгаты" с ее дерзким пренебрежением к классическому порядку слов. Тот же испанский он осваивает без труда. Читает двуязычные издания Сесара Вальехо, чита-

ет Николаса Гильена, читает Пабло Неруду. В испанском полно варварских по звучанию слов, но это не важно. По крайней мере, в нем произносится каждая буква, вплоть до двойного "г".

Впрочем, язык, который он чувствует по-настоящему, это немецкий. Он настраивает приемник на передачи из Кёльна или, когда они не слишком скучны, из Восточного Берлина и почти все в них понимает; читает немецких поэтов, и те даются ему достаточно легко. Ему нравится, что каждый немецкий слог обладает должной весомостью. А поскольку африкаанс все еще у него на слуху, он чувствует себя в немецком синтаксисе как рыба в воде. Собственно говоря, длиннота немецких предложений, сложное нагромождение глаголов в конце их доставляют ему удовольствие. Временами, читая по-немецки, он забывает, что это чужой язык.

Он снова и снова перечитывает Ингеборг Бахман, читает Бертольта Брехта, Ханса Магнуса Энценсбергера. В немецком присутствует затаенная саркастичность, привлекающая его, хоть он и не вполне понимает, к чему она, — на самом-то деле, даже гадает, не примерещилась ли она ему просто-напросто. Хорошо бы порасспросить об этом кого-нибудь, да только он не знаком ни с кем, кто читает немецких поэтов, как не знаком и ни с кем, кто говорит по-французски.

А ведь в этом колоссальном городе должны жить тысячи людей, прекрасно знающих немецкую литературу, и еще тысячи тех, кто читает русские, венгерские, греческие, итальянские стихи — читает, переводит и даже пишет; поэтов-изгнанников, длинноволосых мужчин, носящих очки в роговой оправе, женщин с узкими, иноземными лицами и полными, чувственными губами. В журналах, покупаемых в "Диллонсе", он находит достаточно свидетельств их существования: переводов, которые наверняка вышли из-под их перьев. Но как свести знакомство с ними? Чем они занимаются, эти существа особого толка, когда не читают, не пишут и не переводят? Может быть, он, сам того не ведая, сидит меж ними в зале "Эвримена", прогуливается среди них по Хампстед-хит?

Повинуясь мгновенному порыву, он пристраивается в парке за подходящей с виду парой. Мужчина высок, бородат, длинные светлые волосы женщины небрежно заброшены назад. Он уверен — это русские. Впрочем, когда он приближается к ним на расстояние, позволяющее услышать их разговор, выясняется, что они англичане, а беседуют о ценах на мебель в "Хилсе".

Остаются еще Нидерланды. По крайней мере, голландский язык — не чужой ему, хотя бы этим преимуществом он обладает. Существует ли среди множества лондонских кругов также и круг голландских поэтов? И если существует, даст ли ему доступ в этот круг знание их языка?

Голландская поэзия всегда представлялась ему скучноватой, однако в поэтических журналах то и дело всплывает имя Симона Винкеноога. Винкеноог — единственный голландский поэт, сумевший, похоже, добиться международного признания. Он прочитывает всего Винкеноога, какого удается найти в Британском музее, и особым воодушевлением не проникается. Стихи Винкеноога резки, злы, в них напрочь отсутствует тайна. Если Голландия способна предложить лишь Винкеноога, значит, подтверждается худшее его подозрение: голландцы — самый унылый, самый непоэтичный из всех народов. Ну и довольно о его голландском наследии. С таким же успехом он мог быть и моноглотом.

Время от времени Каролина звонит ему на работу и назначает свидание. Однако при встрече не скрывает раздражения, которое он у нее вызывает. Как мог он проделать такой путь до Лондона, говорит она, а после тратить все дни на то, чтобы складывать числа на машине? Оглянись вокруг, твердит Каролина, Лондон это ярмарка новизны, удовольствий, развлечений. Почему он не хочет вылезти из своей скорлупы, хоть немного повеселиться?

"Не все мы созданы для веселья", — отвечает он. Каролина принимает это за очередную его шуточку и даже не пытается ее понять.

Каролина так и не объяснила ему, откуда у нее деньги на квартиру в Кенсингтоне, на новые наряды, в которых она всякий раз приходит на свидания. У ее южноафриканского отчима автомобильный бизнес. Настолько ли этот бизнес прибылен, чтобы обеспечивать падчерице полную удовольствий жизнь в Лондоне? И чем на самом деле занимается она в клубе, где проводит ночные часы? Принимает в гардеробной плащи и собирает чаевые? Разносит подносы с напитками? Или работа в клубе — лишь эвфемизм для обозначения чего-то еще?

Один из знакомых, которыми она обзавелась в клубе, уведомляет его Каролина, — сам Лоренс Оливье. Лоренс Оливье проявил интерес к ее актерской карьере. Пообещал ей роль в не названной пока пьесе и пригласил в свой загородный дом.

И что он должен отсюда вывести? Роль в пьесе смахивает на вранье, однако Каролина ли врет ему или Лоренс Оливье Каролине? Лоренс Оливье теперь уж наверняка старик с вставными зубами. Сможет ли Каролина постоять за себя, отбиться от Лоренса Оливье, если тот, кто пригласил ее в свой загородный дом, и вправду Оливье? И какими способами люди таких лет получают удовольствие от молодой женщины? Имеет ли смысл ревновать к мужчине, который, скорее всего, и на эрекцию-то уже не способен? И не устарелое ли чувство ревность — здесь, в Лондоне 1962 года?

Скорее всего, Лоренс Оливье, если это он, продемонстрирует ей всю положенную обходительность владельца загородного поместья — включая сюда шофера, который встретит ее на станции, и дворецкого, который будет дожидаться их у обеденного стола. А после отведет ее, опьяненную клеретом, в спальню и потешится ею, и она ему это позволит — из вежливости, из благодарности за приятный вечер, ну и ради карьеры тоже. Даст ли она себе труд упомянуть, когда они останутся наедине, что где-то там, далеко, у старика есть соперник, клерк, работающий в компании, которая производит суммирующие машины, живущий в комнатке на Арчвей-роуд и временами сочиняющий стихи?

Ему непонятно, почему Каролина не порывает с ним, клерком-любовником. Плетясь в сумраке раннего утра домой после проведенной с ней ночи, он может лишь молиться о том, чтобы она его больше не трогала. И действительно, иногда проходит неделя без единого слова от нее. А затем, как раз когда ему начинает казаться, что связь эта позади, Каролина звонит и все повторяется снова.

Он верит в страстную любовь, в ее преображающую силу. Однако собственный его опыт говорит ему, что любовные отношения отнимают кучу времени, выматывают и вредят работе. Может ли быть, что он просто не создан для любви к женщине, что на самом-то деле он гомосексуалист? Гомосексуальность способна объяснить все его невзгоды, от

первой до последней. Но ведь с тех пор, как ему исполнилось шестнадцать, его неизменно завораживала женская красота, присущее женщинам выражение загадочной недосягаемости. В студенческие годы он постоянно томился любовью — то к одной девушке, то к другой, случалось, что и к двум сразу. И чтение стихов лишь распаляло его. Слепящий восторг секса, по словам поэтов, уносит человека в ни с чем не сравнимый свет, в самое сердце безмолвия, и там он испытывает единение со стихийными силами Вселенной. Ни с чем не сравнимый свет пока что обходил его стороной, но он и на миг не усомнился в правоте поэтов.

Как-то вечером он позволяет "снять" себя на улице — мужчине. Мужчина старше его — по сути, человек другого поколения. Они доезжают в такси до Слоун-сквер, где живет, судя по всему одиноко, мужчина — в квартире, полной диванных подушек с кистями и неярких настольных ламп.

Они почти и не разговаривают. Он позволяет мужчине трогать его сквозь одежду, ничего не предпринимая в ответ. Если мужчина и достигает оргазма, то происходит это совсем незаметно. Потом он отправляется домой.

Так это и есть гомосексуализм? Весь, целиком и полностью? Впрочем, даже если в нем и присутствует нечто большее по сравнению с сексом, в котором участвует женщина — быстрым, бездумным, лишенным боязни, но также лишенным и обаяния, — выглядит он жалковато. Это игра без ставок: ты ничего не теряешь, однако и ничего не выигрываешь. Игра для людей, побаивающихся высшей лиги, для тех, кто всегда остается в проигрыше.

Глава десятая

План, который он лелеял в глубине души, когда перебирался в Англию, если у него вообще был план, состоял в том, чтобы найти работу и накопить денег. Скопив достаточно, он смог бы работу бросить и заняться писательством. А потратив накопленное, нашел бы другую — и так далее.

Он быстро обнаруживает, насколько план этот наивен. В Ай-би-эм он получает шестьдесят фунтов в месяц, это без вычетов, и отложить удается всего только десять. Год работы даст ему два месяца свободы и большую часть этого времени съедят поиски нового места. Стипендии, которую он получает из Южной Африки, едва-едва хватает на оплату его научных занятий.

Более того, выясняется, что он не волен менять род деятельности по собственному усмотрению. Новые правила, касающиеся прибывших в Англию чужестранцев, указывают, что каждая смена работы требует одобрения Министерства внутренних дел. Болтаться без дела запрещено: уйдя из Ай-би-эм, он должен либо быстро подыскать новое место, либо покинуть страну.

Он провел в Ай-би-эм достаточно долгое время и уже освоился со здешней рутиной. И все-таки ему по-прежнему трудно дотягивать до конца рабочего дня. И ему, и его коллегам-программистам раз за разом внушают — на собраниях, в меморандумах: помните, вы стоите на переднем краю профессиональной обработки данных; тем не менее он ощу-

щает себя скучающим диккенсовским клерком, сидящим на табурете и копирующим заплесневелые документы.

Скука рабочего дня прерывается лишь в одиннадцать и в половине четвертого, когда появляется со своей тележкой разносчица, ставящая перед каждым программистом чашку крепкого английского чая ("Получите, голубчик"). И только после того как утихнет поднимающаяся ровно в пять суета — секретарши и пробивальщицы перфокарт покидают офис минута в минуту, о том, чтобы *они* перерабатывали, не заходит и речи, — и совсем уж повечереет, он получает возможность встать из-за стола, побродить по конторе, расслабиться. Машинный зал внизу, где царят шкафы с памятью 7090-го компьютера, почти никогда не бывает пустым; свои программы он может прогонять на маленькой 1401-й машине, иногда он даже сражается с нею в ту или иную игру, украдкой.

В такие минуты работа представляется ему не просто сносной, но даже приятной. Он был бы не прочь провести в Бюро целую ночь — гонять, пока не одолеет дремота, составленные им программы, а после почистить в туалете зубы и расстелить под своим столом спальный мешок. Все было бы лучше, чем спешить на последний поезд и тащиться по Арчвей-роуд в свою одинокую комнату. Однако в Ай-би-эм к такому неположенному поведению отнеслись бы неодобрительно.

Он подружился с одной из девушек-перфораторш. Ее зовут Рода, она несколько толстонога, зато у нее очень симпатичная оливковая кожа. К работе своей Рода относится серьезно; иногда он стоит в дверях, наблюдая за ней, склонившейся над клавиатурой. Она чувствует его взгляд, но вроде бы ничего против не имеет.

Заговорить с Родой о чем-либо помимо работы он никогда не пытается. Следить за ее английским, полным трифтонгов и гортанных смычек, ему нелегко. Она коренная англичанка, но отличается от его коллег, выпускников классических средних школ; жизнь, которую она ведет вне работы, для него закрытая книга.

Приехав сюда, он готов был испытать на себе прославленную британскую холодность. Однако девушкам из Ай-би-эм таковая, как он обнаруживает, отнюдь не присуща. В них есть какая-то уютная чувственность, чувственность животных, согнанных в один пронизанный эротичностью загон, знакомых с телесными привычками друг дружки. И хоть чарам их далеко до чар шведок или итальянок, его влекут эти англичанки, их уравновешенность, чувство юмора. Ему хотелось бы узнать Роду поближе. Но как? Она из чужого племени. Препятствия, которые придется одолевать на пути к ней, не говоря уж о племенных правилах ухаживания, расхолаживают его и погружают в уныние.

Продуктивность работы на Ньюмен-стрит оценивается по тому, как здесь используется 7090-я. Эта машина — сердце Бюро, причина его существования. Часы, в которые 7090-я не работает, именуют временем простоя. Время простоя непродуктивно, а непродуктивность — грех. Конечная цель Бюро — добиться, чтобы 7090-я работала круглые сутки; наиболее ценные клиенты — это те, кто занимает 7090-ю на несколько часов подряд. Такие клиенты — вотчина старших программистов, ему с ними дел иметь не приходится.

Наступает, однако же, день, когда его выделяют в помощь одному из серьезных клиентов, у которого возникли затруднения с перфокартами

данных. Клиент, мистер Помфрет, — маленький, очкастый человечек в помятом костюме. Каждый четверг он приезжает в Лондон откуда-то с севера Англии, привозя множество коробок с перфокартами; у него арендовано на 7090-й постоянное время, шесть часов, начиная с полуночи. Из слухов, блуждающих по офису, он узнает, что перфокарты эти содержат данные аэродинамических испытаний нового британского бомбардировщика, TCP-2, создаваемого по заказу BBC.

Проблема мистера Помфрета — и проблема его коллег с севера — в том, что результаты последних двухнедельных испытаний отклоняются от нормы. В них отсутствует смысл. Либо данные испытаний неверны, либо что-то не так в конструкции самолета. Ему поручают еще раз считать перфокарты мистера Помфрета на вспомогательной 1401-й машине и проверить правильность их пробивки.

Работа затягивается за полночь. Он пропускает через считывающее устройство одну колоду перфокарт мистера Помфрета за другой. В конечном счете выясняется, что с пробивкой все в порядке. Результаты действительно аномальны, проблема реальна.

Проблема реальна. В некотором, самом малосущественном, самом незначительном отношении он помог разработать TCP-2, стал частью оборонной системы Британии, помог ей вынашивать планы бомбардировки Москвы. За этим ли приехал он в Англию — чтобы содействовать злому делу, делу, которое никаких благ, даже воображаемых, ему не сулит. Где тут романтика — не спать всю ночь, чтобы мистер Помфрет, инженер-самолетостроитель, с его мягким, довольно беспомощным лицом и полным перфокарт чемоданом, смог сесть в первый поезд и поспеть в свою лабораторию к пятничному утреннему совещанию?

Он упоминает в письме к матери о работе с данными аэродинамических испытаний TCP-2 — впрочем, о том, что такое TCP-2, мать ни малейшего представления не имеет.

Аэродинамические испытания завершаются. Визитам мистера Помфрета в Лондон приходит конец. Он выискивает в газетах новости насчет TCP-2, однако таковые отсутствуют. Похоже, проект TCP-2 отправился под сукно.

Теперь-то уж поздно, и все-таки он гадает, что могло бы произойти, если бы он, пока перфокарты TCP-2 были в его руках, тайком подделал содержащиеся на них данные? Удалось бы ему окончательно сорвать весь проект создания бомбардировщика или инженеры с севера обнаружили бы его вмешательство? С одной стороны, он был бы не прочь сделать хоть что-то, способное спасти Россию от бомб. С другой — имеет ли он, пользующийся гостеприимством Британии, моральное право совать ее военно-воздушным силам палки в колеса? Да и в любом случае, как смогли бы русские узнать, что некий сочувствующий им сотрудник лондонского отделения Ай-би-эм подарил России несколько дней передышки в холодной войне?

Он не понимает, что́ англичане имеют против русских. Британия и Россия начиная с 1854 года выступали во всех известных ему войнах на одной стороне. Вторжением русские Британии никогда не грозили. Почему же тогда англичане приняли сторону американцев, ведущих себя в Европе, да и по всему миру, как сущие громилы? Не потому же ведь, что англичанам и вправду нравятся американцы. Газетные карикатуры неизменно насмехаются над американскими туристами с их сигарами,

брюшками, цветастыми гавайскими рубашками и зажатыми в кулаках пачками долларов, которыми они лихо размахивают. По его мнению, англичанам следовало бы взять пример с французов и выйти из НАТО, предоставив американцам с их новыми друзьями, западными немцами, точить на Россию зубы.

Газеты полны сообщений о ДЯР, Движении за ядерное разоружение. Помещаемые в них фотографии, на которых худосочные мужчины и невзрачные, жидковолосые девушки размахивают плакатами и выкрикивают лозунги, никакой приязни к ДЯР ему не внушают. С другой стороны, Хрущев только что сделал ловкий тактический ход: построил на Кубе ракетные пусковые установки — в противовес взявшим Россию в кольцо американским ракетам. Теперь Кеннеди грозится забросать Россию бомбами, если русские не уберут свои ракеты с Кубы. Вот против этого и выступает ДЯР: против ядерного удара, в котором примут участие расположенные в Британии американские военные базы. Такую позицию он не одобрить не может.

Американские самолеты-шпионы сфотографировали русские грузовые суда, направляющиеся через Атлантику к Кубе. Суда, уверяют американцы, везут новые ракеты. На снимках эти ракеты — вернее, смутные их очертания под брезентом — обведены белыми кружками. По его мнению, очертания эти вполне могут принадлежать спасательным шлюпкам. То, что газеты не пытаются оспорить россказни американцев, его удивляет.

"Проснитесь! — требует ДЯР. — Мы стоим на пороге ядерного уничтожения". Может ли это быть правдой? — гадает он. Неужели всем предстоит погибнуть, в том числе и ему?

Он отправляется на большой митинг, проводимый ДЯР на Трафальгарской площади, стараясь, впрочем, держаться с краю толпы, дабы показать — он всего лишь наблюдатель. Это первый массовый митинг, на который ему довелось попасть: потрясание кулаками, скандирование лозунгов, да и вообще любое разжигание страстей вызывают у него неприязнь. По его мнению, только любовь и искусство достойны того, чтобы отдаваться им без остатка.

Митинг этот — кульминация пятидесятимильного марша сторонников ДЯР, начавшегося неделю назад в Олдермастоне, где расположен британский исследовательский центр атомного оружия. "Гардиан" несколько дней печатала фотографии мокнущих на дорогах участников марша. Теперь здесь, на Трафальгарской площади, царит настроение мрачное. Он слушает ораторов, и до него постепенно доходит: эти люди или по крайней мере некоторые из них действительно верят в то, что говорят. Верят, что на Лондон посыплются бомбы, что всех их ждет смерть.

Правы ли они? Если правы, предстоящее выглядит колоссальной несправедливостью: по отношению к русским, к жителям Лондона, но прежде всего к нему, которому из-за воинственности американцев суждено обратиться в пепел.

Он вспоминает юного Николая Ростова на поле под Аустерлицем, глядящего, точно загипнотизированный заяц, на французских гренадеров, что бегут к нему с их страшными штыками. "Как они могут желать убить меня, — мысленно протестует он, — меня, кого так любят все?"

Из огня да в полымя! Какая ирония! Бежать от африкандеров, стремившихся силком затащить его в свою армию, от черных, собиравшихся загнать его в море, и попасть на остров, который того и гляди обратится в золу! Что же это за мир, в котором он живет? Куда податься, где найти свободу от неистового безумия политиков? Одна только Швеция и выглядит стоящей в стороне от драки. Может быть, бросить все и уплыть первым же судном в Стокгольм? Должен ли человек, чтобы его пустили в Швецию, говорить по-шведски? Нужны ли шведам программисты? Да и есть ли у них компьютеры?

Митинг заканчивается. Он возвращается в свою комнату. Ему бы сейчас "Золотую чашу" читать или над своими стихами трудиться, но какой в этом смысл, какой смысл в чем бы то ни было?

Затем, несколько дней спустя, кризис вдруг разрешается. Угрозы Кеннеди вынуждают Хрущева сдаться. Грузовым судам приказывают повернуть назад. Ракеты, уже доставленные на Кубу, демонтируются. Русские многословно объясняют свои действия, однако они явно унижены. С честью из всей этой истории выходят одни кубинцы. Неустрашимые, они клянутся, что будут защищать свою революцию до последней капли крови. Кубинцев он одобряет, и Фиделя Кастро тоже. Фидель по крайней мере не трус.

Он заводит в галерее Тейт разговор с девушкой, принятой им за туристку. Некрасивая, в очках, крепконогая — она из людей той породы, которая ему неинтересна, но к которой, возможно, принадлежит и он сам. Ее зовут Астрид, говорит девушка. Она из Австрии, не из Вены — из Клагенфурта.

Оказывается, Астрид не туристка, она au pair. На следующий день он идет с ней в кино. Вкусы у них совершенно разные, это он понимает сразу. Тем не менее, когда Астрид приглашает его посетить дом, в котором работает, он не отвечает отказом. На минутку он заглядывает в ее комнату: мансарда, синие занавески, кровать с покрывалом под цвет и прислоненный к подушке плюшевый медведь.

Потом он пьет внизу чай с Астрид и ее хозяйкой, англичанкой с холодными глазами, которая, присмотревшись к нему, находит его гостем нежеланным. Это английский дом, говорят ее глаза, неотесанные выходцы из колоний нам здесь не нужны, и уж тем более буры.

Время для южноафриканцев в Англии сейчас далеко не лучшее. Южная Африка с великой помпой провозгласила себя республикой, после чего ее быстренько выставили из Британского Содружества Наций. Значение этого изгнания совершенно очевидно. Англичане достаточно натерпелись от буров и возглавляемой бурами Южной Африки, колонии, от которой неприятностей было больше, чем проку. Если Южная Африка тихо растает на горизонте, англичане будут только довольны. А жалкие белые южноафриканцы, теснящиеся у их дверей, будто отыскивающие родителей сироты, им определенно не нужны. Он не сомневается: эта учтивая дама сумеет дать Астрид понять, что он — персона нежелательная.

От одиночества, а возможно, и из жалости к неудачливой, нескладной иностранке с ее скудным английским он назначает Астрид еще одно свидание. А после, без особой на то причины, приглашает к себе. Ей нет еще восемнадцати, в ней еще сохранилась детская пухловатость, у

него никогда не было женщины настолько юной — ребенка, в сущности. Кожа Астрид, когда он раздевает ее, оказывается прохладной и влажной. Он совершил ошибку и уже понимает это. Желания он не испытывает, что же касается Астрид, он уверен, хоть женщины и потребности их обычно остаются для него загадкой, что и она никакого желания не ощущает. Однако они оба зашли уже слишком далеко, чтобы идти на попятный, и потому доходят до конца.

В следующие недели они проводят вместе несколько вечеров. Вот, правда, со временем всякий раз возникают сложности. Астрид может покидать свой дом лишь после того, как улягутся спать дети хозяйки; поэтому до отхода последнего поезда на Кенсингтон им удается проводить вместе от силы один торопливый час. Как-то раз она набирается храбрости и остается на всю ночь. Он делает вид, что ему это по душе, но на самом-то деле — нет. В одиночестве ему спится лучше. Когда кто-то лежит рядом, он проводит ночь в напряжении, в скованном напряжении, а поутру встает изнуренным.

Глава одиннадцатая

Много лет назад, когда он был еще ребенком в семье, изо всех сил старавшейся выглядеть благополучной, родители отправлялись субботними вечерами на танцы. Он наблюдал за их приготовлениями, а если не ложился спать допоздна, ему удавалось потом порасспросить мать. Но что на самом деле происходило в танцевальном зале вустерского отеля "Масонский", он так никогда и не видел: что, собственно, танцевали родители, притворялись ли они, танцуя, будто смотрят друг другу в глаза, танцевали ль только друг с другом или, как в американских фильмах, незнакомому человеку также дозволялось опустить ладонь на плечо женщины и увести ее от партнера, а тому приходилось подыскивать для себя кого-то еще или же грустно стоять, дымя сигаретой, в углу.

Почему людям, уже женатым, непременно требовалось принаряжаться, ехать в отель и танцевать там, когда они могли с не меньшим успехом проделать то же в гостиной, под радиомузыку, он понять затруднялся. Однако для матери субботние ночи в отеле "Масонский", видимо, были важны — так же важны, как возможность покататься на лошади или, раз уж нет лошади, на велосипеде. Танцы и верховая езда олицетворяли для нее жизнь, которую она вела до замужества, до того как, согласно ее варианту истории собственной жизни, обратилась в узницу ("Я не буду узницей в этом доме!").

Ничего ей эта непреклонность не дала. Кем бы ни был мужчина из отцовского офиса, подвозивший родителей субботними вечерами на танцы, он переехал куда-то и дома у них появляться перестал. Синее платье с блестками и серебряной булавкой, белые перчатки, забавная шляпка, бочком сидевшая на голове матери, скрылись в платяных шкафах и комодах, тем все и завершилось.

Что до него, он был рад, что с танцами покончено, хоть этого и не говорил. Ему не нравилось, что мама уходит из дому, не нравилось отсутствующее выражение, не сходившее с ее лица весь следующий день. Да и в самих танцах он никакого смысла не видел. Фильмов, в которых обе-

щались танцы, он избегал, отупение и сентиментальность, проступавшие на лицах танцующих, были ему противны.

"Танцы — хорошая разминка, — настаивала мама. — Они учат человека держать ритм, согласовывать движения". Ему эти доводы убедительными не казались. Если человеку необходима разминка, пусть себе занимается гимнастикой, машет гантелями или бегает вокруг квартала.

За годы, прошедшие с той поры, как он покинул Вустер, отношение его к танцам не изменилось. Уже студентом он обнаружил, что посещать вечеринки, не умея танцевать, значит ставить себя в дурацкое положение, — и записался в танцевальную школу на курс уроков, оплатив их из своего кармана: квикстеп, вальс, твист, ча-ча-ча. Все попусту — через несколько месяцев он их перезабыл, и перезабыл по собственной воле. Почему так вышло, он и сам толком не знал. Ни на единый миг, даже во время уроков, он по-настоящему танцу не отдавался. Ноги двигались как положено, однако внутренне он был неприятно напряженным. Таким все осталось и по сей день: в глубине души он не понимает, для чего нужны танцы.

Танец имеет смысл, только когда представляет собой интерпретацию чего-то еще, чего-то такого, в чем люди предпочитают не признаваться. Вот это "что-то еще" и есть настоящее, а танец — лишь камуфляж. Приглашая девушку на танец, ты приглашаешь ее к совокуплению; согласие девушки потанцевать символизирует ее готовность совокупиться; сам же танец есть лишь мимический образ и предвкушение соития. Соответствия эти настолько очевидны, что остается лишь удивляться — почему люди вообще дают себе труд танцевать? Зачем наряжаться, зачем совершать ритуальные движения, к чему весь этот громоздкий обман?

Старомодная танцевальная музыка с ее топорными ритмами, музыка отеля "Масонский", всегда нагоняла на него скуку. Что же касается крикливой американской музыки, под которую танцуют его сверстники, она внушает ему лишь брезгливую неприязнь.

В Южной Африке по радио передавали одни только американские песни. Газеты как одержимые следили за любыми скоморошествами американских кинозвезд, любая охватившая Америку дурь, вроде увлечения хула-хупом, рабски имитировалась. Почему? Почему нужно перенимать у Америки все? Или южноафриканцы, отверженные голландцами, а теперь и англичанами, надумали обратиться в поддельных американцев, даже при том что большинство из них настоящих американцев и в глаза-то ни разу не видели?

Он надеялся, что в Англии ему удастся избавиться от Америки — от американской музыки, американских причуд. Однако, к немалому его смятению, англичане не в меньшей мере стараются подражать американцам. Массовые издания печатают фотографии девушек, самозабвенно визжащих на концертах. Мужчины с волосами до плеч вопят и ноют с фальшивым американским акцентом, а после разбивают в куски свои гитары. Все это выше его понимания.

Зато в Британии есть Третья программа, и она многое искупает. Если он и ждет чего-то после окончания рабочего дня в Ай-би-эм, так это возвращения в свою тихую комнату, где можно будет включить радио и послушать музыку, которой он ни разу еще не слышал, или спокойные, интеллигентные разговоры. Вечер за вечером, исправно и бесплатно,

одно лишь прикосновение к приемнику открывает перед ним двери в новый мир.

Третью программу передают только на длинных волнах. Если бы Третью программу транслировали на коротких, он мог бы ловить ее и в Кейптауне. И тогда зачем бы ему понадобилось ехать в Лондон?

В цикле "Поэты и поэзия" рассказывают о русском, Иосифе Бродском. Обвиненный в тунеядстве, Иосиф Бродский был приговорен к пяти годам исправительных работ в лагере в Архангельской области, на ледяном севере. Срок наказания еще не истек. Пока он сидит в тепле своей лондонской комнаты, попивая кофе, жуя десерт (изюм с орешками), человек его возраста, поэт, как и он, целыми днями пилит бревна, старается хоть как-то подлечить обмороженные пальцы, обматывает тряпками рваные сапоги, питается рыбьими головами и капустным супом.

"Так чёрен, как внутри себя игла", — пишет в одном из своих стихотворений Бродский. Никак эта строка не идет у него из головы. Если он сосредоточится, сосредоточится по-настоящему, и станет делать это ночь за ночью, на него снизойдет благодать вдохновения, и он сможет создать что-то под стать этой строке. Ведь есть же в нем это, он знает, и воображение его окрашено так же, как у Бродского. Но как потом слова его смогут дойти до Архангельска?

Одни лишь услышанные по радио стихи, и больше ничто, наделяют его знанием Бродского, исчерпывающим знанием. Да, именно на это и способна поэзия. Поэзия есть истина. А вот Бродский о нем, живущем в Лондоне, не знает ничего. Как сообщить ему, замерзающему, что он с ним, рядом, день за днем?

Иосиф Бродский, Ингеборг Бахман, Збигнев Херберт: с одиноких плотов, брошенных в темное море Европы, они отпускают на воздух слова, и слова эти летят по эфирным волнам в его комнату, слова поэтов его времени, вновь говорящие ему о том, чем может стать поэзия, а значит, чем может стать и он, слова, наполняющие его радостью от того, что он живет на одной земле с этими людьми. "Сигнал принят в Лондоне — прошу вас, продолжайте передачу" — вот сообщение, которое он послал бы им, если бы мог.

В Южной Африке он слышал лишь одно-два сочинения Шёнберга и Берга — "Просветленную ночь", скрипичный концерт. Теперь он впервые слышит музыку Антона фон Веберна. Насчет Веберна его предостерегали. Веберн заходит слишком далеко, прочитал он где-то: то, что пишет Веберн, уже и не музыка, просто наугад взятые звуки. Сгорбившись у приемника, он слушает. Одна нота, другая, третья, — холодные, как кристаллики льда, они тянутся цепочкой небесных звезд. Минута-другая восторженного оцепенения, и все кончено.

Веберна застрелил в 1945-м американский солдат. Недоразумение, так это было названо, превратность войны. Мозг, который расставлял эти звуки, эти безмолвные паузы, погиб безвозвратно.

Он отправляется в галерею Тейт, на выставку абстрактных экспрессионистов. Четверть часа выстаивает перед картиной Джексона Поллока, ожидая, когда она захватит его, стараясь хранить задумчивый вид — на случай, если какой-нибудь проныра-лондонец вздумает приглядываться к провинциальному невежде. Не помогает. Картина ничего ему не говорит. В ней есть что-то, чего он не воспринимает.

В следующем зале высоко на стене висит огромное полотно — всегонавсего продолговатое черное на белом пятно. "Элегия в память Испанской республики, 24" Роберта Мозервелла, значится на табличке. Он замирает на месте. Угрожающее, загадочное, черное пятно вбирает его в себя целиком. Пятно испускает звук, подобный удару гонга, оставляя его потрясенным, со слабостью в коленях.

Откуда исходит сила этого бесформенного пятна, не имеющего никакого сходства ни с Испанией, ни с чем бы то ни было еще и все-таки возмущающего в нем кладезь темных чувств? Оно не прекрасно, и однако же говорит, подобно красоте, повелительно. Почему в Мозервелле эта сила есть, а в Поллоке, Ван Гоге, Рембрандте ее нет? Та же ли это сила, что заставляет сердце его ёкать при виде одной женщины, но не другой? Отвечает ли "Элегия в память Испанской республики" какому-то образу, живущему в его душе? И кто та женщина, что станет его судьбой? Таится ли уже тень этой женщины в его внутренней тьме? Как долго еще ему ждать, когда она явит себя? А когда явит, будет ли он готов?

Ответ ему неведом. Но если он встретится с ней как равный, с ней, Суженой, ласки их станут беспримерными — уж в этом-то он уверен — восторгами, пограничными со смертью; и когда он потом вернется к жизни, то вернется обновившимся, преображенным. Испепеляющая вспышка, как при соприкосновении противоположных полюсов, как при соитии близнецов, а следом — медленное возрождение. Главное — быть готовым. Готовность — это все.

В кинотеатре "Эвримен" показывают ретроспективу Сатьяджита Рея. Три вечера подряд он как зачарованный смотрит фильмы трилогии об Апу. В попавшей в западню, полной горечи матери Апу, в его обаятельном, бездумном отце он, терзаясь чувством вины, узнает собственных родителей. Но более всего захватывает его музыка, головокружительно сложные переклички ударных и струнных, протяжные арии флейты, чьи гаммы или лады — он не настолько силен в теории музыки, чтобы сказать, что именно, — берут его за душу, погружая в чувственную грусть, которая остается с ним еще долгое время после окончания фильма.

До сих пор он находил все, что ему требовалось, в западной музыке, прежде всего в Бахе. Теперь же столкнулся с чем-то таким, что присутствует у Баха разве что в виде намека: радостное подчинение рассудочного, постигающего сознания танцующим пальцам.

Он обшаривает музыкальные магазины и отыскивает в одном из них долгоиграющую пластинку ситариста по имени Устад Вилайат Хан; вместе с ситаристом играет — на ви́не — его брат, младший, судя по фотографии, и еще один, не названный по имени музыкант, на табле. Проигрывателя у него нет, но ему удается прослушать первые десять минут записи в магазине. Да, всё здесь: возвышенное исследование тональных последовательностей, трепетные эмоции, экстатические порывы. Он никак не может поверить своей удаче. Целый новый материк, и всего-то за девять шиллингов! Он приносит пластинку к себе и устраивает между двумя листами картона на полке — пусть стоит до времени, когда он сможет снова ее послушать.

В комнате под ним проживает чета индийцев с младенцем, чей приглушенный плач он временами слышит. С мужчиной ему случается ино-

гда встречаться на лестнице, обмениваться кивками. Женщина покидает комнату редко.

Как-то вечером раздается стук в дверь. За дверью стоит индиец. Не согласится ли он завтра вечером поужинать с ними?

Приглашение он принимает, хоть и не без опасений. Он не привык к острым пряностям. Сможет ли он есть не давясь, не обратившись в посмешище?

Впрочем, едва придя к индийцам, он успокаивается. Они из Южной Индии, вегетарианцы. Жгучие специи, объясняет хозяин, отнюдь не составляют непременную часть индийской кухни: их добавляют только для того, чтобы отбить привкус подтухшего мяса. А блюда Южной Индии отличаются мягкостью вкуса. И действительно, так оно и есть. То, что ему подают — кокосовый суп с кардамоном и гвоздикой, омлет, — оказывается донельзя мягким.

Глава семьи — инженер. Они с женой живут в Англии уже несколько лет. Им здесь хорошо, говорит индиец. Нынешнее жилье — лучшее из всех, что у них до сих пор были. Комната просторна, в доме тишина и порядок. Конечно, английский климат им не по душе. Но — индиец пожимает плечами — надо держаться.

Жена в разговоре почти не участвует. Приносит и уносит тарелки и, не присаживаясь за стол, ничего не пробуя, уходит в угол комнаты, к кроватке с малышом. Она не очень хорошо говорит по-английски, поясняет муж.

Этот его сосед, инженер, преклоняется перед западной наукой и техникой, жалуется на отсталость Индии. Вообще-то, хвалебные песни машинам обычно нагоняют на него скуку, однако с хозяином он не спорит. Это первые в Англии люди, пригласившие его в гости. Более того, они цветные, они знают, что родом он из Южной Африки, и тем не менее протянули ему руку. Он испытывает благодарность.

Вопрос в том, что ему с этой благодарностью делать. Немыслимо же — пригласить их к себе наверх, мужа, жену и, разумеется, плачущего младенца, чтобы угостить супом из пакета и если не сардельками, то макаронами под сырным соусом. А чем еще может он отблагодарить их за гостеприимство?

Проходит неделя, он ничего не предпринимает, затем проходит вторая. Его охватывает все более сильное чувство неловкости. Он начинает прислушиваться по утрам к звукам, доносящимся из-за двери, дожидается, пока инженер уйдет на работу, и только после этого выходит на лестницу.

Необходимо сделать некий жест, решиться на ответное действие, однако он не может — или не хочет — придумать какое, и в конце концов становится слишком поздно. Что с ним? Почему ему трудно решаться на поступки самые обыкновенные? Если ответ состоит в том, что это особенность его натуры, тогда зачем ему такая натура? Почему бы ее не сменить?

Да, но в натуре ли дело? Сомнительно. Ощущается это не как натура — как немощь, нравственная немощь: ничтожество, скудость духа, ничем, в сущности, не отличающаяся от его холодности с женщинами. Можно ли создать из подобной немощи искусство? И если да — что скажет это об искусстве?

На доске объявлений, висящей рядом с хампстедским газетным киоском, ему попадается на глаза следующее: "В Свисс-коттедж сдается квартира на четверых. Комнаты отдельные, кухня общая".

Совместная с кем-то жизнь его не влечет. Он предпочитает жить сам по себе. Однако, живя особняком, он так никогда и не сможет разорвать круг своего одиночества. Он звонит, договаривается о встрече.

Мужчина, показывающий ему квартиру, на несколько лет старше его. Он бородат, одет в синий с золотыми пуговицами китель вроде того, что носит Неру. Зовут его Миклош, он из Венгрии. Квартира чистая, в ней много воздуха, комната, в которой он поселится, больше его теперешней, да и современнее тоже. "Беру, — без колебаний говорит он Миклошу. — Задаток нужен?"

Выясняется, что все не так просто. "Оставьте имя и номер телефона, я внесу вас в список", — отвечает Миклош.

Он ждет три дня. На четвертый звонит. Миклоша нет, сообщает взявшая трубку девушка. Комната? О, комната уже сдана, несколько дней назад.

В голосе ее присутствует легкая чужеземная хрипотца; нечего и сомневаться — она красива, интеллигентна, тонка. Он не спрашивает у нее, не венгерка ли она? Но если бы он получил комнату, то жил бы теперь в одной с нею квартире. Кто она? Как ее имя? Не она ли и есть та любовь, которую предназначала ему судьба, а теперь судьба просто обошла его стороной? И кто тот счастливчик, что получил комнату и будущее, которые должны были достаться ему?

Еще когда он осматривал квартиру, у него создалось впечатление, что Миклош показывает ее с некоторым безразличием. Он может объяснить это только одним — Миклошу нужен был человек, который принес бы в дом не просто четверть стоимости квартиры, но также и веселость, стиль, романтику. А увидев его, Миклош немедля понял, что веселости, стиля и романтики в нем нет и следа, — и отверг.

Ему следовало проявить инициативу. "Я не таков, каким кажусь, — должен был сказать он. — Я, может быть, и похож на клерка, однако на самом деле я поэт или стану поэтом. А сверх того, квартирную плату я буду вносить пунктуально, чего от большинства поэтов ждать не приходится". Но он не сказал ничего — ни о себе, ни о своем призвании, — не отстаивал, пусть даже униженно, ни того, ни другого, а теперь уже поздно.

Как получилось, что венгр владеет квартирой в фешенебельном районе, одевается по последней моде, лениво просыпается поздними утрами — несомненно, в одной постели с красивой, чуть хрипловатой девушкой, — а ему приходится день за днем ишачить на Ай-би-эм и жить в унылой комнате на Арчвей-роуд? Как попали Миклошу в руки ключи, которыми отпираются двери, ведущие ко всем радостям Лондона? Где он и ему подобные берут деньги, необходимые для того, чтобы вести безбедную жизнь?

Никогда не любил он людей, не соблюдающих правил. Если пренебрегать правилами, жизнь лишается смысла: тогда можно, как Иван Карамазов, возвратить обратно билет и ретироваться. Тем не менее в Лондоне, похоже, полным-полно людей, которые плюют на правила, и это сходит им с рук. Возможно, только он один настолько глуп, что играет по правилам, он да другие, попадающиеся ему на глаза в поездах изме-

танные клерки в очках и темных костюмах. И что же в таком случае делать? Последовать примеру Ивана? Последовать примеру Миклоша? Сдается ему, что, какому примеру ни следуй, он все равно останется в проигрыше. Ибо нет у него дарований, потребных для лжи, обмана, уклонения от правил, как нет и пристрастия к удовольствиям и экстравагантным нарядам. Он обладает одним-единственным даром — даром страдания, скучного, честного страдания. Но если этот город никаких наград за страдание не выдает, что же он вообще тут делает?

Глава двенадцатая

Каждую неделю приходит письмо от матери, голубоватый конверт авиапочты с написанным аккуратными, печатными, заглавными буквами адресом. Эти свидетельства ее неизменной любви к нему выводят его из себя. Когда же мать наконец поймет, что, покинув Кейптаун, он оборвал все связи с прошлым? Как заставить ее примириться с попытками сына стать совершенно другим человеком? — он приступил к ним в пятнадцать лет и будет продолжать, безжалостно, пока не истребит все воспоминания о семье и о стране, оставленной им в прошлом. Когда она поймет: вырастая, он отдалился от нее настолько, что по праву может считаться чужим ей человеком?

Мать сообщает семейные новости, рассказывает о последних своих местах работы (она переходит из школы в школу, подменяя заболевших учителей). Заканчивается каждое письмо выражениями надежд на то, что он здоров, что не забывает тепло одеваться, что не свалился с гриппом, который, как она слышала, охватил всю Европу. Что касается дел южноафриканских, о них мать не пишет, поскольку он ясно дал понять: дела эти ему неинтересны.

Он упомянул о потерянных в поезде перчатках. И зря. Тут же появилась доставленная авиапочтой бандероль: пара овчинных рукавиц. Марки на бандероли стоили больше, чем сами рукавицы.

Письма она пишет воскресными вечерами и опускает в почтовый ящик до первой — в понедельник утром — выемки корреспонденции. Ему не составляет труда вообразить всю сцену, разыгрываемую в квартире — той, в которую она, отец и брат переехали, когда пришлось продать дом в Рондебоше. С ужином покончено. Она убирает все со стола, надевает очки, придвигает поближе настольную лампу. "Что ты там делаешь?" — спрашивает отец, который побаивается воскресных вечеров, когда "Аргус" прочитан от корки до корки, а больше заняться нечем. "Мне нужно написать Джону", — говорит мать и поджимает губы: не мешай. "Милый Джон", — выводит она.

Чего она надеется достичь этими письмами, настырная, бестолковая женщина? Неужели она не способна понять, что никакие свидетельства ее преданности, с каким бы упорством она их ни предъявляла, не заставят его смягчиться и вернуться назад? Не способна смириться с тем, что он не из числа обычных людей? Перенесла бы уж всю свою любовь на брата, а о нем забыла. Брат — существо более простое, безобидное. У брата мягкое сердце. Вот пусть брат и тянет лямку любви к ней, пусть услышит от матери, что это он ее первенец, любимый-разлюбимый. И тогда сам он, новозабытый, будет волен жить своей жизнью.

Мать пишет каждую неделю, однако он отвечает отнюдь не каждую. Это уже походило бы, и слишком, на переписку. Он отвечает лишь от случая к случаю, письма его коротки и говорят мало о чем — кроме того, что, раз он их пишет, значит, еще пребывает на этом свете.

Это-то и есть самое скверное. Силки, расставленные ею, — западня, выбраться из которой ему пока не удается. Если он оборвет все связи и совсем перестанет писать, мать придет к наихудшему из возможных выводу, а от одной только мысли о горе, которое пронзит ее в такую минуту, ему хочется закрыть глаза и заткнуть уши. Пока мать жива, он умереть не посмеет. И стало быть, пока она жива, его жизнь ему не принадлежит. Он не имеет права относиться к ней безразлично. И хоть он особой любви к себе не питает, приходится ради матери заботиться о себе — смиряясь даже с необходимостью тепло одеваться, правильно питаться, принимать витамин С. А уж о самоубийстве ему и думать нечего.

Все новости о Южной Африке он получает от Би-би-си и из "Манчестер гардиан". Сообщения "Гардиан" нагоняют на него страх. Фермер привязал одного из своих батраков к дереву и запорол до смерти. Полиция открыла беспорядочную стрельбу по толпе. Заключенный найден в камере мертвым, висящим на отодранной от одеяла узкой полоске, с разбитым в кровь лицом. Ужас на ужасе, жестокость на жестокости, без передышки.

Взгляды матери ему известны. Мать считает, что Южную Африку никто в мире не понимает. Черным живется здесь много лучше, чем в любой другой стране материка. К забастовкам и протестам их подстрекают коммунистические агитаторы. Что касается сельских батраков, которым платят за труд маисовой кашей, которым приходится одевать детей, чтобы защитить их от зимней стужи, в джутовые мешки, тут мать согласна — да, это позор. Но такое случается лишь в Трансваале. Это все трансваальские африкандеры с их упрямой ненавистью и ожесточенными душами, это им страна обязана своей дурной славой.

По его же мнению, которое он не обинуясь доводит до сведения матери, русским следовало бы не произносить в Организации Объединенных Наций речь за речью, а без проволочек вторгнуться в Южную Африку. Высадить в Претории воздушный десант, схватить Фервурда[1] с его дружками-приятелями, поставить к стенке и расстрелять.

О том, что следовало бы русским сделать дальше, после расстрела Фервурда, он не упоминает — да он об этом и не думал. Главное — свершить правосудие, все остальное — политика, а до политики ему нет дела. Сколько он себя помнит, африкандеры попирали людей на том, заявляли они, основании, что когда-то попирали их самих. Ну так пусть колесо повернется снова, пусть на силу ответит еще большая сила. Он рад, что убрался оттуда.

Южная Африка — точно ярмо на его шее. Ему хочется сбросить это ярмо, все равно как, лишь бы снова начать дышать.

Покупать именно "Манчестер гардиан" вовсе не обязательно. Существуют и другие газеты, поспокойнее: та же "Таймс" или "Дейли телеграф". Однако на "Манчестер гардиан" можно положиться в одном — она не упустит ничего из происходящего в Южной Африке, ничего, способ-

1. Хендрик Ферч Фервурд (1901–1966) — с 1958 г. премьер-министр ЮАР.

ного заставить его душу сжиматься от страха. Читая "Манчестер гардиан", он по крайней мере уверен, что узнает самое худшее.

С Астрид он не виделся уже несколько недель. И вот она звонит ему. Время ее пребывания в Англии истекло, пора возвращаться в Австрию. "Наверное, я тебя больше не увижу, — говорит она, — вот и позвонила, проститься".

Говорить она старается без надрыва, однако он слышит в ее голосе слезы. И виновато предлагает увидеться. Они пьют кофе, потом идут к нему, и Астрид проводит ночь ("наша последняя ночь" — так она это называет), приникая к нему, тихо плача. В ранний час следующего утра (воскресного) он слышит, как Астрид выбирается из постели и на цыпочках направляется к лестничной площадке — в ванную, чтобы там одеться. Когда она возвращается, он притворяется спящим. Он знает, ему довольно подать малейший знак, и Астрид останется. А если найдется что-то, чем он предпочтет заняться до того, как уделить ей внимание, — скажем, газету почитать, — Астрид будет тихо сидеть в уголку и ждать. Наверное, такому поведению девушек в Клагенфурте и учат: ничего не требовать, дожидаться, когда мужчина проявит к ней внимание, а после ему услужать.

Он и хотел бы быть подобрее к Астрид, такой юной, такой одинокой в огромном городе. Хотел бы осушить ее слезы, развеселить ее, доказать, что он вовсе не так черств, как кажется, что способен ответить на ее готовность своей — готовностью прижать ее, как ей того хочется, к себе и слушать ее рассказы об оставшихся дома братьях и матери. Но он обязан быть осторожным. Пригрей он Астрид, и та сдаст билет, останется в Лондоне, поселится с ним. Два потерпевших поражение человека, укрывающихся в объятиях друг друга, утешающих один другого: перспектива слишком унизительная. С таким же успехом он и Астрид могли бы пожениться и провести остаток жизни, ухаживая друг за другом, будто два инвалида. И потому никакого знака он не подает, но лежит не размыкая век, пока до него не доносится поскрипывание лестничных ступенек и щелчок замка на входной двери.

Декабрь, становится все холоднее. Выпадает и тает снег, потом слякоть замерзает: по тротуарам приходится продвигаться на манер альпиниста, отыскивая одну точку опоры, затем другую. Город накрывается одеялом тумана, настоянного на угольной пыли и сере. Отключается электричество, останавливаются поезда, старики замерзают в своих домах до смерти. Худшая зима столетия, твердят газеты.

Он тащится по Арчвей-роуд, оскальзываясь и проезжаясь по льду, закрыв лицо шарфом, стараясь не дышать. Одежда его пропахла серой, во рту отвратительный привкус, откашливается он какой-то черной слизью. А в Южной Африке лето. Будь он там, вероятно, бежал бы сейчас миля за милей по пляжу в Страндфонтейне — по белому песку, под синим небом.

Ночью в его комнате прорывает трубу, вода заливает пол. Просыпается он окруженным слоем льда.

Все выглядит так, пишут газеты, словно опять начался лондонский блиц[1]. Они рассказывают об организуемых военнослужащими-женщи-

1. Ночные налеты немецкой авиации в 1940–1941 гг.

нами кухнях, где кормят бездомных супом, о работающих ночи напролет ремонтных бригадах. Кризис, говорят газеты, выявил лучшие качества лондонцев, противостоящих напастям со спокойной силой и всегда имеющимся наготове саркастическим замечанием.

Что до него, он может одеваться, как лондонец, тащиться, как лондонец, на работу, но никакого саркастического замечания наготове у него не имеется. И пройди хоть вечность, своим его лондонцы не сочтут. Напротив, лондонцы мгновенно узнают в нем одного из иностранцев, надумавших по каким-то идиотским причинам поселиться там, где им не место.

Как долго придется прожить в Англии, прежде чем ему дозволят стать своим, настоящим англичанином? Довольно ли будет для этого британского паспорта или непривычно звучащая иностранная фамилия так и оставит его вечным чужаком? И что вообще это значит — "стать англичанином"? Англия — страна двух наций: ему придется выбирать между ними, выбирать между английским средним классом и английским рабочим классом. Да он вроде бы уже и выбрал. Он носит одежду среднего класса, читает газету среднего класса, подделывает речь среднего класса. Впрочем, одних только внешних признаков наподобие этих для получения входного билета не хватит, ни в коем случае. А как он выдается, входной билет в средний класс — полный, не просто временный пропуск, действительный лишь в определенные часы определенных дней года, — это, насколько он может судить, решено уже многие годы назад, многие поколения даже, и в соответствии с правилами, кои навек останутся для него непонятными.

Ну а рабочий класс — в развлечениях рабочих он не участвует, речь их понимает едва-едва и никогда ни малейших знаков приязни в них не замечал. У девушек, служащих в Ай-би-эм, имеются ухажеры из числа рабочих, и девушки эти, погруженные в помыслы о замужестве, детях и муниципальном жилье, на попытки завязать с ними отношения отзываются холодно. Он, может быть, и живет в Англии, но уж безусловно не по приглашению английского рабочего класса.

В Лондоне есть и другие южноафриканцы, тысячи, если верить официальным данным. Есть также канадцы, австралийцы, новозеландцы, даже американцы. Однако все они не иммигранты, они здесь не для того, чтобы осесть, обратиться в англичан. Они приехали поразвлечься, поучиться или подзаработать деньжат, а после проехаться по Европе. Пресытясь Старым Светом, они вернутся домой и заживут настоящей своей жизнью.

Хватает в Лондоне и европейцев, не только тех, кто осваивает английский язык, но и беженцев из Восточного блока, а еще раньше — из нацистской Германии. Вот только их положение отлично от его. Он не беженец или, вернее, его притязания на статус беженца в Министерстве внутренних дел никакого впечатления не произведут. Кто вас угнетал, осведомится Министерство? От чего вы бежали? От скуки, ответит он. От мещанства. От нравственной атрофии. От стыда. Ну и куда его такие заявления приведут?

А существует еще Паддингтон. В шесть вечера, проходя под призрачными натриевыми фонарями по Мейда-вейл или Килбурн-хай-роуд, он видит толпы бредущих к своим жилищам, укутавшихся от холода уроженцев Вест-Индии. Плечи их понуры, руки глубоко засунуты в карманы, кожа отливает пыльной серостью. Что влечет их с Ямайки и Трини-

дада в этот бездушный город, где сами мостовые сочатся холодом, где эти люди проводят дни за нудной работой, а вечерами теснятся у газовых плит в снимаемых ими комнатах с шелушащимися стенами и продавленной мебелью? Уж разумеется, они приплыли сюда не для того, чтобы снискать славу поэтов.

Сослуживцы его слишком воспитанны, чтобы высказывать свои взгляды на приезжих иностранцев. Тем не менее по некоторым оттенкам их молчания он понимает, что стране их не нужен, не нужен совершенно. Относительно выходцев из Вест-Индии они тоже помалкивают, но он же видит знамения. НИГГЕРЫ, УБИРАЙТЕСЬ ДОМОЙ! – гласят надписи, намалеванные краской на стенах. НЕ ДЛЯ ЦВЕТНЫХ – гласят извещения в окнах меблированных комнат. Месяц за месяцем правительство ужесточает иммиграционные законы. Вестиндцев томят в ливерпульском порту, пока те окончательно не падают духом, а после отправляют назад, туда, откуда приехали. Если он и не чувствует себя таким же откровенно нежеланным, как они, то лишь благодаря защитной окраске: костюму от "Братьев Мосс" да светлой коже.

Глава тринадцатая

"Предпринимая в течение длительного времени попытки осмыслить мое положение, я пришел к выводу...". "После тщательного самокритического анализа я пришел к заключению..."

В Ай-би-эм он прослужил больше года: зиму, весну, осень, лето, еще одну зиму; теперь начиналась весна новая. Даже в Бюро на Ньюменстрит, в коробчатом здании с намертво запечатанными окнами, он ощущает некие вкрадчивые изменения в воздухе. Все, дальше так продолжаться не может. Не может он больше приносить свою жизнь в жертву принципу, гласящему, что человеку полагается в муках зарабатывать хлеб свой, принципу, которого он, по всему судя, до сих пор строго придерживался, хотя где он этот принцип выкопал, ему решительно невдомек. Не может он вечно доказывать оставшейся в Кейптауне матери, что устроил свою жизнь на прочной основе и потому ей больше нечего о нем беспокоиться. Как правило, он в своей душе не копается, просто не хочет. Слишком доскональное самопознание приводит, так он считает, к угасанию творческого начала. Однако в данном случае он не вправе позволять себе и дальше безвольно блуждать в привычном мареве нерешительности. Он должен уйти из Ай-би-эм. Должен вырваться отсюда, каких бы унижений это ему ни стоило.

За последний год почерк у него становился помимо его воли все мельче, мельче и наконец обратился в подобие тайнописи. Сейчас, сидя за рабочим столом и составляя заявление об уходе, он прилагает сознательные усилия к тому, чтобы выводить буквы покрупнее и пожирнее, чтобы от них веяло уверенностью в себе.

"После длительных размышлений, – пишет он наконец, – я пришел к заключению, что мое будущее лежит вне Ай-би-эм. Поэтому, исходя из условий моего контракта, хочу заблаговременно известить вас о том, что через месяц оставлю работу".

Он подписывает заявление, помещает его в конверт, адресованный д-ру Б. Л. Макайверу, начальнику отдела программирования, аккуратно

опускает конверт в проволочную корзинку с биркой ВНУТРЕННЕЕ. В офисе никто в его сторону не смотрит. Он возвращается на свое место.

У него еще есть время передумать – до трех, до следующей выемки почты, – время вытащить письмо из корзинки и порвать. А вот когда оно дойдет до адресата, жребий будет брошен окончательно. К завтрашнему дню по зданию распространится новость: один из подчиненных Макайвера, программист с третьего этажа, южноафриканец, надумал уволиться. И никто больше не решится заговорить с ним прилюдно. Он окажется в полной пустоте. Так уж принято в Ай-би-эм. Никаких сантиментов. На него ляжет клеймо отщепенца, неудачника, парии.

В три часа появляется собирающая почту женщина. Он склоняется над бумагами, сердце у него ухает.

Еще через полчаса его вызывают в кабинет Макайвера. Макайвер пребывает в состоянии холодного бешенства.

– Что это значит? – спрашивает он, указывая на письмо, лежащее развернутым на столе.

– Я решил уйти.

– Почему?

Он догадывался, что Макайверу это сильно не понравится. Именно Макайвер беседовал с ним в самом начале, счел его пригодным и подписал заявление о приеме в Ай-би-эм, именно Макайвер принял на веру его слова о том, что он обыкновенный приезжий из колоний, надумавший сделать карьеру в компьютерной области. У Макайвера тоже есть начальство, и оно потребует, чтобы тот объяснил свою ошибку.

Макайвер мужчина рослый. Он хорошо одевается, выговор у него оксфордский. К программированию как науке, искусству или ремеслу он ни малейшего интереса не питает. Он всего лишь управляющий. И дело свое делает хорошо: раздает подчиненным задачи, организует их время, направляет работу, получая за все это приличные деньги.

– Почему? – снова, теперь уже нетерпеливо, осведомляется Макайвер.

– Я не нахожу работу в Ай-би-эм удовлетворительной на личностном уровне. Мне кажется, что она не позволяет реализовать мои возможности.

– Продолжайте.

– Я надеялся на что-то большее.

– На что, например?

– На дружбу.

– Наша обстановка представляется вам недружелюбной?

– О нет, нисколько, дело не в этом. Все были очень добры ко мне. Но дружелюбие – не то же, что дружба.

Он надеялся, что заявлению дозволено будет остаться последним его словом. Однако надежды его были наивными. Мог бы и сообразить, что бумагу эту воспримут как объявление войны.

– Что еще? Если у вас есть на уме что-то еще, сейчас самое время сказать об этом.

– Больше ничего.

– Больше ничего. Понятно. Вам не хватает дружбы. Вы не нашли друзей.

– Да, верно. Я никого не виню. Скорее всего, виноват я сам.

– И потому вы хотите уйти?

– Да.

Будучи произнесенными, слова эти звучат глупо, да, собственно, такими они и являются — глупыми. Его обвели вокруг пальца, вынудив сказать глупость. Впрочем, этого и следовало ожидать. Вот так они и заставят его расплатиться за то, что он отвергает их, отвергает работу, которую они ему дали, работу в Ай-би-эм, у рыночного лидера. Он, точно начинающий шахматист, загоняемый в угол и получающий мат в десять ходов — в восемь ходов, в семь. Знай, кто тут главный. Ладно, пусть их. Пусть делают свои ходы, пусть ему придется делать в ответ свои — дурацкие, легко предсказуемые, легко предвосхищаемые, — пусть, пока игра не наскучит им и они не оставят его в покое.

Макайвер завершает разговор резким взмахом руки. Он может вернуться на свое рабочее место. Засиживаться допоздна он теперь не обязан. Волен уходить в пять — что ж, хотя бы вечер себе отыграл.

На следующее утро он получает через секретаршу Макайвера — сам Макайвер проскакивает мимо него, не ответив на приветствие, — распоряжение немедленно явиться в главный, расположенный в Сити, офис Ай-би-эм, в отдел кадров.

Занимающийся им сотрудник отдела кадров четко и внятно пересказывает его жалобу — относительно дружбы, каковой компания дать ему не смогла. Перед сотрудником этим лежит на столе раскрытая папка; пока продолжается разговор, он помечает в ней галочками уже обговоренные пункты. Давно ли испытывает он неудовлетворенность работой? Обсуждал ли на какой-либо стадии эту свою неудовлетворенность с начальством? Если нет — почему? Проявляли ль коллеги с Ньюменстрит явное недружелюбие? Нет? Чем же в таком случае может он объяснить свое недовольство?

Чем чаще произносятся слова "дружба", "друг", "дружелюбие", тем нелепей они звучат. Если вам необходимы друзья, мог бы сказать ему этот человек, вступите в клуб, играйте в кегли, запускайте модели самолетов, собирайте марки. С какой стати вы ждете, что именно ваш работодатель, Ай-би-эм, "Интернэшнл бизнес мэшинс", производитель электронных калькуляторов и компьютеров, снабдит вас ими?

И, разумеется, человек этот прав. На что может он жаловаться, да еще и в стране, где каждый холоден с каждым? Разве не этим он и восхищался в англичанах: их эмоциональной сдержанностью? Разве не потому и пишет в свободное время диссертацию о Форде Мэдоксе Форде, наполовину немце, певце английской немногословности?

Запутавшийся, запинающийся, он объясняет свои претензии. Объяснения его представляются сотруднику отдела кадров не менее смутными, чем сами претензии. "Заблуждение" — вот слово, которого ждет этот человек. "Сотрудник впал в заблуждение" — очень хорошая формулировка. Однако он не желает идти им навстречу. Пусть сами ломают голову над тем, к какому разряду увольняющихся его отнести.

Особый интерес проявляет этот сотрудник к дальнейшим его планам. Быть может, разговоры об отсутствии дружбы — всего лишь оправдание для перехода из Ай-би-эм к кому-то из конкурентов компании в компьютерной области? Не получал ли он каких-либо предложений, не пытались ли его чем-либо прельстить?

Все это он отрицает, и совершенно искренне. Никакой другой работы он себе не подыскал, ни у конкурентов, ни у кого бы то ни было. Со-

беседований не проходил. Он покидает Ай-би-эм просто-напросто для того, чтобы покинуть Ай-би-эм. Ему необходима свобода, вот и все.

Чем больше слов он произносит, тем глупее выглядит — человеком, которому не место в мире бизнеса. Что ж, по крайней мере он не сказал: "Я ухожу из Ай-би-эм, чтобы стать поэтом". Хотя бы эта тайна остается при нем.

В самый разгар этих хлопот вдруг, ни с того ни с сего, звонит Каролина. Она отдыхает на южном берегу, в Богнор-Риджис, заняться ей нечем. Почему бы ему не приехать туда поездом и не провести с ней субботу?

Каролина встречает его на станции. В магазине на Мейн-стрит они берут напрокат велосипеды и скоро уже катят безлюдными сельскими тропами среди полей молодой пшеницы. Не по сезону жарко. Он обливается потом. Одет он явно не по времени года: серые фланелевые брюки, куртка. На Каролине короткая, томатного цвета блузка и сандалии. Светлые волосы ее поблескивают, длинные, крутящие педали ноги переливаются на свету — выглядит она как богиня.

Что она делает в Богнор-Риджис? — спрашивает он. Живет у тетки, отвечает Каролина, у давно утраченной английской тетушки. Подробности он выяснить не пытается.

Съехав с дороги, они перелезают через изгородь. У Каролины с собой бутерброды; они находят место в тени каштана, перекусывают. Затем до него доходит — Каролина не прочь лечь с ним. Однако ему не по себе — здесь, на открытом месте, на голову им может в любую минуту свалиться фермер, а то и констебль, желающий узнать, что это они себе позволяют.

— Я ушел из Ай-би-эм, — сообщает он.

— И отлично. Чем займешься теперь?

— Не знаю. Наверное, поболтаюсь немного без дела.

Ей хочется услышать побольше, узнать о его планах. Однако ему предложить больше нечего — нет у него ни планов, ни идей. Какой же он все-таки тупица! И почему такая девушка, как Каролина, продолжает держаться за него — девушка, освоившаяся в Англии, преуспевшая в жизни, во всех смыслах оставившая его позади? Только одно объяснение и приходит в голову — она по-прежнему видит в нем того, кем он был в Кейптауне, когда обладал еще правом изображать поэта, еще не стал тем, кто он теперь, в кого обратила его Ай-би-эм: евнухом, трутнем, человеком, которого волнует только одно — как бы поспеть на поезд, отходящий в 8.17, как бы не опоздать в офис.

Повсюду в Англии те, кто покидает работу, удостаиваются проводов, получая если и не золотые часы, то по крайней мере междусобойчик во время обеденного перерыва — с речами, аплодисментами и добрыми напутствиями, искренними или неискренними, не важно. Он прожил здесь достаточно долго, чтобы знать об этом. Повсюду, но не в Ай-би-эм. Ай-би-эм — это вам не Англия. Ай-би-эм — это новая волна, новый образ жизни. Потому-то Ай-би-эм и рассчитывает обойти своих английских конкурентов. Конкуренты все еще держатся за устаревший, неделовой, неэффективный английский способ ведения дел. Ай-би-эм же, напротив, бережлива, жестка и безжалостна. Так что никаких проводов он в последний свой рабочий день не удостаивается. Освобождает, при все-

общем молчании, рабочий стол, прощается с коллегами-программистами. "Чем думаете заняться?" — опасливо спрашивает один из них. Насчет дружбы все они наверняка уже слышали и потому насторожены, нервны. "О, посмотрю, что-нибудь да подвернется", — отвечает он.

Интересное ощущение: просыпаешься утром, а идти тебе, собственно, и некуда. День солнечный, он едет поездом до Лестер-сквер, обходит книжные магазины Чаринг-кросс-роуд. На подбородке и щеках его отросшая за сутки щетина: он решил отпустить бороду. Возможно, с бородой он не будет выглядеть чужим в толпе щеголеватых молодых людей и красивых девушек, спускающихся после занятий в языковых школах в подземку. А дальше — предоставим все удаче.

Отныне он решил полагаться на удачу. В романах не счесть случайных знакомств, ведущих к любви — любви или трагедии. К любви он готов, к трагедии тоже — он, собственно, готов ко всему, лишь бы оно захватило его без остатка и преобразило. В конце-то концов, ради этого он и приехал в Лондон: чтобы избавиться от своего прежнего "я" и открыть в себе новое, настоящее, страстное; теперь же ничто открытиям не препятствует.

Проходят дни, он продолжает вести привольную жизнь. Строго говоря, он перешел на нелегальное положение. К паспорту его приколото разрешение на работу, оно-то и позволяет ему жить в Великобритании. Теперь, когда работы у него нет, разрешение это утратило силу. Но он старается не высовываться — а ну как власти, полиция, кто там еще вправе призвать его к ответу? — ничего не заметят.

На горизонте маячат денежные затруднения. Сбережения рано или поздно закончатся. Продать ему нечего. Он благоразумно воздерживается от приобретения книг; передвигается, когда позволяет погода, пешком, вместо того чтобы ездить на поездах; питается хлебом, сыром и яблоками.

Удача никаких особых даров пока ему не предлагает. Удача непредсказуема, ей нужно дать время. Остается лишь пребывать в готовности и дожидаться дня, в который она ему улыбнется.

Глава четырнадцатая

Теперь, получив возможность распоряжаться своим временем, он быстро добирается до конца обширного свода сочинений Форда. Пора выносить суждение. Что он может сказать? В науке дозволено сообщать об отрицательных результатах, о невозможности подтвердить гипотезу. А в искусстве? Если ничего нового он сказать о Форде не может, будет ли правильным и честным признать свою ошибку, уйти из аспирантуры, возвратить стипендию — или ему позволят представить взамен диссертации рассказ о том, насколько обескураживающим оказался предмет его исследований, насколько он разочаровался в своем герое?

С кейсом в руке он выходит из Британского музея и присоединяется к толпе, текущей по Грейт-Рассел-стрит, к тысячам людей, каждому из которых наплевать на то, что́ он думает о Форде Мэдоксе Форде, да и вообще о чем бы то ни было. Только-только приехав в Лондон, он смело вглядывался в лица встречных, пытаясь проникнуть в неповторимую суть каждого. "Смотрите, я смотрю на вас!" — словно бы говорил он. Од-

нако смелость эта ничего не дала ему в городе, где, как он вскоре обнаружил, ни мужчины, ни женщины не отвечают тебе взглядом на взгляд, но, напротив, холодно от него уклоняются.

Каждый такой отказ воспринимался им как легкий тычок ножом. Люди снова и снова оглядывали его, находили неинтересным и отворачивались. И скоро он начал трусить, съеживаться даже и до того, как его отвергали. На женщин, как выяснилось, еще можно было посматривать украдкой, воровато. Так, представлялось ему, лондонцы и приглядываются друг к дружке. Но в вороватых взглядах присутствовало — ему никак не удавалось отделаться от этого ощущения — что-то нечестное, нечистое. Лучше уж и вовсе не глядеть. Лучше хранить безразличие к ближним, равнодушие к ним.

Время, проведенное здесь, основательно изменило его — и он не уверен, что к лучшему. Минувшей зимой ему иногда начинало казаться, что он вот-вот умрет — от холода, от горечи, от одиночества. Но, так или иначе, он прорвался. Когда опять наступит зима, холод и горечь так просто его уже не возьмут. К этому времени он станет еще больше похожим на настоящего лондонца — твердого, точно камень. Обращение в камень вовсе не было его целью, но, видимо, с этим придется свыкнуться.

В общем и целом, Лондон оказался превосходным укротителем. Упования его уже стали более скромными, куда более скромными, чем прежде. Поначалу лондонцы разочаровывали его скудостью своих амбиций. Ныне он того и гляди станет — в этом отношении — одним из них. Город что ни день укрощает его, карает; обучает, как собаку, — побоями.

Не понимая, что ему хочется сказать о Форде, если вообще что-нибудь хочется, он все дольше и дольше залеживается по утрам в кровати. И когда наконец садится за письменный стол, обнаруживает, что сосредоточиться не способен. Тут еще лето, которому он в немалой мере обязан одолевающим его замешательством. Лондон, известный ему, это город зимы, по которому тащишься каждый день, видя впереди лишь наступление ночи, постель, забвение. А эти благовонные дни, словно созданные для покоя и наслаждений, продолжают испытывать его, и он уже не способен с уверенностью сказать, какая, собственно говоря, часть его натуры подвергается испытаниям. Порой ему кажется, что испытывают его просто так — испытаний ради, — желая проверить, выдержит ли он их.

Об уходе из Ай-би-эм он не жалеет нисколько. Вот, правда, поговорить ему больше не с кем — Билла Бригса и того не осталось. Проходят день за днем, а он ни разу не раскрывает рта. Он начинает помечать их в своем дневнике буквой М: дни молчания.

Выходя из станции подземки, он ненароком наталкивается на продающего газеты старикашку. "Виноват!" — произносит он. "Смотри, куда прешь!" — рычит старик. "Виноват!" — повторяет он.

Виноват: слово это, срываясь с его губ, кажется ему тяжелым, как камень. Можно ли считать высказыванием одно неопределенного характера слово? Было ли то, что произошло между ним и стариком, мгновением человеческого общения или это правильнее описать как элементарное социальное взаимодействие — подобие соприкасания сяжками, происходящее при встрече двух муравьев? Для старика слу-

чившееся, разумеется, не значит ничего. Старик целый день стоит с пачкой газет на одном месте, сердито бормоча что-то себе под нос, дожидаясь возможности обругать кого-нибудь из прохожих. У него же воспоминание об этом единственном слове сохранится на несколько недель, если не до конца жизни. Налетаешь на человека, произносишь: "Виноват!", выслушиваешь ругань — жульничество, дешевый способ завести разговор. Попытка обмануть одиночество.

Он проходит юдолью испытаний, и пока получается это у него не очень ладно. Но ведь не может же быть, чтобы испытывали только его одного. Должны же существовать люди, миновавшие эту юдоль и выбравшиеся с другой ее стороны, как должны существовать и те, кто уклонился от испытаний. Уклониться-то мог бы и он, если бы захотел. Мог бы, к примеру, удрать в Кейптаун и не вернуться назад. Но хочет ли он этого? Определенно — нет, во всяком случае пока.

Да, но что будет, если он останется здесь и провалит испытания, провалит с треском? Что, если он, одиноко сидя в своей комнате, заплачет и уже не сможет остановиться? Что, если однажды утром обнаружит: ему не хватает храбрости подняться, куда легче провести весь день в постели — этот день, и следующий, и следующий за ним, на простыне, которая становится все грязней и грязней? Что происходит с такими людьми, с теми, кто не выдерживает испытаний, ломается?

Ответ ему известен. Их отвозят куда-то — туда, где о них позаботятся, в какое-нибудь заведение, в лечебницу, в приют. А его просто-напросто выдворят обратно в Южную Африку. У англичан довольно и собственных не прошедших испытаний сограждан. Чего ради станут они возиться еще и с иностранцами?

Он останавливается у одной из дверей Грик-стрит. "Джекки — Модель", сообщает карточка над кнопкой звонка. Ему необходимо человеческое общение, а что может быть более человеческим, чем общение половое? Художники испокон веков таскались по проституткам и хуже не становились, он знает это из прочитанного. В сущности, художники и проститутки находятся по одну сторону баррикад. Однако "Джекки — Модель": всегда ли слово "модель" прилагается в этой стране к проститутке или в торговле своим телом существуют градации — градации, о которых ему никто не сказал? Быть может, слово "модель" означает на Грик-стрит нечто особенное, рассчитанное на особые вкусы: к примеру, голую женщину, принимающую в свете ярких ламп всякие позы, между тем как мужчины в плащах стоят в темноте, пожирая ее воровatыми, вожделеющими взглядами? Если он нажмет кнопку звонка, удастся ли ему навести для начала справки, выяснить, что к чему, еще до того, как он увязнет в дальнейшем по уши? Что, если Джекки окажется старой, жирной, уродливой? И, собственно, каковы правила этикета? Как полагается посещать женщин, подобных Джекки, — сваливаться точно снег на голову или следует позвонить предварительно по телефону, договориться о встрече? А сколько придется заплатить? Существует ли прейскурант, известный в Лондоне любому мужчине — кроме него? И что, если его сочтут деревенщиной, чучелом и запросят непомерные деньги?

Помявшись немного, он уходит.

На улице идущий навстречу мужчина в темном костюме вроде бы узнает его, вроде бы проявляет желание остановиться, заговорить. Да,

это один из старших программистов Ай-би-эм, человек, с которым он дела особо и не имел, но всегда испытывал к нему расположение. Он кивает, неуверенно и смущенно, и спешит пройти мимо.

"Ну, так что вы теперь поделываете — живете в свое удовольствие?" — мог бы спросить его, радушно улыбаясь, этот мужчина. И что бы он ответил? Что не вечно же работать, что жизнь коротка, что следует наслаждаться ею, пока еще можно? Какое посмешище, какой скандал! Тяжкая, жалкая жизнь, которую вели его предки, потея в темных одеждах посреди зноя и пыли Кару, разрешилась вот этим: молодым человеком, лениво прогуливающимся по чужому городу, проедающим свои сбережения, охотящимся за шлюхами, притворяющимся художником! Как может он предавать своих предков с такой бездумностью и при этом надеяться, что мстительные призраки их не настигнут его? Бездумность, жажда удовольствий — вот чего не было в натуре тех мужчин и женщин, как нет и в его. Он их дитя, от рождения своего обреченное на страдания. Да и откуда еще, как не из страдания, может возникнуть поэзия? Ибо поэзия подобна крови, выдавленной из камня.

Южная Африка сидит в нем, как рана. Сколько еще времени пройдет, прежде чем рана перестанет кровоточить? Как долго придется стискивать зубы и терпеть, прежде чем он сможет сказать: "Когда-то, давным-давно, я жил в Южной Африке, а теперь живу в Англии".

Порою на краткий миг ему удается увидеть себя со стороны: что-то бормочущего, неспокойного мальчика-мужчину, такого тусклого и заурядного, что никто на него во второй раз и взглянуть-то не захочет. Эти проблески ясности расстраивают его — он не пытается задержать их, продлить, напротив, пытается задвинуть в темноту, забыть. Ну а все-таки, видимое им в эти мгновения — лишь внешняя его оболочка или он и вправду таков? Что, если Оскар Уайльд прав и судить надлежит только по внешности? Можно ли быть тусклым и заурядным не только внешне, но и в сокровеннейшей своей глубине и при этом оставаться художником? Может ли тот же Т. С. Элиот оказаться человеком в глуби своей тусклым, могут ли слова Элиота о том, что личность художника с творениями его нимало не связана, быть всего лишь уловкой, попыткой скрыть собственную тусклость?

Все может быть, хоть он в это и не верит. Когда доходит до выбора между верой в Уайльда и верой в Элиота, он неизменно отдает предпочтение Элиоту. Пусть Элиот желает выглядеть тусклым, носить строгий костюм, работать в банке и называть себя Дж. Альфредом Пруфроком — это наверняка маскировка, лукавство, без которого художнику в современном мире не обойтись.

Временами, устав от блужданий по улицам, он забредает в Хампстед-Хит. Воздух там мягок и тёпл, дорожки заполнены молодыми мамашами, толкающими перед собою коляски или беседующими, пока дети их резвятся и скачут вокруг. Какой покой, какое довольство! Когда-то его раздражали стихи о распускающихся цветах и струеньи зефира. Ныне, попав туда, где стихи эти были сочинены, он начинает понимать, какую великую радость способно доставлять возвращение солнца.

Как-то в воскресенье, после полудня, он, уставший, сворачивает из куртки подушку, укладывает ее на дерн и погружается в сон, не то в полусон, при котором способность воспринимать окружающее не покида-

ет его, но медлит, словно замешкавшись, на самом краю сознания. Состояние, которого он прежде не знал: кажется, самой кровью своей ощущает он медленное вращение Земли. Далекие крики детей, пение птиц, жужжание насекомых сливаются в победную песнь радости. Сердце его переполняется. "Наконец-то!" — думает он. Наконец-то наступил — миг исступленного единения со всем Сущим! Боясь, что миг этот минет, он пытается придержать трескотню мыслей, стать просто проводником великой вселенской силы, у которой нет названия.

Это событие, сигнал, длится, если считать по часам, не дольше нескольких секунд. Но когда он встает и отряхивает куртку, то чувствует себя освеженным, обновившимся. Он прибыл в великий, темный город, чтобы пройти испытание и преобразиться, и вот здесь, на этом клочке травы, под мягким весенним солнцем, ему, к удивлению его, дано было услышать слово о том, что да, он и вправду движется вперед. Если он и не преобразился полностью, то хотя бы благословен был намеком на то, что принадлежит к этой планете.

Глава пятнадцатая

Надо придумать, как экономить деньги. Больше всего их уходит на жилье. Он помещает в местной хампстедской газете объявление: "Присмотр за домом, ответственный, работающий мужчина, на долгий или краткий срок". Двум позвонившим ему людям он называет в качестве места своей работы Ай-би-эм, надеясь, что проверять его они не станут. Старается создавать впечатление строгой корректности. Удается ему это настолько хорошо, что вскоре его подряжают на весь июнь — присматривать за квартирой в Свисс-коттедж.

Увы, квартира не поступает в полное его распоряжение. Квартира принадлежит разведенной женщине, матери маленькой девочки. Женщина уезжает в Грецию, на время ее отсутствия ему предстоит опекать девочку и ее няню. Обязанности просты: принимать почту, оплачивать счета и вообще быть под рукой на случай непредвиденных обстоятельств. Он получает комнату и право пользоваться кухней.

Существует также и бывший муж. Бывший муж будет появляться по воскресеньям и вывозить дочь на прогулки. По словам его нанимательницы, или клиентки, муж "несколько вспыльчив", однако не следует позволять ему "выносить что бы то ни было из дома". А что может захотеть унести муж? — интересуется он. Он может, к примеру, задержать у себя девочку на ночь, отвечают ему. Пошарить по квартире. Забрать какие-то вещи. В любом случае, чего бы муж ни наплел — многозначительный взгляд, — выносить ничего не давать.

Теперь до него доходит, зачем он понадобился. Няня, она родом из Малави, что не так уж и далеко от Южной Африки, более чем способна прибираться в квартире, ходить по магазинам, кормить девочку, отводить ее в детский сад и забирать оттуда. Может быть, даже оплачивать счета. На что она не способна, так это противиться мужчине, который был до недавнего времени ее нанимателем и которого она до сих пор именует "хозяином". По сути дела, он получил работу охранника, оберегающего квартиру и все, что в ней есть, от человека, совсем недавно здесь жившего.

Первого июня он ловит такси и перебирается вместе со своим сундуком и чемоданом с убогой Арчвей-роуд в сдержанно элегантный Хампстед.

Квартира велика и просторна, в окна ее вливается солнечный свет, полы устланы мягкими белыми коврами, в книжных шкафах стоят многообещающего вида тома. Она нисколько не похожа на все виденное им до сих пор в Лондоне. Он с трудом верит своей удаче.

Пока он распаковывается, девочка, новая его подопечная, стоит у порога комнаты, наблюдая за каждым его движением. Присматривать за ребенком ему никогда еще не приходилось. Связывают ли его с детьми, поскольку и сам он человек в определенном смысле юный, какие-либо естественные узы? Медленно, мягко, стараясь улыбаться сколь возможно успокоительнее, он закрывает перед девочкой дверь. Через миг девочка толчком распахивает дверь и продолжает его изучать. "Это мой дом, — словно говорит она. — Что ты делаешь в моем доме?"

Имя девочки — Фиона. Ей пять лет. В тот же день, чуть позже, он предпринимает попытку подружиться с ней. Девочка играет в гостиной, он опускается на колени, гладит кота, огромного, медлительного, кастрированного. Кот терпеливо сносит поглаживания, как, судя по всему, сносит любые знаки внимания.

— Киска не хочет молока? — спрашивает он. — Может быть, дадим киске немного молока?

Девочка даже бровью не ведет, как будто и не слышит его.

Он идет к холодильнику, наливает в кошачью миску молока, приносит ее в гостиную, ставит перед котом. Кот обнюхивает холодное молоко, однако пить отказывается.

Девочка обвязывает своих кукол бечевкой, укладывает в мешок для отправляемого в стирку белья, потом вытаскивает снова. Если это игра, смысл ее для него темен.

— А как зовут куколок? — спрашивает он.

Девочка молчит.

— Вот эта негритянка, как ее имя?

— Он не негритянка, — отвечает девочка.

Он сдается.

— Ладно, меня ждет работа, — сообщает он и уходит.

Няню, как ему было сказано, зовут Теодорой. Сама Теодора ему так и не представилась: еще бы, он же не "хозяин". Няня занимает комнату в конце коридора, рядом с детской. Ясно, что две эти комнаты и прачечная — ее владения. Гостиная же — территория нейтральная.

Теодоре, по его прикидкам, лет за сорок. У Меррингтонов она служит со времени их последнего наезда в Малави. Вспыльчивый экс-супруг по профессии антрополог; Меррингтоны приезжали на родину Теодоры с научными целями: записывали племенную музыку и собирали орудия труда. Теодора, по словам миссис Меррингтон, быстро обратилась "не только в прислугу, но и в друга". Они привезли ее в Лондон потому, что Теодора очень сдружилась с девочкой. Каждый месяц она отсылает домой свое жалованье, которого хватает на то, чтобы собственные ее дети были сыты, одеты и посещали школу.

И вот, ни с того ни с сего, посторонний человек, которому и лет-то вдвое меньше, чем этому домашнему сокровищу, оказывается в ее владе-

ниях главным. Всем своим поведением, всем молчанием своим Теодора дает понять, что недовольна его присутствием.

Он ее не винит. Вопрос в том, вызвано ли ее негодование одной лишь уязвленной гордостью? Ей ведь наверняка известно, что он не англичанин. Возможно, он внушает ей негодование и сам по себе — как южноафриканец, белый, африкандер. Что представляют собой африкандеры, ей тоже наверняка известно. Африкандеров — толстопузых, красноносых мужчин в шортах и шляпах и полных женщин в бесформенных платьях — в Африке хоть пруд пруди: в Родезии, в Анголе, в Кении и, разумеется, в Малави. Может ли он сделать хоть что-то, из чего она поймет: он не из них, он покончил с Южной Африкой, решил навсегда оставить ее в прошлом? "Африка принадлежит вам, делайте с ней что хотите", — если он возьмет да и скажет ей это за кухонным столом, переменит ли она свое к нему отношение?

"Африка ваша". То, что казалось совершенно естественным, пока он еще считал этот континент своим домом, отсюда, из Европы, выглядит все более и более абсурдным: горстка голландцев, высадившихся на вудстокском берегу, объявляет себя хозяевами чужой земли, которую они и в глаза-то прежде не видели; а их потомки считают теперь эту землю своей по праву рождения. Двойной абсурд, если учесть, что первый десантный отряд неправильно понял полученный им приказ или сделал вид, будто неправильно его понимает. Приказ состоял в том, чтобы разбить огород и выращивать шпинат да лук на потребу флоту Ост-Индской компании. Два акра, три, самое большее пять — вот и все, что им требовалось. Никто и не предполагал, что они присвоят лучшую часть Африки. Если б они выполняли приказы, его бы здесь не было и Теодоры тоже. Теодора толкла бы себе просо под малавийским небом и была премного довольна, а он — что делал бы он? Сидел бы за конторским столом в дождливом Роттердаме и записывал цифры в учетную книгу.

Теодора женщина тучная, тучная в каждой телесной частности — от округлых щек до опухших лодыжек. На ходу она переваливается с боку на бок, посапывая от натуги. По дому Теодора передвигается в шлепанцах, а утром, собираясь вести девочку в детский сад, втискивает ступни в теннисные туфли, облачается в длинный черный плащ и вязаную шапочку. Работает Теодора шесть дней в неделю. По воскресеньям она отправляется в церковь, но весь остаток своего выходного проводит дома. Телефоном она никогда не пользуется, похоже, никакого круга общения у нее нет. Чем занимается Теодора, оставаясь наедине с собой, ему совершенно невдомек. Заходить в ее комнату или в детскую он не решается, даже когда няня с девочкой покидают квартиру: в ответ, надеется он, и эти двое не станут совать нос к нему.

Среди книг Меррингтонов отыскивается альбом порнографических картинок императорского Китая. Мужчины в причудливой формы шляпах разводят полы халатов и нацеливают жутко вздувшиеся пенисы в гениталии крохотных женщин, послушно раздвигающих и приподнимающих ноги. Женщины бледны и мягки, точно личинки пчел, маленькие ножки их кажутся просто-напросто приклеенными к животам. Интересно, гадает он, китаянки и поныне, снимая одежды, выглядят так или перевоспитание и полевые работы наделили их настоящими телами и ногами? Представится ли ему когда-нибудь случай выяснить это?

Поскольку бесплатное жилье он получил, выдав себя за основательного, работающего человека, приходится притворяться, будто он ходит на работу. Поднимается он рано, раньше, чем привык, — чтобы успеть позавтракать до того, как закопошатся Теодора с девочкой. После чего укрывается в своей комнате. Ко времени, когда Теодора, отведя девочку в детский сад, возвращается, он покидает квартиру, якобы уходит на работу. Поначалу он даже надевал черный костюм, но вскоре отказался от этой детали маскарада. Возвращается он в пять, иногда в четыре.

По счастью, стоит лето, поэтому он не ограничен Британским музеем, кинотеатрами и книжными магазинами, но может и гулять по общественным паркам. Примерно так, надо думать, и жил его отец, когда на долгие сроки лишался работы: бродил, приодевшись словно бы для офиса, по городу или сидел в барах, следя за стрелками часов, ожидая, когда придет приличное для возвращения домой время. Предстоит ли ему в конце концов обратиться в сына своего отца? Глубоко ли сидит она в нем, эта безответственность? Станет ли и он выпивохой?

Отец предпочитал всем напиткам бренди. Бренди он как-то попробовал, но запомнил лишь оставшийся во рту неприятный, металлический привкус. В Англии пьют пиво, однако ему не нравится и пиво, слишком уж оно кислое. Если он не любит спиртного, означает ли это, что он в безопасности, что получил подобие прививки от пьянства? И существуют ли другие, неведомые ему пока способы, посредством которых отец еще проявит себя в его жизни?

Бывший муж долго себя ждать не заставляет. Воскресным утром, еще подремывая в большой, удобной кровати, он слышит вдруг треньканье дверного звонка, скрежет ключа. Кляня себя, он выскакивает из кровати. "Алло, Фиона, Теодора!" — зовет голос. За этим следует шарканье, топоток бегущих ног. А следом дверь его распахивается, без стука, и на пороге возникают, разглядывая его, двое — мужчина и девочка у него на руках. Он едва успевает влезть в брюки. "Приветик! — произносит мужчина. — Это что же у нас тут такое?"

Такова одна из фраз, к которым прибегают англичане — английский полицейский, к примеру, застукавший кого-то за неподобающим делом. Фиона, которая могла бы объяснить, что у нас тут такое, предпочитает помалкивать. Сидя на отцовских руках, она взирает на него с нескрываемой неприязнью. Папина дочка: те же холодные глаза, тот же лоб.

— Я приглядываю за квартирой в отсутствие миссис Меррингтон, — поясняет он.

— А, да, — произносит мужчина, — южноафриканец. Совсем забыл. Позвольте представиться. Ричард Меррингтон. Был некогда владельцем этого особняка. Ну, как вам тут? Устроились хорошо?

— Да, прекрасно.

— И отлично.

Теодора приносит пальтишко и ботинки девочки. Мужчина спускает дочку с рук.

— И не забудь пописать, — говорит он ей, — пока мы еще не в машине.

Теодора с девочкой удаляются. Они остаются наедине — он и этот статный, хорошо одетый мужчина, в постели которого он спал.

— Долго собираетесь здесь пробыть? — спрашивает мужчина.

— Всего лишь до конца месяца.

— Да нет, я не о том, — долго ли пробудете в нашей стране?

— О, неограниченный срок. Южную Африку я покинул.

— Дела там худые, верно?

— Да.

— Даже для белых?

Как можно ответить на такой вопрос: да, для тех, кто не хочет помирать со стыда? Да, для тех, кто хочет бежать от близящейся катастрофы? Почему столь громкие слова представляются в этой стране неуместными?

— Да, — отвечает он. — Во всяком случае, мне так кажется.

— Ах да, хорошо, что вспомнил, — говорит мужчина. Он пересекает комнату, подходит к стеллажу с граммофонными пластинками, перебирает их, вытаскивает одну, вторую, третью.

Вот оно, именно то, о чем его предупреждали, чего он не должен допускать.

— Простите, — говорит он, — миссис Меррингтон особо просила меня...

Мужчина распрямляется в полный рост, поворачивается к нему.

— О чем это Диана вас особо просила?

— Не позволять выносить что-либо из квартиры.

— Глупости. Это мои записи, ей они ни к чему, — и он преспокойно возобновляет поиски, вынимая все новые пластинки. — Не верите — позвоните ей.

В комнату входит, неуклюже ступая ногами в тяжелых ботинках, девочка.

— Ну что, мы готовы, дорогая моя? — спрашивает мужчина. — До свидания. Надеюсь, все у вас пойдет хорошо. До свидания, Теодора. Не волнуйся, к купанию мы вернемся.

И он уходит, унося дочь и пластинки.

Глава шестнадцатая

Очередное письмо от матери. Брат его, пишет она, купил автомобиль, побывавший в аварии "эм-джи". Теперь брат, вместо того чтобы учиться, тратит все время на починку машины, пытаясь снова поставить ее на колеса. Он завел и новых друзей, которых ей не представил. Один из них походит на китайца. Все они сидят в гараже и курят; мать подозревает, что друзья приносят брату вино. Она обеспокоена. Брат ступил на опасную дорожку, как ей спасти его?

Он же, со своей стороны, заинтригован. Выходит, брат наконец начал высвобождаться из материнских объятий. Но какой же странный путь он выбрал: автомеханика! Неужели брат и вправду умеет чинить машины? Где научился этому? Сам он всегда полагал, что руки у него лучше, чем у брата, что он наделен чутьем на механизмы. Выходит, он все это время ошибался? Интересно, что еще припрятано у брата в рукаве?

Имеются в письме и другие новости. В Англии вскоре появятся его кузина Ильза с подругой — по дороге в Швейцарию, где они собирают-

ся отдыхать в туристском лагере. Не покажет ли он им Лондон? Мать дает адрес в Эрлс-корт — гостиницы для туристов, в которой они остановятся.

Поразительно, после всего сказанного им матери та продолжает думать, будто ему приспеет охота встречаться с южноафриканцами, да еще и с отцовской родней в придачу. Ильзу он не видел с детских лет. Что общего может быть у него с нею — с девушкой, закончившей школу в какой-то богом забытой глуши, не способной приискать для себя на время каникул в Европе — оплаченных, разумеется, ее родителями — занятия лучшего, чем пешие прогулки по gemütliche[1] Швейцарии, стране, которая за всю свою историю не дала миру ни одного великого художника?

И все же теперь, после упоминания ее имени, он не может выбросить Ильзу из головы. Он помнит ее поджарой, скорой на ногу девочкой с заплетенными в косу длинными светлыми волосами. Сейчас ей самое малое семнадцать. Какой она стала? Что, если жизнь под открытым небом наделила ее, пусть и на краткий срок, красотой? Ибо он множество раз наблюдал такое в сельских детях: весну физического совершенства, после которой они начинают грубеть, толстеть и обращаются в копии своих родителей. Следует ли ему отвергать возможность прогуляться по улицам Лондона бок о бок с долговязой арийской охотницей?

Он распознает в своих фантазиях эротические тона. Почему его кузины, даже одни только мысли о них, высекают в нем искру желания? Просто потому, что они запретны? Потому, что так и действует табу: порождая желание уже тем, что запрещает его? Или истоки его желания не настолько абстрактны: воспоминания о детской возне — мальчик и девочка, тело к телу, — сохраненные сызмальства и высвобождающиеся ныне всплеском полового чувства? Быть может, и так — плюс обещание легкости, простоты: два человека с общей историей, страной, родней, кровная близость, проявляющаяся еще до того, как произносится первое слово. Им не нужно знакомиться, подбирать выражения.

Он оставляет в Эрлс-корт записку. Несколько дней спустя ему звонят — не Ильза, ее подруга, спутница, по-английски она говорит кое-как, путает артикли. У нее плохие новости: Ильза заболела гриппом, а тот перешел в воспаление легких. Она в больнице, в Бейзуотере. Дальнейшие разъезды придется отложить до ее выздоровления.

Он навещает Ильзу. Все его мечтания идут прахом. Ильза не красива, даже не высока — заурядная круглолицая девушка с мышастыми волосами, слегка задыхающаяся, когда говорит. Здороваясь, он не целует ее — боится заразы.

При встрече присутствует и подруга. Ее зовут Марианной — маленькая, пухленькая, в вельветовых брючках и туристских ботинках, она так и пышет здоровьем. Какое-то время все они говорят по-английски, потом он, сжалившись над девушками, переходит на родной для них африкаанс. И хотя он уж несколько лет как на африкаанс не говорил, сразу испытывает облегчение, такое, будто он погружается в теплую ванну.

1. Уютная (*нем.*).

Он рассчитывал щегольнуть перед ними знанием Лондона. Однако Лондон, интересующий Ильзу и Марианну, вовсе не тот Лондон, который знает он. Он ничего не может сказать им о мадам Тюссо, Тауэре, Святом Павле — ни в одном из этих мест он так и не побывал. О том, как добраться до Стратфорда-он-Эйвон, он также понятия не имеет. А то, что он может сказать им — в каких кинотеатрах показывают иностранные фильмы, какие книжные магазины лучше и почему, — девушкам неинтересно.

Ильза сидит на антибиотиках, пройдет еще не один день, прежде чем она поправится. Марианне же пока заняться нечем. Он предлагает ей прогуляться по набережным Темзы. Выросшая в Фиксбурге, Марианна, с ее строгой стрижкой и туристскими башмаками, выглядит в толпе лондонских модниц нелепо, но ее это, по-видимому, не волнует. Не волнует ее и то, что все вокруг слышат, как она говорит на африкаанс. Что до него, он предпочел бы, чтобы Марианна говорила потише. Изъясняться в этой стране на африкаанс, хочет сказать он, то же, что изъясняться на нацистском — если бы такой язык существовал.

Насчет возраста их он ошибся. Никакие они не дети: Ильзе двадцать, Марианне двадцать один. Обе учатся на последнем курсе университета Оранжевого свободного государства[1] и обе — на социальных работников. Он по этому поводу не высказывается, однако, на его взгляд, социальная работа — умение помогать старушкам делать покупки — вовсе не тот предмет, который могут преподавать в приличном университете.

О компьютерном программировании Марианна никогда не слыхала и интереса к нему не проявляет. Впрочем, она спрашивает, когда он собирается вернуться, как она выражается, домой, tuis.

Не знаю, отвечает он. Может, и никогда. А ее разве не тревожит направление, в котором движется Южная Африка?

Марианна трясет головой. Южная Африка вовсе не так плоха, как ее изображают английские газеты, говорит она. Если черных и белых просто-напросто оставить в покое, они отлично поладят. Да и вообще, она политикой не интересуется.

Он приглашает ее посмотреть фильм в "Эвримене". Это "Bande à part"[2] Годара, он его уже видел, но готов смотреть и смотреть еще, потому что в нем играет Анна Карина, в которую он ныне влюблен так же, как год назад в Монику Витти. Поскольку кино это не интеллектуальное, во всяком случае не откровенно интеллектуальное, просто рассказ о банде недотепистых дилетантов-уголовников, он не видит причин, по которым фильм мог бы не понравиться Марианне.

Марианна не жалуется, однако он на протяжении всего фильма чувствует, как девушка поерзывает, сидя с ним рядом. Бросив на нее косой взгляд, он обнаруживает, что Марианна, не глядя на экран, чистит ногти. Тебе не понравилось? — спрашивает он потом. Я так и не поняла, в чем там суть, отвечает она. Выясняется, что Марианна никогда не видела фильмов с субтитрами.

1. После захвата Великобританией Капской колонии (окончательно в 1806 г.) большая часть буров покинула ее, основав на отнятых у африканского населения землях республику Трансвааль и Оранжевое свободное государство (теперь Фри Стейт).
2. "Отдельная банда" (*франц.*). Фильм снят в 1964 г.

Он приводит ее, чтобы выпить кофе, в свою квартиру, вернее, в квартиру, на время ставшую его. Уже около одиннадцати, Теодора легла спать. Притворив дверь гостиной, они усаживаются по-турецки на толстый, ворсистый ковер, вполголоса беседуют. Она не кузина ему и все-таки — подруга кузины, она из дому, отчего и ее облекает возбуждающий ореол запретности. Он целует ее, Марианна вроде бы не против. Они вытягиваются на ковре лицом к лицу; он начинает расстегивать пуговицы и молнии, распускать шнурки. Последний поезд уходит в 11.30, она явно на него опоздает.

Марианна девственница. Выясняется это, когда она оказывается наконец голой в его двуспальной кровати. С девственницей ему спать еще не доводилось, да и не задумывался он никогда о девственности как о физическом состоянии. Теперь он получает урок. Кровь льет из Марианны, пока они любят друг дружку, льет и потом. Ей приходится прокрасться — с риском разбудить служанку — в ванную комнату, чтобы помыться. В ее отсутствие он зажигает свет. Простыни в крови, все его тело тоже. Они — картина эта вызывает у него тошноту — вывалялись в кровище, точно свиньи.

Марианна возвращается обернутой в купальное полотенце.

— Мне пора, — говорит она.

— Последний поезд уже ушел, — отвечает он. — Оставайся.

Кровотечение не прекращается. Марианна засыпает с засунутым между ног полотенцем, намокающим все больше и больше. Он лежит рядом с ней без сна, волнуясь. Может быть, вызвать "скорую"? Удастся ли сделать это, не разбудив Теодору? Марианну происходящее вроде бы не беспокоит, но что, если она лишь притворяется, щадя его? Что, если она слишком невинна или простодушна и не понимает, что происходит?

Он уверен, что не сможет заснуть, и все-таки засыпает. Будят его голоса, звуки льющейся воды. Уже пять, птицы запели в ветвях. Он не без труда вылезает из кровати, прислушивается у двери: голос Теодоры, потом Марианны. О чем они говорят, не слышно, однако добра ему от их разговора ждать не приходится.

Он стягивает простыни с кровати. Кровь добралась до матраса, оставив на нем огромное неровное пятно. Виновато, сердито он переворачивает матрас. Конечно, рано или поздно пятно обнаружат. К тому времени ему надлежит смыться, что он и не преминет проделать.

Марианна возвращается из ванной в не принадлежащем ей халате. Его молчание, сердитый взгляд удивляют ее.

— Ты же меня не предупредил, — говорит она. — Почему было не поболтать с ней? Милая такая старуха. Милая aia.

Он вызванивает такси, потом, пока Марианна одевается, бессмысленно переминается у парадной двери. Когда такси приезжает, он уклоняется от ее объятий, сует ей в ладонь фунтовую бумажку. Девушка смотрит на нее с недоумением. "У меня же есть деньги", — говорит она. Он пожимает плечами, открывает перед ней дверцу машины.

Все оставшиеся дни своего пребывания в квартире он избегает Теодоры. Уходит рано утром, возвращается поздно. Если его ждет записка, он в нее не заглядывает. Вселяясь в квартиру, он обязался охранять ее от мужа и "быть под рукой". Один раз он этого обязательства не исполнил, теперь не исполняет опять, ну и ладно. Напугавшее его любовное при-

ключение, шепчущиеся женщины, окровавленные простыни, пятно на матрасе — он хотел бы оставить эту постыдную историю позади и закрыть за собой дверь.

Он звонит в Эрлс-корт, в туристскую гостиницу, и, изменив голос, просит позвать к телефону кузину. Она съехала, отвечают ему, она и ее подруга. Успокоенный, он кладет трубку. Теперь их разделяет безопасное расстояние, больше ему с ними встречаться не придется.

Остается вопрос, что делать с этим эпизодом, как вставить его в историю своей жизни, рассказываемую им самому себе. Сомнений нет, он вел себя бесчестно, вел как подлец. Слово, быть может, и старомодное, но точное. Он заслуживает пощечины, даже плевка в лицо. В отсутствие же кого бы то ни было способного отвесить ему оплеуху он, разумеется, начинает грызть себя сам. "Agenbyte of Inwit"[1]. Что ж, пусть договор с богами будет таким: он станет карать себя сам и надеяться, что в обмен на это история о гнусном его поведении на свет никогда не выплывет.

Хотя какая разница — выплывет, не выплывет? Он принадлежит к двум мирам, накрепко отгороженным один от другого. В мире Южной Африки он не более чем призрак, облачко быстро тающего дыма, которое в скором времени расточится совсем. Что касается Лондона, здесь он, считай, и вовсе никому не известен. А поисками нового жилья он уже занялся. Как только отыщется комната, он разорвет договор с Теодорой и Меррингтонами и потонет в море безвестности.

И все-таки в этой прискорбной истории присутствует что-то еще, не один лишь позор. Он приехал в Лондон, чтобы предаться тому, что в Южной Африке невозможно: исследованию глубин. Не канув в глубины, художником не станешь. Но что они, собственно, такое — глубины? Он полагал, будто, бродя с онемевшей от одиночества душой по заледенелым улицам, как раз и опускается в них. Возможно, однако, что глубины подлинные выглядят совершенно иначе — предстают перед тобой в нежданном обличии: в приступе ненависти к девушке ранним утренним часом, к примеру. Быть может, глубины, в которые ему так не терпелось погрузиться, все это время в нем самом и присутствовали, таились, сокрытые в его груди: глубины холодности, бездушия, хамства. А то, что он дает волю своим наклонностям, порокам, чтобы после есть себя поедом, как сейчас, способно ли это подготовить его к жизни художника? Пока он что-то не видит — как.

По крайней мере, эпизод этот завершился, закрыт, списан в прошлое, замурован в памяти. Ан нет, не совсем. Из Люцерна приходит письмо, которое он, не подумав толком, вскрывает и начинает читать. Письмо написано на африкаансе. "Уважаемый Джон, думаю, стоит уведомить тебя, что со мной все хорошо. С Марианной тоже. Сначала она не понимала, почему ты не позвонил, но потом повеселела, и мы с ней очень приятно проводим время. Сама она писать не хочет, но я решила, что все же должна написать тебе и сказать: надеюсь, ты обходишься подобным образом не со всеми твоими девушками, даже и в Лондоне. Марианна человек особенный и такого обращения не заслуживает. Тебе следовало бы еще раз задуматься над тем, какую жизнь ты ведешь. Ваша кузина Ильза."

1. Около 1340 г. некто по имени Дан Майкл перевел с французского на кентский диалект книгу, названную в переводе "Agenbyte of Inwit" ("Укоризны совести").

"Даже и в Лондоне". Что это значит? Что он вел себя постыдно даже по лондонским меркам? Что знают Ильза и ее подруга, только-только вырвавшиеся из запустения Оранжевого свободного государства, о Лондоне и его мерках? "Лондон поступает и похуже, — хочет сказать он. — Если бы ты, вместо того, чтобы улепетывать к коровьим колокольчикам и пастбищам, задержалась здесь ненадолго, то смогла бы почувствовать это на собственной шкуре". Но, по правде сказать, не так уж ему и верится, будто во всем виноват Лондон. Ведь он читал Генри Джеймса. И знает, как просто стать дурным человеком: довольно лишь распуститься немного — и немедля является зло.

Пуще всего уязвляют его начало письма и конец. "Beste John" — так к родственникам не обращаются, лишь к посторонним. И "Ваша кузина Ильза" — кто бы подумал, что деревенская девчонка способна на подобную колкость!

Дни и недели письмо кузины, даже скомканное и выброшенное, преследует его — не сами слова, которые ему скоро удается вычеркнуть из памяти, но воспоминание о миге, в который он — и ведь видел же он швейцарскую марку и по-детски округлый почерк — вскрыл конверт и прочитал написанное. Ну что за болван! Впрочем, чего же он, собственно, ждал — благодарственных гимнов?

Не любит он плохих новостей. В особенности плохих новостей о себе. "Я и так достаточно суров с собой, — мысленно говорит он, — тут мне посторонняя помощь не требуется". Такова софистика, к которой он прибегает снова и снова, чтобы не слышать критики на свой счет: он изведал всю ее полезность, когда Жаклин с позиций тридцатилетней женщины излагала ему свое мнение о нем как о любовнике. Теперь, едва лишь очередной роман начинает выдыхаться, он идет на попятный. Сцены, вспышки гнева, домодельные истины ("Хочешь услышать о себе правду?") ему ненавистны, он старается любой ценой уклониться от них. Да и что такое правда, вообще-то говоря? Если он загадка для себя самого, как может он быть чем-то помимо загадки для другого? Существует условие, которое он был бы рад заключить с женщинами, возникающими в его жизни: если они будут относиться к нему как к загадке, он станет относиться к каждой из них как к закрытой книге. Общение между ними будет возможным на этой и только на этой основе.

Он же не дурак. Имеющийся у него послужной список любовника ничем особо не блещет, и он это знает. Никогда не пробуждал он в сердце женщины того, что мог бы назвать высокой страстью. На деле, оглядываясь назад, он не может припомнить случая, когда был бы предметом страсти, подлинной страсти, какой ни на есть высоты. И это наверняка хоть что-то о нем да говорит. Ну а по части собственно секса, в узком его понимании, то, что способен он предъявить, выглядит, по его подозрениям, довольно убого; и то, что он получает в ответ, убого тоже. Тут никого, кроме себя, винить не приходится. Ибо если ему недостает чувства, если он сдерживает себя, так почему бы и женщине не поступать точно так же?

Является ли секс мерой всех вещей? Не означает ли неудачливость в сексе, что и во всех иных испытаниях жизни его ждут неудачи? Окажись это не так, жить было бы легче. Но ведь, оглядываясь вокруг, он не видит ни одного человека, который не поклонялся бы божеству секса, — за вычетом, может быть, нескольких динозавров, отрыжек викто-

рианских времен. Даже у Генри Джеймса, внешне столь благоприличного, столь викторианского, есть страницы, на которых он пусть и обиняками, но дает понять, что все в конечном счете сводится к сексу.

Из писателей, избранных им себе в наставники, более всех доверяет он Паунду. Страстей у Паунда хоть отбавляй — томления страстных желаний, пламенного их разрешения, — однако страсти эти безбурны, лишены сторон более темных. В чем кроется ключ к невозмутимости Паунда? В том ли, что он как служитель скорее греческих богов, чем иудейского, невосприимчив к чувству вины? Или Паунд до того напоен великой поэзией, что телесная сущность его пребывает в гармонии с чувственной — качество, мгновенно воспринимаемое женщинами, отчего они и открывают Паунду сердца? Или же, напротив, секрет Паунда в некоей жизненной прыти, которую следует приписать скорее американскому его воспитанию, чем богам или поэзии, и которая люба женщинам как знак того, что мужчина понимает, чего он хочет, и твердо, хоть и по-дружески, берет на себя попечение о том, к чему они вдвоем устремляются. Не это ли и нужно женщине: попечение, руководство? И не потому ли танцоры придерживаются единого правила — мужчина ведет, женщина подчиняется?

Собственное его объяснение любовных своих неудач, теперь уж приевшееся и становящееся все менее правдоподобным, таково: он так и не повстречал правильной женщины. Правильная женщина проникла бы взором под непроницаемую поверхность, которую он выставляет миру напоказ, в сокровенные его глубины; правильная женщина выпустила бы на волю затаившиеся в нем силы страсти. Пока она не явилась ему, пока не настал судьбоносный день, он попросту коротает время. И потому на Марианну можно махнуть рукой.

Один лишь вопрос продолжает мучить его, неотступно. Сможет ли женщина, которой предстоит снять запоры со скрытого в нем вместилища страстей, если такая женщина вообще существует, сможет ли она также и разрушить плотину, преградившую путь потокам поэзии, — или все обстоит наоборот и это ему должно сначала обратиться в поэта и тем доказать, что он достоин ее любви? Лучше бы, конечно, верным было первое, однако он подозрева́ет, что это не так. Точно так же, как он влюблялся издалека — в Ингеборг Бахман в одном смысле, в Анну Карина в другом, — так, подозревает он, и та, что ему предназначена, распозна́ет его по творениям, полюбит сначала его искусство, прежде чем ей хватит глупости полюбить его самого.

Глава семнадцатая

От профессора Хауарта, его кейптаунского дипломного руководителя, приходит письмо с просьбой провести некоторые трудоемкие научные изыскания. Хауарт работает над биографией драматурга семнадцатого столетия Джона Уэбстера и хочет, чтобы он скопировал в собрании рукописей Британского музея кое-какие стихи, которые, возможно, были написаны Уэбстером в юные годы, а заодно уж и любые, какие встретятся ему в ходе изысканий, рукописные стихи, помеченные буквами "И. У.", поскольку инициалы позволяют предположить, что и эти стихи могут принадлежать перу Уэбстера.

Хотя в самих стихах, читаемых им теперь, он особых достоинств не усматривает, поручение льстит ему, поскольку подразумевает в нем способность опознать создателя "Герцогини Мальфи" по одному только стилю. Элиот научил его тому, что критик проверяется по способности к тонким различениям, Паунд – тому, что критик должен обладать умением расслышать голос настоящего мастера за обычной модной трескотней. Если он и не умеет играть на фортепиано, то, по крайности, способен, включив радио, отличить Баха от Телемана, Гайдна от Моцарта, Бетховена от Шпора, Брукнера от Малера; если не способен писать, то, по крайности, обладает слухом, который одобрили бы Паунд и Элиот.

Вопрос вот в чем: является ли настоящим писателем Форд Мэдокс Форд, на которого он растранжирил столько времени? Паунд превозносил Форда как единственного в Англии наследника Генри Джеймса и Флобера. Но говорил ли бы Паунд об этом с такой уверенностью, прочти он все написанное Фордом? Если Форд столь превосходный писатель, почему пять его хороших романов окружены такими грудами хлама?

Хоть и предполагается, что он пишет о беллетристике Форда, второстепенные романы этого автора представляются в сравнении с написанным им же о Франции куда менее интересными. Для Форда не существовало большего счастья, чем проводить – в обществе достойной того женщины – день за днем в залитом солнцем доме на юге Франции, с оливковыми деревьями на заднем дворе и добрым vin de pays[1] в погребе. Прованс, говорит Форд, есть колыбель всего изысканного, лиричного и человечного в европейской цивилизации, что же до женщин Прованса с их неукротимым темпераментом и орлиным обликом, они способны посрамить любую из женщин севера.

Можно ли верить Форду? Увидит ли сам он когда-либо Прованс? Обратят ли неукротимые женщины Прованса хоть какое-то внимание на него, столь явно лишенного огня?

Форд говорит, что цивилизация Прованса обязана своей легкостью и грацией кухне с преобладанием рыбы, оливкового масла и чеснока. Из уважения к Форду он, поселившись в своей новой квартирке в Хайгейте, покупает вместо сарделек рыбные палочки, жарит их на оливковом, а не на сливочном масле и посыпает чесночной солью.

Диссертация, которую он пишет, ничего нового о Форде не скажет, это уже ясно. И все-таки забрасывать ее он не желает. Отступничество – это по части отца. А на отца ему походить не хочется. И он начинает сплетать из сотен исписанных мелким почерком листков с заметками паутину связной прозы.

В один из дней он, сидя в огромном, накрытом куполом читальном зале, понимает, что слишком устал и заскучал, чтобы написать еще хоть слово, и позволяет себе роскошь окунуться в книги о Южной Африке давних дней, книги, которые можно найти только в больших библиотеках, – воспоминания посещавших Кейптаун людей наподобие Даппера, Кольбе, Спармана, Барроу и Барчелла, изданные в Голландии, или Германии, или Англии два столетия назад.

Жутковатое чувство испытывает он, сидя в Лондоне и читая об улицах – Ваалстраат, Буитенграхт, Буитенсингел, – по которым лишь он один из всех окружающих его здесь людей, с головой ушедших в книги,

1. Деревенское вино (*франц.*).

и ходил. Но еще сильнее, чем рассказы о старом Кейптауне, захватывают его отчеты о вылазках во внутренние территории, о разведывательных поездках на запряженных волами фургонах в пустыне Большое Кару, где путешественник мог день за днем совершать переходы, так и не встретив ни единой живой души. Цвартберг, Лиувривиер, Двика: это о своей земле он читает, земле своей души.

Патриотизм: не подцепил ли он эту болезнь? Не доказывает ли, что не способен жить без своей страны? Отряхнув с ног своих прах отвратительной новой Южной Африки, не устремился ли он душой к Южной Африке прежних времен, в которые был еще возможен Эдем? А эти англичане вокруг, ощущают они такой же трепет сердечных струн, наталкиваясь в книге на упоминание о Райдэл-Маунт или Бейкер-стрит? Не похоже на то. Эта страна, этот город окутаны теперь уж столетиями слов. Хождение по стопам Чосера или Тома Джонса англичане странным ничуть не находят.

Южная Африка – дело другое. Если бы не эта горстка книг, навряд ли ему вчера приснилось бы Кару. Потому-то он и углубляется, в частности, в Барчелла, в два его объемистых тома. Барчелл, быть может, и не такой мастер, как Флобер или Джеймс, однако пишет о том, что происходило на самом деле. Настоящие волы тащили Барчелла и его коробки с образчиками растений от одной стоянки в Большом Кару до другой; настоящие звезды мерцали над головами Барчелла и его людей, пока те спали. Даже при мысли об этом голова у него идет кругом. Барчелл, может, и мертв, как и его спутники, и фургоны его рассыпались в прах, но они существовали на самом деле, и путешествия их были настоящими. Доказательство – книга, которую он держит в руках, книга, для краткости названная в указателе хранимых Британским музеем томов "Путешествий Барчелла".

Если путешествия Барчелла обретают реальность благодаря "Путешествиям Барчелла", почему другие книги не могут сделать реальными другие путешествия, пусть даже гипотетические? Логика, разумеется, шаткая. И все же ему хотелось бы проделать именно это: написать книгу настолько же убедительную, как у Барчелла, и поместить ее в библиотеку, ставшую эталоном всех библиотек. И если для убедительности его книги придется превратиться в котелок с колесной смазкой, который раскачивается под днищем фургона, переваливающегося по камням Кару, он готов стать таким котелком. Если придется обратиться в цикад, стрекочущих в кроне дерева, под которым путники останавливаются в полдень, чтобы перекусить, он станет цикадами. Треньканье котелка, трели цикад – воссоздать все это он наверняка сумеет. Трудность в том, чтобы сообщить книге дух, который приведет ее на полки библиотек, а стало быть, и в мировую историю, – дух достоверности.

Нет, он помышляет не о подлоге. Этим путем уже проходили многие: делая вид, будто нашли в сундуке или на чердаке загородного дома покрытую пятнами сырости тетрадь, на пожелтевших от времени страницах которой описана экспедиция, перешедшая пустыню Тартари или углубившаяся в земли Великих Моголов. Такого рода обманы ему неинтересны. Его задача чисто литературная: написать книгу, в которой горизонт знаний будет таким же, как в пору Барчелла, в 1820-е, но пропитанную восприятием окружающего мира, оставшимся для Барчелла, при всей его энергии, уме, любознательности и самообладании, недо-

ступным, поскольку он был англичанином в чужой земле, а половину мыслей его занимали Пембрукшир и покинутые дома сестры.

Придется научиться писать изнутри 1820-х. И прежде чем у него это получится — придется отказаться, избавиться от лишних знаний — многое забыть. Однако перед тем как начать забывать, необходимо понять, что именно требует забвения; до того как знания его сократятся, необходимо расширить их. Где отыскать нужные сведения? Историю он не изучал, да и то, что ему нужно, в книгах по истории не сыщешь — оно принадлежит земному, а земное так же общо, как воздух, которым ты дышишь. Где искать вседоступное знание давно ушедших времен, знание слишком смиренное, чтобы сознавать себя таковым?

Глава восемнадцатая

Дальше все развивается быстро. Среди писем, сваленных на столике в прихожей, обнаруживается адресованный ему конверт с пометкой "Официальное". Он уносит конверт в свою комнату и с упавшим сердцем вскрывает. Ему дается, гласит письмо, двадцать один день на то, чтобы обновить разрешение на работу, в противном случае он лишится права на проживание в Соединенном Королевстве. Разрешение можно возобновить, лично явившись в любой из рабочих дней, с 9.00 до 12.30 и с 1.30 до 4.00, в здание Министерства иностранных дел на Холлоуэйроуд; при себе иметь паспорт и копию формы И-48, заполненной его работодателем.

Стало быть, Ай-би-эм продала его. Сообщила Министерству, что больше он в ней не работает.

И что теперь делать? Денег его на билет до Южной Африки хватит. Но ведь немыслимо же заявиться в Кейптаун неудачником с поджатым, точно у собаки, хвостом. Да и что он там будет делать? Снова пойдет в университет? Сколько это может продолжаться? Для нового поступления он уже староват, ему придется соревноваться со студентами, имеющими лучшие, чем у него, отметки. И потом, если он возвратится в Южную Африку, снова сбежать оттуда ему уже не удастся, это точно. Он станет таким же, как те, кто собирается вечерами на Клифтонском пляже, чтобы попить вина и поделиться друг с другом рассказами о прежних, проведенных на Ивисе[1] днях.

Если он хочет остаться в Англии, у него два пути. Стиснуть зубы и еще раз попробовать податься в школьные учителя; или же вернуться к программированию.

Существует и третий вариант, гипотетический — съехать с нынешней его квартиры и раствориться в массах. Отправиться в Кент на уборку хмеля (для этого документы не требуются), пойти работать на стройку. А спать можно в молодежных приютах, в сараях. Впрочем, он понимает, что не решится на это. Для жизни вне закона он слишком несведущ, слишком правилен, слишком боится быть пойманным.

Газетные страницы "Требуются..." полны приглашений для программистов. Похоже на то, что в Англии таковых не хватает. Большая часть вакансий относится к отделам заработной платы. Их он игнорирует, от-

1. Ивиса — курорт на острове в Средиземном море.

кликаясь лишь на объявления собственно компьютерных компаний, конкурентов Ай-би-эм, больших и малых. Через несколько дней проходит собеседование в компании "Интернэшнл компьютерс" и не колеблясь принимает ее предложение. Он ликует. У него опять есть работа, он в безопасности, его не выдворят из страны.

Плохо одно. Главный офис "Интернэшнл компьютерс" находится в Лондоне, однако работать ему придется в провинции, в Беркшире. Чтобы попасть туда, нужно добраться до вокзала Ватерлоо, час ехать поездом, а там еще и автобусом. Значит, жить в Лондоне он не сможет. Повторяется история с Ротамстедом.

"Интернэшнл компьютерс" готова внести за нового сотрудника первоначальный взнос, необходимый для покупки вполне приличного дома. Иными словами, подписав одну-единственную бумагу, он сможет стать домовладельцем (домовладельцем! он!), но одновременно и свяжет себя обязательством погасить долг за дом, долг, который прикует его к новому месту работы на ближайшие десять-пятнадцать лет. За пятнадцать лет он обратится в старика. Одно поспешное решение — и он перечеркнет всю свою жизнь, перечеркнет все шансы стать художником. Владея собственным маленьким домом, стоящим в ряду других таких же краснокирпичных, он без следа растворится в британском среднем классе. Для окончательной полноты картины потребуется лишь женушка да автомобиль.

Он находит отговорку, позволяющую ссуду на покупку дома не брать. Вместо этого он снимает квартиру на верхнем этаже окраинного дома. Владелец дома — бывший армейский офицер, а ныне биржевой брокер — предпочитает, чтобы его называли "майор Аркрайт". Он объясняет майору Аркрайту, что такое компьютеры, программирование, какую серьезную карьеру они позволяют сделать ("Эта индустрия обречена на подъем"). Майор Аркрайт, развеселившись, награждает его прозвищем "изобретатель" ("Изобретателей у нас наверху еще не водилось"), каковое он безропотно принимает.

Работа в "Интернэшнл компьютерс" нисколько не похожа на работу в Ай-би-эм. Начать с того, что о черном костюме можно забыть. У него собственный кабинет, комнатка в сборном бараке из волнистого листового железа, барак этот стоит в глубине парка при доме, в котором "Интернэшнл компьютерс" оборудовала свою компьютерную лабораторию. "Поместье", так его здесь называют, это просторное старое здание, возвышающееся в конце устланной опавшими листьями подъездной дороги, в двух милях от Бракнелла. Предположительно у "Поместья" имеется некая история, но какая — никто не знает.

Несмотря на название "Компьютерная лаборатория", настоящих компьютеров здесь нет. Чтобы тестировать программы, для написания которых его подрядили, придется ездить в Кембриджский университет, владеющий одним из трех компьютеров "Атлас" — их только три и существует, причем каждый немного отличается от других. Компьютер "Атлас" — читает он в резюме, выданном ему в первое рабочее утро, — это ответ Британии Ай-би-эм. Как только инженеры и программисты "Интернэшнл компьютерс" добьются бесперебойной работы этих прототипов, "Атлас" станет самым большим компьютером в мире, во всяком случае самым большим из тех, что продаются на открытом рынке (у американских военных имеются собственные компьютеры, сведения о

мощности которых не разглашаются, у русских, предположительно, тоже). "Атлас" нанесет от имени британской компьютерной индустрии удар, от которого Ай-би-эм придется оправляться многие годы. Таковы ставки. Такова причина, по которой "Интернэшнл компьютерс" набрала команду блестящих молодых программистов, одним из коих стал ныне и он, затерявшийся в своем провинциальном прибежище.

Особенность "Атласа", отличающая его от всех компьютеров мира, в том, что он обладает подобием самосознания. Через правильные промежутки времени — каждые десять секунд или каждую секунду — "Атлас" опрашивает сам себя, задаваясь вопросом о том, какие задачи он выполняет и выполняет ли их с оптимальной производительностью. Если производительность недостаточна, "Атлас" перетасовывает задачи и начинает выполнять их в ином, более совершенном порядке, экономя таким образом время, а время — это деньги.

Его задача — написать процедуру, которую машина будет выполнять под конец считывания каждого фрагмента магнитной ленты. Следует ли ей считывать следующий, должна спросить себя машина? Или, напротив, лучше прерваться и считать перфокарты либо кусок перфоленты? Следует ли записать накопившиеся выходные данные на другую магнитную ленту или лучше произвести вычисления? Ответы на все эти вопросы должны определяться в соответствии с решающим принципом производительности. Времени на то, чтобы свести вопросы и ответы к понятным машине кодам и проверить оптимальность их формулировки, он вправе потратить столько, сколько потребуется (желательно, впрочем, уложиться в шесть месяцев — "Интернэшнл компьютерс" приходится бежать наперегонки со временем). Каждый из его коллег-программистов решает подобного же рода задачу и связан схожим графиком работы. Тем временем в Манчестерском университете будут денно и нощно трудиться, совершенствуя электронику аппаратного обеспечения, инженеры. Если все пойдет по плану, промышленное производство "Атласа" начнется в 1965 году.

Наперегонки со временем. Наперегонки с американцами. Вот это ему понятно, этому он может отдаться с куда большим рвением, чем главной цели Ай-би-эм — делать все больше и больше денег. Да и само программирование интересно. Оно требует хитроумия, требует — для получения должного результата — виртуозного владения двухуровневым внутренним языком "Атласа". Утром он приходит на работу, с удовольствием предвкушая ожидающие решения задачи. Чтобы сохранять остроту восприятия, глотает, чашку за чашкой, кофе — сердце колотится, мысли бурлят, он утрачивает представление о времени, на ланч его приходится звать особо. Вечерами он берет бумаги домой, в дом майора Аркрайта, и работает допоздна.

Так вот к чему я, сам того не ведая, приготовлялся! — думает он. Вот куда вела меня математика!

Осень переходит в зиму, он этого почти не замечает. Стихов он больше не читает. Вместо них он читает руководства по шахматам, просматривает партии гроссмейстеров, решает публикуемые "Обсервер" шахматные задачи. Спит плохо; по временам ему снится программирование. За этим своим внутренним развитием он наблюдает с отрешенным интересом. Не предстоит ли ему превратиться в одного из тех ученых, чей мозг разрешает проблемы, пока сам ученый спит?

Отмечает он и еще кое-что. Томление оставило его. Поиски загадочной, прекрасной незнакомки, которая высвободит затаившуюся в нем страсть, его больше не занимают. Отчасти, разумеется, потому, что Бракнелл ничего сравнимого с парадом лондонских девушек предложить не способен. И все-таки он не может не видеть связи между уходом томления и уходом поэзии. Означает ли это, что он взрослеет? Не к тому ли и сводится взросление: ты перерастаешь томление, страсть, все порывы твоей души?

Люди, с которыми он работает, — сплошь мужчины, без исключения, — интереснее, чем в Ай-би-эм: живее, а может быть, и умнее, умнее на понятный ему манер — вот как в школе один ученик бывает умнее другого. Они сходятся за ланчем в столовой "Поместья". Готовят здесь без особых затей: рыба с жареной картошкой, сосиски с пюре, запеченный в тесте бифштекс, мясное жаркое с картофелем и капустой, пирожки из ревеня и мороженое. Еда ему нравится, он берет, когда удается, добавку, стараясь наесться на весь день. Вечерами, дома (если квартира у Аркрайтов и впрямь стала ему домом), он не утруждает себя стряпней, просто съедает за шахматной доской несколько ломтей хлеба с сыром.

Среди его коллег имеется индиец по имени Ганапати. На работу Ганапати часто опаздывает, случается, не приходит и вовсе. Да и приходя особого усердия не проявляет: сидит у себя в кабинетике, положив ноги на стол, и, судя по виду его, дремлет. Неявки свои Ганапати объясняет в самых общих словах ("Плохо себя чувствовал"). Тем не менее никто его не корит. Ганапати, как выясняется, приобретение для "Интернэшнл компьютерс" особенно ценное. Этот индиец учился в Америке, получил там степень по вычислительной математике.

Он и Ганапати — единственные в группе программистов иностранцы. Когда позволяет погода, они прогуливаются после ланча по парку. К "Интернэшнл компьютерс", да и ко всему проекту "Атлас", Ганапати относится пренебрежительно. Возвращение в Англию было ошибкой, говорит он. Англичане не умеют мыслить масштабно. Надо было остаться в Америке. А что представляет собой жизнь в Южной Африке? Найдутся там перспективы для него?

Он отговаривает Ганапати от попыток перебраться туда. Южная Африка страна очень отсталая, говорит он индийцу, там и компьютеров-то нет. О том, что чужаки, если только они не белые, в ней отнюдь не приветствуются, он не упоминает.

Пора наступает тоскливая, что ни день льет дождь, буйствует ветер. Ганапати на работе не появляется. Поскольку никто не интересуется почему, он решает выяснить это самостоятельно. Ганапати, подобно ему, от приобретения дома уклонился. Он живет в квартире на четвертом этаже муниципального дома. Долгое время на стук никто не отвечает. Потом Ганапати открывает дверь. Он в пижаме и сандалиях, из квартиры тянет парным теплом и какой-то гнильцой. "Входите, не стойте на холоде!"

Мебель в гостиной отсутствует, если не считать телевизора, кресла перед ним и двух раскаленных электрических обогревателей. Прямо за дверью свалены грудой мешки с мусором. От них-то гнилью и несет. Когда дверь закрывается, вонь становится совсем тошнотворной. "Почему вы их не выбросите?" — спрашивает он. Ганапати мямлит нечто невнятное. Причину своего отсутствия на работе он тоже не объясняет. Похоже, у него попросту отсутствует какое ни на есть желание разговаривать.

Может быть, гадает он, у Ганапати прячется в спальне девушка — местная, какая-нибудь развязная машинисточка или продавщица из этого микрорайона, он видел таких в автобусе, когда ехал сюда. А то, глядишь, и индианка. Возможно, этим и объясняются все неявки Ганапати на работу: с ним живет красавица-индианка, и ему куда интереснее предаваться с нею любви — практикуя тантру, часами сдерживая оргазм, — чем писать машинные коды для "Атласа".

Он делает шаг к двери, намереваясь уйти, однако Ганапати качает головой. "Может быть, выпьете воды?" — предлагает он.

Вода у Ганапати из-под крана — чай и кофе кончились. Кончилась и еда. Еду он, собственно, и не покупает, только бананы, поскольку, как выясняется, ничего не готовит — не любит он стряпать, да и не умеет. Мусорные мешки и содержат-то по большей части банановые шкурки. На этом он и живет: на бананах, шоколаде и — если удается им обзавестись — чае. Не то чтобы такое существование было ему по душе. В Индии он вел жизнь домашнюю, о нем заботились мать и сестры. А в Америке, в Колумбусе, штат Огайо, Ганапати жил в том, что он называет "дортуаром", — еда там сама появлялась на столе через правильные промежутки времени. Если же в этих промежутках на тебя накатывал голод, ты выходил наружу и покупал гамбургер. На улице, совсем рядом с "дортуаром", стояло заведение, торговавшее гамбургерами двадцать четыре часа в сутки. В Америке все и всегда открыто, не то что в Англии. Не стоило ему возвращаться в Англию, страну без будущего, здесь даже отопление и то не работает.

Он спрашивает Ганапати, не заболел ли тот. Ганапати от его участливости отмахивается: халат — это чтобы не мерзнуть, только и всего. Однако его это не убеждает. Теперь, узнав про бананы, он смотрит на Ганапати новыми глазами. Ганапати тощ, как воробей, — ни унции лишней плоти. Лицо исхудалое. Если он и не болен, то по меньшей мере изголодался. Вот, смотри: в Бракнелле, в самом сердце центральных графств, голодает человек — и голодает лишь потому, что не способен питаться самостоятельно.

Он приглашает Ганапати к себе на ланч, на завтра, дает ему точные указания насчет того, как добраться до дома майора Аркрайта. Потом уходит, отыскивает магазин, открытый и субботними вечерами, покупает то, что магазин этот способен предложить: хлеб в пластиковой упаковке, ветчину, замороженный зеленый горошек. Назавтра, в полдень, он накрывает стол, ждет. Ганапати не приходит. Поскольку телефона у Ганапати нет, предпринять ему нечего — разве что отнести еду Ганапати на дом.

Нелепость, но, возможно, этого Ганапати и хочет: чтобы кто-то снабжал его едой. Ганапати подобен ему: избалованный, умненький мальчик. Подобно ему, Ганапати бежал от матери, от удушающей свободы, которую та олицетворяет. Однако в случае Ганапати на бегство вся его энергия, похоже, и ушла. И теперь он ждет, когда его спасут. Ему необходима мать или кто-то вроде нее, кто придет ему на выручку. Иначе он просто исчахнет и умрет в своей забитой отбросами квартире.

Надо бы уведомить об этом "Интернэшнл компьютерс". Ганапати поручена ключевая задача, разработка логики подпрограмм, определяющих весь распорядок работы компьютера. Если Ганапати завалит ее, забуксует весь проект "Атлас". Но как объяснить "Интернэшнл компью-

терс", в чем состоит недуг Ганапати? Как может понять кто бы то ни было в Англии, что́ заставляет людей стекаться сюда с дальних краев земли и умирать на этом дождливом, скверном острове, который им ненавистен, с которым ничто их не связывает?

На следующий день Ганапати как ни в чем не бывало сидит за своим рабочим столом. Почему не явился на назначенную встречу, он ни единым словом не объясняет. В столовой, во время ланча, пребывает в хорошем, даже приподнятом настроении. Говорит, что решил поучаствовать в розыгрыше автомобилей "моррис-мини". Купил сотню лотерейных билетов — а что еще делать с немалым жалованьем, получаемым им в "Интернэшнл компьютерс"? Если он выиграет, они смогут вместе ездить в Кембридж, чтобы тестировать там свои программы, — все лучше, чем мыкаться по поездам. Можно будет даже в Лондон сгонять на целый день.

Нет ли во всей этой истории чего-то такого, что он не смог понять, чего-то типично индийского? Не принадлежит ли Ганапати к касте, запрещающей есть за одним столом с уроженцами Запада? Но если так, что же он тогда делает в столовой "Поместья", перед тарелкой трески с жареной картошкой? Может быть, приглашению на ланч следовало придать вид более официальный и подтвердить его письменно? Впрочем, не придя к нему, не избавил ли его милосердный Ганапати от неловкости, от необходимости принимать гостя, на деле-то нежеланного, приглашенного лишь под влиянием минутного порыва? И, приглашая Ганапати, не создал ли сам он каким-то образом впечатление, что приглашение это не настоящее, не искреннее — всего лишь жест, и подлинная вежливость со стороны Ганапати требовала, чтобы он выказал признательность за этот жест, не доставляя пригласившему его человеку хлопот, сопряженных с совместной трапезой? Имела ли умозрительная трапеза (ветчина, отварной зеленый горошек со сливочным маслом), которую им предстояло разделить, такую же ценность для их, его и Ганапати, отношений, как ветчина и вареный горошек, предложенные и съеденные на самом деле? И каковы они теперь, их отношения, — остались ли прежними, улучшились или ухудшились?

О Сатьяджите Рее Ганапати наслышан, но не уверен, что видел хотя бы один его фильм. По его словам, такие фильмы способны заинтересовать лишь микроскопическую часть индийских зрителей. В общем и целом, говорит он, индийцы предпочитают фильмы американские. Индийские все еще очень примитивны.

Ганапати — первый индиец, с которым он знаком не поверхностно, если, конечно, все это — игру в шахматы, разговоры, в которых Англия сравнивается, не в пользу ее, с Америкой, плюс один нанесенный без приглашения визит — можно назвать знакомством. Разговоры их, вне всяких сомнений, были бы куда занимательнее, если бы Ганапати принадлежал к интеллектуалам, а не просто к умникам. Его не перестает изумлять то обстоятельство, что безусловно умные люди, которых он узнал в компьютерной индустрии, напрочь лишены интересов, выходящих за рамки автомобилей и цен на дома. Раньше он относил это на счет печально известного филистерства английского среднего класса, но ведь и Ганапати ничем не лучше.

Проистекает ли их безразличие к миру из слишком частого общения с машинами, которые кажутся думающими? Как сложится его

жизнь, если он в один прекрасный день уйдет из компьютерной индустрии и присоединится к сообществу культурных людей? Растрачивая в течение столь долгого времени лучшие свои силы на игры с машинами, сумеет ли он сохранять достойный вид, беседуя с такими людьми? Даст ли ему хоть что-то многолетнее общение с компьютерами? Может быть, научит по меньшей мере логически мыслить? И логика станет в конечном счете его второй натурой?

Хотелось бы верить в это, да что-то не получается. В конце-то концов, никакого почтения к той разновидности мышления, которую удается встроить в монтажные схемы компьютера, он не питает. Чем дольше занимается он вычислительной математикой, тем более схожей с шахматами она ему представляется — тесным мирком, живущим по выдуманным законам, мирком, который затягивает в себя обладающих определенного толка восприимчивостью юношей и обращает их в полубезумцев, каким уже стал и он, — неизменно и неправомерно считающих, будто это они играют в шахматы, между тем как шахматы играют ими.

Это мир, который он может покинуть, если уже не слишком поздно. А может и примириться с ним, подобно молодым людям, которые его окружают: удовольствоваться браком, домом, автомобилем, удовольствоваться тем, что способна предложить реальная жизнь, и тратить все силы свои на работу. Он с сокрушением видит, насколько гладко срабатывает принцип реального, видит, как прыщавый юноша, понукаемый одиночеством, довольствуется девушкой с тусклыми волосами и толстыми ногами, как всякий, каким бы непривлекательным он ни был, в конечном счете отыскивает для себя спутницу жизни. Не проще ли простого и его проблема: не в том ли она состоит, что он все это время переоценивал свою рыночную ценность, дурачил себя верой в то, что его удел — это скульпторши и актрисы, между тем как настоящий удел его — воспитательница ближайшего детского сада или только-только назначенная заведующая обувным магазином?

Женитьба: кто бы мог подумать, что когда-нибудь он ощутит притягательность брака, пусть даже еле приметную! Поддаваться-то ей он не собирается, пока что. Но это одна из возможностей, которую он вертит так и этак в уме, поглощая у газовой плиты майора Аркрайта хлеб и сардельки, слушая радио под скороговорку бьющего в окна дождя.

Глава девятнадцатая

Льет дождь. Ганапати и он одиноко сидят в столовой, сражаясь в "быстрые шахматы" на карманной доске индийца. Ганапати, по обыкновению, выигрывает.

— Вам надо уехать в Америку, — говорит Ганапати. — Здесь вы попусту тратите время. Мы все попусту тратим время.

Он качает головой:

— Это нереально.

Он уже не раз подумывал о том, чтобы попытаться найти работу в Америке, и решил, что делать этого не стоит. Решение трусоватое, но верное. Особого таланта по части программирования у него нет. Его коллеги по группе "Атлас" пусть и не имеют ученых степеней, однако головы у них более ясные, суть вычислительных проблем они схватывают

быстрее и основательнее, чем это когда-либо удастся ему. В групповых обсуждениях он едва поспевает за ними, ему вечно приходится делать вид, будто он все понимает, а после разбираться во всем самостоятельно. Зачем американскому бизнесу такой человек? Америка — это вам не Англия. Америка крута и безжалостна: если он каким-то чудом, обманом, и сможет получить там работу, его мигом раскусят. Кроме того, он читал Аллена Гинзберга, читал Уильяма Берроуза. Он знает, что делает Америка с художниками: сводит их с ума, сажает под замок, изгоняет.

— Вы могли бы получить университетскую стипендию, — говорит Ганапати. — Я же получил — и вам это труда не составит.

Он пристально вглядывается в Ганапати. Неужели тот и вправду настолько наивен? Идет холодная война. Америка и Россия воюют за души и умы индийцев, иракцев, нигерийцев; университетская стипендия — одна из приманок. А души и умы белых этим странам неинтересны, и уж тем более души и умы немногих белых, не прижившихся в Африке.

— Я подумаю, — говорит он и меняет тему разговора. Никакого желания думать об этом у него нет.

Фотография на первой странице "Гардиан": вьетнамский солдат в американской военной форме беспомощно стоит посреди моря огня. САМОУБИЙЦЫ-ПОДРЫВНИКИ СЕЮТ ПАНИКУ В Ю. ВЬЕТНАМЕ — гласит заголовок. Отряд вьетконговских саперов проник за колючую проволоку, ограждавшую американскую воздушную базу в Плейку, взорвал двадцать четыре самолета и поджег цистерны с горючим. Все подрывники погибли.

Ганапати, показавший ему газету, в восторге; да он и сам ощущает прилив мстительных чувств. С тех пор как он приехал в Англию, британские газеты и Би-би-си только и делают что распространяются о победах американцев, при которых вьетконговцы гибнут тысячами, а сами американцы не получают даже царапины. Если и проскальзывает порой слово критики в адрес американцев, звучит оно почти неслышно. Он с трудом заставляет себя читать военные репортажи, его от них едва ли не тошнит. Теперь вьетконговцы ответили ударом, и героизм их отрицать невозможно.

О Вьетнаме он с Ганапати никогда не беседовал. Поскольку Ганапати учился в Америке, он полагал, что индиец либо поддерживает войну, либо так же безразличен к ней, как и все, кто работает в "Интернэшнл компьютерс". И вот внезапно улыбка и поблескивающие глаза индийца открывают его истинное лицо. Как бы ни нравилась Ганапати американская деловитость, как бы ни тосковал по американским гамбургерам, он принимает сторону вьетнамцев, потому что они — его братья-азиаты.

Вот и все. Тем эта история и кончается. Больше они о войне не говорят. И однако ж он пуще прежнего гадает — что делает Ганапати в Англии, в самом сердце ее, зачем работает над проектом, к которому не испытывает ни малейшего уважения? Не лучше ли б чувствовал он себя в Азии, сражаясь с американцами? Может, стоит поговорить с ним, сказать ему об этом?

А сам он? Если судьба Ганапати связана с Азией, с чем связана его судьба? Сможет ли Вьетконг закрыть глаза на его происхождение и принять его услуги, если не в качестве солдата или самоубийцы-подрывни-

ка, то хотя бы в качестве скромного разнорабочего? А если не Вьетконг, так его друзья и союзники китайцы?

Он пишет в китайское посольство в Лондоне. Поскольку он подозревает, что компьютеров у китайцев нет, о программировании он не упоминает. Он готов приехать в Китай и преподавать там английский, говорится в письме, внести свой вклад в борьбу мировых сил. Жалованье его устроит любое.

Он отправляет письмо и ждет ответа. А тем временем покупает "Самоучитель китайского языка" и начинает практиковаться в странных, произносимых сквозь сжатые губы звуках пекинского диалекта.

День проходит за днем, от китайцев — ни слова. Может, британская секретная служба перехватила его письмо и уничтожила? Она что же, перехватывает и уничтожает все письма, направляемые в посольство? Если так, какой смысл разрешать Китаю держать в Лондоне посольство? Или же секретная служба, перехватив его письмо, переслала его в Министерство внутренних дел с сопроводительной запиской, в которой говорится, что работающий в "Интернэшнл компьютерс" южноафриканец обнаружил прокоммунистические пристрастия? И теперь его выгонят с работы и вышлют из Англии по политическим мотивам? Если это случится, он протестовать не станет. Пусть судьба скажет свое слово; он готов принять его.

Во время наездов в Лондон он, как и прежде, заглядывает в кино, однако получаемое от этого удовольствие ему все больше и больше портит ухудшившееся зрение. Чтобы разбирать субтитры, приходится садиться в переднем ряду, да и там он щурится, напрягает глаза.

Он посещает офтальмолога и обзаводится очками в роговой оправе. Посмотрев в зеркало, он обнаруживает в себе еще пущее сходство с комичным изобретателем майора Аркрайта. С другой стороны, взглянув в окно, он с изумлением понимает, что видит на деревьях каждый листок. Сколько он себя помнит, деревья всегда выглядели расплывчатыми пятнами зелени. Может быть, ему следовало носить очки с детства? Не потому ли он так никудышно играл в крикет, не потому ли мяч вечно казался ему вылетающим ниоткуда?

В конечном счете все мы обретаем обличие наших идеальных "я", говорит Бодлер. Лицо, данное нам при рождении, медленно вытесняется желаемым, лицом наших тайных грез. Лицо, которое он видит в зеркале, это и есть лицо его грез — длинное, траурное, с мягким, ранимым ртом и пустыми глазами, укрывшимися ныне за стеклами.

Первый фильм, который он смотрит в новых очках, это "Евангелие от Матфея" Пазолини. Переживание тревожное. После пяти лет католического воспитания он полагал себя защищенным от притягательности образа Христова. Оказалось, что нет. Бледный, худой Иисус фильма, отшатывающийся от чужих прикосновений, расхаживающий босиком, изрекая пророчества и порицания, реален так, как никогда не был реален Иисус кровоточащего сердца. Он содрогается, когда гвозди пронзают ладони Иисуса, а когда гробница его оказывается пустой, и ангел возвещает скорбящим женам: "Не смотрите здесь, ибо он восстал", и взрывается "Missa Luba"[1], и простой народ, хромые и увечные,

1. Конголезская месса, сочиненная в 1950-х гг. голландским миссионером Удо Хаазеном.

презираемые и отвергнутые, бегут и ковыляют по всей земле с озаренными радостью лицами, разнося благую весть, сердце его норовит взорваться, слезы непонятного ликования текут по его щекам, и он, прежде чем выйти в привычный мир, украдкой отирает их.

В другой свой приезд в город он замечает в витрине букиниста на Чаринг-кросс-роуд толстенькую книжицу в фиолетовой обложке: "Уотт" Сэмюэла Беккета, изданный "Олимпия-пресс". "Олимпия-пресс" — издательство печально известное: обосновавшись в парижском раю, оно публикует англоязычную порнографию, распространяя ее по подписке в Англии и Америке. Однако есть у него и побочное направление — издание наиболее смелых авангардистских сочинений, той же "Лолиты" Владимира Набокова. Трудно представить себе, что Сэмюэл Беккет, автор "В ожидании Годо" и "Эндшпиля", стал бы писать порнографию. Что же это тогда за книга, "Уотт"?

Он перелистывает ее. Книга отпечатана тем же солидным шрифтом "сериф", что и "Избранные стихи" Паунда, шрифтом, означающим для него интимность, основательность. Он покупает книгу, привозит ее в дом майора Аркрайта. И с первой же страницы понимает, что напал на нечто значительное. Сидя в кровати, прислонясь спиною к подушке, он читает и читает при сочащемся из окна свете.

"Уотт" ничуть не похож на пьесы Беккета. Здесь нет столкновения, конфликта — просто льется и льется повествующий голос, и излияния эти то и дело сдерживаются сомнениями, колебаниями, а ход повествования точно отвечает ходу его собственных мыслей. "Уотт" еще и смешон, смешон настолько, что он катается от хохота по кровати. И, добравшись до конца, начинает читать снова.

Почему никто не сказал ему, что Беккет пишет романы? Как мог он думать, что хочет писать в манере Форда, когда все это время совсем рядом присутствовал Беккет? В Форде всегда ощущалось нечто от накрахмаленной рубашки — не нравившееся ему, да только он не решался в этом признаться, — нечто, связанное с высоко ценимыми Фордом сведениями о том, в каком магазине Вест-Энда можно купить самые лучшие водительские перчатки и как отличить "Медок" от "Бона"; а вот Беккет бесклассов, внеклассов — таким хотел бы стать и он сам.

Тестировать написанные им программы приходится на "Атласе", находящемся в Кембридже, — по ночам, когда математики, обладающие приоритетным правом доступа к компьютеру, спят. Поэтому каждую вторую или третью неделю он укладывает в сумку бумаги, рулоны перфоленты, пижаму, зубную щетку и отправляется поездом в Кембридж. Там он поселяется в отеле "Ройал" — за счет "Интернэшнл компьютерс". С шести вечера до шести утра он работает на "Атласе". Рано утром возвращается в отель, завтракает и заваливается спать. После полудня бродит по городу, иногда заходит в кино. А затем настает время возвращаться на ночную смену в Математическую лабораторию — огромное, похожее на ангар здание, в котором стоит "Атлас".

Такой распорядок устраивает его более чем. Ему нравятся поезда, нравится безликость гостиничных номеров, нравятся обильные английские завтраки — бэкон, сардельки, яйца, тосты, мармелад и кофе. Поскольку костюм носить не обязательно, он легко смешивается на улицах со студентами и даже выглядит как один из них. А проводить всю ночь

наедине, если не считать дежурного инженера, с огромным "Атласом", наблюдать, как рулон перфоленты — с написанными *им* кодами — проносится через считыватель, как начинают вращаться катушки магнитной ленты, как на консоли вспыхивают — по *его* команде — лампочки, — все это дает ему ощущение власти, детское, он понимает, но, поскольку никто за ним не присматривает, может беспрепятственно им наслаждаться.

Иногда приходится оставаться в Математической лаборатории и по утрам, чтобы посовещаться с сотрудниками факультета математики. Ибо все, что есть в программном обеспечении "Атласа" по-настоящему нового, исходит не от "Интернэшнл компьютерс", но от горстки кембриджских математиков. С определенной точки зрения, он просто один из подвизающихся в компьютерной индустрии профессиональных программистов, которых математический факультет Кембриджа подрядил для воплощения своих идей, как и "Интернэшнл компьютерс", с той же самой точки зрения — просто техническая фирма, нанятая Манчестерским университетом для создания спроектированного им компьютера. С этой же точки зрения, он всего-навсего оплачиваемый университетом искусный подмастерье, но никак не соратник блестящих молодых ученых, обладающий правом говорить с ними как с равными.

А они и вправду блестящи. Кто он, собственно, такой? — ничем не примечательный выпускник второразрядного университета из далекой колонии, получивший привилегию обращаться по имени к докторам математики, людям, которые, стоит им открыть рот, оставляют его, сбитого с толку, далеко позади, с трудом поспешающим за ними. Проблемы, над которыми он уныло бьется неделями, разрешаются ими в мгновение ока. И очень часто за этими, как ему представлялось, проблемами они различают проблемы *подлинные*, делая, чтобы не обижать его, вид, будто считают, что и он тоже их различает.

Действительно ли эти люди обретаются на таких высотах компьютерной логики, с которых тупость его даже и не видна, или — по причинам, ему невнятным, поскольку им он должен казаться просто пустым местом, — они снисходят до заботы о том, чтобы он не чувствовал себя униженным в их компании? Не к этому ли и сводится цивилизованность: к бессловесной договоренности — ни одного человека, каким бы незначительным он ни был, унижать ни в коем случае не следует. В Японии, сколько он знает, так оно и есть, но, может быть, и в Англии тоже? Как бы там ни было, это достойно лишь восхищения!

Он в Кембридже, в древнем университете, он водит дружбу с великими людьми. Ему даже вручают ключ от Математической лаборатории, от черного ее хода, чтобы он мог приходить в нее и уходить когда ему заблагорассудится. О чем еще можно мечтать? И все-таки нужно соблюдать осторожность, не увлекаться, не задирать нос. Он попал сюда благодаря удаче и ничему иному. Поступить в Кембридж он никогда не смог бы, он не настолько одарен, чтобы получить здесь стипендию. Следует попрежнему относиться к себе как к наемному подмастерью, иначе он обратится в такого же самозванца, каким был среди замечтавшихся шпилей Оксфорда Джуд Фоли[1]. Рано или поздно, и скорее рано, задачи его будут решены, ключ придется вернуть, поездки в Кембридж прекратятся. Что ж, по крайней мере пока он может наслаждаться всем этим.

1. Герой романа английского писателя Томаса Харди (1840–1928) "Джуд Незаметный".

Глава двадцатая

Третье его лето в Англии. Он и прочие программисты выходят после ланча на лужайку за "Поместьем", чтобы поиграть в крикет — теннисным мячиком и старой, найденной в чулане с метлами битой. В крикет он не играл с окончания школы, он тогда решил отказаться от этой игры на том основании, что командные виды спорта несовместимы с жизнью поэта и интеллектуала. Теперь он, к удивлению своему, обнаруживает, что игра доставляет ему немалое удовольствие. И не просто удовольствие — выясняется, что он и игрок-то хороший. Все приемы, которыми он с такими усилиями овладевал в детстве, незванно-негаданно возвращаются, исполняются с новой для него легкостью и сноровкой, поскольку и руки его стали сильнее, и бояться мягкого мячика не приходится. Он оказывается лучшим, гораздо лучшим, чем его коллеги, бэтсменом, да и боулером тоже. Как, спрашивает он себя, проводили эти молодые англичане свои школьные годы? Неужели он, выходец из колоний, должен показывать им, как играть в их собственную игру?

Увлечение шахматами сходит на нет, он снова погружается в чтение. Бракнеллская библиотека мала и скудна, однако работники ее исполнены готовности заказывать все, что ему потребуется, через библиотечную сеть графства. Он читает книги по истории логики, ищет подтверждений своей интуитивной догадки о том, что логика есть человеческая выдумка, а не часть ткани бытия, и стало быть (тут необходимо сделать несколько промежуточных шагов, однако этим можно будет заняться позже) компьютеры суть просто игрушки, изобретенные мальчишками (во главе с Чарльзом Бэббиджем) на потребу других мальчишек. Существует немалое число логик альтернативных, он убежден в этом (да, но какое?), и каждая из них ничем не хуже логики "или-или". Опасность игрушки, с помощью которой он зарабатывает на жизнь, опасность, обращающая ее в нечто большее, чем просто игрушка, в том, что она прожигает в мозгах людей, пользующихся ею, проводящие пути из разряда "или-или" и тем самым навсегда запирает их в темнице двоичной логики.

Он корпит над Аристотелем, Пьером Рамусом, Рудольфом Карнапом[1]. Большей части читаемого он не понимает, однако к непониманию ему не привыкать. Сейчас он пытается отыскать только одно — тот момент в истории, когда было выбрано "или-или", а "и/или" отброшено.

У него есть книги, есть работа (уже близкая к завершению диссертация о Форде, развенчание логики), чтобы заполнять ими пустые вечера, есть полуденный крикет, есть замечательный отель "Ройал" и роскошь ночей наедине с "Атласом", совершеннейшим компьютером в мире. Может ли холостяцкая жизнь, раз уж приходится вести холостяцкую жизнь, сложиться лучшим образом?

Только одна тень и лежит на всем этом. Вот уже год как он не написал ни единой стихотворной строчки. Что с ним случилось? Быть может, искусство и вправду порождается только страданием? И для того чтобы писать, он должен вновь погрузиться в страдания? Но разве не существует поэзии экстаза и даже поэзии полуденного крикета — как

1. Пьер де ла Рамус (1515–1572) — французский философ-гуманист, логик и математик; резко критиковал схоластический аристотелизм. Рудольф Карнап (1891–1970) — немецко-американский философ и логик, ведущий представитель логического позитивизма и философии науки.

разновидности экстаза? Так ли уж важно, что именно движет поэзией — пока она остается поэзией?

Хоть "Атлас" и не создан для работы с текстами, он тратит глухие ночные часы на то, чтобы распечатывать тысячи строк в манере Пабло Неруды, используя в качестве лексикона подборку наиболее ярких слов из "Высот Мачу-Пикчу" в переводе Натаниела Тарна. Он приносит толстые пачки бумаги в отель "Ройал" и тщательно их изучает. "Ностальгия заварочных чайников". "Бесшабашные всадники". Если он не способен, пока что, писать стихи, исходящие из сердца, если сердце его пребывает не в том состоянии, чтобы рождать собственную поэзию, разве не может он, по крайности, составлять псевдостихи из фраз, рожденных машиной, и таким образом, производя сопряженные с писательством действия, снова научиться писать? Сюрреалисты записывали слова на клочках бумаги, перемешивали их в шляпе и, наудачу вытаскивая, составляли из них строки. Уильям Берроуз разрезал страницы, перетасовывал их куски, а после склеивал один с другим. Не тем же ли занят и он? Не способно ли его орудие — какой еще поэт в Англии, да и во всем мире, имеет в своем распоряжении машину таких размеров — обратить количество в качество? И можно ли утверждать, что изобретение компьютеров изменило саму природу искусства, сделав сочинителя и состояние его души мало что значащими? Он же слышал по Третьей программе музыку, передаваемую из студии Кёльнского радио, музыку, слепленную из завываний и потрескиваний электронных устройств, уличных шумов, фрагментов старых граммофонных записей и человеческой речи. Не пора ли поэзии отправиться вдогонку за музыкой?

Он посылает несколько своих, то есть сооруженных из нерудовских, стихотворений кейптаунскому знакомому, и тот публикует их в журнале, который сам издает. Один из его компьютерных опусов перепечатывает местная газета — сопроводив издевательским комментарием. На день-другой он приобретает в Кейптауне прискорбную славу варвара, возмечтавшего подменить Шекспира машиной.

Помимо "Атласов", установленных в Кембридже и Манчестере, существует еще и третий. Этот находится в принадлежащем Министерству обороны научно-исследовательском центре атомного оружия под Олдермастоном. После того как написанное для "Атласа" программное обеспечение проходит тестирование и признается пригодным, его следует инсталлировать на олдермастонской машине. Инсталляцией же полагается заниматься программистам, которые его написали. Однако сначала программисты эти должны пройти проверку на благонадежность. Каждому из них выдают для заполнения длинную анкету с вопросами о семье, обстоятельствах жизни, опыте работы; каждого посещают на дому люди, которые представляются полицейскими, но, скорее всего, служат в военной разведке.

Все программисты-англичане получают допуски, а с ними и карточки, которые следует носить при посещениях Центра на шее, карточки с их фотографиями. После того как они появляются на входе в Олдермастон, их отводят в здание, где установлены компьютеры, и оставляют там более-менее вольно разгуливать по нему.

А вот что касается его и Ганапати, о допусках, поскольку они иностранцы или, как называет это Ганапати, неамериканские иностранцы, не мо-

жет идти и речи. Поэтому к ним прямо за воротами Центра приставляют персональных стражей, которые переводят их с места на место, не спускают с них глаз, а вступать в разговоры отказываются. Если кому-то из них требуется сходить в туалет, охранник торчит у двери кабинки; когда они едят, охранники стоят за их спинами. Разговаривать с другими людьми из "Интернэшнл компьютерс" им разрешается, но и ни с кем больше.

Его помощь мистеру Помфрету в пору Ай-би-эм, как и участие в разработке бомбардировщика TCP-2, задним числом выглядят такими пустяковыми, даже комичными, что успокоить по этому поводу свою совесть ему не составляет труда. Олдермастон — совсем другое дело. За несколько недель он провел здесь десять полных дней. И когда все закончилось, подпрограммы управления магнитными лентами работали так же хорошо, как в Кембридже. Свое дело он сделал. Разумеется, существуют и другие люди, которые могли бы инсталлировать его подпрограммы, однако у них получилось бы хуже, чем у него, написавшего эти процедуры и знающего их досконально. Да, другие могли бы выполнить эту работу, но ведь не выполнили. Он мог отвертеться от нее (мог, к примеру, повести себя при каменноликом охраннике так, чтобы тот усмотрел в его действиях, а стало быть и в душевном состоянии, нечто странноватое), но не отвертелся же. Помощь мистеру Помфрету, возможно, и была пустяком, однако притворяться перед самим собой, будто и Олдермастон — пустяк, он не может.

В таком месте, как Олдермастон, бывать ему еще не приходилось. На Кембридж оно не похоже нисколько. Комнатушка, в которой он работает, как и любая другая в этом здании, дешева, функциональна, неказиста. Да и вся база, все ее приземистые, разбросанные в беспорядке кирпичные постройки уродливы — уродливостью места, знающего, что никто его не увидит, а и увидит, так не обратит внимания, места, скорее всего понимающего, что, когда начнется война, его-то первым делом и сотрут с лица земли.

Разумеется, здесь есть умные люди, нечего и сомневаться, такие же умные, как кембриджские математики, или почти такие же. И разумеется, те, мимо кого он проходит в коридорах, те, с кем разговаривать ему не дозволено, начальники отделов, исследователи, инженеры первого, второго и третьего разрядов, вполне могут быть выпускниками Кембриджа. Да, программы, которые он инсталлирует, написаны им, однако задуманы-то они людьми из Кембриджа, людьми, которые не могут не сознавать, что у компьютера, стоящего в Математической лаборатории, имеется в Олдермастоне злокозненный брат. И руки тех кембриджцев ненамного чище его. Тем не менее он, проходя через эти ворота, дыша здешним воздухом, становится соучастником гонки вооружений, холодной войны, солдатом, да еще и сражающимся на неправой стороне.

Испытания, выпадающие ему теперь, обрушиваются без предварительного предупреждения, да и не обозначают себя испытаниями. И все-таки оправдывать себя их нежданностью сложно. С самого того мгновения, когда впервые было произнесено слово "Олдермастон", он знал, что Олдермастон станет для него испытанием, и знал, что испытания этого он не пройдет, что его на это не хватит. Работая в Олдермастоне, он посвятил себя злу и оказался, в определенном смысле, повинным в этом куда больше, чем его коллеги-англичане — они, отказавшись участвовать в злом деле, рискнули бы своими карьерами гораздо серьезнее,

чем он, перекати-поле, человек посторонний в дрязгах, происходящих между Британией и Америкой, с одной стороны, и Россией, с другой.

Опыт. Вот слово, к которому он был бы рад прибегнуть, чтобы оправдаться перед собой. Художнику нужен опыт — от самого возвышенного до самого низкого. Участь художника — испытывать и высшую радость творчества, и все, что есть в жизни жалкого, убогого, постыдного. Во имя опыта он и прошел через Лондон, через убийственные дни, проведенные им в Ай-би-эм, через ледяную зиму 1962-го, через один унизительный роман за другим — через все стадии жизни поэта, каждая из которых была испытанием для его души. Вот так же и к Олдермастону — к жалкой комнатушке, в которой он работает, с ее пластмассовой мебелью, с видом на зады котельной в окне, с вооруженным охранником за спиной — можно относиться как к опыту, к очередному шагу на пути в глубины.

Оправдание это не кажется ему убедительным даже на миг. Все это софистика, жалкая софистика. А если он и дальше будет уверять себя, будто ложиться в постель с Астрид и ее плюшевым мишкой значит познать нравственное унижение, а скармливать себе одну ложь за другой значит познать унижение интеллектуальное, софистика эта лишь станет еще более худосочной. Не существует, если быть безжалостно честным, ничего, что можно сказать в оправдание отсутствия для нее оправданий. Что до безжалостной честности, так это фокус не такой уж и замысловатый. Напротив, проще не бывает. Ядовитая жаба сама для себя не ядовита — точно так же и человек быстренько обрастает шкурой, которую никакой собственной честностью не прошибешь. Довольно рассусоливать, довольно разговоров! Важно только одно: поступать правильно, а уж на разумных основаниях, на неразумных или вовсе без оснований — это существенного значения не имеет.

Сообразить, что правильно, а что нет, не так уж и трудно. Ему не требуются долгие раздумья, чтобы понять, какое поведение будет самым правильным. Он может, если захочет, вести себя правильно, почти безупречно. Останавливает его только одно — вопрос о том, удастся ли ему, поступая правильно, остаться поэтом. Пытаясь представить себе, какого рода поэзия может проистечь из правильного, правильного и еще раз правильного поведения, он видит одну только голую пустоту. Все правильное скучно. Что и заводит его в тупик: он предпочел бы быть скорее дурным, чем скучным; он не питает уважения к людям, предпочитающим быть скорее дурными, чем скучными; как и к тем, кому хватает ума, чтобы дать точное словесное описание его дилеммы.

Несмотря на крикет и книги, несмотря на вечно радостных птиц, щебечущих, приветствуя восход солнца, в кроне яблони под его окном, коротать выходные оказывается для него делом трудным — в особенности воскресенья. Воскресные пробуждения страшат его. Существуют ритуалы, помогающие пережить воскресенье, сводятся они главным образом к выходу из дома на предмет покупки газеты, к чтению ее на диване и вырезыванию из нее шахматных задач. Однако газеты хватает от силы часов до одиннадцати, да и чтение воскресных приложений — слишком уж очевидный способ убиения времени.

Да, он убивает время, старается убить воскресенье, чтобы поскорее настал понедельник, а с понедельником и облегчение — работа. С тех пор как он сошел в Саутгемптоне на берег, он только одним и занимался — убивал время, ожидая прихода судьбы. В Южной Африке, говорил он се-

бе, судьбы дожидаться нечего; она может прийти (прийти подобно новобрачной!) только в Лондоне, или в Париже, или в Вене, потому что судьба обитает лишь в великих европейских городах. Почти два года он прождал, мучаясь, в Лондоне, однако судьба так к нему и не явилась. Ныне, поняв, что жизнь в Лондоне для него непосильна, он отступил в провинцию — совершил стратегический отход. Заглядывает ли судьба в провинцию, он не уверен, даже если это провинция английская, до которой от Лондона час езды по железной дороге.

Разумеется, в душе он понимает — никакая судьба не придет к нему, если он сам ее к тому не принудит. Надо сесть и начать что-то писать, иного пути нет. Но не может же он начать писать, пока не наступил нужный момент, а как бы скрупулезно он ни приготовлялся, убирая все со стола, правильно располагая настольную лампу, отчерчивая по линейке поля на чистых страницах, сидя с закрытыми глазами, освобождая голову от посторонних мыслей, — как бы ни старался, слова не идут к нему. Или, вернее, слов-то приходит много, но это не те слова, не те предложения, которые он сразу опознал бы — по их весомости, складу и соразмерности — как предначертанные судьбой.

Он ненавидит эти борения с чистым листом, ненавидит настолько, что начинает их избегать. Ему не под силу сносить тягость отчаяния, которое наваливается на него после каждой бесплодной попытки, понимание, что он снова потерпел неудачу. Лучше не увечить себя подобным образом, опять и опять. Так можно и утратить способность откликнуться на зов, когда тот прозвучит, стать слишком слабым, слишком придавленным.

Он хорошо сознает, что его несостоятельность как писателя и несостоятельность как любовника настолько отвечают одна другой, что вполне могут быть одним и тем же. Он мужчина, поэт, творец, действенное начало, а мужчине не должно ждать, когда к нему явится женщина. Напротив, это женщине надлежит ожидать мужчину. Женщина — та, кто спит, пока ее не пробудит поцелуй принца; женщина — бутон, распускающийся под ласками солнечных лучей. И пока он не приневолит себя к действию, ничего не произойдет — ни в любви, ни в искусстве. Да только не верит он в волевые усилия. Точно так же, как он не может заставить себя писать, как вынужден дожидаться воздействия некоей внешней силы — той, что привычно зовется Музой, — так не может он и приблизиться к женщине без некоего намека (от кого? — от нее? от себя? свыше?) на то, что это и есть его суженая. Если он приближается к женщине в другом настроении, все кончается тягостной связью вроде возникшей между ним и Астрид, связью, которой он норовит избежать еще до того, как она возникает.

Все это можно описать иначе и гораздо грубее. Собственно говоря, способов есть сотни — он мог бы провести остаток жизни, их перебирая. Однако самый грубый способ — сказать, что он боится: боится писательства, боится женщин. Он может, конечно, кривиться, читая стихи, напечатанные в "Амбит" и в "Агенда", однако они по крайней мере напечатаны, явлены миру. Как знать, быть может, авторы их провели целые годы, неприязненно гримасничая, подобно ему, перед чистым листом? Гримасничать-то они гримасничали, но ведь собрались наконец с силами и написали, как уж сумели, то, что должны были написать, и отнесли написанное на почту, и стерпели унижение отказа, как и равное ему унижение — увидеть свои излияния, при всей их убогости, в безучастной печати. И

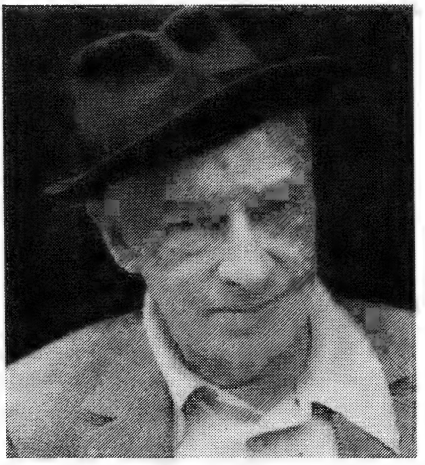
точно таким же образом эти люди могли бы найти повод, как бы ничтожен он ни был, заговорить в подземке с какой-нибудь красавицей-девушкой, а если бы та отвернулась или произнесла по-итальянски нечто презрительное, обращаясь к подруге, что ж, они молча снесли бы отпор, и на следующий день попытали бы счастья снова, с другой девушкой. Вот как это делается, как это все работает. И рано или поздно им, этим мужчинам, этим поэтам, этим любовникам улыбается удача: девушка, какой бы возвышенной красотой она ни обладала, отвечает на их слова, а там мало-помалу жизни их преображаются, его и ее, тем все и заканчивается. Что еще требуется любовнику, писателю, как не тупое, бесчувственное упорство — упорство и готовность вновь и вновь терпеть неудачу?

Его же беда в том, что к неудаче он не готов. Он хочет оценки отлично, "альфа", ста процентов успеха для каждой своей попытки, размашистого "Превосходно!" на полях. Смешно и глупо! Ребячество! Да что говорить — он и сам это понимает. И тем не менее. Тем не менее ничего он тут поделать не может. Во всяком случае сейчас. Может быть, завтра. Может быть, завтра создастся нужное настроение, может быть, он наберется храбрости.

Будь он человеком более теплым, ему, несомненно, было бы легче: в жизни, в любви, в поэзии. Однако в натуре его нет теплоты. Да поэзия и не рождается из теплоты. Рембо не был теплым человеком. И Бодлер не был. Горячим — да, когда это требовалось — горячим в жизни, горячим в любви, — но не теплым. Он тоже способен быть горячим, вера в это не покидает его. Но в настоящем, в настоящем неопределенном, он холоден: холоден, студён.

И к чему же приводит отсутствие в нем тепла, отсутствие сердца? К тому, что воскресным вечером он одиноко сидит в комнате под самой крышей дома, стоящего в беркширской глуши, — вороны каркают в полях, и серое марево затягивает небо, — а он сидит и играет сам с собой в шахматы, старея, ожидая наступления вечера, когда можно будет с чистой совестью поджарить себе на ужин сардельки и хлеб. В восемнадцать он мог быть поэтом. Ныне он не поэт, не писатель, не художник. Он программист, двадцатичетырехлетний программист, проживающий в мире, в котором тридцатилетних программистов не существует. В тридцать лет человек уже слишком стар, чтобы быть программистом, и потому он становится кем-то еще — каким-нибудь бизнесменом — или пускает себе пулю в лоб. Лишь потому, что он молод, потому, что нейроны его еще срабатывают более-менее безотказно, и удалось ему зацепиться в британской компьютерной индустрии, в британском обществе, в самой Британии. Он и Ганапати — две стороны одной монеты: Ганапати голодает не потому, что оторвался от Матери-Индии, но потому, что неправильно питается, потому, что, несмотря на его магистерскую степень, ничего не смыслит в витаминах, минеральных веществах и аминокислотах; он же играет сам с собой в игру на измор, с каждым ходом загоняя себя все дальше и дальше в угол, в поражение. Рано или поздно за Ганапати приедет "скорая помощь" и санитары войдут в его квартиру и вынесут его на носилках, с лицом укрыв простыней. Что ж, когда они унесут Ганапати, пусть приходят за ним.

Сол Беллоу



Писатели, интеллектуалы, политики: воспоминания о главном

Перевод с английского Марии Штейнман

Когда в 1917 году большевики пришли к власти, мне было всего два года. Родители мои уехали из Санкт-Петербурга в Монреаль в 1913-м, и российская жизнь была еще свежа в их памяти. За обеденным столом разговоры о царе, войне, фронте, Ленине, Троцком велись так же часто, как и об оставшихся по ту сторону границы дедушке и бабушке, сестрах и братьях. В еврейской среде падение империи воспринималось как совершеннейшая фантастика. Скептически настроенные эмигранты "со стажем" были уверены, что большевистские выскочки долго не продержатся. Однако их повзрослевшие дети страстно желали участвовать в революции. Помню, как мой отец спорил на улице с сыном учителя иврита, Левой, который, по его же словам, уже купил Schiffskarte[1]. Отец кричал, что новый режим — полная чушь; но поскольку молодые должны проявлять уважение к старшим, Лева в ответ только улыбался — почтительно, но непреклонно. Он уехал строить новый мир вместе с Лениным и Троцким. И пропал.

© S. Bellow, 1994
© Мария Штейнман. Перевод, 2005

1. Билет на пароход (*нем.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Гораздо позже, после переезда семьи в Чикаго, когда я стану уже достаточно взрослым, чтобы читать Маркса и Ленина, отец скажет: "Не забывай, что случилось с Левой. А сколько лет нет вестей от моих сестер! Слышать не хочу о твоей России и твоем Ленине".

Но для меня родители были прежде всего русскими, сохранявшими забавные, специфически русские привычки. Так, они привезли с собой из Санкт-Петербурга целый сундук с парчовыми жилетами, цилиндрами, фраками, льняными ночными рубашками с плоеными вставочками на груди, нижними юбками из черной тафты, страусовыми перьями и женскими башмачками на пуговках и высоком каблуке. Все эти сокровища были абсолютно бесполезны и в Ultima Thule провинциального Монреаля, и в пролетарском Чикаго и сгодились лишь для детских забав. Старшие изо всех сил старались побыстрее американизироваться, младшие следовали их примеру. Страна приняла нас и вобрала в себя. То была единая страна, а не конгломерат различных "культур". Попав сюда, мы сознавали, как нам повезло.

Однако мои соученики, дети чикагских эмигрантов, каким-то образом умудрялись сохранять в себе ощущение "русскости". Изучая шекспировского "Макбета" и "L'Allegro" Мильтона, они одновременно читали Достоевского и Толстого, а затем неминуемо переходили к "Государству и революции" Ленина и памфлетам Троцкого. В дискуссионном клубе нашей школы обсуждался "Манифест коммунистической партии"; неподалеку на главной улице эмигранты из интеллигентов произносили речи, стоя на коробках из-под мыла, а на "трибуне" (в зале для церковных собраний на Калифорнийской авеню) шли бурные споры между социалистами, коммунистами и анархистами, привлекавшие толпы людей. Со всего этого и началась моя "левизна". По совету друзей я взялся за Маркса и Энгельса. Помню, как, сидя в унылой отцовской конторе вблизи от железнодорожных складов, я запоем читал о прибавочной стоимости, а в это время по соседству полиция громила публичный дом (вполне возможно за отказ платить взятки) — из разбитых окон летели кровати, матрасы и стулья.

В конце 30-х меня попыталась было вовлечь в свои ряды Коммунистическая лига молодежи. Но не тут-то было! Я уже прочел памфлет Троцкого, посвященный германскому вопросу, и был убежден, что Гитлеру удалось прийти к власти лишь благодаря ошибкам Сталина.

Удивительно, как быстро распространялась информация о политических событиях и каких глухих уголков она достигала! Вот выдержка из интервью, которое в 1923 году Мандельштам взял у некоего члена Коминтерна: "Как влияет движение Ганди на Индокитай? Сочувствуют ли у вас его идеям?" — "Нет", — ответил собеседник. Собеседника звали тогда Нгуен Ай Квонг, позже он стал известен под именем Хо Ши Мина. Мандельштам так описывает его: "В глубине души он, похоже, ощущал себя мальчишкой. Худенький, гибкий, в щеголеватой вязаной тужурке".

Надо признать, что к Коминтерну присоединилось очень немного молодежи. Тем не менее для миллионов молодых людей Октябрьская революция превратилась в символ недостижимой свободы и справедливости. На несколько десятилетий революция стала самым значительным историческим событием. Ее горячие сторонники были убеждены, что отныне наступит конец войнам и что революционный пролетариат России несет надежду всему человечеству. Теперь под предводительством коммунистов угнетенные всего мира уничтожат загнивающий им-

периализм. В Чикаго времен Великой депрессии юноши, да и девушки пытались ввести в какое-то русло свой революционный настрой. Выработать программу действий не получалось, но все равно — перспектива открывалась грандиозная. Полной идеологической ясности, впрочем, достигнуть было не так-то просто.

В колледже (1933) я был троцкистом. Система взглядов, которую усвоили юные последователи Троцкого, была из тех, что свойственны побежденным и изгоям. Молодые люди вроде меня, став членами движения, хранили верность идеалам ленинизма, знали в деталях его исторические уроки и могли перечислить все преступления Сталина. Однако активистами ни я, ни мои ближайшие друзья не были — мы ощущали себя писателями. Из-за продолжавшейся Депрессии о карьере заботиться не приходилось. Обычно мы пробавлялись пятью-шестью баксами в неделю. И если комнатенки мы снимали крохотные, то библиотеки посещали величественные и прекрасные. Время требовало активных действий, но нашим ответом на требования текущего момента было обдумывание "политики революции". Гораздо большее значение имела духовная пища, которой снабжали нас Достоевский и Герман Мелвилл, Теодор Драйзер, Джон Дос Пассос и Уильям Фолкнер. Заполнив бланк в библиотеке на Рэндолф-стрит, можно было получить всю подшивку "Даэла"[1] и заполнить долгие послеполуденные часы чтением Т. С. Элиота, Рильке и Каммингса. Впрочем, до конца 30-х годов "Даэлом" для нас служил "Партизан ревью". Благодаря ему мы знакомились с книгами наших знаменитых современников-европейцев: Силоне[2], Оруэлла, Кёстлера, Мальро, Андре Жида и Одена. Как правило, американские авторы "Партизан ревью" — критики и философы — были марксистами: Дуайт Макдональд, Джеймс Бёрнхем, Сидни Хук, Клемент Гринберг, Майер Шапиро и Харольд Розенберг[3]. Печатавшиеся там интеллектуалы вполне закономерно примкнули к Троцкому во время знаменитых московских политических процессов. Хук убедил своего учителя Джона Дьюи возглавить комиссию по расследованию, работавшую в Мехико. Мы пристально следили за ее работой, следили с горечью и страстью, поскольку причисляли себя к оппозиции, находившейся извне, а сталинисты жили в России и вершили суд. В США только мы знали, какие они негодяи. Рузвельт и его сторонники Нового курса не имели об этом ни малейшего представления. Они не понимали ни России, ни коммунизма.

Постепенно становилось все яснее, как глупо, а то и совершенно бессмысленно выглядит наше собственное движение. Например, во время Гражданской войны в Испании вопрос о материальной помощи Испанской республике бурно обсуждался товарищами, у которых в кар-

1. "Даэл" — американский журнал, издавался с 1840 г.; с 1920 по 1929 гг. представлял собой своеобразный рупор творческой интеллигенции.
2. Игнацио Силоне (1900—1978) — итальянский писатель; по убеждениям социалист и антифашист.
3. Дуайт Макдональд (1906—1982) — американский журналист, один из самых непримиримых нью-йоркских интеллектуалов-радикалов, в разное время заявлял о себе как о троцкисте, социалисте, пацифисте, анархисте; Джеймс Бёрнхем (1905—1987) — американский экономист, философ, публицист, бывший марксист, ставший идеологом американского консерватизма; Сидни Хук (1902—1989) — американский философ, преподаватель Нью-Йоркского университета, в 30-е гг. — лидер антикоммунистов-экстремистов; Клемент Гринберг (1909—1994) — один из самых влиятельных американских критиков послевоенного периода, знаток авангарда и американского модернизма; Майер Шапиро (1904—1996) — американский искусствовед, преподаватель Колумбийского университета, исследователь модернизма и философии искусства; Харольд Розенберг (1906—1978) — американский искусствовед, изучавший абстрактный экспрессионизм.

мане не было ни гроша. Еще более серьезным испытанием стало для нас вторжение Красной Армии в Финляндию. Троцкий утверждал, что государство рабочих и крестьян не способно вести империалистические войны по определению. Происшедшее вторжение несет с собой прогресс и приведет к национализации частной собственности, что можно считать решительным поворотом в сторону социализма. Верный идеалам Октябрьской революции, Троцкий яростно спорил с несогласными, число которых все увеличивалось. В наших рядах назревал раскол, но ничего этого не существовало для остальных американцев, предпочитавших "Фантазию" Диснея[1] любой политической возне.

Перестав к тому времени увлекаться марксизмом, я по-прежнему восхищался Лениным и Троцким. В конце концов, впервые я услышал о них, когда сидел на высоком стульчике и меня кормили с ложечки картофельным пюре. Разве можно было забыть, что именно Троцкий создал Красную Армию и что даже на фронте, во время наступления на Деникина, он читал французские романы? А чего стоили его блестящие речи перед потрясенными толпами? Революция еще сохраняла свой магнетизм. К тому же под ее влияние подпали наиболее уважаемые литераторы и мыслители. Побывавший в России Эдмунд Уилсон[2] рассуждал о "новом нравственном ориентире для всего мира" — тот самый Уилсон, который в свое время открыл нам Джойса и Пруста! Он написал свою историю воплощения революционной идеи: книга "К Финляндскому вокзалу" вышла в 1940 году. А ведь к тому времени уже была оккупирована Польша, да и Франция находилась под властью нацистов.

1940 год стал также годом убийства Троцкого. В то время я находился в Мексике и благодаря содействию одной из его европейских приятельниц даже договорился о встрече с ним. Он согласился принять меня и моего знакомого в Кульякане. Но утром назначенного дня его убили. Мехико встретил нас газетными передовицами, сообщавшими об этом. На вилле, которую он занимал, подумали, что мы иностранные журналисты, и направили в больницу. В приемном покое царил полный хаос. Достаточно было произнести фамилию "Троцкий", и нас тут же провели в палату. Открылась дверь небольшой боковой комнатки, и мы его увидели. Он только что скончался: вся голова в окровавленных бинтах, щеки, нос, борода, горло — в пятнах крови и подтеках йода.

Говорили, что Троцкий предупреждал: Сталин может убить его в любой момент. Теперь мы понимали, как длинны руки у этой власти и на что она способна: деспот не задумываясь выносит смертные приговоры, ему ничего не стоит уничтожить всех нас, просто отдав приказ. В свете происшедшего какими уязвимыми мы себе показались — со всеми нашими историко-философскими учениями, идеалами, программами, целями, стремлениями!

В период Великой депрессии стыдно было иметь постоянную работу и жить в мещанском достатке. Капитализм явно терял контроль над страной. Многим тогда казалось, что свержение правительства не за горами.

1. Музыкальный мультипликационный фильм "Фантазия" (1940) был создан У. Диснеем совместно с выдающимся дирижером Леопольдом Стоковским. Полнометражный мультфильм со стереоскопическим эффектом стал сенсацией индустрии развлечений.
2. Эдмунд Уилсон (1905–1972) — американский литературный критик, писатель и журналист; книга "К Финляндскому вокзалу" (1940) посвящена большевистским лидерам.

В первые годы Депрессии политика коммунистического руководства (известного своей неуступчивостью и суровостью) фактически не имела успеха в США. Но когда Гитлер уничтожил левые партии Германии, в стране был объявлен новый курс — политика Народного фронта. Для американских коммунистов Народный фронт, отличавшийся умеренностью и терпимостью, был большой удачей. Партия наконец избавилась от засилия иностранных слов и заговорила на языке бедноты. Зазвучали народные песни под гитару. В центре нового пантеона теперь стояли не Ленин и Сталин, а Джефферсон и Линкольн. Судя по разговорам у домашнего очага, рузвельтовская философия Нового курса обещала людям спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Генри Уоллес[1] объявил наш век эпохой простого человека. Народный фронт пропагандировал новый популизм, и коммунистическая партия в кои веки получила шанс возглавить общественную жизнь. Страна явно переживала культурное возрождение. Писателям и актерам предоставляли работу хорошо финансируемые организации Народного фронта и сочувствующих ему кругов. Одним словом, левые неожиданно разбогатели.

Сам я тоже сочувствовал Новому курсу — до конца 30-х годов участвовал в проекте WPA[2], организованном для помощи писателям. Звезды нашего чикагского отделения Джек Конрой и Нельсон Ольгрен не входили в число фаворитов компартии. Ольгрен и в самом деле был эдаким богемным оригиналом в чикагском стиле, к тому же, увы, слишком легко подхватывал любую идеологическую инфекцию. Из начинающих даровитых писателей очень немногие избежали влияния Народного фронта. Я имею в виду не только тех, кто позже стал жертвой истерии, нагнетаемой Маккарти, но и некоторых известных авторов, пишущих для "Нейшн" и "Нью рипаблик", которые во время Гражданской войны в Испании последовательно поддерживали курс компартии (например, Малколм Коули). Народный фронт обладал весьма типичным и узнаваемым стилем. Соответствующая "культура письма" характерна для таких авторов, как Клиффорд Одетс, Лиллиан Хеллман или Далтон Трамбо[3], а также для критиков или радиосценаристов, чьи фамилии уже никому ничего не скажут. Этот стиль дожил и до сегодняшнего дня — достаточно за званым обедом упомянуть имена Уиттакера Чэмберса, Элджера Хисса, Роберта Оппенгеймера или супругов Розенберг[4], чтобы по-

1. Генри Уоллес (1888—1965) — американский государственный деятель, журналист, ведущий представитель либерального крыла Демократической партии.
2. WPA (Works Progress, позже Work Projects Administration) — государственный проект по поддержке писателей, действовавший с 1936-го по 1940 г.
3. Клиффорд Одетс (1906—1963) — американский драматург и сценарист, придерживавшийся принципов так называемой "пролетарской драмы". В созданных в эпоху Великой депрессии пьесах критиковал капитализм; Лиллиан Хеллман (1905—1984) — американская писательница, драматург, как и Клиффорд Одетс, находилась в сфере пристального внимания Комитета по антиамериканской деятельности; Далтон Трамбо (1905—1976) — американский писатель и сценарист, член так называемой "голливудской десятки", в 1947-м отказавшийся сотрудничать с Комитетом по антиамериканской деятельности и занесенный в "черный список".
4. Уиттакер Чэмберс (1901—1961) — американский журналист, член Коммунистической партии США, бывший сотрудник советской военной разведки; Элджер Хисс (1904—1996) — американский дипломат, в составе американской делегации принимал участие в Ялтинской конференции (1945), является одним из разработчиков Устава ООН, в 1948 г. ему было предъявлено обвинение в шпионаже в пользу СССР; Юлиус Роберт Оппенгеймер (1904—1967) — американский ученый-физик, возглавивший проект по созданию атомной бомбы "Манхэттен"; супруги Юлиус Розенберг (1918—1953) и Этель Розенберг (1915—1953) — американские коммунисты, осужденные и казненные за шпионаж в пользу СССР.

лучить исчерпывающее представление, сколь стойкими остаются взгляды и догмы 30-х предвоенных и первых послевоенных годов.

Нельзя не согласиться с мыслью Чарльза Фэрбенкса[1] о том, что в нашем столетии исчерпывающее определение интеллектуала дал тоталитаризм. "Передовой отряд", действовавший в октябре 1917 года под предводительством Ленина, состоял из интеллектуалов; да и само это великое историческое событие оказало немалое воздействие на интеллектуалов в странах Запада. Политические активисты служили ярким тому доказательством. С другой стороны, пример большевиков влиял тогда на всех. Троцкий и Т. Э. Лоуренс[2], вероятно, самые выдающиеся интеллектуалы, появившиеся после Первой мировой войны. Один когда-то занимал важный пост при Ленине, другой был хрупким ученым-затворником, своего рода шекспировским Фортинбрасом, вдруг материализовавшимся в Аравийской пустыне. Мальро — эстета и теоретика, жаждавшего поначалу революционных действий и демонстрировавшего характерную склонность к насилию во имя великой цели, — вдохновили и тот и другой. Сам он, в свою очередь, повлиял на французских писателей 40-х: Сартр безусловно был одним из его последователей. Многие не только во Франции, но и во всем мире старались ему подражать — до тех пор, пока он не отрекся от революции. Это наложило свой отпечаток и на Артура Кёстлера, который зачастую сознательно шел навстречу опасности. Но все это происходило во Франции в 30-е — до того, как наступило время Режиса Дебре[3], когда левые заявили о себе как о солдатах революции.

В 20-е годы берлинские интеллектуалы, со своей стороны, адаптировали ленинский стиль для собственных нужд. В "Мероприятии" (1930) Бертольт Брехт показал, что центральный принцип ленинизма состоит в главенстве партии, и с необыкновенной силой и выразительностью изобразил трагедию партийного работника, который не в состоянии отказаться от личных интересов, как требует того История. Мартин Эслин[4] дает исчерпывающую характеристику самому Брехту, точнее маске, которую носил на людях этот литературный enfant terrible: шоферская куртка и замасленная кепка с козырьком — в таком вот пролетарском костюме он "катил по Берлину на большой скорости; но при этом — очочки в стальной оправе в духе мелкого чиновника или деревенского учителя". Самого Ленина тоже называли учителем из Симбирска — Уилсон дал ему прозвище "Директор гимназии". Геркулес притворялся безобидным педантом. Стилю Ленина подражали и богемные интеллектуалы из Гринич-виллидж. Это удачно прокомментировал критик Клемент Гринберг, который, впрочем, и сам находился под большим впечатлением от личности "Директора гимназии". Он так отзывается о Брехте: "Заветы Ленина стали для него неизменным образцом для подражания, а больше-

1. Чарльз Уоррен Фэрбенкс (1852–1918) — американский политический деятель, вице-президент США в 1905–1909 гг.
2. Томас Эдуард Лоуренс (1888–1935) — британский исследователь и путешественник, известен под именем Лоуренса Аравийского, военный; автор книги "Семь столпов мудрости".
3. Режис Дебре (р. 1928) — французский политолог и эссеист. В книге "Писец. Происхождение политики" (1980) предложил своеобразную схему современной политической жизни, связав воедино государство, средства массовой информации и интеллигенцию. Характерно, что интеллектуалов он разделил на "высоких" и "низких" — тех, кто создает оригинальные произведения, и тех, кто ими пользуется.
4. Мартин Эслин (1918–2002) — английский театровед, критик, впервые использовал термин "театр абсурда"; исследователь творчества Б. Брехта.

визм — образом жизни и верхом добродетели". И далее: "Последователи Ленина и Троцкого во всем копировали своих предводителей, старательно воспитывая в себе резкость, ограниченность, которая сходила за самоотверженность, и, наконец, решительную неспособность понимать других, что в конце концов и стало фирменным знаком 'профессиональных революционеров'. Такая тщательно взращенная и хорошо натренированная узость мышления убивает воображение и непосредственность восприятия". Эта трезвая оценка, попавшаяся мне на глаза много лет тому назад, лишь увеличила мое уважение к Гринбергу. Необыкновенно проницательно! К тому же среди гуманитариев он и сам возвышался, как Ленин над толпой. Многие одаренные интеллектуалы того времени явно "напитывались" ленинизмом. Они были радикалами. Понятия "жизнь" и "личность" стали для них пустым звуком, чем-то вроде еще одной, дополнительной разновидности частной собственности. До сантиментов ли, когда надо искоренять пороки, бороться со всякими изысками и буржуазными пережитками, вливаться в авангард, испепелять пошлость — и все это силой революционной мысли!

Революцию в России совершила горстка интеллектуалов под руководством Ленина, их главного теоретика. Поэтому нет ничего удивительного в том, что западных интеллектуалов ослепил этот пример.

Среди них попадались настоящие оригиналы и подлинные интеллигенты (например, Харольд Розенберг). Более разумные обитатели Гринич-виллидж уже к концу 30-х стали понимать, какое бедствие для России Октябрьская революция. Однако лишь очень немногие в итоге отвернулись от марксизма. Большинство не могло расстаться с книгами, составлявшими их культурный багаж. Марксистская теория дисциплинировала их ум и дала им серьезное преимущество над полуобразованными конкурентами, кое-как закончившими американские университеты. Если уж в молодости ты отдаешь чему-то силы и энергию, то впоследствии почти невозможно от этого отказаться и изменить убеждения. Я приехал в Нью-Йорк на исходе 30-х годов с полной кашей в голове, но с твердой решимостью обрести знания. К концу 40-х я уже был сотрудником "Партизан ревью" и полноправным обитателем Гринич-виллидж. Нас окружала торговая Америка: район располагался между Мэдисон-авеню и Уолл-стрит. В центре находился Вашингтон-сквер, так что из своих окон, выходивших на его вязы и садовые скамейки, Элеанора Рузвельт при желании могла наблюдать за самыми выдающимися интеллектуалами своей страны, горячо обсуждавшими политику Франции, американскую живопись, Фрейда и Маркса, Андре Жида и Жана Кокто. Всем хотелось возвышенных, пусть и весьма далеких от жизни, "умных" разговоров.

Дарвин ставил во главу угла борьбу за существование, а я в те годы — борьбу за общение, без которого жизни не было и быть не могло. В группу антикоммунистически настроенных левых входили: Дуайт Макдональд — высоченный заика с глазами навыкате, бородатый и нескладный; Филип Рав с его рокочущим русским "р"; Харольд Розенберг, надменный, худой, многословный, убедительный и резкий; практик и мечтатель Пол Гудмен[1], смотревший на вас невидящим взглядом — с вер-

1.. Филип Рав (1908–1973) — американский журналист родом с Украины; один из основателей журнала "Партизан ревью"; Пол Гудмен (1911–1972) — американский художник, журналист и писатель-авангардист.

шины знаний им же открытых законов психиатрии, поэзии, анархизма и секса. Провести границу между интеллектуалом и писателем было невозможно. Из культурных деятелей уважали лишь тех, у кого были собственные идеи. Сидни Хук, в целом человек весьма здравомыслящий, заявил мне как-то, что Фолкнер был бы прекрасным писателем, если бы не недостаток современных идей в его книгах. "Рад бы с ним поделиться, — сказал он мне как-то, — было бы совсем другое дело. Знаешь его?"

Нам в самом деле хотелось понять многое: историю, философию, естественные науки, "холодную войну", законы развития массового общества, поп-арт, высокое искусство, психоанализ, экзистенциализм, русский вопрос, еврейский вопрос. Однако я вскоре обнаружил, вернее нюхом почуял, что сами-то писатели отнюдь не были интеллектуалами. Чехов говорил (кажется, посмеиваясь), что немного идеологии и современности были бы весьма à propos[1]. В более серьезном настроении он написал, что если литераторам и следует заниматься политикой, то лишь для того, чтобы оградить себя от нее. Отсутствие длинных и многословных политико-социально-экономических пассажей было одним из его правил. Он также советовал собратьям по перу стремиться к объективности, краткости, мужеству, избегать стереотипов и проявлять милосердие. (Увы, нынче все эти слова пользуются дурной славой.)

Не стану углубляться в различия между работой познания и воображения, скажу лишь, что выбирать между ними мне не приходилось — я просто следовал собственным склонностям. Не помню, чтобы в разговорах с коллегами я когда-либо противопоставлял искусство и политику. Уже много позже я спросил как-то раз Гюнтера Грасса, почему он так активно агитирует за Вилли Брандта. Разве писатели должны вмешиваться в политику? Он так посмотрел на меня, будто его посадили за один стол с деревенским дурачком. Такое встретишь только в Америке, наверное подумал он.

В Европе писатели бросались в политику очертя голову. Только ею и стоило там заниматься, понял я, когда жил в Париже с 1948-го по 1950-й. 1948-й вообще выдался довольно безрадостным. Уголь, бензин, даже хлеб все еще жестко нормировались. Париж больше не дотягивал до уровня культурной столицы мира, но французские мыслители прилагали все усилия, чтобы сохранить этот статус. К американцам, которых совсем недавно приветствовали как освободителей, французы стали относиться заметно прохладней, причем и правые и левые. Мориак, например, в своих статьях отдавал предпочтение русским, в особенности русской литературе, противопоставляя ее американской. И тут с ним нельзя было не согласиться. Левые хорошо относились только к американцам, прошедшим идеологическую проверку, остальных считали шпионами. Особое подозрение вызывали те из нас, что говорили по-французски: уж эти конечно двойные агенты! К франкофилам вроде моего друга Х. Дж. Каплана относились подозрительно, тогда как Ричарда Райта[2] приняли с распростертыми объятиями. Экзистенциалисты, которые встречались в баре "Понт-Руаяль", вскоре заставили его читать Гуссерля, которого я хоть и не штудировал, но очень уважал заочно. Да,

1. Кстати (*франц.*).
2. Ричард Райт (1908—1960) — американский писатель, один из ведущих представителей афроамериканской прозы.

и я *мог бы* стать интеллектуалом, но, признаться, мне почему-то тут же приходит на ум проститутка из французского комикса, которая говорит: "J'aurais pu faire la religieuse"[1]. Заметив на Сен-Жермен-де-Пре углубившегося в толстенную книгу Райта, я поинтересовался, зачем она ему понадобилась. Он ответил, что это обязательное чтение для любого писателя и что мне тоже не мешало бы ее купить. Я, однако, до Гуссерля не дорос. Зато частенько захаживал в мюзик-холлы. И все же мне были очень близки французские идеи, я зачитывался Сартром в "Тан модерн" и Камю в "Комба". Еще я как-то раз случайно посидел на лекции в Философском колледже.

Послевоенный Париж был весь пропитан духом горечи (поражение, оккупация) и свободы. Морось унижения и обиды оседала на знаменитых фасадах, из-за чего Сена (как мне казалось) пахла лекарствами. Это гнетущее чувство, как мне потом объяснили, было первым признаком "холодной войны". Франция тогда была абсолютно беззащитна перед СССР и США. Насколько я мог судить, коммунистический переворот был у всех на слуху, даже постричься нельзя было, не услышав от парикмахера каскада марксистских догм, которые он обрушивал на вас, работая ножницами. Как и все американцы, я прибыл в Париж с одной целью — получить образование, и поэтому всеобщее и полное незнание истории Советского Союза приводило меня в изумление. Читая Сартра, я повторял: "По-моему, это липа". На нашем чикагском жаргоне понятие "липа" мало чем отличалось от "лжи", но все же считалось чем-то более простительным. Я предпочитал думать, что со стороны Сартра это такой особый прием, даже видел тут нечто макиавеллевское. Его ненависть к буржуазии была столь безмерна, что на преступления Сталина он смотрел сквозь пальцы. Так что до тех пор пока я не приступил к чтению его книг, его акции (так сказать, по индексу Доу-Джонса для интеллектуалов) держались, по моему мнению, очень высоко. Но незнание фактов недавней истории буквально бросалось в глаза и вызывало огромное разочарование. Сартр рассуждал о буржуазной идеологии угнетателей с марксистских позиций. Стараясь вызвать в обществе революционные настроения, он не делал тайны из своих собственных буржуазных корней. Истинный наследник философов XVIII века, он обращался к пролетариату примерно в том духе, в каком его литературные предшественники обращались к буржуазии: воспитывал политическое самосознание в тех, кто, как предполагалось, должен был стать революционером здесь и сейчас. Он обещал, что освободившийся рабочий навсегда освободит и всех нас. Но между Сартром и рабочим классом стояла французская коммунистическая партия. Что касается экзистенциализма, Сартр с готовностью соглашался, что экзистенциализм есть продукт разложения буржуазии. Надо сказать, тогдашняя его аудитория вышла как раз из рядов загнивающего класса (жертв и в то же время тиранов).

"Будь автор подобных идей англичанином, мы бы точно знали, что он попросту морочит нам голову, — говорит Уиндем Льюис в эссе 'Писатель и абсолют'. — Но Сартр не шутит... Он действительно в тупике". Льюис здесь вроде бы ему сочувствует, то и дело соглашается с ним, одо-

1. Какая из меня могла бы получиться верующая (*франц.*).

брительно цитирует, рассуждая об эпохе лжи и обмана, в которую мы живем. "Национал-социализм, голлизм, католицизм, французский коммунизм — все это обман. Наш ум вводят в заблуждение, и, чтобы защитить литературу, мы должны развенчивать иллюзии и просвещать наших читателей... Сартр верит в то же, во что и коммунисты, — делает вывод Льюис. — Но не хочет тем не менее превращать адюльтер в законный брак". По его мнению, Сартр для Народного фронта всего лишь попутчик: "Он встал на тропу, которая ведет либо к коммунизму, либо в небытие, и выбрал последнее".

В 1949 году (когда я уже не был юнцом, но еще не достиг зрелости) у меня появилась собственная гипотеза. Заключалась она в следующем: французская интеллигенция готовилась в те годы к победе русских. В ее интересе к марксизму отражалось отвращение, которое она испытывала к другой супердержаве. Такие же антиамериканские настроения царили и в Англии. Грэм Грин, подобно многим другим писателям (и чиновникам) своего поколения, питал сходное чувство к США и их политике. Благополучное английское правительство в целом принимало американскую стратегию, но Грин все же ухитрялся передать из Лондона в Вашингтон толику своей антипатии к нам. Впрочем, и по эту сторону Атлантики у него было немало сторонников: образованные американцы, противники истеблишмента (правительства и официальных кругов), с удовольствием наблюдали, как наше общество и официальная политика терпят фиаско. "Главный враг — внутренний", эта мысль Ленина времен Гражданской войны пережила все остальные его идеи.

Обращаясь к этому времени, я не получаю никакого удовольствия от подсчета ошибок Сартра. Мне жаль, что все наши разговоры о справедливости и прогрессе кончились пшиком. Конечно, когда кризис следует за кризисом, все развивают бурную деятельность, но грустно думать, сколько изобретательности и остроумия было потрачено впустую, на бесполезные теории. Люди за "железным занавесом", узнавшие, что такое тоталитаризм, на собственной шкуре, более здраво смотрели на вещи.

Запад проявлял какое-то непонятное потребительство, когда речь заходила об убеждениях. Европеец словно прикидывал, как ему выгоднее думать: так или эдак? Сидни Хук в своей автобиографии зло иронизирует над интеллектуалами из "Партизан ревью", вполне уважаемыми левыми; он описывает их как коммивояжеров, завезших импортный ширпотреб и рекламирующих его тонким эстетам. У них, краснобаев и не более того, по мысли Хука, просто не было настоящих способностей к политике. Более того, они верили, что Вторая мировая была войной империалистической, как и Первая. Хотя они не принадлежали к тем последователям Ленина, что мечтали о перевороте в Вашингтоне, все же их куцые представления об Англии и Германии напоминали воззрения лилипутов. В оценке, которую дал их путаному марксизму доблестный хладнокровный Хук, даже теперь, сорок лет спустя, ощущается досада и горечь. Но хоть мы и не могли повлиять на ход событий, наше желание защищать свою правоту не убывало. В то время каждый из нас готов был отстаивать собственную позицию до конца. "Мне пришлось нацелиться на Дуайта Макдональда и компанию", — позже скажет мне Хук. Интересно, исследовал ли кто-нибудь зависимость между верными

взглядами и нехваткой силы для их реализации? Важно, конечно, знать историю, но как воспользоваться полученным знанием? Романист Стэнли Элкин[1] в эссе, озаглавленном "Первая поправка как вид искусства", вопрошает: "Кто в прежние времена думал о такой бесполезной штуке, как убеждения? История, история — вот сцена для любителей активных действий, она для них была и есть превыше всего. А остальные — я, вы, мы, — остальные, повторяю, обычные болтуны, которые наблюдают мир со стороны и смотрят на новости как на спектакль, как на череду эпизодов и серий в субботнем сериале". Что ж, говорит он далее, если нам не дано изменить окружающее, остается "утешаться критикой", не более того.

И все же активные деятели вроде Хука способны были влиять на положение вещей. Их вклад в победу в "холодной войне" хоть и нельзя измерить, но признать необходимо. Именно убеждения Хука — считать ли его историком или активным деятелем, — так вот, его убеждения, а не Сартра выдержали и не могли не выдержать испытание временем. А все, что остается мистеру Элкину, — это наблюдать и впредь, как меняются взгляды в такой демократической стране, как наша. Причем стоит обратить внимание на то, как своеобразно сочетается теория с практицизмом. Я высоко ценю Хука за доблесть, проявленную им в идейных битвах, и восхищаюсь его личностью, хоть он и не одобрял моего образа мыслей. Он явно был скорее деятелем, чем созерцателем. Его хочется назвать не философом, а бывшим философом. В один из последних вечеров, который мы провели вместе, он сказал, что философии больше не существует. Я поинтересовался, чем же тогда занимаются философы, которые закончили у него аспирантуру. Работают в больницах психотерапевтами, ответил он. И при этом выглядел не слишком огорченным. Но мне не верится, что конец "холодной войны" означает, что теория больше не нужна. Ведь все равно необходимо понять картину современности и составить по возможности полный отчет о западном кризисе.

Я весьма серьезно отношусь к профессии политика. Но это не моя стезя. Вообще говоря, писатели не слишком пригодны для политики. На те или иные должности их обычно приглашают умные чиновники. Иногда они и сами стремятся занять подобные посты — это если в человеке писатель уживается с интеллектуалом (как в случае Сартра). Те антикоммунистически настроенные интеллектуалы и публицисты, чьи взгляды на "холодную войну" я разделял (оставим в стороне их напыщенный тон и то, как они всегда раздуваются от гордости и самодовольства), оказались, судя по их вкусам, самыми обыкновенными филистерами. А их противников-левых вообще понять невозможно.

Поэтому я взял себе за правило избегать мест, где собирается много писателей. Но опрометчиво принял приглашение посетить Белый дом, куда президент Джонсон пригласил двадцать или тридцать "деятелей культуры и искусства". Я намеревался сначала написать в "Таймс", что́ думаю о войне во Вьетнаме, а потом побывать на приеме — так сказать, из уважения к самому институту президентства. Ох уж эти принципы! Я питаю слабость к возвышенным идеалам. Роберт Лоуэлл, бойкотиро-

1. Стэнли Элкин (1930—1995) — американский писатель и эссеист.

вавший это сборище, несколько раз звонил мне, чтобы сообща выработать мою дальнейшую стратегию. Видимо, он и его группа "разрешили" мне участвовать в мероприятии, поскольку там *должен* был быть кто-нибудь вроде меня. В тот день в Белом доме громче всех раздавались крики сторонников Лоуэлла, противники его были в меньшинстве. Журналисты, съехавшиеся освещать это событие, шумели и злобствовали не хуже писателей. Кульминация наступила, когда появился незваный Дуайт Макдональд. Высокий, с козлиной бородкой, он пришел в Рози-гарден в кедах и сразу занялся сбором подписей под резолюцией в поддержку Лоуэлла и его бойкота. Многие подписали. Президент позже заявил, что все это имело оскорбительный характер: "Они оскорбили меня тем, что пришли, и тем, что не пришли".

Филип Рав потом напал на меня за это: "Лоуэлл опозорил тебя. Он же настоящий интриган. Когда он играет в свои игры, с ним лучше не связываться".

Последней литературной встречей, на которой я присутствовал, был международный конгресс ПЕН-клуба в Нью-Йорке. Мне пришлось выступить с речью "Государство и отчуждение писателя" — тема бесполезная и довольно глупая. В своей короткой речи (в таких случаях чем короче, тем лучше) я сказал, что правительству нет дела до писателей. Отцы-основатели нашего государства оставили нам замечательный план достижения равенства, стабильности, справедливости и избавления от бедности — и сами принялись за его воплощение. Искусство, философия и высоты человеческого духа не входят в компетенцию государства. Основной акцент делается на повышении благосостояния и на практическом приложении гуманистических идей. Мы покорим природу с помощью науки и заставим ее служить нам. Нужда будет окончательно побеждена. Похоже, что программа в целом весьма успешно выполняется. В промышленном обществе ничто не мешает человеку писать романы или рисовать акварели, но при этом культуре как таковой никогда не станут уделять такое же внимание, как, например, сельскому хозяйству, промышленности или банковскому делу. Завершил я свою речь словами о том, что материальные цели отцов-основателей смело можно считать достигнутыми.

Но прежде чем я сошел с трибуны, Гюнтер Грасс поднялся и атаковал меня из зала. По его словам, он только что побывал в южном Бронксе. Несчастные чернокожие, влачащие там жалкое существование, не поверят тому, что они свободны и имеют те же права, что и белые. Ужасы, среди которых они живут, ничуть не напоминают картину американского процветания, нарисованную мной.

Зал был битком набит писателями и интеллектуалами. Слова Грасса выбили предохранитель, и раздался взрыв. На меня обрушился гнев и делегатов и гостей. Изо всех сил стараясь перекричать шум, я отвечал, что, конечно, американские города давно стали чудовищами и я тоже их терпеть не могу. Еще я попытался сказать, что исправить положение может (если это реально в принципе) только процветающее богатое общество, что, в свою очередь, доказывает правоту расчетов отцов-основателей. И добавил, поскольку мы находились все-таки на писательской конференции, что писателям все равно не добиться в политике даже мало-мальского успеха. В пример я привел Германию: сослался на Брехта и Фейхтвангера. Грасс в ответ заявил, что постоянно

подвергается преследованиям в Америке, так как его считают коммунистом.

Нельзя не отдать должное мечтателям и литераторам: они всегда знают, как захватить и удержать плацдарм. Они также мастера делать выводы: ты хорошо отозвался об американской государственной системе — значит, ты ее защитник и вообще тайный осведомитель, тебя не беспокоят заботы неимущих — да что там! — ты расист до мозга костей.

И тут начался "агитпроп". Грасс как будто дал отмашку флажком. У возбужденной толпы на это давно выработался условный рефлекс. Мелвин Лазки так написал о Грассе: "Боюсь, великие немецкие писатели позволяют себе высказываться, даже когда ничего не знают по существу дела".

Грасс, видимо, думает, что я тогда оправдывал истеблишмент, этот траченный молью саван. На самом деле я просто описывал то, что видел.

Процитирую здесь Алана Блума[1], весьма проницательного политолога, чтобы продемонстрировать, что именно я имел в виду, произнося речь перед писательским гадюшником: "Гражданское общество не будет — из чувства самосохранения — предоставлять плодородные земли тем своим гражданам, кто настроен трудиться самозабвенно и упорно. Оно не нуждается в честных и благородных людях и не поддерживает их. Тот, кому свойственен потребительский взгляд на людей, никогда не станет относиться с уважением к достоинству другого человека и никогда не признает особую роль искусства и науки".

Вот основа, вот главные принципы нашей современности, равно как и пришедших из эпохи Просвещения учений о благе человека. Цели, которых стремилась достичь Октябрьская революция, совершившаяся под руководством Ленина, так и не нашли в России воплощения. Зато они реализованы здесь, в буржуазной Америке. Так считает философ Кожев[2]. С другой стороны, все, ради чего следует жить, постепенно исчезает с лица земли.

Восточная Европа не знала революции нашего, американского типа. Зато Россия — фактически — больше семидесяти лет жила при Сталине, типичном восточном деспоте. А Польша, Венгрия и остальные страны полвека провели под гнетом советской системы. Писателей, которые выступали против тоталитаризма, отправляли на Лубянку и в ГУЛАГ, но они потрясают нас и своим талантом, и своими убеждениями. В особенности я восхищаюсь Шаламовым, автором "Колымских рассказов", и Александром Ватом[3], написавшим мемуары "На моем веку", равно как и многими другими русскими, польскими и еврейскими писателями, которые прошли сквозь сталинские тюрьмы и гитлеровские концлагеря.

На Западе, где людей миновала чаша сия, многие, честно говоря, склонны смешивать самобичевание с восхищением. Они спрашивают

1. Алан Блум (1930–1992) — американский философ, публицист, автор нашумевшей книги "Упадок американского разума, или Как современное высшее образование подрывает демократию и обедняет души студентов" (1987).
2. Александр Кожев (Кожевников) (1902–1968) — французский философ-неогегельянец русского происхождения.
3. Александр Ват (1900–1967) — польский поэт еврейского происхождения, писатель, переводчик и редактор авангардных журналов, один из создателей польского футуризма. Оказавшись перед Второй мировой войной на территории СССР, был арестован, затем сослан в Казахстан. После войны вернулся в Польшу, в 1963-м эмигрировал во Францию.

себя, смогли бы они сами выдержать подобный пресс. Террор — проверка из проверок, и я подозреваю, что теории Гоббса и Дарвина искушают наш ум и бросают вызов. Интеллектуалы особенно чувствительны к подобному вызову и, возможно, всерьез задумываются, не исцелили бы подобные суровые испытания их смятенный дух.

Вспоминается, что Ленину нравились рассказы Джека Лондона о Юконе. В его любимом рассказе "Костер" (1908) шла речь о человеке, которого застала ночь на безлюдных снежных равнинах. Герой обнаружил, что у него осталась одна-единственная спичка, и если он не сможет разжечь ею костер, то замерзнет насмерть. Помню, мальчиком я читал этот рассказ, затаив дыхание. Позже я открыл, что у Джека Лондона немало почитателей в Восточной Европе. Это стремление возвратиться к почти первобытным отношениям весьма популярно у утонченной публики, но не менее распространено и среди широких масс, склонных к насилию и жестокости. Достоевский, например, был потрясен, когда столкнулся в Сибири с каторжниками. Один из них, убийца, сказал ему: "'Уж так вы просты, так просты, что даже жалость берет'. <...> Считал ли он меня недоросшим, неполным человеком, чувствовал ли ко мне то особого рода сострадание, которое инстинктивно ощущает всякое сильное существо к другому слабейшему, признав меня за такое... не знаю. И хоть все это не мешало ему меня обворовывать, но, я уверен, и обворовывая, он жалел меня".

Неужели это я выступаю здесь против интеллектуалов, попрекая их даже тем, что они читают Солженицына и Шаламова? Да — если они выступают против тиранов и не позволяют им диктовать законы людского существования. Тиран всегда знает, какая правда нужна сейчас и что о ней положено думать. Перед нами — своего рода шкала страданий, где на вершине — концлагеря, а внизу — западное общество. Так что принимать всерьез можно только тех, кто прошел через пытки и мучения. А мы, все остальные, не заслуживаем особого внимания.

Мои аргументы против интеллектуалов объясняются нижеследующим. Наука утверждает, что существует лишь бездушная природа (коммерческие отношения также обходятся без души), к тому же все возвышенное — любовь, красота — вообще не входит в ее компетенцию. Маркс, кстати, относил искусство к "надстройке". Поэтому людям искусства приходится иметь дело с тем, что осталось от человеческой души и ее тайн. Романтический энтузиазм (сопротивление буржуазному окружению) к концу XIX столетия оказался совершенно дискредитированным. XX век вывернул романтизм наизнанку, заменив любовь ненавистью и самореализацию — нигилизмом. Думается, интеллектуалы сознательно отвернулись от тех проявлений жизни, которые не вписывались в концепцию современной науки и которые с высоты нашего опыта представлялись беспочвенными. Сила духа, которую (говоря очень кратко) изображает Шекспир и которая отчетливо звучит в музыке Генделя и Моцарта, в современной жизни не имеет под собой почвы, ее считают глубоко субъективной. Писатели тем не менее продолжают делать ставку на реальность этой силы. Но интеллектуалам об этом практически нечего сказать.

Мы поддаемся обаянию этой силы, когда читаем Шаламова или Александра Вата. Мы чувствуем в себе ее, когда протестуем против рабства или тоталитаризма. Но на Западе подобные настроения не только

не получают поддержки — их вообще не замечают и не придают им никакого значения.

Теперь мне придется сказать нечто такое, что людям может не понравиться. Восточный деспотизм России уходит корнями в далекое прошлое. И то, что испытывают боровшиеся против него, малопонятно нашим современникам. Американский мир — это чудо. В нем воплотились в жизнь извечные мечты человечества. Мы доказали, что победа над нуждой и бедностью уже близка. Мы обеспечиваем любые потребности человека. В США — на Западе — мы живем в обществе, которое создает сказочное изобилие материальных благ. Древние мифы стали былью. Мы можем одновременно видеть и слышать то, что в эту минуту происходит на другом конце света. Наши ракеты покидают пределы Земли и выходят в космос. Эти полеты — мечты и реальность одновременно. Здесь мы сталкиваемся с чем-то непредставимо огромным, гораздо большим, нежели можно сейчас понять. Грандиозность открытий заставляет нас трепетать за саму человеческую природу, о которой мы можем забыть в погоне за новыми изобретениями, к которым потом быстро привыкаем. Трудно сказать, навсегда ли мы утратили человечность или это все же временное явление. Точно так же неясно, кто мы — первооткрыватели или подопытные кролики. Россия практически покончила с гнетом тирании и лишений. Если она повернется лицом к свободному рынку и станет союзом свободно торгующих республик, ей придется иметь дело с теми же проблемами, которые мы все это время решаем. Кожев намекает на то, что нас необратимо опошлили наши собственные невероятные и порой весьма странные изобретения, так что теперь ни жизнь, ни смерть понять невозможно. Он явно разделяет взгляды Ницше на малоприятную перспективу всеобщей деградации, высказанные им в "Последнем человеке".

Мне кажется, будто все, о чем мы теперь лишь мечтаем, когда-нибудь будет реализовано. Человечество не может не воплощать собственные замыслы. Вот какие мысли рождает во мне окончание "холодной войны".

1993

Алан Лелчук
Памяти Сола Беллоу

Перевод с английского Е. С.

За несколько недель до смерти Сола, 5 апреля 2005 года, я разговаривал с ним и, между прочим, упомянул, что пишу о его высоких заслугах. Болезнь Альцгеймера, поразив ближнюю память, не замутила его далеких воспоминаний, и мы поболтали про Филипа Рава, который когда-то с ним подружился в Нью-Йорке и опубликовал его первые опыты, а потом и "Лови момент" в "Партизан ревью". Под конец Сол ослабевшим голосом пустился благодарить меня за то, что я его не забываю, и тут уж я от смущенья стал плести, что, мол, виноват, в самом деле несколько отдалился от него за последние годы. Легко уживаясь с писательским нарциссизмом, эта предельная скромность отличала Сола всегда — например, в речи на банкете в честь Нобелевской премии (10 декабря 1976 года) он говорит: "У меня нет уверенности в личном успехе. Я любил книги и кое-какие написал. Отчего-то их приняли всерьез. Разумеется, я рад. Кому же приятно, когда его забывают? Однако меня бы вполне устроила и более скромная доза внимания и похвал. Потому что, когда меня хвалят, я вспоминаю слова Евангелия: 'Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо'[1]". Тем, кто заподозрит тут Беллоу в кокетстве, могу засвидетельствовать: он сказал мне как-то, что после Национальной книжной премии за "Оги Марча" в 1954-м "все прочее было только подливкой". Нобелевская в качестве подливки — не правда ли, что-то новенькое?

Всего три месяца не дотянув до девяноста, Беллоу среди крупнейших американских писателей поставил как бы рекорд долголетия. И диву даешься, как вспомнишь, что первый его роман "Между небом и землей" опубликован в 1944-м, а последний, "Рейвелстайн", — в 2000-м, то есть рабочий период растянулся на 56 лет. Редкое писательское достижение, а в нашей литературе такого и вовсе еще не бывало. (Для сравнения: у Готорна период творчества — 1828—1859, у Мелвилла — 1846—1857, у Твена — 1865—1894, у Джеймса — 1871—1916, у Стейнбека — 1929—1961, у Фолкнера — 1926—1962, у Хемингуэя — 1923—1952.) По самой своей живучести Беллоу — настоящий титан.

Разумеется, титан — но только ли в живучести дело? Если Фолкнер был номером один в американской литературе первой половины XX века, его место, по моему глубокому убеждению — и многие его разделяют, — во второй половине века занял Сол Беллоу, создатель четырех или пяти великолепных романов, полудюжины дивных повестей и множества рассказов. Не говоря уж о первоклассной эссеистике и переводах с идиш. Его персонажи впечатываются в память, его голос неповторим,

© Alan Lelchuk, 2005
© Е. С. Перевод, 2005
1. Евангелие от Луки. 6:26. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

глубина чувств у него русская, а мастер слова он несравненный. Официальное литературное сообщество оценило его по заслугам. Он получил Пулицеровскую премию, три Национальных, а в 1976 году, разменяв седьмой десяток, стал лауреатом Нобелевской премии по литературе, присужденной ему отнюдь не из политических соображений, как бывает порой, а — цитирую — "За гуманизм и тонкий анализ современности". Он первым из американских еврейских писателей удостоился этой награды, будучи, фигурально выражаясь, гребнем той американо-еврейской волны (Маламуд, Зингер, Рот и Беллоу), которая поднялась на смену, так сказать, отступившему могучему валу несравненных южан.

Личность Беллоу всегда была, в общем, противоречива, многим он казался капризным, вздорным, заносчивым и нетерпимым, многие упрекали его за негибкий консерватизм "Чикагской школы" Лео Стросса[1] (и дружбу с Аланом Блумом). Я же все сорок лет нашего знакомства видел в нем совсем другое: он был интеллектуально честен и открыт; внимательный, учтивый собеседник — обладал дивным чувством юмора, был остроумен, любил настоящую литературу и всегда был готов помочь собратьям по перу. Он поддержал Ралфа Эллисона на самой заре его карьеры (смотри изумительную рецензию 1952 года на "Человека-невидимку"), потом Филипа Рота (рецензией 1959 года на "Прощай, Колумб"), а дальше — Джеймса Алана Макферсона, Кормака Маккарти, Уильяма Кеннеди, всех не перечесть. Я с ним познакомился в 1965-м — выпускником Стэнфорда, когда он к нам приехал прочесть лекцию о литературе; я представился по телефону, он тут же пригласил меня на чашечку кофе, и мы побродили по озерному берегу. У нас обнаружился общий старый друг, Дэвид Борофф, — он продвигал меня в одном литературном журнале при Бруклинском колледже ("Ноктюрн"); и тот же Борофф рецензировал несколько романов Беллоу. Когда я упомянул, что Дэв, не дожив до пятидесяти, скоропостижно умер, вертя педали велосипеда на Бруклин-Хайтс, Беллоу застыл, потрясенный, а потом стал вспоминать "дивную широкую улыбку" Дэва и молодую жену и сынишку, "от которых он был без ума". Меня поразила цепкая память Сола, его восприимчивость. На другой день, как ни странно, он узнал у секретаря факультета мои координаты и, совершенно меня огорошив, сам позвонил и предложил вместе перекусить перед его лекцией, вот только где — может, у меня? Ему бы хотелось глянуть на дом Уоллеса Стеньера[2], в котором я поместился. Я повез его на своем стареньком "додже" 1950 года, Сол ахал, восхищаясь тем, на какую мы забрались высоту, и я водил его по этому чудному дому на Лос-Алтос-Хиллз, и Сола особенно впечатлила уединенность рабочего кабинета; я приготовил сандвичи, и он спросил, где же виски, и я спросил, что он имеет в виду — шотландское или "бурбон", и он засмеялся своим изумительным смехом и дал мне руководящие указания. Потом, уже вечером, после лекции, я подошел попрощаться, он выбрался ко мне из толпы, был приветлив и попросил оставить кое-что из моих проб пера, он-де при-

1. Лео Стросс (1899—1973) — американский политолог немецкого происхождения; преподавал в Чикагском университете.
2. Уоллес Стеньер (1909—1993) — американский романист и публицист.

хватит их с собой в Чикаго, и назавтра я оставил ему свой самый первый опыт, опубликованный в таком журналишке "Трансатлантик ревью", и начисто про это забыл. Каково же было мое удивление, когда – недели через две – я получил четким, летучим почерком написанную открытку, где излагались великодушные замечания Сола и его искренние похвалы. Дружба наша длилась четыре десятилетия, и тогда, когда он преподавал в Брандейсе[1] (1976–1977), где преподавал и я, и потом, когда он опять переехал в Бостон и купил загородный дом в Вермонте, куда мне приходилось полтора часа рулить из своего Нью-Хэмпшира.

Беллоу был всегда настоящий, и он всегда поражал неожиданностью – и в книгах, и в жизни. Возьмем хоть первые строки (и страницы) кипучего романа "Оги Марч", сделавшиеся столь же каноническими, как зачин "Гекльберри Финна" или "Моби Дика":

Я американец, родом из Чикаго, этого хмурого города, и выработал, знаете, ко всему свой подход, в вольном таком стиле, могу поделиться опытом: первым постучишься, первому тебе и откроют; стук бывает скромный, а то и не очень. Но характер человека – это его судьба, говорит Гераклит, и, в конце концов, какой стук – ты не скроешь, хоть дверь войлоком обивай, хоть прячь костяшки в перчатку.

В этой книге Беллоу обрел свой, особенный, авторский голос – так и сам он считал (ободренный вдобавок похвалою отца, вызванной пухлостью тома). Да, в 1953 году прозвучал этот голос, и на литературную сцену, где царила скупая проза и стоические герои Хемингуэя, будто свежим ветром подуло; это была прямо-таки литературная революция. А когда мы знакомимся с мелочной повседневной возней семьи Оги, включая идиота брата Джорджа и командиршу бабку ("из тех Макиавелли ближних закоулков, какими кишит мое детство"), и втягиваемся во все перипетии (скажем, Оги посылают за даровыми очками для мамы на Харрисон-стрит, и ему приходится врать) – тут уж мы окончательно понимаем, что попали в новый, впервые открываемый мир. Не тот, по которому гордо ступают крутые герои, но тот, где снуют, толкаются, переругиваются живые чикагские иммигранты, выходцы из разных слоев, и эта суетня, толкотня вся окутана, окрашена неподражаемым чувством, и над всем царит и парит этот голос, голос одного из самых звонких в нашей литературе певцов.

Новый литературный голос, начиная с "Оги Марча", крепчая в романах "Гендерсон, король дождя", "Планета мистера Саммлера" и – особенно – "Герцог", стал для американцев таким же родным, как голос Гека Финна, Измаила или Ника Каррауэя[2]. Голос у Беллоу – яркий, гибкий, гулкий, задумчивый, сочный, веселый и поэтичный; в нем отдается глубокий ум и редкое в нашей, да и во всякой литературе чувство. Стилистически тексты Беллоу, можно сказать, не то чтобы безупречны, тут и следы его беглого идиш, и жаргон чикагских улиц – всего понамешано. Следуя за рассказом Оги Марча и Герцога, вы пускаетесь в слож-

1. Университет Брандейса – американский частный университет в городе Уолтхем штата Массачусетс.
2. Измаил – герой романа Германа Мелвилла "Моби Дик"; Ник Каррауэй – герой-повествователь в романе "Великий Гэтсби" Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.

ное и рискованное литературное плавание. И неудивительно, что, когда "Оги" получил Национальную премию, раздались возмущенные голоса, в частности Кэтрин Энн Портер[1], — мол, с каких это пор мы стали давать национальные премии за такую неряшливую писанину? К счастью, Эдмунд Уилсон и Филип Рав, в то время царившие на критическом нашем Олимпе, горячо встали на защиту Беллоу, объявили его новым ярчайшим талантом и даже рискнули заподозрить язвительную южную даму в зависти и скрытом антисемитизме.

И неужто надо еще доказывать, что речевая манера Беллоу и не- и антигероические евреи его книг, прорвав полвека тому назад каноны американской литературы, открыли путь всем последующим новым фигурам и голосам? Конечно, таким писателям, как Ралф Эллисон, горячий его поклонник, и другим давним приверженцам, как Джеймс Болдуин, Джон Берримен[2] или Роберт Пенн Уоррен, это доказывать незачем. Но, перефразируя песенку шестидесятых, "что-то случилось, а мистер Джонс не заметил". Кое-кто не замечает и по сей день.

Впрочем, тому есть существенные причины. Про Беллоу никак не скажешь, что он легко читается. К нему — к его стилю, персонажам, темам — надо приноровиться, пробиться. Многим читателям Апдайка или, скажем, Филипа Рота Сол Беллоу придется не по нутру. Мастер незабываемой фразы, крепко сбитого абзаца, густого письма, он умеет создать плотную атмосферу чувства. Но из сбивчивых рассказов его персонажей почти никогда не выудишь сюжета, интриги в обычном понимании слова. Вы только посмотрите, как кружат, ничем не разрешаясь, события в таких рассказах, как "Из желтого дома", "В поисках мистера Грина", "Старый порядок" и даже в великом романе "Герцог". За Беллоу берешься не для того, чтобы, жадно пожирая глазами страницы, гадать, что же дальше, и посматривать украдкой в конец. Он не из тех, чью книжку прихватываешь с собой — почитать на пляже, полистать в самолете. Преподают ли его в колледжах? Нечасто. В Дартмуте[3], где я работаю, редко кто из студентов одолел хоть одно произведение Беллоу, а многие, уверен, до самой его смерти о нем и не слыхивали. Нет, Беллоу читаешь для других радостей. Чтоб дать работу уму, чтоб потешить сердце. Эти радости дает только литература, а не увлекательное, бесстильно-легкое чтиво. Нужно терпение, привычка к сосредоточенности, нужны тихие, ясные часы, чтоб вжиться в мир Беллоу, оценить его способность добраться до сути. (Беллоу — это тест на современную литературную грамотность, и при нынешнем падении читательской культуры немногим удастся его пройти).

Возьмите дивную, но недооцененную новеллу "Старый порядок". Речь там идет об одном субботнем вечере из жизни доктора Брауна. Доктор Браун, биохимик, у себя в квартире на Аппер-Уэст-сайд несколько часов подряд, на тридцати шести страницах, думает о своем прошлом, о начале семейной жизни, о своих глубоких еврейских корнях. Никаких событий, никакого сюжета — доктор Браун почти не встает с дивана, совсем не выходит на улицу. Читателю, озадаченному, несколько сбитому с толку, чтобы не бросить книгу, придется потерпеть, читать

1. Кэтрин Энн Портер (1890—1980) — американская писательница.
2. Джон Берримен (1914—1972) — американский поэт.
3. Дартмутский колледж — престижный частный колледж в г. Хановер, штат Нью-Хэмпшир.

дальше, пока он не найдет ключ к этому рассказу. Ибо действие тут есть, но происходит оно не там, где нам привычней его искать. Все — в голове у мистера Брауна, в воспоминаниях, раздумьях. Драма перенесена вовнутрь. Беллоу здесь отнюдь не предается ностальгическим сантиментам, нет, но его переполняет чувство, бесстрашно честное чувство. Семейка — проступающая из воспоминаний — погрязла в примитивных страстях, раздорах, отравлена дурацкой враждой. Образ убогой иммигрантской семьи вовсе не располагает к умилению, и какая уж тут ностальгия? Но все равно — какая сила воздействия, как удивительно это нас пронимает!

Здесь, в этом раннем тексте, уже видны те характерные черты Беллоу, о каких говорилось выше. Выбившись из ровного потока сознания, поражая жизненностью, впечатываются в память отдельные фразы, например: "Он вытерся вчерашней рубашкой — все-таки экономия". Или: "Потом он нарезал хлеб для тостов... стал смотреть на длинные сосульки на красной высокой крыше прачечной через дорогу, на ясное небо, и понял, что надвигается чувство". Надвигается чувство? Только у Беллоу бывает такое. А подача персонажей! Например, вот жирная родственница: "Гиперболы были главной слабостью Тины... У нее были тоталитарные замашки. И не только по отношению к другим. Даже к самой себе. Вечно она шпыняла и школила собственную огромную особу". Уж такая натура! А много позже, когда Тина лежит на смертном одре, а брат Исаак, после долгих лет распрей, разлуки, просит разрешения ее навестить, она назначает ему условия визита — одной строкой, на листке из блокнота, без подписи. "За двадцать косых наличными Тина согласна, а нет, так нет". Получив это нелепое, оскорбительное требование, брат Исаак, как ошпаренный, бросается в Уильямсбург за советом к своему ребе, и ребе в последовавшей чудной сцене благословляет это дикое вымогательство. И такие поражающие воображение сцены разбросаны по всем текстам Беллоу.

Подобным же образом воздействуют и целые абзацы Беллоу, в которых выразительные средства до поры как бы сжаты крепкой пружиной и тем сильней потом ударяют по чувствам. Иные приходится перечитывать, чтобы ухватить неочевидный смысл. Из их числа и концовка "Старого порядка" — завершение воскресных раздумий доктора Брауна:

Кольцо, которое Тина взяла у тети Розы, было вощеной ниточкой привязано к гиблому пальцу. Она протянула руку к сиделке. Это они все заранее подстроили. Сиделка перерезала ниточку. Тина сказала Исааку: "Не деньги. Не надо денег. Бери мамино кольцо".

И доктору Брауну сделалось больно, и он старался понять. Что это за чувства! Сколько в них доброты! И зачем? Теперь-то — кому это нужно? Ах, лучше б, наверно, на все глядеть холодным глазом. Но этот холодный глаз — он, наверно, должен отвечать жару внутри. Да, но осознай род людской его мысль: что наши страсти человечны, все человечны, так ведь взорвется же он, взбаламутится, возбудится, и такое пойдет, такой вихрь чувств взметнется, что управы на них не будет. Вот и Брауны оплакали Тину. Исаак держал кольцо мамы. У доктора Брауна тоже на глазах были слезы. Ох уж эти евреи — эти евреи! Их чувства, их сердца! Доктору Брауну часто больше всего хотелось — покончить с этим со всем. Потому что — к чему это все? Так и так умирать. Все ушли — один за другим. И ты уйдешь. Детство, семья, дружба, любовь — все задох-

нется в гробу. Но эти слезы! Когда они идут от сердца, кажется, будто вот сейчас полегчает, вот сейчас ты поймешь. Ну, и что ты такого понял? Опять — *ничего*! Только забрезжило что-то. Надежда, что род человеческий *непременно* — понимаете, непременно — в конце концов через этот дар — непременно, опять *непременно*! — божественный дар — поймет, зачем он жил. Зачем жизнь, зачем смерть.

И, если подумать: кому они нужны, именно они — эти Исааки, эти Тины? Доктор Браун прикрыл глаза и увидел — красным по черному — что-то вроде молекулярных процессов — единственно истинное свидетельство жизни. А потом сомкнулась черная тьма, короткий день погас, и он пошел на темную кухню — глянуть на звезды. На эти штуковины, биллионы лет назад исторгнутые родовым спазмом творенья.

На такой вот ноте кончается эта удивительная новелла: мучительные подробности одной сценки (Тина на смертном одре расстается с семейным сокровищем) подталкивают доктора Брауна к размышлениям о семье, о природе всего еврейского племени и, наконец, обо всех людях, о природе, о времени. Читатель рвется между острой, бередящей душу картиной прошлого и рассуждениями доктора Брауна об этом прошлом, одновременно терзаясь вопросом: "Что все это означает, к чему они — все эти чувства? И смерть?" Глубокий скептицизм в сочетании с проникновенной драмой возбуждают не только в докторе Брауне, но и в читателе необычные переживания и мысли; они учащают ритм сердца и ум побуждают к работе. Прочтешь в первый раз — и нахлынет, поразит ироничность смертной сцены, яркость воспоминаний; перечтешь — и утонешь, дойдя до дна этой человечности, поняв всю сложную ее безнадежность. Вихрь чувств, растущих крещендо, типичен для Беллоу, излюбленная его кода. Многие романы и рассказы кончаются так. Автор скручивает все сюжетные линии, переносит в сознание героя, чтобы тот заново все передумал, заново все пережил. И, скрещенные, скрученные, эти сюжетные линии, эти мысли и чувства создают особенную поэзию переживания, и читатель проникается ею, и долго чувствует, и помнит, когда давно дочитана книга.

Подобным образом кончаются столь разные сочинения, как "Лови момент", "Гендерсон, король дождя", "Герцог".

В "Лови момент" главный герой Томи Вильгельм, запутавшийся, страдающий из-за жестокости бывшей жены, из-за эгоизма отца, попавшийся на удочку к мошеннику, ошибкой попадает на чужие похороны, и тут его прорывает:

> Что же мне делать? Меня обобрали и кинули... Ох, Отец мой, чего прошу у тебя? Что я буду делать с детками — Томми, Полом? С моими детками. За что? За что? Защити ты меня от дьявола, который жаждет моей погибели...
>
> Цветы и огни сплывались перед мокрым, слепым взглядом Вильгельма; музыка, тяжелая, как море, текла ему в уши. Она в него вливалась, и он стоял, прячась в толпе, в огромном счастливом забвении собственных слез. Он слышал музыку, и он тонул, погружался — глубже печали, сквозь рваные всхлипы, рыданья. Туда, где успокоится сердце.

Эта знаменитая в современной литературе концовка возбуждала споры о том, должна ли она всего лишь вызывать сентиментальную жа-

лость к герою, или же — как, я например, считаю — смысл ее глубже и важен для понимания всего романа. Но возьмем несколько других, столь же известных абзацев, завершающих великий роман "Герцог". Мозес Герцог вернулся в свой загородный дом в Беркшире, где мы застали его на первых страницах, и размышляет о том, не спятил ли он, не рехнулся ли; он перебирает в памяти сцены своей жизни, людей, с которыми сталкивала его судьба, старается понять, какой во всем этом был смысл, пишет всем и каждому свои знаменитые письма.

Кое-кто, например, английский критик В. С. Притчетт в рецензии 1956 года, недоумевал по поводу этой концовки. Но лучше я процитирую эти несколько абзацев, в которых Герцог разговаривает сам с собой:

Видно, хватит уже чудить. Жизнь в этом деле без меня обойдется, сама мне даст сто очков вперед...

Ах, зачем притворяться, разве есть у меня выбор? Я смотрю на себя и вижу — грудь, бедра, ноги. И голова. И все это дивное устройство, я знаю, умрет. Но внутри что-то, что-то — счастье. "Ты возбуждаешь меня..."[1] И значит — нет выбора. Что-то рождает это напряжение, святое чувство, как рождает апельсиновое дерево апельсины, как зеленеет трава, как ярятся, заходятся криком птицы. Пусть одно сердце вырабатывает больше любви, другое — меньше. Ну и что? У кого-то сказано: в сердце рождается мудрость. "Je sens mon coeur et je connais les hommes"[2]. *Но сейчас и с французским он не в ладу.* Ах, не знаю, не знаю. Слишком у меня стало неотзывчивое лицо, ограничен ум, оскудели желанья. Но это напряжение — ведь что-то оно да значит? И откуда эта идиотская радость, которая толкает животное — самое удивительное из всех животных — что-то там восклицать? И собственный крик принимать за знак, за доказательство вечности? И носить в груди? Мне нечего тут сказать. "Ты возбуждаешь меня..." Так чего же ты хочешь, Герцог? То-то и оно — ничего. Ничего не хочу. Мне и так хорошо — просто быть, быть, пока меня хотят, пока не вышел срок пользования мною.

И вот Герцог ждет к обеду старую свою подругу Рамону, он зажигает свечи, достает бутылки вина из ручья, собирает цветы, чтоб поставить на стол букет. Он слышит, как миссис Таттл метет кухню, наверно думает:

"Цветы собирает? Какая внимательность. Как это понять?" (Он слегка улыбнулся). Ему бы в себе разобраться. Тут цветы не помогут. Но и не помешают. Так что он не стал их выбрасывать. Опять повернулся темным лицом к дому. Обогнул его, вошел в главную дверь, размышляя, какое бы еще доказательство своей здравости можно представить, кроме отказа идти в больницу. Может, хватит писать письма? Да, к тому дело шло. К мысли, что писем больше не будет. Что бы там ни накатило. Действительно, вышел, кончился срок. Он положил шляпу с розами, с красодневом на недокрашенный рояль и пошел в кабинет, в одной руке, как две булавы, неся бутылки. Прошел по разбросанным бумагам, лег на свою кушетку. Вытянулся, глубоко вздохнул и потом лежал, глядел на сетку, схваченную вьюнком, слушал, как ровно шуршит швабра

1. Перифраз цитаты из Книги Иова, 2:3 — "...а ты возбуждал Меня против него".
2. "Я знаю свое сердце, и я понимаю людей" *(франц.)*.

миссис Таттл. Хотел сказать, чтоб на пол она побрызгала. Такая пылища взлетает, еще минута и он крикнет: "На пол побрызгайте, миссис Таттл. В мойке есть вода". Только не сейчас. Сейчас ему нечего никому сообщить. Ничего. Ни единого слова.

Так кончается "Герцог", на мой взгляд, величайший роман со времен Второй мировой, произведение по-русски глубокое, и размышления Мозеса Герцога, длившиеся на 350 страницах, кончаются на такой вот спокойной, в общем-то, не надрывной ноте. Удивительный, пожалуй, конец для уникального романа об эмоциональной и интеллектуальной жизни. А может, нисколько не удивительный. Ибо здесь — все та же игра, на том же тонком инструменте, на каком всегда играет Беллоу. Герцог позволяет себе быть вполне самим собой, всему, что накопилось в его душе, столь непохожей на душу типического американца, он дает полную волю. "Что-то рождает это напряжение, святое чувство, как рождает апельсинное дерево апельсины"; вот так и душа Герцога, ранимая и чувствительная душа, рождает любовь. Он сам становится тем инструментом, на каком исполняется эта музыка, мелодия растерянности и болезни, разряжаясь примирением, приятием в великолепном финальном аккорде. Больше ему не нужны слова, не нужны длинные письма, он принял себя, как он есть, и сподобился тишины. Рискуя заработать этикетку нарцисса, обманутого дурака, слабака — этих милых кличек довольно он понаслушался от неверных друзей, соперников и врагов на протяжении романа, — Мозес достигает уважения к себе самому, как он есть. Тут не отчаяние, тут не крах Томми Вильгельма, нет, тут мудрость приятия, и даже какой-то восторг. Читателю этот восторг, возможно, покажется странным, может разочаровать, озадачить, слишком уж все это непохоже на то, как принято изображать концовки современных романов. Читателю нужно открыться ощущениям Герцога, постараться понять эту особенную мелодику, эту музыку. Что до меня, мне при чтении этих страниц вспоминаются строки Китса из "Оды греческой вазе":

> Звучащей песне слух бывает рад,
> Но духу нужен строй немых созвучий.
> Играй, свирель! По-царски одарят
> Мой дух раскаты тишины певучей![1]

И вот эта музыка Беллоу, этот его герой, через головы стольких персонажей и через столько лет аукается, по-моему, с другим странным человеком, у которого были свои собственные "немые созвучия". С Бартлеби Мелвилла[2]. Трудно себе представить столь непохожих людей, но звук, но мелодика, ноты — те же.

(Примечательно, что не только вполне приличный и, кстати сказать, признанный, английский критик — который мог и не уловить музыки Беллоу, — но и первоклассный критик американский, притом еврей, осудили Беллоу за излишнюю обнаженность эмоций. В 1974 году на церемонии вручения дипломов в университете Брандейса Сола Беллоу

1. Перевод А. Парина.
2. Герой рассказа Германа Мелвилла "Писец Бартлеби" ("Рассказы на веранде", 1856).

попросили выступить с речью, и он говорил о том, как начинал писать у себя на чикагской кухне, где тетка варила русский борщ и бранилась с родственниками на идиш; и все это было так трогательно, так честно, так свежо и непохоже на мертвящие речи в подобных оказиях. А потом я встретил Лайонела Триллинга[1], который тоже получил почетный диплом, и спросил: ну, как ему речь? И Триллинг объявил строго, что, с его точки зрения, Беллоу выбрал для своей речи "неуместный материал", кстати он тем же грешит и в своих книгах. И это Триллинг — Триллинг, который годами страдал, будучи единственным евреем на факультете английского языка в Колумбийском университете. Вот так-то — и самого Беллоу, и все, что он писал, многие почтенные критики находили "неуместным". Глубина чувств и автобиографические нотки частенько раздражали многих уважаемых критиков, белую косточку — не важно, евреи они или нет.)

Да, Беллоу нам открывает новые зоны чувства, он учит слушать по-новому, но при всем при том нельзя забывать, что, ко всему прочему, он обладает редкостным комическим даром. Самый наш интеллектуальный писатель — может, даже наш единственный в полном смысле слова интеллектуальный писатель (накоротке с Кьеркегором, Спинозой и Ницше) — а сколько в его произведеньях комизма! Тут уж всего понамешано: ирония Джойса, американская реальность, еврейская чувствительность — все идет в дело.

Хотя в полном смысле комическим романом может считаться только "Гендерсон, король дождя", почти во всех других книгах Беллоу — бездна иронии, масса смешных сцен, уморительных ситуаций, остроумных строк, и даже сама высокая европейская философия, нелепо скрещиваясь с американской вульгарностью, неподражаемо служит целям комизма. Не чуждый аристофанову юмору, щедро сдабривающий текст непристойностями и низким жаргоном, Беллоу все же скорей тяготеет к духу комического, как понимал его Аристотель, ибо линия раздела трагического и смешного у него бесконечно тонка. Герцог — опять же великий тому пример, ибо какой он ни профессор, интеллектуал и так далее, вместе с тем он комическая фигура, своего рода типичный "шлимазл" (что и отмечает его друг, адвокат Сандор Химмельстайн). Вообще во многих крупных и мелких произведениях Беллоу комическое и серьезное нерасторжимо перемешаны, связаны морским узлом, что и придает его прозе особое напряжение, и проза накаляется все больше по мере накала сюжета, и в конце, в кульминации, разражается прямо-таки вольными стихами (чему можно привести немало примеров, а кое-что и цитировано выше).

Откуда же этот дух комического внутри серьезнейшего повествования? В 1952 году Беллоу опубликовал в "Партизан ревью" свой перевод с идиш "Дурака Гимпеля", дивного рассказа Исаака Башевиса Зингера о блаженном деревенском шлимазле. Оригинал, напечатанный в еврейской газете "Форвард", был благополучно забыт, но в переводе Беллоу "Гимпель" привлек к себе куда больше внимания и зажил, так сказать, новой жизнью в литературе. Более того, многие только тогда впервые открыли для себя Зингера, при том что были давно знакомы со стар-

1. Лайонел Триллинг (1905–1975) — американский писатель и критик.

шим его братом — беллетристом Израелем Йошуа Зингером. (Беллоу, кстати, сам очень любил его роман "Братья Ашкенази", который прочел некогда в подлиннике, на идиш.) А потом Беллоу включил в свой сборник "Великих еврейских рассказов" (1963) этот и другие рассказы Башевиса Зингера, открыв ему путь ко всемирной славе. Забавно, что несколько лет спустя Зингер прибыл в Чикаго прочесть лекцию, позвонил Беллоу, попросил о встрече, и Беллоу его пригласил на ланч; Зингер явился и стал его распекать за то, что он де себе позволил, — примерно в таком духе: "Все только и говорят — ах, какой замечательный Гимпель у Беллоу! С каких это пор мой Гимпель стал вашим Гимпелем? Какое нахальство!" — и в ярости бросился вон из ресторана. Беллоу от души хохотал, рассказывая мне эту историю.

Беллоу бегло говорил на идиш, то был первый его язык, язык монреальского детства, на идиш говорили дома в иммигрантской семье в Чикаго, где Сол очутился девятилетним. Потому-то и сумел он перевести Зингера со всеми нюансами иронии, юмора, скрытыми в его неподражаемом идиш; перевод этот и поныне считается образцовым. Язык угнетенного, разбросанного по миру народа, зародившись в средневековой Германии (самые старые из обнаруженных строк восходят к 1172 году), идиш становится тайным прибежищем ашкеназов в их вечном изгнании в новой стране, в Европе; подобно тому, как сефарды, евреи с иной судьбою в диаспоре, изобрели свой язык — ладино. Языком идиш пользовались во многих иммигрантских семьях Америки, дома у Беллоу (и у меня), в частности для того, чтоб утаить от детей кой-какие мысли — и для многих он сделался прямо-таки вторым языком (никогда и никто, разумеется, не помышлял вытеснить им язык принявшей страны). А в XIX веке идиш был языком таких дивных рассказчиков, как И. Л. Перец, Менделе[1] и особенно Шолом Алейхем. Еврей из польского гетто, Шолом Алейхем в своих несравненных текстах, с одной стороны, как бы воспевает евреев из штетля, которых так пристально изучал, а с другой — остро вышучивает их диковатые нравы, что придает его юмору заманчивую объемность. Но как заметил Беллоу в предисловии к своему сборнику еврейских рассказов: "Он был великий юморист, но скорей рассказчик историй, чем истинный литературный талант". И кому ж, как не Беллоу, оставалось обратить еврейское наследие в искусство литературы: корни в идиш, в еврейской культуре питают неповторимую иронию и юмор Беллоу, делают его произведения особенными, узнаваемыми — дают возможность безошибочно узнавать его голос. Ирония и юмор, неотторжимые от еврейского строя чувств и так полно передаваемые через идиш, служили своего рода щитом против жестокостей, выпадавших на долю народа; вот в чем особенная характерность всякого еврейского писателя, вот что сближает столь непохожих авторов, как Маламуд, Исаак Бабель и — Беллоу. (Кстати, когда Беллоу получил Нобелевскую премию, произошла забавная история. Его спросили, еврейский ли он писатель. И он ответил, что он себя считает американским писателем с большой долей еврейства, возможно американским еврейским писателем. Эта формула многим евреям не

1. Ицхок Лейбуш Перец (1851 — 1915); Менделе Мойхер-Сфорим (наст. имя и фамилия Яков Абрамович Шолом; 1836–1917).

понравилась; в частности, Гершон Шолем, знаменитый иерусалимский ученый, возмущался публично — он бы хотел, чтобы Беллоу себя провозгласил еврейским писателем, и только еврейским. Но Беллоу никогда не сдавался ни на какой нажим, от еврея он шел или нет; и он просто не терпел, чтоб на него навешивали ярлыки.) Но, пожалуй, можно сказать, что Беллоу — американский писатель с крепкими еврейскими корнями, точно так же, как Готорн — американский писатель с крепкими протестантскими корнями, а Фолкнер — с крепкими южными корнями.

Кстати, яростная неуступчивость и вообще характерна для Беллоу, вполне согласуясь с его представлением о свободе человека, о личной воле. От русских, от Достоевского (в частности, из "Записок из подполья") он воспринял идею, что человек — не инструмент, на котором можно играть, нет, ему дана внутренняя свобода, право выбора всегда остается за ним. К такому открытию мучительно, постепенно приходит герой самого первого романа Беллоу "Между небом и землей", дожидающийся призыва в армию. Сам Сол, как и его герои, был человек сложный, противоречивый, в нем прекрасно уживались глубина, сосредоточенность на высокой идее и — капризная непредсказуемость. Помню, я навестил его вскоре после того, как он обосновался в своем загородном доме в Вермонте (1992—1993), и он, заметно волнуясь, повел меня поглядеть "одну штуку", которую недавно купил в Англии. Мы продрались через лес к опушке. Зная, что я не один год прожил на природе, он поинтересовался, что я "об этом" думаю. "Это" всего более напоминало стального оранжевого жирафа, и назначение его было — расчищать лес, вытягивая оттуда лишние кусты и деревья поменьше. "Лесовоз?" — в некотором изумлении находчиво предположил я. "Ну да, — отвечал он. — Но, в общем, он может и распиливать бревна, и..." Позже я выяснил, что некий ловкач помог склонить Сола к приобретению этой штуки, тем более что сам же и рассчитывал ею попользоваться. "Дивный механизм!" — воскликнул я, подходя поближе, и Сол рассиялся от моей похвалы. "Да я знал, уж ты-то оценишь". Но, честно сказать, я подозреваю, что купил он это устройство не для практической пользы, а по другим соображениям: уж слишком было оно нелепо, ни на что не похоже, ни с чем несообразно — смешная игрушка-сюрприз. То была шалость мальчишки, озорного мальчишки.

Возвращаясь к литературе, вспомним нелепую концовку "Гендерсона": самолет, несущий героя в Нью-Йорк, к жене Лили, садится для подзаправки в Ньюфаундленде, и Гендерсон, с иранским ребенком на руках (он взялся его доставить в Неваду), выскакивает и бежит по льду в замшевых туфлях:

> Я скакал, я бежал вокруг блестящего, неподвижного самолета. Темные лица смотрели на меня изнутри. Затихли прекрасные большие пропеллеры, все четыре. Значит, пришла моя очередь двигаться, и я побежал — я скакал, тяжело, задыхаясь, по этому чистому, белому исподу серой арктической тишины.

Вот такой дивный конец великолепного комического романа, полного приключений, с вождями, и львами, и дикарями — особенно трогателен конец, если учесть, что ему предшествовали две страницы, на которых описывалась тесная дружба героя со Смолаком, старым бурым медведем. Причуда. Нелепость. Восторг. Чушь. И все это — Беллоу, душа

в вольном поиске собственных троп, в погоне за собственными иллюзиями, как бы нелепы, как бы глупы они ни казались; свободная душа и причуда — один из симптомов этой свободы.

Но, наверно, важней всего прочего была для этой души — любовь. В пассаже о дружбе со Смолаком сказано между прочим: "Какие бы ни были у меня достижения — ими я обязан любви, ничему другому". Странное заявление в устах такого интеллектуала, как Беллоу! Для которого думать, размышлять — все равно что дышать кислородом. Да, но ведь это правда, любовь была в самом его составе, была частью его великого обаяния. Не слащавая любовь, которую он не терпел, но любовь, идущая от самого сознания бытия, от этой радости — существовать, быть, жить на белом свете. Сол любил все живое, людей и зверей, фауну, флору. Со студенческих лет и до конца дней пронеся интерес к антропологии, Беллоу всегда любил и животных, эту любовь он передавал своим героям, начиная с Асы Левенталя в "Жертве", который идет за утешением в зоосад, до Оги Марча с его орлом и Гендерсона со старым бурым медведем. ("Мы с ним два сапога пара, Смолака выбросили, меня тоже".) Кстати, часто он подмечает сходство с животными в своих персонажах, но это отдельная тема. Натура Беллоу широка, сердце великодушно, как у Чехова, как у Шекспира, интерес его к миру, ко всему — безграничен. Любовь его была тайным источником света, падавшего на людей, зверей, механизмы, системы и общества, и этот свет озарил все: сюжеты, сужденья, особенные словечки, дробленое преломленье в героях личности автора; и после его ухода — в простом сосновом гробу, на православном кладбище в Братлборо в Вермонте — мы будем с особенным тщанием, с новой любовью и радостью перечитывать то, что осталось нам на земле от этого великого духа. Перефразируя Анри Труайа, написавшего о Толстом: "Он был огромным гуманным фактом", мы можем сказать: "Сол был гуманной огромной душой"[1].

1. По-английски soul ("душа") и имя Soul звучат очень похоже.

В *поисках утраченной поэзии*

Мы завершаем публикацию ответов на вопросы, которые были заданы участникам одноименного "круглого стола", посвященного современной зарубежной поэзии (2004, № 10)[1]. Вот эти вопросы:

1. Какой отрезок времени имели бы в виду Вы, говоря о "современной зарубежной поэзии"?

2. Существует ли, на Ваш взгляд, интернациональная общность поэтического опыта и развития?

3. Как по-Вашему, может ли переводная — именно переводная — поэзия плодотворно влиять на поэзию другой страны?

4. Если да, то приведите, пожалуйста, пример подобного влияния, исходя уже из личной поэтической практики.

5. Разные это, на Ваш взгляд, занятия или родственные — писать стихи и переводить стихи?

6. На правах специалиста, а нередко и культурного первооткрывателя скажите, пожалуйста, кого из значительных современных зарубежных поэтов вовсе не знает или почти не знает нынешний отечественный любитель поэзии? Укажите практические пути и способы, которые, по Вашему мнению, помогли бы устранить эти пробелы.

7. Как Вам кажется, принимает ли современная мировая поэзия участие в формировании духовного облика и эстетических наклонностей сословия, по традиции называемого интеллигенцией?

Сегодня на вопросы анкеты отвечает Хамдам Закиров.

Хамдам Закиров

Поэт и журналист (р. 1966). Публикации в журналах "Митин журнал", "Звезда Востока", "Знамя"; альманахах "Так как", "24 поэта и 2 комиссара", "Твердый знак", "Черновик", "Орбита"; антологии "Освобожденный Улисс. Современная русская поэзия за пределами России" (М., НЛО, 2004). Переводы на итальянский, французский, финский. В 1996 году в Санкт-Петербурге в библиотеке "Митиного журнала" вышла книга стихов "Фергана". С 2001 года живет в Финляндии. Куратор интернет-проектов "Русская кавафиана" и "Библиотека Ферганы".

И "круглый стол", и ответы на вопросы анкеты показывают, что видение современности у всех разное. Главное одно — некий хронологический период, "отрезок времени" в виде критерия не устраивает практически никого.

1. "ИЛ", 2005, № 1, 7.

© Хамдам Закиров, 2005

Есть разные варианты определения "современной" поэзии. Границей ее, например, может служить время формирования модернизма, с появлением которого язык литературы, как кажется, необратимо приобрел свое современное звучание. С другой стороны, зарубежная поэзия, которую принято считать современной, переводилась у нас по большому счету в 60—70-е годы. То есть начиная как раз с того момента, когда зародилась современная, по версии Д. Кузьмина, русская поэзия. А значит, его идея верна. С той поправкой, что оказался со-временным, общим язык поэзии — русской и переводной, — создававшийся фактически одним поколением поэтов и переводчиков.

Впрочем, оставив время в покое, следует задаться вопросом: а зачем сейчас поднимать тему современности? Не значит ли это, что в обществе назрел момент, когда прежнее понимание (определение, границы) перестало быть общепризнанным? Или же происходит смена поколений (поэтов, переводчиков, критиков), а с ней — и границ современного нынешним писателям литературного "мира"? И могут ли найтись достаточные основания для того, чтоб в какой-то момент некое профессиональное сообщество безоговорочно приняло эдакую "смену вех", буде мы найдем в процессе обсуждения устраивающую всех *aurea mediocritas*[1]?

Тем не менее некоторые наши любимые стихи (или даже поэты) "устаревают". Никто не собирается, конечно, отправлять их на свалку (пусть и свою, персональную — декларации в данном случае опасны для здоровья, публика-то у нас горячая). И все же поэтический язык отдельных произведений или авторов вдруг перестает отвечать вполне себе абстрактным, порой даже неосознанным нормам современной, адекватной нынешним реалиям речи, словесности (которые по понятным причинам меняются, и литература не может не реагировать на это). Перестают они при этом быть современными? Особенно если учесть, что современная поэзия должна "говорить" с читателем на понятном, знакомом ему языке (речь, естественно, не о стилистической, художественной адаптированности, подверстывании под средний, а то и ниже уровень читательского восприятия, что характерно сейчас уже не только для массовой литературы).

Конечно, на изменение наших личных оценок "современности" влияют вполне понятные факторы. К примеру, прожитые годы и накопившийся опыт, изменения в окружающей нас действительности. Интенсивность последних, особенно во второй половине XX века, нам просто не оставляет шансов: темп, ритм, семиотика жизни, многие смыслы и ценности, социальные, коммуникативные и прочие аспекты бытия если и не встали с ног на голову, то изменились кардинально.

Уже упоминавшийся в дискуссии рижанин Сергей Тимофеев — хороший и едва ли не единичный пример современного автора, чье творчество претерпело изменения под стать времени. После первого, полифоничного сборника "Собака, скорпион" (СПб., "Митин журнал", 1994), где в отдельных текстах ощутимы влияния в диапазоне от Элюара до Хармса (впрочем, ни сюрреализма, ни абсурда), в его творчестве происходит заметный сдвиг, после которого мелос стихов становится —

1. Золотая середина (*лат.*).

как бы так сказать? — менее литературным, однако при этом более музыкальным. Наметившийся в первой книжке переход к лексически новой знаковой системе в последующих сборниках стал доминирующим. И именно это сделало Тимофеева столь популярным в молодежной среде, хотел он того или нет. Его поэзия заговорила смыслами, понятными и доступными его юным (по)читателям, работая с метафорой не столько на уровне литературном, сколько на уровне диджейского микширования или клипмейкерского монтажа[1]. Безусловно, феноменальная популярность С. Тимофеева и "Орбиты" связана не в последнюю очередь с новыми, использующими все современные возможности формами подачи поэтического материала — как на выступлениях, так и в изданиях рижского объединения (уместно, может, называть их уже не столько поэтами, сколько медиахудожниками). В конечном счете, все мы должны быть благодарны Тимофееву и компании, ведь они поддерживают интерес к поэзии среди значительной части молодежной аудитории во многих городах и весях постсоветского пространства.

Творчество рижских авторов я, с вашего позволения, использую и для плавного перехода к другим вопросам анкеты. Например, о примерах влияния переводной поэзии на поэзию другой страны. Группа "Орбита" в этом смысле весьма показательна. Она состоит не только из русскоязычных авторов, но и из латышей, пишущих на родном языке. И, по словам "орбитовцев", в их кругу происходит процесс взаимовлияния, взаимообогащения (как на уровне содержания, так и формы), свойственный любому тесному литературному сообществу.

Такому в том числе, каким была 10—15 лет назад "ферганская школа", которую тоже уместно привести в пример, тем более (как-то не совсем прилично заводить разговор о себе) нас уже упоминали. Игорь Вишневецкий в статье "Изобретение традиции, или Грамматика новой русской поэзии" (НЛО, 2003, № 62) заметил о ферганской школе, которая пишет так, "как если бы никакой двухвековой традиции классической русской поэзии до нее не было". И все же влияние это, пусть и опосредованное, имело место. Как минимум в том смысле, в каком развитие традиции и языка русского поэтического перевода параллельно (но они и взаимозависимы) развитию языка и традиции русской поэзии.

В этом контексте хотелось упомянуть питерский "Митин журнал", рижский "Родник", а также ташкентскую "Звезду Востока", которые в перестроечные годы познакомили читателя с целой плеядой поэтов, испытавших то или иное влияние западных поэтических практик[2]. Список этот при желании можно начать со сборника "Белый квадрат" или с первой подборки "нетрадиционной" поэзии в журнале "Юность", когда в конце 80-х впервые в официальном издании были напечатаны тексты А. Драгомощенко, Ю. Арабова, А. Парщикова, А. Еременко, И. Жданова и др.

1. Поэтика С. Тимофеева, пусть и незамысловатая на чей-то взгляд, облегченная — своеобразный easy reading (по аналогии с музыкальным стилем easy listening), — требует отдельного разговора, как-нибудь, не здесь.
2. Впрочем, все это касается верлибра. А Шекспир, Донн, Данте, Шелли и Китс, ранний Рильке — разве они не влияли, пусть и менее заметно в формальном смысле, на наших "традиционалистов" посредством лучших, ставших классическими переводов?

В анкете был и вопрос о наличии интернациональной общности поэтического опыта и развития. На первую часть вопроса следует ответить положительно: мы живем в одном мире, дух витает где... и все такое. (Следует, правда, учитывать специфические особенности истории той или иной страны, степень свободы общества и соответственно возможность витания вышеозначенного духа.) Что же касается "общности поэтического развития", то с этим несколько сложнее. Особенно в случае обществ, бывших какое-то время так или иначе закрытыми. Ведь общность эта обусловлена наличием связей, свободой обмена информацией, тем, насколько своевременно общество узнает о тенденциях развития в других странах (обществах, литературах). Так, например, литература Узбекистана, в отличие от российской, которая практически "наверстала упущенное" за последние 15—20 лет, имеет отставание от мировых тенденций, как кажется, уже непреодолимое.

Если я прав, то "поэтическое развитие" включает в себя и освоение новых стилистик, обогащение ими отечественной словесности. Я недавно писал для одного среднеазиатского журнала в статье о проблемах современных литератур нашего региона, что развитие национальной литературы должно соответствовать общемировым тенденциям. Подразумевая при этом не калькирование неких методологий на те или иные фольклорные обои (по типу — киргизский акмеизм, казахское дада, туркменские герметики[1]), но знание, освоение технических приемов, умение пользоваться инструментами. В конце концов, писатель тот же художник: нужно знать, как ложатся разные краски на так или иначе грунтованный холст и какие кисти при этом использовать. Это другая сторона творчества, не очень знакомая рядовому читателю, совершенно неизвестная любителям, знающим о поэзии *всё* — чаще на уровне начальной школы. И в этом процессе национальная и переводная поэзии играют совершенно одинаковую роль — плодотворную или никакую.

В литературе любой страны переводы поэзии и прозы должны присутствовать как составные части. В их отсутствии словесность становится неким колченогим поводырем, который по понятным причинам будет топтаться на одном месте (что можно, в общем-то, воспринимать как своеобразную форму патриотизма). В случае среднеазиатских республик дела обстоят именно так: переводческая школа практически отсутствует (разве что ее зачатки в Казахстане и Киргизии), переводной поэзии или прозы практически нет. Сама литература в прежние времена не испустила дух (можно ли это было называть жизнью — вопрос для другой статьи) благодаря тому лишь, что большинство местных авторов читали (занимались самообразованием) по-русски. В итоге местные литературы варятся в бурой смеси остатков собственного сока (какая ни есть классическая традиция) и соцреализма. Молодое поколение склонно, как и везде, к постмодернистским экспериментам, но выглядят они почти всегда убого на фоне совершенно неразвитого родного языка.

Я, набравшись наглости, заметил в уже упоминавшейся статье, что выход из тупика вторичности и провинциальности для среднеазиатских литератур — в перспективе ближайших лет, а то и десятилетий —

1. Интересный каламбур получился. В Туркмении, надо полагать, есть один-единственный герметик...

видится в освоении всего богатства мировой литературы. В смысле переводческой работы. Это на нынешнем этапе для развития национальной словесности, может, даже важнее, чем собственно литература. Потому что оживлять нужно в первую очередь язык (и не только литературный), закосневший, десятилетиями не знавший позитивных перемен[1]. Если следовать моей утопической мысли, то "десятилетие художественного перевода" обогатит национальные литературы, развивая пластичность и подвижность речи, грамматический, лексический, а то и фонетический строй языка. А также активно повлияет не только на появление нового поколения авторов, но и — читателей, которые будут готовы воспринимать язык новой литературы. Если этого не произойдет, узбекские (и вообще среднеазиатские) писатели, как и сейчас, будут в основном обращены к российской или западной публике.

Разница между сочинительством и переводом хотя и есть, но все же меньше, чем кажется на первый взгляд. На горных речках в Азии, где течение поспокойнее и нет больших подводных камней, можно найти перекинутую с берега на берег и закрепленную за стволы деревьев металлическую цепь или проволоку. Служит она в основном для развлечения детей: ухватившись за нее, можно окунуться в быстрый холодный поток. Конечно, не полноценное купание, но в жару удовольствие изрядное. Этим местным приспособлением как переправой пользуются порой и туристы.

Так вот, мне кажется, перевод — это такой именно переход через горную речку. Иногда, когда течение сильное (а руки слабые), можно и не удержаться — и понесет, и непонятно, где сможешь выбраться на берег. Но вероятность этого все же мала. Само же сочинительство — переход без такого поручня, а порой со связанными руками и даже глазами (профессионализм и тренированность помогают в этой ситуации поэту так же, как и циркачу). Конечно, это не вопрос жизни и смерти, — а "всего" лишь того, где в итоге на том берегу окажешься. В случае перевода это более-менее определенное место, и переводческая неудача — оказаться совсем далеко от "заданного квадрата".

В этом контексте уместно сказать о качестве перевода. Переводная поэзия, думается, должна подпадать под те же требования, которые предъявляются к поэзии вообще. А значит, недопустим принцип перевода приблизительного, "для общего ознакомления". В конце концов, не издают же поэты сборники своих черновиков — для этого нужно быть классиком (причем, скорее, уже не живым) или иметь как минимум гипертрофированное самомнение. Понятно, есть здесь своя особенность, и, говоря о слабости неких стихов, мы в первую очередь задаемся вопросом: а не слабость ли это перевода? Логически полагая, что выбраны пусть лишь показательные, но все ж не самые посредственные представители какой бы то ни было литературы. Меня как рядового читателя и покупателя, готового тратить деньги, но не имеющего возможности посмотреть "товар лицом" (приходится заказывать книги через

1. Не то чтобы их не было совсем. Чего стоят попытки обогащения узбекской лексики за счет турецких параллелей в начале 90-х, когда поиски самоидентификации привели к попыткам вытравить из языка русские заимствования. Результаты были подчас курьезными. И, кстати, немногие сохранились до сегодняшнего дня.

Интернет или искать через столичных друзей), этот вопрос крайне занимает. Как покупать книгу любимого поэта, совершенно ничего не зная о переводчике[1]?

Можно было бы разработать некий виртуальный проект, аккумулировавший бы сведения о вновь вышедших поэтических переводах, а также рецензии на них (но кто за это возьмется?). Или, к примеру, "Иностранная литература" могла бы организовать подобную рубрику анонсов и рецензий. Ведь вопрос оценки качества переводов, которых все больше и больше (уже не только Интернет пестрит ими, но и книжные прилавки), становится актуальным день ото дня.

Не пора ли подумать также и об организации специальной переводческой премии? Представляю, сколько скепсиса вызовет это предложение, однако давайте поразмышляем. Почему бы ей, например, не быть такой же "нематериальной", какой изначально была премия Андрея Белого? Для этого не потребуются капиталовложения (пока их неоткуда взять), но лишь добрая воля переводческого сообщества, которое формировало бы жюри из авторитетных профессионалов.

В ситуации, когда российская литературная действительность изобилует премиями (в основном, правда, прозаическими), перевод оказался как бы забытым. Ежегодных премий "Иностранки", на мой взгляд, недостаточно, да и воспринимаются они публикой как частное, редакционное подведение итогов года. Если поставить дело верно, избегая узкоцеховых разногласий, изменится фокус внимания читателей по отношению к переводчику, к его работе и восприятию ее как творческого процесса.

Что же касается не известных отечественному читателю современных зарубежных поэтов, то, по всей видимости, на этот вопрос лучше всего отвечать специалистам, знающим нынешнее состояние дел в той или иной иностранной литературе. Это могут быть, например, наши бывшие соотечественники, которым легче "объять необъятное" изнутри. Мне кажется, вашему журналу, если бы он взял на себя роль организатора, аккумулятора и "воспитателя" нового поколения переводчиков, следует искать таких потенциальных первооткрывателей среди наших эмигрантов[2].

В поэзии Финляндии, где я живу, тоже достаточно интересных имен. Современную финскую поэзию вообще мало переводили на русский. Это понятно, ведь специалисты и знатоки современных поэтических тенденций обращены по большей части к крупным литературам, к основным европейским языкам. А большинство живущих здесь и "балующихся" переводом россиян тяготеет к традиционным формам, а потому переводят они лишь местную классику. У меня есть намерение заняться восполнением этого пробела на финском направлении. Надеюсь, это окажется интересным российской публике.

1. Что говорить о том, что даже известным и заслуженным переводчикам какие-то авторы порой не удаются? Это так же, как у писателей: не у всякого каждая новая книга оказывается удачной...

2. Положительными примерами в этом смысле служат Изабелла Мизрахи, можно сказать открывшая российскому читателю в конце 90-х годов Марка Стренда, а также, судя по найденным в сети рецензиям, книга Уоллеса Стивенса "Человек с голубой гитарой" в переводах Бориса Ривкина (обе книги изданы в США).

Кстати, раз уж поиск новых имен упирается в такое количество вопросов, почему бы не поговорить о расширении наших знаний — о творчестве уже известных в России поэтов? Причем не только тех, кто так и не вышел у нас отдельной увесистой книжкой, но можно начать и с них. Речь идет не столько о создании феноменов по типу "русского Кавафиса" или "русского Паунда", сколько о восполнении имеющихся и по большому счету значительных пробелов. Например, разве в достаточном объеме у нас переведены и опубликованы Тед Хьюз, Джузеппе Унгаретти, Дилан Томас, Уильям Карлос Уильямс, Пауль Целан, Георгос Сеферис, Шеймас Хини? И этот список можно продолжать. Так что поле деятельности только лишь в пределах поэзии XX века еще достаточно большое.

И не пора ли "Иностранной литературе" подумать о книжной поэтической серии (ее можно, к примеру, назвать "ИЛирика")? Это могли бы быть и книжки отдельных авторов, и сборники "Из современной поэзии..." той или иной страны. "Иностранке" для начала не нужно даже искать материал: можно воспользоваться тем, что когда бы то ни было опубликовано в "ИЛ"[1].

Конечно, чтобы эти идеи — премия, информационный портал, книжная серия — заработали, нужны не только деньги (пусть для начала и небольшие), но и организаторский ресурс и талант. А также хороший маркетинг, как бы грустно это ни звучало. Возможно, тогда удастся хотя бы чуть-чуть изменить отношение читающей публики к поэзии вообще, в том числе и к переводной. А отношение это не ахти какое, как бы поэты ни пытались данное обстоятельство скрыть. Так что говорить о том, чтобы поэзия "принимала участие в формировании духовного облика и эстетических наклонностей сословия, по традиции называемого интеллигенцией", как-то не приходится.

На Западе подобного влияния нет уже давно. Будучи однажды приглашенным на встречу со студентами Хельсинкского университета я после адресованных мне вопросов задал аудитории свои. В том числе и такой: играет ли поэзия какую-либо роль в их жизни? Из тридцати примерно человек только трое ответили, что порой читают стихи, и только один — пролистывает изредка в книжных магазинах книжки новых авторов.

Среди старшего поколения интересующихся поэзией больше, а молодежь не только меньше читает, но и пишет меньше: в региональной писательской организации, в которой я состою, молодых (моложе тридцати лет) не более пятнадцати процентов. А среди проживающих в Финляндии наших соотечественников, которых можно было бы назвать интеллигентами, знающих хотя бы одного-двух современных (пришедших в литературу в 70—80-е) русских поэтов — считанные единицы. Недавно организованный в нашем городке кружок любителей русской словесности можно, при всем моем к ним уважении, смело назвать "обществом мертвых поэтов".

Ко всему прочему в российском социуме идет процесс постепенного вымывания прослойки (или сословия, если угодно), называвшейся

1. Выпустил же журнал "Вестник древней истории" в конце 90-х совместно с издательством "Ладомир" два увесистых и замечательных тома "Древние цивилизации", где были тематически собраны лучшие статьи, опубликованные в журнале в разные годы.

интеллигенцией. Этот процесс примерно можно описать так: в зависимости от доходов интеллигенция деградирует либо вниз, либо вверх. Теряя в обоих случаях что-то из того, что и есть визитная карточка данного "сословия"; не имея возможности, времени или желания поддерживать (вернее, развивать) свою образованность на адекватном сегодняшнему дню уровне. Так же как и западные страны, мы постепенно приходим к тому, что останется узкая прослойка интеллектуалов, которым лишь и будут интересны крайние и/или не массовые формы современной культуры, будь то поэзия, опера, балет, сугубо "эстетские" формы живописи и других пластических искусств, авторское кино.

Последний значительный всплеск интереса к поэзии был в годы перестройки, и сейчас уровень этот как будто снова пытается достичь той отметки. Наблюдающийся и не совсем, как кажется, здоровый ажиотаж вокруг литературы вообще, судя по всему, коснулся и поэзии. Издаются неплохие антологии, поэтические серии. Однако, похоже, интерес этот искусственный, и читателей не становится больше. Возможно, мы стоим на пороге очередного периода, когда при помощи неких невидимых рычагов (которые, судя по всему, приводит в действие поколение 40-летних, приходящее постепенно в издательства и редакции) будет создана мода на поэзию. В этом смысле хорошо, что поэзия сейчас интересна лишь поэтам. Последних так много, что сказать что-либо о тенденциях, новых интересных именах невозможно, даже постоянно отслеживая периодику и наиболее крупные литературные сайты. Ничего в этом плохого нет. Ведь когда мода на поэзию как увлечение, как форму времяпровождения схлынет[1], появится мода на чтение поэзии. У меня есть подозрение, что эти два процесса каким-то образом взаимосвязаны.

В любом случае все будет хорошо и как надо. Поэзия не умрет, если только человечество себя не погубит. А если и погубит — вряд ли поэзия сможет этому помешать. В этом смысле повлиять ни на что она не может. Впрочем, не кажется ли вам, что говорить о неком духовном воздействии поэзии на читателя в XXI веке как-то старомодно?

1. Уверен, что значительная часть молодежи, будь их финансовое положение лучше, занималась бы сейчас не литературой, а, как и их сверстники по всему миру, модными, экстремальными и не очень, видами спорта.

Наталья Старосельская

Трагедия сознания

Пьеса американского драматурга, признанного классика XX века Артура Миллера, "Спуск с горы Морган" оказалась в числе последних творений писателя — в начале 2005 года Миллера не стало. Он прожил жизнь очень долгую и по-своему прекрасную — почти девять десятилетий, и на закате ее создал пьесу о человеке, страстно влюбленном в Жизнь.

Парадокс?

Отчего же? Наверное, это — завидное качество личности, не так часто проявляющееся, но несомненно завораживающее и обнадеживающее тех, кому предстоит еще жить и жить.

И подобная пьеса действительно потребна театру, особенно тому, в котором есть "звезды", по крайней мере на главную мужскую и две женские роли. Переведенная на русский язык Л. Смирновой, она недолго искала путь на подмостки. Леонид Хейфец поставил спектакль в Театре им. Вл. Маяковского.

...На совершенно черном пространстве сцены высвечивается почти вертикальная светящаяся линия, по которой спускается игрушечный автомобильчик (сценография Сергея Бархина). Звучит веселая музыка, из тех мелодий, что любят слушать сидящие за рулем в моменты преодоления трудностей дороги, для вдохновения или, точнее, для куража. Внезапно машина делает вираж, раздается скрежет металла, визг бесполезных тормозов, и наступает темнота.

Это и был спуск с горы Морган — главная метафора спектакля, воплощенная режиссером и художником без особых изысков, но выразительно и серьезно. Игрушка позволила почти физически ощутить грозную массу горы, таящую смертельную опасность, и заставила задуматься о том, как беспомощны и малы все мы перед бесстрастным ликом Природы или Судьбы.

Да, наверное, об этом задумывался драматург под конец жизненного пути. Но еще (едва ли не в первую очередь!) и о том, как сильны искушения что-то преодолеть, побороть, ощутить себя властелином. Чего? Ну, хотя бы собственной судьбы. И потому так и останется неясным для нас, что же руководило Лайменом Фелтом, когда он задумал свой обреченный, в сущности, спуск с крутой горы, в темную ночь, невзирая на предупредительные знаки, — желание самоубийства или вот это самое искушение? Ведь совсем не случайно Артур Миллер концентрирует внимание читателя и зрителя на одном эпизоде из воспоминаний Фелта: в Африке, когда Лаймен с женой и дочерью наблюдают за львами, внезапно один из них начинает приближаться, и по радио звучит встревоженное предупреждение. Отступив на миг, Фелт, словно загипнотизированный, делает шаг вперед и обращается к льву, царю зверей, со словами о любви к жизни и привязанности к ней: "Мы любим эту жизнь оба, лев, ты и я!.."

Что это такое, любовь к жизни? Разумеется, у всех она проявляется по-разному, но нет человека, кото-

© Наталья Старосельская, 2005

рый не любил бы жизнь. Желание оборвать ее, прекратить приходит в тот момент, когда человек раз и навсегда осознает, что она выталкивает его, не отвечает взаимностью на привязанность, о которой говорит льву Лаймен Фелт. Но есть и такие "особи", у которых это осознание как раз обостряет желание доказать себе и окружающим свою жизнеспособность.

Мудрый Артур Миллер это знал.

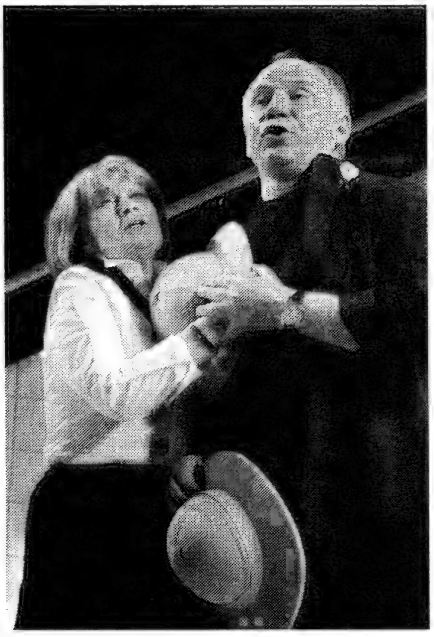
Пьеса "Спуск с горы Морган" воспринимается в каком-то смысле как перекличка во времени с самой, пожалуй, известной пьесой драматурга "Смерть коммивояжера" (на это справедливо обратил внимание Юрий Фридштейн в своей статье о последних книгах А. Миллера). Только существенно меняются акценты: в отличие от Вилли Ломена Лаймен Фелт — счастливчик. Он удачлив и в делах, и в любви, поэтому в характере героя причудливо (но совершенно органично) соединяются человек дела, умеющий рассчитать и вычислить прибыли и убытки, и неистребимый романтик, который не пытается найти идеал в одной женщине, вполне довольный тем, что их у него — две.

И в том, и в другом Фелт абсолютно искренен, но именно от того, может быть, он чуть излишне суетлив и внутренне тревожен. Во всяком случае, таким играет его замечательный мастер Малого театра Валерий Баринов, который ввелся в спектакль едва ли не на "финишной прямой" — в связи с тем, что распределенный на роль Фелта Эммануил Виторган от работы в последний момент отказался.

Думается, режиссер сделал очень точный выбор. Известный и любимый многими артист, представавший со сцены и с экрана в самых, казалось бы, разных образах, подобной роли Валерий Баринов никогда не играл. В его Лаймене Фелте ощущается очень сильное мужское начало: мужественность, сила, обаяние, жизнелюбие, но главное — постоянное, мучительное желание испытать на прочность самое это понятие ЖИТЬ. И познать на собственной шкуре, где же пролегает граница между человеком-властелином и человеком-жертвой. Не столь важно чего: обстоятельств ли, судьбы ли, природы...

В наше время, когда такие глобальные вопросы вроде бы оказались затертыми и задвинутыми куда-то в угол проблемами выживания и жизни (явно не с большой буквы), и пьеса Артура Миллера, и спектакль Леонида Хейфеца поначалу воспринимаются как странные. Но проходит время, тускнеют непосредственные эмоциональные впечатления, которые испытываешь в зрительном зале, и — начинаешь понимать, что не в силах отделаться от того смятения, от той навязчивости серьезных вопросов, которые пробуждены и растревожены именно этим

Наталья Старосельская. Трагедия сознания



спектаклем. Если бы подобный сюжет был сочинен и изложен не Артуром Миллером с его мудростью и талантом, можно было бы, наверное, воспринять историю Лаймена Фелта как хронику жизни очередного стареющего господина, заплутавшего между двух семей. Но мощь и отчетливость режиссерской мысли, темперамент и интеллект артиста поддерживают и по-особому эмоционально высвечивают историю, сочиненную именно Артуром Миллером, писателем-философом, в каком-то смысле подводившим в пьесе "Спуск с горы Морган" итог прожитым десятилетиям.

Лаймена Фелта окружают три женщины — Теодора (Ольга Яковлева), Ли (Елена Шевченко) и Беси (Екатерина Стулова), дочь Лаймена и Теодоры. Каждая из них предъявляет свои права на него, каждая по-своему требует внимания, любви. Но главное — в каждой из женщин живет обостренное, почти болезненное чувство собственности. Это тоже одна из постоянных тем Артура Миллера: по-разному проявленная, но равно свойственная всем потребность владеть другим человеком — иногда на уровне интуитивном или бессознательном — слишком многое определяет в человеческих отношениях.

Впрочем, тема эта волновала не только Артура Миллера. Она из разряда "вечных" (достаточно вспомнить русскую литературу, в которой в свое время прозвучали — и до сих пор звучат — вопросы "Почему люди вкладывают такое значение в слова 'мой', 'моя', 'мое'? Что значит в человеческих отношениях эта потребность к обладанию живым существом?").

Жестко сформулированные Л. Н. Толстым в "Холстомере" именно эти вопросы легли когда-то в основу великого спектакля Г. А. Товстоногова "История лошади". И для того чтобы они эмоционально закрепились для нас уже навсегда, понадобилась харизматическая личность Евгения Лебедева, сыгравшего пегого мерина Холстомера.

Двадцатый век эти вопросы не просто расширил, он придал им отточенность и болезненную остроту — речь пошла о владении человека человеком, и крупный драматург, каковым является Артур Миллер, не мог не задаться ими.

И — не нашел ответа до конца жизни...

Леонид Хейфец творчески использовал традицию. Режиссер большой культуры, он осознал не только на интеллектуальном, но и на чувственном уровне мучительность проблемы и выбрал Валерия Баринова и Ольгу Яковлеву, актеров с харизматической личностью, на роли с очень тонким эмоциональным рисунком. А Елена Шевченко, в массовое театральное сознание столь ярко не вписанная, думается, именно после "Спуска с горы Морган" в него впишется; актриса создает образ Ли неоднозначно: в этой молодой женщине, вульгарной, примитивной по сравнению с изысканной, утонченной Теодорой, которая не может позволить себе в силу воспитания и определенного стиля жизни никаких открытых эмоций, сила страданий не меньше, чем у соперницы. Ее мука столь же неистребима, но еще и помножена на унижение. Неестествен-

ное, нелогичное, потому что страдать должна старая жена, молодой же принадлежит будущее.

В "Спуске с горы Морган" Артура Миллера страдают все в равной мере. Здесь не отыскать правых и виноватых, потому что никто из этих людей не свободен — от условностей, от привязанностей, от прошлого, от собственнического инстинкта. В этом, по Миллеру, и заключена трагедия современного сознания.

Поэтому, когда в финале Лаймен Фелт в одиночестве лежит на больничной каталке, зрителю невозможно найти определенный ответ на вопрос "Обрел ли он свободу? Нашел ли то внутреннее равновесие, которое было так необходимо ему? Может быть, в конце концов оно и таится в одиночестве, в том начале, которое наступает после попытки самоубийства или случайной аварии, произошедшей из-за непомерных амбиций человека, задумавшего потягаться с судьбой ли, природой ли?.."

Прожив долгую жизнь, Артур Миллер написал пьесу-загадку, настоятельно требующую разгадки. Мудрый режиссер, перешагнувший порог семидесятилетия, Леонид Хейфец задался вопросами слишком важными для каждого, но... ответа тоже не дал. Пусть люди находят эти ответы сами, ведь жизнь у каждого своя и понятие ЖИТЬ слишком объемно...

Ирина Ковалева
Костас Монтис: Сократ новогреческой поэзии

17—19 июня 2005 года в Никосии проходил симпозиум, посвященный памяти крупнейшего кипрского поэта XX века — Костаса Монтиса (1914—2004) и организованный Кипрским университетом при участии Министерства образования и культуры Кипра.

Поэт Костас Монтис

В сознании большинства наших соотечественников Кипр ассоциируется не столько с литературой, сколько с понятием "туристический рай" да еще, пожалуй, с растиражированным рекламой турагентств штампом — "остров Афродиты". То и другое — правда; отдыхать на Кипре — большое удовольствие, и на этом острове и впрямь с незапамятных времен почитали богиню любви. В Пафосе находился один из самых знаменитых в античности храмов Афродиты. Так называемый "гомеровский гимн к Афродите", написанный, скорее всего, в начале VII века до н. э., рассказывает о том, как богиня прибывает туда:

В Кипр устремившись, явилась она
в свой храм благовонный,
В Паф, где душистый ее алтарь в
заповедной ограде...[1]

Но не только этим известен Кипр. Здесь проповедовали апостолы Павел и Варнава, сопровождаемые будущим евангелистом Марком, — об этом повествуется в "Деяниях апостолов". Воскрешенный Лазарь был первым епископом Кипра...

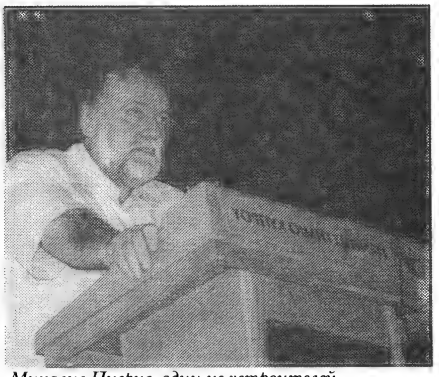
Самолет из Москвы прибывает в Ларнаку — город, чье название происходит от греческого слова larnax — "саркофаг", "рака". В Ларнаке, в изумительно красивой византийской церкви, погребен Лазарь; надпись на саркофаге гласит: "Лазарь Четвородневный, друг Христов, похоронен здесь во второй и последний раз".

Дорога от аэропорта проходит по узенькой полоске суши между морем и соленым озером, на котором зимой во множестве обитают фламинго. Согласно местной легенде, море было всегда, а озеро возникло на месте виноградника, жадный хозяин которого обругал епископа Лазаря, утолившего жажду несколькими виноградинами. Ничего не сказал Лазарь в ответ на брань, вздохнул и пошел прочь. А обидчик повернулся к винограднику — а там уже не сладкие гроздья, а горькая вода...

От Ларнаки до Никосии машина шуршит по шоссе среди красивых,

© Ирина Ковалева, 2005

1. Перевод Е. Рабинович.



Михалис Пиерис, один из устроителей симпозиума

но кажущихся необитаемыми холмистых пейзажей. Движение здесь левостороннее — "наследие британского колониализма". Никосия — не курортный город; море остается позади, а нас ждет гостеприимство Кипрского университета. Гостям симпозиума отвели старинный двухэтажный дом, выстроенный четырехугольником, с пятиметровыми потолками и ароматными деревянными балками, с внутренним садом. В забранное деревянными решетчатыми ставнями окно второго этажа заглядывает огромная смоковница... Когда-то здесь жили местные аристократы, но в 1974 году, во время нападения турецкой армии, многие греки-никосийцы бросили свои дома, спасаясь бегством в южные районы страны. Никосия до сих пор разделена так называемой "зеленой линией" на греческую и турецкую части. Наш дворец стоит совсем рядом с ней, и ранним утром нас будит истошное пение муэдзинов "с той стороны". Улочки в этом районе то и дело упираются в полуразрушенные, пустые дома, магазины, склады, за которыми — металлические бочки (с песком?) и колючая проволока. Кое-где — военные посты. Совсем недавно в некоторых пунктах разрешили свободный проход в обе стороны, и многие греки-киприоты поехали посмотреть на родные места, покинутые тридцать лет назад. Одни (особенно молодежь не из семей беженцев) ездят туда как на экскурсию, другие — за дешевыми покупками; кое-кто осуждает: "непатриотично"...

Отойдя на несколько шагов от района "зеленой линии", окунаешься в бурную жизнь столицы Кипра: банки, офисы, магазины, сувенирные лавочки для туристов, кафе... Устроимся с чашкой кофе на улице Лидрас — это главная улица Никосии, пешеходная, что-то вроде Арбата пополам с Тверской на кипрский лад.

...И я на тротуаре городском, в
моей
столице (пусть и разделенной)
сижу и вижу дождь струится
по стеклу
толпа течет официантка
красива (и знает это)
и не жалеет улыбок[1], —

пишет в стихотворении "Утренний кофе на улице Лидрас" кипрский поэт Михалис Пиерис, "по совместительству" профессор Кипрского университета и устроитель нашего симпозиума.

Что же мы все-таки знаем о литературе Кипра и о Кипре в литературе?

Ричард Львиное Сердце, герой средневековых легенд, отвоевал Кипр у Византии и продал сперва тамплиерам, а потом бывшему иерусалимскому королю Ги де Лузиньяну; королевство Лузиньянов просуществовало без малого триста лет; середину их правления недобрым словом поминает Данте:

Стон Никосии, Фамагосты крик,
Которых лютый зверь терзает
яро...[2]

Последняя кипрская королева Катарина Корнаро, венецианка по происхождению, передала остров Венеции[3]. Действие шекспировского "Отелло", за исключением первого акта, — то есть вся интрига, да и вся трагедия — разворачивается на

1. Здесь и далее перевод с новогреческого И. Ковалевой.
2. "Рай", XIX, 145—146. Перевод М. Лозинского. Считается, что Данте имеет в виду Генриха II Лузиньяна (1285—1324).
3. Кипрское королевство Лузиньянов существовало с 1192-го по 1489 г., венецианцы владели островом с 1489-го по 1570 г.

Кипре; может быть, это самый яркий образ острова, запечатленный в мировой литературе. Правда, читая Шекспира, много ли внимания мы обращаем на место действия?

Современником Шекспира был кипрский хронист Леонтий Махерас (или Махера, как его иногда называют на византийский манер), перу которого принадлежит "Сказание о сладчайшей земле Кипр, сиречь Хроника", повествующая об эпохе правления Лузиньянов – с их вполне шекспировскими страстями. Вот одна история из "Хроники": придворные короля Пьера (1359–1369) обвинили его супругу, королеву Линор Арагонскую – может быть, не вполне безосновательно, – в том, что она была неверна мужу. "Ре Пьер" ("король Пьер" по-кипрски) безумно любил Линор; когда ему случалось по государственной надобности уезжать из дому, он брал с собою рубашку королевы, ибо не мог без нее заснуть... Узнав страшную весть, король дал волю гневу, и проявился этот гнев своеобразно: Пьер поклялся, что не оставит на Кипре ни одной знатной дамы или девицы необесчещенной, и исполнял свою клятву, пока не был убит рыцарями и придворными. Каждый из заговорщиков нанес удар. Королева в свою очередь несколько лет потратила на то, чтобы отомстить за смерть супруга: все до одного заговорщики – убийцы ре Пьера – были убиты по приказу Линор... Но это как раз та литература Кипра, которой мы не знаем...

Финальный монолог Отелло завершается упоминанием турка, который "бил венецианца / и поносил сенат"[1]. Когда Шекспиру было семь лет, Османская империя захватила Кипр и владела им следующие триста лет[2].

В начале XVIII века русский монах Василий Барский посетил Кипр и оставил описание его христианских святынь. В начале XIX века началось общегреческое национально-освободительное движение, Кипр участвовал в нем, принес свои кровавые жертвы, но дальнейшая судьба острова определилась, как ни странно, результатами русско-турецкой войны 1877–1878 годов: Турция потерпела поражение, и тогда Британская империя, имевшая свои интересы в Средиземноморье, получила Кипр в обмен на обязательство помогать Блистательной Порте (таково было одно из официальных названий Османской Турции) в защите азиатских территорий и выплачивать ежегодно султану около 100 000 фунтов стерлингов. До 1960 г. Кипр оставался под властью англичан, боролся за свободу (которую тогда понимали как воссоединение с Грецией), со второй половины 50-х годов – с оружием в руках. Небеспристрастный свидетель этих событий, Лоренс Даррелл написал о них книгу "Горькие лимоны"[1]. В те же 50-е годы Кипр вошел в судьбу и творчество крупнейшего греческого поэта XX века Г. Сефериса[2].

В советские годы кипрских писателей у нас переводили – вышло несколько поэтических и прозаических антологий[3], было несколько подборок и в "ИЛ"[4]. Но выбор авторов обусловливался в значительной степени участием в "борьбе против британского империализма", а после 1974 года – "против турецкой агрессии"... Справедливости ради надо сказать, что на самом Кипре немалое значение придают "патриотизму" литературы, и это, увы, не всегда идет ей на пользу... Конечно, среди опубликованных в те годы в русских переводах поэтов и прозаиков были и заслуживающие внимания имена, но, к сожалению, в тени остались другие – по-настоящему великие. В том числе – Костас Монтис[5].

1. Перевод Б. Пастернака.
2. С 1571-го по 1878 г.

1. Фрагменты из нее в переводе В. Михайлина были опубликованы в "ИЛ", 2000, № 11.
2. "ИЛ" 2005, № 6.
3. Кипрская рапсодия. Стихи поэтов Кипра (М., 1961); Филиппу-Пиеридис Г. Рассказы (М., 1965); Молодые поэты Кипра (М., 1971); На земле Афродиты: Повести и рассказы писателей Кипра (М., 1989).
4. 1965, № 8; 1969, № 3; 1971, № 5; 1974, № 11; 1980, № 12; 1988, № 12.
5. В антологии "На земле Афродиты" был опубликован его рассказ "Два друга" в переводе И. Хабаровой.

Монтис не только самый значительный современный поэт Кипра: он принадлежит к числу лучших поэтов, писавших в прошедшем столетии по-гречески, и, несомненно, к числу лучших европейских поэтов. Достаточно сказать, что в 1999-м он был выдвинут на Нобелевскую премию. Монтис писал в самых различных жанрах — стихи на кипрском диалекте и на литературном греческом языке, прозу (его перу принадлежит роман "Господин Батиста и все остальное", сборники рассказов и повести), пьесы; в 1942 году при его непосредственном участии был основан первый на Кипре профессиональный театр. Наибольшую славу Монтису принес созданный им самим жанр "Мгновений" — маленьких (иногда однострочных) стихотворений, часто ироничных, порой глубокомысленных, всегда неожиданных:

***

Почему столько Могил
Неизвестного Солдата
и ни одной — Неизвестного
Человека?
Нам-то куда возлагать венки?

Планеты — Земле, когда она, опустевшая, вернулась к ним

Помнишь, как ты одна из всего
класса
подняла руку?
Ну так вот тебе!

О происхождении видов

Если бы мы теперь захотели
вернуться к обезьяне,
боюсь, она бы нас не приняла;
если бы мы теперь захотели
вернуться к рыбе,
боюсь, она бы нас не приняла.

Монтиса иногда называют "Сократом новогреческой поэзии". Действительно, Монтис — поэт, который задает вопросы: его стихи часто представляют собой одно вопросительное предложение; еще чаще они построены как диалог, в котором реплики одного из собеседников опущены, но легко угадываются. Монтиса называют еще "неудобным поэтом"; как и древний Сократ, он задает вопросы всем и обо всем — Богу и о Боге, человечеству, соотечественникам, самому греческому языку:

Богу о Смерти, I

Как Ты и Сам убедился, Господи,
что-то не вышло.
Как Ты и Сам убедился, Господи,
Пора снова объявить конкурс на
это место.

Богу о Смерти, II

Со всем подобающим почтением
предлагаю, Господи,
когда Ты объявишь конкурс
на это место,
включи в список "требований
к кандидатам"
как необходимое условие,
чтобы они были женаты и имели
детей и внуков.

Смерть — Богу, о поэтах

Господи, мы не успеваем, и они
разбегаются, и потом их
не соберешь.

Превосходная степень

Теперь у нас есть даже
"пресвятейшие", Пресвятая Дева,
теперь у нас есть превосходная
степень,
а Тебе мы оставили
положительную?

В церкви

Говорите не "Со страхом
Божиим" —
"Со страхом человеческим".

Одна из поэтических книг Монтиса носит заглавие "Со страхом человеческим" (1982).

Недаром греческий поэт Михалис Ганас назвал Монтиса — создав для этого неологизм — "безбогобоязненным"! Но та смелость, та прямота, с какой поэт касается самых болезненных сторон человеческого существования, позволяет ему, например, говорить о трагедии Кипра 1974 года с искренней болью, но без ложного пафоса. Предчувствуя катастрофу, Монтис еще накануне ее писал:

Кипр, 1970

Это обитаемый остров?

А позже с горечью сказал:

Кипр, 1984

Сегодня остров совершенно пуст.
Последние жители покинули его
четверть века назад.

Помимо "Мгновений", которые поэт писал на протяжении всей жизни, наибольшей известностью пользуются три больших цикла, объединенные под названием "Письма к матери" (1965; 1972; 1980–1987). Мать поэта умерла от туберкулеза, когда Костасу Монтису было 12 лет. Но в "Письмах к матери" он создает символический образ, выходящий за рамки реальной биографии:

Мама, ты помнишь мое
последнее письмо
я боялся, что ты не ждешь его у
окошка,
боялся, что ему скажут: "Матери
больше нет"
Так вот, поверишь ли, теперь я
надеюсь
что ты не ждешь этого письма,
поверишь ли, теперь я надеюсь
что тебя нет
что ты не прочтешь меня снова
и пусть мое письмо ищет тебя
сколько угодно
и пусть оно бродит как призрак у
нашего дома
и пусть оно бродит как призрак в
нашем дворе
и пусть оно бродит отчаявшись
как призрак под дождем и на
ветру
в имени твоем в крике твоем и на
гробе твоем.
Теперь я надеюсь что ноги не
принесут его
к твоей двери,
я надеюсь, что оно потеряет
сознание у твоей двери,
что оно упадет у твоей двери,
не успев постучать
не успев поскрестись
не успев сказать: "Это я, мама,
открой!"

Мама, на этот раз я уверен
что не напишу тебе больше.

Район Никосии, разрушенный во время конфликта 1974 г.

Это последнее письмо последней, третьей части.

В симпозиуме памяти Монтиса участвовало более сорока представителей десяти стран (в том числе России) — филологи, переводчики, поэты, журналисты, студенты и любители поэзии. Открылся симпозиум концертом: множество стихов, написанных Монтисом на кипрском диалекте, стали песнями, некоторые из них считаются народными, а это, наверное, одно из наивысших достижений любого поэта — вернуть языку, фольклорной традиции в преображенном виде то, что у них заимствовано. В двадцати девяти выступлениях творчество Монтиса анализировалось с самых разных точек зрения: лингвистической, литературоведческой, переводческой... В греческой традиции Монтис ближе всего к Кавафису; в современной европейской поэзии, как оказалось, у него есть почти двойники — испанский поэт Антонио Гамонеда, о котором говорил испанский неоэллинист Висенте Фернандес Гонсалес, и итальянец Джорджо Капрони, представленный молодым итальянским филологом Ф. Понтани, составителем одной из наиболее значительных антологий новогреческой поэзии в переводах на итальянский язык. Едва ли не самым впечатляющим событием симпозиума было "параллельное чтение": известный переводчик новогреческих поэтов на английский Дэвид Конноли читал стихи Монтиса, а Висенте Фернандес Гонсалес — свои переводы на новогреческий стихов Гамонеды, и они звучали как специально написанный диалог двух поэтов; это тем более впечатляет, что Монтис и Гамонеда никогда не слышали друг о друге. Видимо, дело в том, что, как заметил кто-то из участников конференции, наше время нуждается в Сократе, который задавал бы вопросы.

Почему ты обращаешься ко мне
по-прежнему?
Не замечаешь, что это уже не я?

Никосия–Москва,
2005

"Славянские ручьи..."

Россия и Болгария. По страницам русской литературы XIX — начала XX вв. / Сост. И. Ю. Мельникова; науч. ред., вступ. ст. д-р ист. наук В. М. Хевролина. — М.: Рудомино, 2003

"Россия и Болгария" — так называется книга, выпущенная издательством "Рудомино", плод поистине героических усилий составителя Ирины Мельниковой, ответственного редактора Юрия Фридштейна, сотрудников научно-аналитического отдела Библиотеки иностранной литературы. Что мы знаем о Балканской войне 1877—1878 гг. (а именно это событие — центральное в материалах, собранных составителем)? По сути, очень немного. В отрочестве мы читали "Накануне" Тургенева, восхищались Инсаровым, потом, возможно, кому-то из нас попались "Четыре дня" полузабытого нынче Гаршина, ну а более продвинутый читатель, может быть, вспомнит и "Дневники писателя" Достоевского или стихи Тютчева и Полонского, посвященные так называемому "славянскому вопросу", — вот, пожалуй, и все, что можно выудить на свет божий из кладовой памяти. И вот мы держим в руках увесистый том (двадцать четыре с половиной печатных листа!), в котором представлены все жанры российской словесности второй половины XIX и начала XX веков: беллетристика, поэзия, публицистика, эпистолярное наследие именитых, малоизвестных и вовсе неизвестных нам людей, — и вся эта огромная масса литературы посвящена событию, которое, как выясняется, всколыхнуло всю Россию. Перед нами разворачивается панорама русско-турецкой войны за освобождение славянских народов, все этапы ее: сражение за Шипку, штурм Плевны, позиционные бои "местного значения", в которых дрались и погибали русские солдаты и генералы и болгарские дружинники. Это — непосредственно война. А "славянский вопрос" — проблема освобождения и будущего устройства жизни южных славян — в данном случае болгар — волновал всю без исключения русскую интеллигенцию, независимо от рода занятий. Военные события вообще никого не оставили равнодушными, представители всех сословий были потрясены происходящим на войне, и это потрясение отразилось во множестве литературных материалов, составивших книгу. Первое, на что хочется обратить внимание, — массовость реакции на войну, как бы к ней ни относились те или иные современники, войну тяжелую, кровавую, с тысячами жертв и подвигов героев.

Разумеется, литературные достоинства собранных в книге свидетельств времени неодинаковы, тут есть и образцы прекрасной прозы — саркастические заметки Салтыкова-Щедрина, отрывки из "Дневника писателя" Достоевского, "Четыре дня" Гаршина, живые, выразительные сцены боевых действий у Вас. Ив. Немировича-Данченко и В. В. Верещагина; но и найденные составителями заметки, письма, стихи авторов-любителей тоже небезынтересны, а подчас и увлекательны как историческое свидетельство событий исключительной важности.

Весь материал книги можно условно разделить на три темы,

более всего занимающие авторов. Это размышления о том, надо или не надо было начинать войну за освобождение южных славян, как потом обустраивать жизнь освобожденных народов — возможна ли их политическая и государственная самостоятельность или они должны войти в некий общеславянский конгломерат во главе, разумеется, со "старшим братом" Россией — и наконец, описания непосредственно военных действий на Балканах. Вся книга, материал которой расположен в хронологическом порядке, воспринимается как живой горячий спор о судьбах не только Болгарии, но и самой России, не зря автор предисловия доктор исторических наук В. М. Хевролина (она же и научный редактор книги) назвала его "Вопрос славянский — русский вопрос". Давний спор так называемых западников и славянофилов представлен на редкость выразительно — десятилетия не пригасили жара схваток, и поскольку сборник составлен так, что высказывания горячих сторонников идеи панславизма чередуются с резко противоположными мнениями, книга приобретает определенную драматургию, что, конечно же, повышает читательский интерес.

Как известно, одним из самых ярых защитников и проповедников идеи объединения славян под эгидой России был Достоевский. Приоритетом для него было не родство по крови, а "...соединение всех православных племен во Христе и в братстве уже без различия славян с другими остальными православными народностями". Писатель более последователен, нежели другие славянофилы — Ф. И. Тютчев, И. С. Аксаков, С. И. Шевырев, он много раз повторяет, что не имеет в виду политические интересы России на Балканах, и если именно Россия должна взять на себя объединительную роль, то лишь потому, что иначе южные славяне передерутся друг с другом: "...без единящего огромного своего центра — России — не бывать славянскому согласию, да и не сохранится без России славянам — исчезнуть с лица земли славянам вовсе..."

История, как известно, опровергла прогнозы Достоевского. Точно так же, как и ссылки Аксакова и Тютчева на то, что в будущем всеславянском государстве господствовать будет "старший брат" — Россия. (Как часто мы будем наступать на эти грабли? История Болгарии началась на много веков раньше, нежели Русь определилась как государство, и в VI, VII, VIII веках Болгария во главе с ханами Крумом и Омуртагом, а потом царями Борисом и Симеоном была уже мощной державой. И православие, и славянская письменность появились там гораздо раньше, чем у восточных славян... Но это так, к слову.) В статьях и выступлениях И. С. Аксакова звучит боль и горечь, глубокое сочувствие судьбе несчастных болгар, больше всех страдающих от зверств завоевателей. У них "...нет ни точек опоры, ни вождей народных, ни высшей иерархии духовной", — сетует он. (Видимо, Иван Сергеевич не знал о повстанческих комитетах Васила Левского, Христо Ботева, о румынской эмиграции, о казненных героях, ставших духовным примером для последующих поколений, о бунтарском сопротивленческом начале в характере не покорившейся нации.)

Значит, война. "На Дунай!" — восклицает Аксаков в одном из стихотворений. Манифест 12 апреля 1877 года о начале боевых действий против турок многие в России воспринимают с восторгом и радостью. А. С. Суворин, например, называя болгар "бедными, бедными неграми славянского племени", видит единственный способ освободить их

в том, чтобы "Россия заняла Болгарию и взяла ее под свое покровительство". Совершенно иной взгляд на проблему у Н. Г. Чернышевского: "... у могущественного русского орла очень много своих домашних русских дел... первое право и обязанность ее (России) заботиться о собственном благе". Он — за проведение отечественных, очень важных реформ, не оставляющих ни средств, ни времени на войну, и полагает, что южные славяне сами смогут освободить себя, только не нужно им мешать. Чернышевский был не одинок. В частности, его поддерживает литературный критик и публицист Г. Елисеев. Письма Елисеева, пожалуй, — единственный в своем роде документ, где трезво констатируется: война как исполнение долга Россией перед славянскими народами неизбежно повлечет за собой жертвы и разорения. Да и Герцену, и Салтыкову-Щедрину претит ура-патриотический захлеб, который заливает русскую прессу, в то время как в деревне крестьянские семьи лишаются кормильцев, матери и жены идут по миру, дети умирают (см. письма А. Энгельгардта).

Бóльшую часть книги занимают военные очерки. Здесь трудно отдать кому-нибудь пальму первенства, настолько все они выразительны и талантливо написаны. Таковы отрывки из книги Василия Ивановича Немировича-Данченко (брата режиссера, одного из создателей МХАТа, Владимира Ивановича) "Год войны. Дневник русского корреспондента 1877—1878 гг."; полные юмора заметки "дяди Гиляя" — В. А. Гиляровского, взятые из его книги "Шипка"; неожиданно открывающие незаурядный литературный талант автора "Воспоминания о русско-турецкой войне 1877" Василия Васильевича Верещагина — как приложение к его знаменитой картине "На Шипке все спокойно". С неожиданной стороны открывается и известный сегодняшнему зрителю по сериалу "Петербургские тайны" (у автора "Петербургские трущобы") В. В. Крестовский, который, оказывается, прошел всю кампанию 1877—1878 гг. как первый военный корреспондент, принимал участие в штурме Плевны (одном из самых тяжких и кровавых эпизодов этой войны) и был награжден тремя высшими орденами, а также черногорскими, сербскими и румынскими знаками отличия...

Побывал на этой войне и В. Гаршин: его рассказ "Четыре дня", пожалуй, самое страшное свидетельство участника и очевидца, убежденного в том, что всякая война — смерть, мор, разрушение, и нет в ней ни победителей, ни побежденных.

По-разному воспринимают русские, перешедшие Дунай, болгарина. Для одних это рачительный хозяин, усердный работник, прекрасный семьянин, который свято соблюдает заветы отцов и сложившиеся издавна законы поведения, отношения к людям, который с восторгом встречает русских "братушек" (кстати, слово "братушка", которое так усердно муссирует журналист и публицист Н. Максимов, означает попросту "братец", "братик" и вовсе не имеет уничижительного оттенка, совсем наоборот). Для других — скопидом, торгаш, который боится пришельцев-освободителей и прячет добро... Что ж, и такое восприятие не ново и может относиться к любому народу.

Книга завершается отрывком из поэмы А. Блока "Возмездие" — описанием торжественной встречи тех, кто навсегда запомнит три штурма Плевны, Шипку: "Конец тяжелого похода, / Незабываемые дни! / Пришли на родину они, / Они средь своего народа".

И тот, кто прочтет эту книгу, будто освежит в памяти одну из

самых драматичных страниц истории России.

...В Москве на Старой площади стоит небольшая часовенка "в память гренадеров, павших под Плевной". Далеко не каждый знает, что часовенка эта — скромная дань жертвам той войны. А вот в Болгарии, в центре Софии, на площади Народного собрания, красуется внушительный памятник Александру II, на цоколе которого написано "Царю-освободителю". Я уж не говорю о многочисленных знаках благодарности русскому воину, разбросанных в тех местах, где шли особенно тяжелые бои с турками.

Болгария помнит.

Е. Фалькович

"Что география отшибла..."

Прага. Русский взгляд. Век восемнадцатый – век двадцать первый. Сост. и коммент. Н. Л. Глазкова. Науч. ред. и авт. вступ. ст. д-р филол. наук С. В. Никольский. — М.: ВГБИЛ, 2003

Не берусь определить жанр этой книги. Она всё вместе — и антология отрывков из мемуаров, прозы, публицистики, и стихи, и историческое эссе, и литературоведческое исследование, и справочник.

Изданная в рамках программы Института толерантности ВГБИЛ имени М. И. Рудомино при поддержке института "Открытое общество" фонда Сороса, книга эта еще и плод сотрудничества нашей прославленной библиотеки со Славянской библиотекой в Чехии, пражской администрацией и Музеем города Праги. Судя по всему, данное обстоятельство помогло составительнице тома, Н. Л. Глазковой, снабдить его обширнейшим (200 страниц убористого текста, едва ли не половина тома!) комментарием. А в нем, без преувеличения, море фактов, цитат, мнений, разъясняющих "основной текст": сведения из истории Чехии, давней и недавней, подробнейшие биографические справки о наших соотечественниках, побывавших в Праге, и чехах, с которыми они там встречались, о домах и гостиницах, в которых они останавливались (указывается, как называлась улица или площадь тогда, как — сейчас, кто, когда, для чего, как строил, перестраивал то или иное здание, что в нем теперь), о театрах и музеях, которые они посещали, о достопримечательностях, которые осматривали. Но и это еще не все. Тут же немало исторических, литературных, бытовых мелочей и подробностей, позволяющих почувствовать атмосферу, в которую окунались в Праге русские люди, а также замечаний и размышлений тех из них, для кого по каким-то причинам в "основном тексте" места не нашлось. И именно эти комментарии, обстоятельные, живо написанные, способствуют тому, что книга, собранная из столь разных текстов, обретает стройность, помогает понять, почему чуть ли ни у всех русских Прага неизменно вызывала восторг, восхищение, радостное изумление, чувства, которые так просто выразила в одном частном письме Марина Цветаева: "...маленькая Прага — а сколько имен и событий..."

С. В. Никольский во вступительной статье назвал этот увесистый том "своего рода 'портретом' Праги, составленным из мозаики впечатлений русских ее посетителей". Впрочем, слово "портрет" тут не более чем метафора: единой картины одного из самых красивых европейских городов нет, да и быть не может. Ведь о Праге вспоминают, Пра-

гой восхищаются, Прагу стараются понять люди не только разных эпох, но и разных взглядов, вкусов, пристрастий: от сподвижницы Екатерины II Е. Р. Да́шковой, первого президента Российской академии, до Ларисы Дашко́вой, нашей современницы, художницы родом из Перми, давно уже, с 80-х годов XX в., ставшей пражанкой. Среди них — литераторы, музыканты, художники, ученые, военные, придворные, чиновники, русские всех сословий, изгнанные революционной смутой и Гражданской войной на чужбину, те, кто стал очевидцем вхождения советских танков в мае 45-го и в августе 68-го, те, кто побывал в Праге в 70—80-х годах прошлого столетия, в период так называемой нормализации, наконец те, кто приезжал туда уже после "бархатной революции" 1989 года. Вот и истоки той мозаики впечатлений, мнений, взглядов, оценок, которую если что и скрепляет, то неравнодушное отношение к Праге, "самому поэтичному городу Средней Европы", как считал художник А. Н. Бенуа. Многих русских поражала *загадочность* чешской столицы, ее *редкая прелесть*, ее *изысканное очарование*. "Волшебный город эта Прага! — писал Ф. Тютчев. — Я, москвич, должен сознаться, что не видывал краше ее". И питерцы, и москвичи, и "провинциалы" говорят о бросающемся в глаза *сходстве Праги с Москвой*. Причем сходство это видят прежде всего в *живописности* и *красочной беспорядочности* чешской столицы...

Прага постарше Москвы, уже в IX столетии она стала столицей чешского государства. Однако в отличие от Москвы она заявила о себе как единый город, объединенный *общим управлением*, только в 1784 году, а до того существовала как группа независимых пражских городов (Новый город, Старый город, Малая сторона, Градчаны). Примерно этим же временем датируются и первые впечатления о ней русских путешественников, включенные в книгу. Правда, приезжали они не в столицу самостоятельного государства: Богемия уже более полутораста лет была провинцией империи Габсбургов (и оставалось впереди еще почти столько же до образования в 1918 году независимой Чехословакии), а Прага превратилась в сильно онемеченный город. Но это было привычным фактом тогдашней повседневности, и для подданных российской империи казалось чуть ли не естественным. Точно так же, как в XX веке для советских людей представлялось естественным, что Чехословакия хоть и заграница, но все же заграница "братская", "наша", а стало быть — вроде бы... "второстепенная".

Не потому ли некоторые просвещенные, даже передовые русские (затем и советские) люди не могли скрыть изумления: как это так, отчего чехи и без своей государственности (в XVIII—XIX веках), и в независимой, но маленькой стране (межвоенное двадцатилетие XX века), и в маленьком, но зависимом государстве (сорокалетие после Второй мировой войны) живут удобнее, человечнее, лучше нас? Удивлялись и тому, что, несмотря на все беды и бури, выпавшие на долю Праги, она вовсе не производит впечатления провинциального города, а с незапамятных времен (по меньшей мере в течение семи столетий, прошедших со дня основания там университета) была и остается одним из самых крупных и важных мировых "гуманитарных" центров. В самом начале XIX столетия писатель и историк Ал. Ив. Тургенев записал: "Кто не бывал в Богемии, тот не поверит, чтобы литература здешняя была так богата, как она есть на самом деле. <...> Бо-

гемцы тогда уже писали книги, когда еще немцы только начинали просвещаться". Филолог-славист и этнограф И. И. Срезневский поражался *музыкальностью Праги*, которая, как он писал, "языком может молчать, но инструментом и гортанью — не в силах... " Его старший современник А. Д. Улыбышев, автор трехтомной биографии Моцарта, даже полагал, что никто и нигде уже в XVIII столетии, при жизни композитора, не понял его так, как Прага. А спустя сто лет И. Г. Эренбург, несравненный мастер "эзоповой" критики "советского образа жизни" и благопристойных колкостей по адресу советских властей, писал, что в Праге "современное хорошо уживается с древним, мечты — с прилежным трудом, большие перспективы — с узкими старыми улицами..."

Для русской культуры, для развития и укрепления русско-чешских отношений, для поддержания общности европейских славян подобного рода "открытия" были весьма кстати, хотя порой и давались с трудом. К. Бальмонт, которого так очаровала чешская поэзия, что он выучил язык и стал переводить чешских поэтов, укорял (и печатно тоже) своих товарищей по эмигрантской доле: "...славяне мало изучают язык, историю и творчество братских народов". И требовал: "...во имя новых исторических путей, это равнодушие и эта рознь должны быть преодолены..." Рассказывают, что именно этот укор рассорил К. Бальмонта с *русскими пражанами*, многие из них отказались прийти на его поэтический вечер, организованный благодарными чехами. Любопытный штришок, позволяющий предположить наличие в душах некоторых русских, советских, а теперь и российских людей своего рода "гена великодержавия", объясняющего их склонность с покровительственным пренебрежением относиться к малым странам и народам (в советские времена это выражалось обывательским: курица не птица...).

Хорошо, что составители тома не вытравили штришки подобного рода. Мне кажется, именно благодаря этому собранные здесь мнения, оценки, впечатления русских посетителей Праги, не свободные от мифов, стереотипов, иллюзий своего времени, способны помочь внимательному читателю разобраться в проблемах и парадоксах нынешних отношений России с ее бывшими европейскими союзниками, в том числе и славянскими. Ведь отношения эти лепятся под нажимом не столько нашей общей истории, сколько нашего общего прошлого. А это не совсем одно и то же. *История* большинству из нас чаще всего представляется сказкой, страшной или веселой, увлекательной или нудной, она не болит, хотя людей чутких и совестливых способна удивить, раздразнить, раздражить, вызвать тоску по несбывшемуся, по несостоявшемуся. Болит же чаще всего именно *прошлое*, то, что произошло на наших глазах или на глазах наших отцов и дедов, что стало их и нашими воспоминаниями, породило их и наши разочарования, страхи, надежды и иллюзии. Если это так, то можно сказать, что история нас с чехами разлучала, но не разводила: взаимные симпатии русских и чехов, несмотря ни на что и вопреки всему, крепли на протяжении последних нескольких веков. Тут истории на помощь пришла, если так можно выразиться, и политическая география: чешские земли никогда не входили в границы Российской империи, которая никогда их ни с кем не "делила" (как польские, к примеру). Даже Первая мировая война и русская революция, породившие конфликты между властями, не

привили нашим народам ненависти и недоверия друг к другу. А в начале 20-х годов прошлого столетия по инициативе первого президента Чехословакии Т. Г. Масарика была предпринята так называемая *русская акция*: десятки тысяч изгнанников нашли там приют, кров, средства к существованию. Более 150 русских ученых были приглашены в Карлов университет, в Праге построили несколько "профессорских домов", художникам, литераторам, студентам предоставлялись разного рода субсидии. Как писал наш современник, богослов и поэт Н. С. Арсеньев, Прага тогда превратилась в "чрезвычайно плодотворный и оплодотворенный оазис русской культуры в эмиграции...", а Чехия стала для занесенных туда судьбою наших соотечественников второй родиной. Увы, в комментариях к тому то и дело спотыкаешься о сухие сообщения: в 1945 году советская госбезопасность арестовала... вывезла в СССР... умер в лагере...

В XX веке советские танки в Праге побывали дважды. Писатель Б. Полевой до конца дней не мог забыть поразившую и взволновавшую его в мае 1945 года картину: по Вацлавской площади "движутся наши танки. Они идут осторожно, как добродушные слоны, пробиваясь в огромной толпе. Пропыленные до костей мотопехотинцы сидят на бортах. Из толпы летят цветы, пачки сигарет, венки, сплетенные из липовых ветвей". Тогда еще мало кто мог представить себе, что героический бросок советских солдат на помощь восставшей Праге, завершивший самую кровопролитную войну в истории человечества, политики используют для того, чтобы Чехословакия (и не только она...) превратилась в отнюдь не свободного и добровольного союзника СССР. Спустя двадцать три года, в августе 1968-го, актер С. Юрский ночью услышал за окном пражской гостиницы "лязг танковых гусениц", а выскочив утром в город, увидел, что подходы к мостам в Праге "перекрыты танками", возле каждого "толпа людей", "танков много, значит, и толп много. Иногда тягостное молчание танкистов и окружающих. А иногда разговоры и крики, и даже воду и бутерброды несут танкистам". Узнавший о случившемся по радио Е. Евтушенко написал стихотворение-крик, в котором просил "потомков": "пусть надо мной без рыданий / просто напишут, по правде: / 'Русский писатель. Раздавлен / русскими танками в Праге'".

Разные танки, разная стилистика...

Почти полвека минуло с той поры. Два поколения. И нет больше ни Чехословакии, ни Советского Союза, нет ни жертвы, ни палача. *Прошлое*, однако, не проходит само собой. Прежде чем превратиться в *историю*, оно способно надолго разлучить народы, даже, как выразился еще полтора века назад П. Вяземский, "расторгнуть" их. И предлагал чехам и русским, "родным братьям и по крови, и по слову", самый верный, по его убеждению, рецепт: "Будь каждый дома, каждый розно, / Когда таков закон судьбы, / Но связь преданий не погибла, / Она разрозненных мирит: / Что география отшибла, / Пусть сызнова любовь скрепит". Рецепт этот отнюдь не устарел и сегодня — в иные времена и в иных обстоятельствах. Составители и редакторы тома, о котором идет речь, как мне кажется, следовали ему.

Подобного рода книги сейчас редкость. Как ни странно, нечто схожее периодически появлялось на полках книжных магазинов в советские времена и, несмотря на тогдашний книжный голод, надолго там залеживалось. Я имею в виду тома, посвященные "интернациональ-

ной дружбе" народов "братских" социалистических стран, ее историческим и культурным корням. Но то была "пропагандистская обязаловка", в которой хоть и удавалось иногда сказать кое-что новое, интересное, нужное, однако главенствовали там все-таки умолчания, а то и откровенная ложь. Такие издания мало кем читались, но и они свое дело делали: консервировали, поощряли стереотипы и мифы, доставшиеся нашим народам по наследству, взращивали и выхаживали новые, которые оказались настолько живучи, что и сегодня нередко основательно мешают развитию нормальных, здоровых, обоюдовыгодных отношений между Россией и ее ближайшими, старыми и новыми, соседями, в том числе и славянскими народами.

Эта книга на полках магазинов вряд ли залежится: ничтожно мал ее тираж. Впрочем, и сотни таких книг, изданных даже бóльшими тиражами, сами по себе не в силах разрушить стереотипы и предубеждения, навязанные нам прошлым. Но они способны побудить нынешние поколения, для которых это прошлое уже стало историей, хотя бы не цепляться за них, напоминая гражданам новой России не только о том, что соседей не выбирают, но и о том, что среди наших соседей в Европе есть народы, говорящие с нами на близком языке, многим добрым обязанные друг другу, накрепко связанные общим прошлым, общим настоящим, а стало быть — и общим будущим.

А. Ермонский

Феноменология открытия

Россия и Бразилия. 200 лет знакомства. Свидетельства русских путешественников, ученых, дипломатов, артистов и литераторов / Сост., предисл., примеч. Л. М. Бурмистрова. — М.: Рудомино, 2004

Впервые в максимальной полноте под одной обложкой соединились самые различные "впечатления" россиян, бывавших на протяжении двухсот лет в Бразилии. Из разрозненных фрагментов — описаний путешествий, дневниковых записей, этнографических и натуралистических заметок, писем, очерков, эссе — выстроилась динамичная картина далекого мира. Причем значительную часть материалов составитель книги Л. М. Бурмистрова извлекла из труднодоступных источников: из российской периодики XIX века, из изданий, давно ставших библиографической редкостью.

Есть точная дата "открытия" Россией Бразилии: 21 декабря 1803 года, когда корабли первой русской кругосветной экспедиции под руководством И. Ф. Крузенштерна стали на якорь у острова Святой Екатерины. Конечно, задолго до этого уже было известно о существовании заморской португальской колонии. Сведения о плавании Колумба, о разделе заатлантических владений между Испанией и Португалией проникли в Россию через тридцать лет после открытия Америки: в середине 20-х годов XVI века появился перевод эпистолы М. Трансильвана (секретаря Карла V), повествовавшей о Новом Свете, о "земле бесконечной и пространнейшей", о ее неисчислимых богатствах. Десятилетием позже об испанских и португальских мореплавателях, об обращении "нового ми-

ра" к истинной вере писал святой Максим Грек. Позднее, в конце XVI–XVIII веков, сведений об Америке поступало все больше и больше. Они черпались из разнообразных европейских первоисточников, перетолковывались в русских хронографах (впервые топоним "Америка" встречается в 1584 году в переводе компилятивной "Хроники всего света" М. Бельского). Достоверные факты нередко смешивались с полуфантастическими, создавая двойственный образ дальних земель: географическая и политическая конкретика сосуществовала с утопией, вымыслом.

Образ Бразилии (первые упоминания об этой стране в русской печати относятся к XVIII веку) начинает выстраиваться в логике просветительской модели познания, с естественным, все более возрастающим к последней трети XVIII века критическим интересом к социальной системе страны, в том числе к проблеме рабства, в котором видится аналог российскому крепостничеству. Но поток фактической информации перебивается вымыслом: в 1762 году на русский язык переводится роман Д. Дефо о Робинзоне Крузо. К концу века книга несколько раз переиздается и занимает непременное место в семейных библиотеках; выходят на русском иные, подражающие Дефо истории, действие которых связано с Бразилией. Образ экзотической страны закрепляется в сознании российской публики, подготавливая реальную встречу.

Л. М. Бурмистрова назвала материалы, включенные в антологию "свидетельствами". Следует пояснить, что "свидетельство" (testimonio) — специфический жанр латиноамериканской словесности, в котором особым образом соединяются документальное и художественное начала. Истоки жанра усматриваются в первых памятниках литературы континента: в "хрониках" освоения Нового Света, начало которым было положено письмами Колумба. В основе "свидетельства" — достоверность личного опыта, который становится обоснованием реальных или фантастических фактов.

Тексты, собранные в книге, — именно такого рода. Особое положение занимают здесь путевые записи, заметки российских мореплавателей, участников кругосветных экспедиций XVIII века. Все корабли на пути вокруг Америки в первую очередь причаливали к берегам Бразилии, порт Рио-де-Жанейро — место ремонта и отдыха после пересечения Атлантики. И. Ф. Крузенштерн, Н. П. Резанов, М. И. Ратманов, В. М. Головнин, Ф. Ф. Матюшкин, О. Е. Коцебу, другие путешественники-первопроходцы принадлежали к военной элите своего времени, были людьми во всех отношениях высокообразованными, талантливыми. Одаренные неутолимой жаждой познания, они обладали способностью открывать и запечатлевать сущность мира. Их сочинения составили интереснейшую страницу отечественной романтической документалистики, обнаружив, как ни странно, удивительную созвучность, почти тождественность первым португалоязычным (совершенно неизвестным русским путешественникам) текстам, посвященным Бразилии. "Вся Бразилия — это свежий сад, во весь год здесь не увидишь ни сухого дерева, ни увядшей травинки. И такая музыка вокруг тебя, когда идешь по тропинке, что хочется славить Господа", — восклицал в XVI веке миссионер-иезуит Жозе де Аншьета, наслаждаясь великолепием тропической природы. Мануэл да Нобрега воссоздавал образ мира, пребывающего в гармонии и покое чудесного многообразия: "Земля эта свежа: с зимой мягкой, да и летней жарой не

слишком чувствительной. Многочисленны плоды земли и разнообразны, в море же многочисленна и хороша рыба. Горы же похожи на сады. И истинно, никогда не видел я даже на фламандских гобеленах такой красоты, явления животных столь разнообразных. Истинно, сияет величие, красота и всеведение Творца в этих, столь разнообразных и столь прекрасных созданиях". Лейтмотив хроник, "свидетельств" освоения Бразилии XVI–XVII веков — "плодородие и изобилие", "разнообразие" и "гармония" бразильского мира — возрождается в "свидетельствах" российских путешественников. В 1803 году ближайший помощник И. Ф. Крузенштерна в первой кругосветной экспедиции М. И. Ратманов восклицает: "Бразилия есть совершенный рай земной". А организатор и участник того же путешествия Н. П. Резанов поражается ночным светлячкам: "...движущиеся сии огни освещают все леса и производят величественное о Творце природы впечатление". "Вся Бразилия — сад", — пишет в 1808 году В. М. Головнин, командир шлюпа "Диана" в путешествии из Кронштадта на Камчатку, руководитель кругосветного путешествия 1817–1819 годов. О. Е. Коцебу, участник нескольких кругосветных плаваний подмечает в 1823-м: "Удивительные сдвиги происходят в душевном состоянии европейца, когда он попадает в непривычные для него природные условия, если даже это случается с ним не в первый раз. Любая деталь, на которой останавливается его взор, поражает его своей новизной. Деревья, цветы, насекомые, даже травы здесь совсем не такие, как у него на родине. Его внимание возбуждается необычностью форм и оригинальностью окраски. Но особенно восхищает европейца безмерное изобилие, характерное для природы этой благодатной страны". Восхищенные великолепным "естеством", земным плодородием Бразилии, "щедростью", "богатствами", "первобытной красотой и силой природы", россияне воспринимают этот мир как осуществленное чудо. "Расхаживая тихими шагами по саду, мы часто останавливались в безмолвии, чтобы дать себе как бы отчет, где же это мы, в каком волшебном мире находимся и неужели такой мир возможен на земле?" — писал в своих воспоминаниях (1823) Д. И. Завалишин, участник кругосветной экспедиции М. П. Лазарева.

Образы природного великолепия Бразилии сменяются зарисовками быта и нравов, географическими и историческими подробностями, сведениями о хозяйственной жизни страны. С неизменным обличительным пафосом обращаются путешественники к теме рабства. Между тем и в Бразилии все больше узнавали о России. Если в начале XIX века наша страна была совершенно неизвестной бразильцам, считавшим россиян язычниками-идолопоклонниками (об этом рассказывает, в частности, В. М. Головнин), то десяток лет спустя путешественники сталкиваются с иной ситуацией: бразильцы уже знают, что это могущественная империя, неизменно приветствуют россиян как победителей Наполеона; осведомлены об иных подробностях российской истории и географии.

Развитие российско-бразильских дипломатических связей, открытие консульского представительства, первые натуралистические экспедиции в тропические страны позволили нашим соотечественникам проникнуть и во внутренние области Бразилии. Первый российский консул в Бразилии Г. И. Лангсдорф собрал богатейшие географические материалы и оставил замечательный дневник наблюдений. В конце XIX века по побережью и

внутренним областям Бразилии путешествовал А. С. Ионин — писатель и дипломат, участвовавший в установлении дипломатических отношений России с Аргентиной, Уругваем и Мексикой. Затем, в 1914—1915 годах, была предпринята студенческая этноантропологическая экспедиция под руководством Г. Г. Манизера. В 1932—1933 годах в Латинской Америке, в том числе в Бразилии, проводил научные исследования Н. И. Вавилов. А в конце 1940-х в Бразилии собирались необходимые образцы для восстановления разрушенных во время войны оранжерей Ленинградского ботанического сада.

Прочитав "свидетельства" XX века испытываешь чувство горечи. Российско-бразильские культурные, научные, человеческие контакты по вполне определенным причинам были редкими, отрывочными. А ведь творческих планов, которые так и не смогли реализоваться, возникало множество.

С огромным энтузиазмом вернулся из Бразилии Н. И. Вавилов, нашедший в этой стране великолепную "лабораторию" для натуралиста: по его мнению, именно здесь настоящий ученый может проникнуть в "созидательную силу жизни". Но в 1934 году Вавилов "стал невыездным", а еще через шесть лет был арестован. Его книга "Пять континентов" осталась незавершенной, многие рукописи были безвозвратно утеряны.

Д. И. Выгодский — один из основателей Испано-американского общества в Ленинграде, прекрасный знаток, переводчик и популяризатор латиноамериканской литературы вел огромную переписку с писателями и культурными деятелями Нового Света. Именно благодаря Выгодскому в России узнали о Жоржи Амаду, услышали о целой плеяде великолепных поэтов — бразильских модернистах М. де Андраде, О. де Андраде, Ж. де Лиме. Но их имена вскоре забылись, а их художественные миры, по сути, так и не были открыты русским читателем. В 1938-м Выгодский был арестован и умер в лагерях. И только много позднее (в 1983 году) контуры этой праздничной вселенной — бразильской поэзии — наметились в небольшой антологии, составленной И. А. Тертерян. С помощью замечательной исследовательницы (ее "свидетельство" также представленно в книге) отечественный читатель смог в первом приближении познакомиться с крупнейшим прозаиком Бразилии XX века — Ж. Гимарайнсом Розой. Хотя и его творчество, и творчество большинства всемирно известных бразильских писателей (стоит упомянуть хотя бы К. Лиспектор, А. Фильо) все еще практически скрыто от россиян.

Но взаимное узнавание, диалог продолжаются. Антология "Россия и Бразилия", изданная при поддержке Посольства Бразилии в нашей стране, — лучшее тому доказательство. А открытие непрерывно по природе своей. Бразилия еще будет являться перед нами во всем своем "изобилии", появятся новые "свидетельства", новый материал к размышлению...

М. Надъярных

Издательские планы

Секреты мастерства

Елена Калашникова *Интервью с переводчиками.* — М.: Новое литературное обозрение

Беседы Елены Калашниковой с известными переводчиками появлялись с 2001-го по 2004 год в сетевом издании "Русский журнал". Теперь они собраны в книгу. "ИЛ" попросила автора рассказать о ней.

"ИЛ". Как возникла мысль сделать серию интервью именно с переводчиками?

Елена Калашникова. В Литинституте, на семинаре Владимира Александровича Харитонова, мы переводили в основном классическую прозу, сравнивали русские варианты с оригиналом. Я постоянно слышала: "Это хороший перевод" или "Слово переведено неудачно", и мне стало интересно, насколько такие суждения объективны. Практический интерес возник, но не хватало какого-то импульса. Года через два, за несколько дней до защиты дипломов, в апреле 2000-го, мы с подругой гуляли по ЦДХ, и она сказала, что должна по делу зайти к Соломону Константиновичу Апту. "Ничего себе! А мне можно?" Я тогда много фотографировала и попросила представить меня Апту как фотографа. Соломон Константинович оказался доброжелательным человеком, и я что-то спросила про переводы. Он предложил прочесть его эссе "О самом себе", но мне этого показалось мало, и я попросила разрешения как-нибудь побеседовать с ним.

Вскоре руководитель семинара посоветовал мне показать диплом Виктору Абрамовичу Ашкенази, работавшему редактором в "Иностранной литературе". С его легкой руки в первый же день я сфотографировала в редакции нескольких будущих своих собеседников. У меня была идея устроить выставку портретов переводчиков в Библиотеке иностранной литературы. А осенью С. К. Апту вручили премию имени Жуковского, что и стало для меня "информационным поводом". Интервью я сначала делала "для себя". Потом предложила четыре беседы с переводчиками разделу "Книги" интернет-магазина "Аркадия". Их прочел Борис Кузьминский и, когда я пришла брать у него интервью, пригласил вести эту рубрику в "Русском журнале". Через неделю "Аркадия" развалилась... В общем, тут многое определила случайность.

"ИЛ". А что войдет в книгу?

Е. К. Восемьдесят шесть бесед, известных по "Русскому журналу", а также три новых, неопубликованных — с Н. Р. Малиновской, А. М. Гелескулом и М. А. Белорусцем. Я много думала о композиции и наконец остановилась на хронологическом принципе. Будет вкладка с фотопор-

третами переводчиков. Будет мое небольшое предисловие, а также "новейшая" библиография: перечень произведений, которые перевели герои книги уже после интервью.

Беседы печатаются в сильно сокращенном виде. Некоторые переводчики, перечитав тексты, переделывали их, редактировали. А кто-то оставил как было: "Тогда я думал так, пусть так и останется". Мне очень близко такое отношение к интервью — как к полароидному снимку, который фиксирует определенный момент, настроение... Но и тут есть свои жесткие правила. Мне нравятся слова Набокова об интервью с Элвином Тоффлером: "Обе стороны преодолели чудовищные трудности, чтобы создать иллюзию непринужденной беседы".

"ИЛ". А легко ли подобная книга нашла издателя?

Е. К. Это вторая попытка опубликовать беседы отдельной книгой. Летом 2002 года я заключила договор с Издательством Независимая Газета и, пока с рукописью работал редактор, делала новые интервью. Через два года договор пришлось расторгнуть, так как выход книги все время откладывался.

Собранный материал я пытаюсь осмыслить в кандидатской диссертации, которую пишу в РГГУ под руководством Б. В. Дубина.

"ИЛ". Что вы считаете для себя образцами в жанре "бесед с людьми искусства"?

Е. К. Их очень много. "Диалоги с Иосифом Бродским" Соломона Волкова, "Набоков о Набокове и прочем", беседы Татьяны Бек из книги "До свидания, алфавит".

Для жанра интервью очень важна проблема понимания. Правильно ли я понимаю то, что говорит или, вернее, хочет сказать собеседник, то, что стоит за его словами? В этом смысле интервьюер близок переводчику, исследователю. Для меня названные книги — образцы такого заинтересованного исследования.

"ИЛ". Менялся ли со временем ваш подход к интервью?

Е. К. Вначале в мои планы входили лишь беседы с мэтрами. Потом мне захотелось расширить круг, показать не только их. Героями интервью стали люди разных возрастов, с различными, часто противоположными, взглядами на перевод. Самый старший из моих собеседников — ныне покойный С. И. Липкин, он родился в 1911 году и годился молодым коллегам в прадедушки. Тут есть и так называемые "маргиналы" (И. Кормильцев, А. Керви), и "классики" (Н. М. Демурова, С. К. Апт), и "молодые таланты" (М. Спивак, В. Вотрин), и "легенды" (М. Л. Гаспаров, А. М. Гелескул)... Хотя, возможно, сами они не согласятся с такой классификацией.

"ИЛ". Это были устные беседы под магнитофон?

Е. К. Да, большей частью. Но некоторые были "написаны": кому-то (как, например, О. Кольцовой или К. Медведеву) удобнее излагать мысли на бумаге, а кто-то далеко живет (А. Волохонский или Д. Волчек)... Как правило, вопросы от интервью к интервью повторяются: хотелось узнать точку зрения разных людей на одну и ту же проблему. Но было также интересно послушать, как переводчик стал работать над текстами того или иного автора и так далее. В "Русском журнале" не было ограничений объема — таковы плюсы Интернета, — поэтому одни беседы в полной версии занимают пятнадцать или даже двадцать пять страниц (с В. А. Мильчиной или В. Б. Микушевичем), а другие — всего три-четыре.

"ИЛ". Надо полагать, герои вашей книги говорили и о переменах, которые происходят в области перевода?

Е. К. Да, с советских времен ситуация изменилась радикально. Теперь, например, за серьезную литературу платят совершенно "несерьезные" гонорары. Поэтому тот, кто живет на переводы, вынужден работать быстро, что часто сказывается на качестве. Это может, например, усугубить буквализм русской версии.

Хотя появляются и особые теории на сей счет. Вот наблюдение В. Л. Топорова: "Сейчас у продвинутой читающей молодежи установка на плохой перевод, сквозь неуклюжий перевод она хочет увидеть оригинальное авторское решение, домыслить, превратить книгу в интерактивное чтение". Но далеко не все мои собеседники согласны с такой точкой зрения. Например, В. Ю. Михайлин: "Что касается Топорова, то каждый переводчик со стажем начинает теоретизировать и искать неожиданные интеркультурные ходы. Это как гаспаровские эксперименты с буквальным переводом, как выжимки из Кавафиса, когда стихотворение из четырнадцати строк сводится к четырем. Такой эксперимент интересен, но не отменяет перевод, если прочитать эти четыре строки, не зная оригинала... но это не Кавафис".

"ИЛ". А тема отношений переводчика с редактором? Она в вашей книге затрагивается?

Е. К. Конечно. По мнению Н. Л. Трауберг: "В хороших издательствах, например в "Худлите", работали хорошие редакторы, такие, как Шахова или Шмидт. Виктор Ашкенази из "Иностранной литературы" — замечательный редактор. Все переводчики иногда пишут глупости. Хороший редактор орлиным взором окидывает проделанную нами работу. Когда я переводила Грина, то вместо "чехла для грелки" написала "футляр", а вместо "зерен" — "бобы". Витя эти ошибки тут же исправил. А во многих издательствах нет редактора, и если я не замечу свою ошибку, то она будет кочевать из книги в книгу". Но А. С. Богдановский считает, что "добросовестный переводчик может обойтись без редактуры. Никто лучше его не знает потаенные, "нутряные" моменты текста. Ведь можно самому на две недели от него отойти, а потом вернуться и что-то поправить. Для начинающего человека страховка нужна, а для матерого — не уверен".

"ИЛ". Ваша книга представляет полифонию мнений по многим вопросам, есть в ней случаи из практики, и теоретическое осмысление. Это своего рода исторический документ, попытка зафиксировать состояние русского перевода на рубеже XX—XXI веков. Но вы беседуете с переводчиками в первую очередь о секретах их ремесла, а что сможет почерпнуть из интервью так называемый "простой читатель"?

Е. К. Мои собеседники не просто переводят произведения зарубежных авторов, но и в определенной степени формируют русскую литературу завтрашнего дня. А ведь известно о них самих не так уж много... Эта книга не только дает коллективный портрет современного русского переводчика, но и позволяет заглянуть в его мастерскую, показывает его с "человеческой" стороны.

"ИЛ". Обычно вы еще и фотографируете своих собеседников. Что это дает вам как журналисту?

Е. К. Голос, речь, внешность, манеры — все говорит о человеке. Время интервью бежит незаметно, я все время думаю: "Мало, надо еще!", и

только расшифровав пленку, понимаю, как, наверное, устал мой собеседник за эти полтора или два часа. Фотографирую я всегда после беседы, не хочу отвлекаться. Одна из трудностей состоит в том, что каждый человек, зная, что на него нацелен объектив, "делает лицо", позирует. Мне нравится фотографировать собеседника в движении, когда он говорит. Но тут возможны минусы: раскрытый рот, нефотогеничная разговорная мимика. Поэтому нередко герои книги дают для публикации фото из личного архива.

"ИЛ". Что больше запомнилось из таких встреч?

Е. К. Отдельные детали, первые впечатления. Например, квартира В. И. Когана. Вечер, за окном ноябрь, кабинет освещает зеленая настольная лампа, на стенах картины и черно-белые журнальные фотографии: Набоков, Веничка Ерофеев, Керуак, Берроуз, Гинзберг, Буковски... И такое ощущение, что эти люди — просто мне не повезло! — вышли по делам. Например, в магазин.

Материал подготовила Светлана Силакова

У книжной витрины

с Константином Мильчиным

Дюверже К. *Кортес* / Пер. с франц. М. Глаголева. — М.: Молодая гвардия, 2005. — 290 с. — (Жизнь замечательных людей). 5000 экз. (п)

Советская историография представляла Эрнандо Кортеса авантюристом, варваром и палачом, который с крестом в руке уничтожал древнюю цивилизацию и приказал сжечь последнего императора ацтеков. Французский историк и писатель Кристиан Дюверже искренне восхищается Кортесом. Первым испанским конкистадорам приходилось иметь дело с индейскими племенами, стоявшими на гораздо более низкой ступени развития, чем ацтеки. Тем не менее на колонизацию Антильских островов у предшественников Кортеса ушло почти столько же времени, сколько у того на захват колоссальной империи. Видимо, Кортес оказался умнее или, если угодно, хитрее. Действуя по принципу "разделяй и властвуй", он играл на противоречиях между ацтеками и порабощенными ими племенами. Кроме того, Кортес поощрял браки между испанцами и знатными пленницами, чтобы его соотечественники оседали на вновь завоеванной земле. К тому же Кортес у Дюверже бежит из прогнившей насквозь Кастилии в Новый Свет, чтобы построить государство нового типа, своеобразный Город Солнца, — и воплотить в жизнь идеи, которые рождались в ту эпоху в европейском обществе.

Хорнби Н. *Долгое падение:* Роман / Пер. с англ. А. Степанова. — СПб.: Ред Фиш, 2005. — 431 с. — (Серия "Фишки"). 4000 экз. (п)

Четыре лузера собрались на крыше высотного здания в центре Лондона, чтобы прыгнуть вниз и свести таким образом счеты с жизнью. Кто они? Некогда успешный телеведущий, а ныне враг нации номер один и растлитель малолетних; взбалмошная восемнадцатилетняя девица; американец, потерявший разом и музыкальную группу, и подружку, а также мать-одиночка, воспитывающая сына-инвалида. Прежде чем свести счеты с жизнью, они принялись обсуждать, у кого что болит. Поговорили — и решили отложить самоубийство. Хотя бы на несколько недель. Но тут про эту историю прознала пресса...

Грюнберг А. *Фантомная боль*: Роман / Пер. с нидерланд. С. Князьковой. — Фантом Пресс, 2005. — 480 с. — (Зебра). 4000 экз. (п)

Жизнь некогда популярного писателя Роберта Мельмана пошла под откос. Он запутался в долгах и любовницах, не может разобраться в собственных чувствах к жене и сыну. И вообще ни в чем не может разобраться. Он сварлив и медлителен, нерешителен и закомплексован. В своих отношениях с окружающим миром он напоминает героев Вуди Аллена, разве что в действиях Мельмана нет вообще никакой логики. История неудачника, изложенная с применением всего арсенала современных изобразительных средств: ирония, роман в романе, многоголосье повествователей...

Бен Ладен К. *В мрачном королевстве: моя жизнь в Саудовской Аравии* / Пер. с англ. Е. Кудрявцевой. — М.: Столица-Принт, 2005. — 224 с. 5000 экз. (п)

Жила-была в одной европейской стране девушка по имени

Кармен, наполовину швейцарка, наполовину персиянка. Однажды она встретила молодого араба по имени Ислам. Юноша был красив и учтив, а его отец, богатый аравиец Мохаммед, — богат как Крез. Их фамилию в Европе тогда мало кто знал — Бен Ладены. Кармен и Ислам поженились и переехали жить в Саудовскую Аравию. Сказка кончилась, начались суровые аравийские будни: на улицу без паранджи нельзя, в магазин одной нельзя, с мужчинами разговаривать нельзя. Что такое шопинг в Саудовской Аравии? Это когда богатая дама посылает своего шофера купить ей что-нибудь в магазине. Так покупается все — от нарядов до гигиенических салфеток. Кармен оказалась запертой в золотой клетке. Сперва муж, как мог, поддерживал Кармен, но после революции в Иране Ислам слегка помешался на мысли, что нечто подобное может случиться в Саудовской Аравии, и на нервной почве начал ссориться с женой. Затем семья переехала в Швейцарию, и там конфликт между мужем и женой получил логическое завершение — они развелись.

Буццати Д. *Невероятное нашествие медведей на Сицилию*: Сказка / Пер. с итал. Г. Киселева и М. Аннинской. — М.: Самокат, 2005. — 112 с. — 5000 экз. (п)

Чудесная волшебная сказка про то, как медвежье войско во главе с отважным и добрым царем Леонцием воевало за Сицилию с армией злодея Эрцгерцога и разными страшными чудовищами: боевыми кабанами, людоедом Троллем и морским змеем. Медведи на суше и на море, в прозе и в стихах. "Медведи прикатили огромную пушку и главную башню взяли на мушку. Верхом на ядре из пушки лететь всякий раз отправлялся новый медведь". Очень хорошая детская книжка, которая целых шестьдесят лет ждала перевода и вот, наконец, теперь доступна и российским читателям. Замечательные иллюстрации сделаны самим автором — между прочим, классиком итальянской литературы XX века.

Лёвенбрюк А. *Знак мойры*. Книга первая. *Гаэльская волчица:* Роман / Пер. с франц. Е. Клоковой. — М.: Иностранка, 2005. — 430 с. — (Тайные земли). 5000 экз. (п)

Первая часть фэнтези-трилогии. Место действия — островное королевство Гаэлия, время действия — фантастическое средневековье. Французский писатель Анри Лёвенбрюк собирает, что называется, с миру по нитке: в его романе есть и кольцо всевластья, прямо как у Толкина, и сила, которой надо довериться, прямо как в "Звездных войнах"; среди действующих лиц мы найдем и друидов, и христиан, и мудрых волков, и пожирателей душ. А главная героиня, разумеется, как и положено по законам жанра, сирота. Тем не менее читать Лёвенбрюка все равно стоит. Пишет он эффектно и увлекательно. А сюжетных нитей в романе переплетено столько, что угадать, по какому именно пути пойдет повествование, совершенно невозможно.

Бегбедер Ф. *Лучшие книги XX века. Последняя опись перед распродажей*: Эссе / Пер. с франц. И. Волевич. — М.: FreeFly, 2005. — 192 с. — 5000 экз. (п)

50 лучших книг XX века по мнению французов — с дайджестом, пояснениями и комментариями Фредерика Бегбедера (фрагменты этого эссе печатались в "ИЛ", 2002, № 3). Рекомендуется ленивым студентам и нерадивым критикам. На первом месте — "Посторонний" Альбера Камю, что, по мнению мсье Бегбедера, вполне логично — лучшая книга, она

и самая короткая, а много читать согражданам недосуг. Естественно, бóльшую часть списка занимают французские писатели, на втором месте — американцы, на третьем — англичане. Россию представляют Александр Солженицын с "Архипелагом ГУЛАГ" (№ 15) и в некоторой степени Владимир Набоков с "Лолитой" (№ 27). Результаты опроса Бегбедер комментирует крайне однообразно: как досадно, что не я занимаю это место, ну да ладно, ведь в хит-параде XXI века все позиции уже зарезервированы для моих романов.

Война женскими глазами: русская и польская аристократки о русско-польской войне 1830–1831 годов / Сост., вступ. статья В. Боковой, Н. Филатовой. — М.: Новое литературное обозрение, 2005. — 352 с. — (Россия в мемуарах). Тираж не указ. (п)

Степенная русская княгиня Надежда Голицына и гордая полька Наталья Кицкая о польском восстании 1830 года и последовавшей за ним очередной русско-польской войне. Дело было так: после Венского конгресса 1815 года Польша получила широкую автономию, собственную армию, конституцию и великого князя Константина Павловича в качестве главнокомандующего. Но поляков это не устроило, в 1830-м они восстали, изгнали Константина, а вместе с ним бежал из Варшавы и А. Ф. Голицын с женой Надеждой. Затем русские войска вошли в Польшу и в битве при Горохове едва не разбили польскую армию, но героический удар конной бригады Людвига Кицкого (мужа Натальи Кицкой) позволил полякам свести сражение к ничьей. Генерал Кицкий погиб в битве при Остроленке, а русские в сентябре 1831 года взяли Варшаву. Легко представить, как эти события описывают обе дамы: русская княгиня удивляется неблагодарности восставших поляков и сетует на тяготы войны, а полька восхваляет подвиги соотечественников и прежде всего своего героического мужа Людвига.

Рембо А. *Стихотворения* / Пер. с франц.; Предисл. Ж. Мартена; Состав., послесл. и коммент. М. Яснова. — На франц. и русск. яз. — М.: Текст, 2005. — 319 с. 3500 экз. (п).

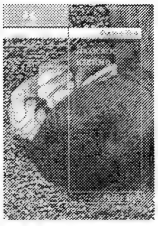
Перевод стихов — всегда риск и вызов. Но вызов становится гораздо более дерзким, когда рядом с русским переводом печатается оригинал. В таком издании переводчику не утаить ни одной уловки, ни одного трюка. Зато и представление читателя о переводимом поэте расширяется и углубляется. Михаил Яснов собрал под одной обложкой полный корпус стихотворений Артюра Рембо по-французски и те русские переводы, которые кажутся ему лучшими. Книгу предваряет вступительное слово Ж. Мартена, директора французского научного фонда Артюра Рембо, а заключает статья самого Яснова с лаконичной, но емкой характеристикой стиля разных русских поэтов, переводивших Рембо, — от Валерия Брюсова до Вадима Козового.

"ИЛ" *рекомендует*

Наш top-ten: десять лучших переводных книг 2005 года

Выбор главного редактора

В сегодняшнем ассортименте новинок зарубежной литературы сориентироваться довольно трудно. Пусть подсказкой вам послужит небольшой список выпущенных в этом году книг (с выдержками из издательских аннотаций). Как и всякий "хит-парад", эта подборка, конечно же, во многом субъективна. Однако мы надеемся, что нашему вкусу вы доверяете. Тем более что многие из этих произведений впервые появились именно на страницах "ИЛ".



Рот Филип *Людское клеймо (The Human Stain)* / Перев. с англ. Л. Мотылева. — М.: Иностранка, 2005. — 480 с. — (Иллюминатор). 5000 экз.

"Людское клеймо" — едва ли не лучшая книга Рота. Роман мастерски построен: напряжение, рождающееся в первых же эпизодах, неуклонно возрастает, странности персонажей постепенно проясняются, белые пятна в их судьбах стираются одно за другим. Наконец открывается и самая главная тайна героя, профессора Коулмена Силка, — человека яркого, если не сказать блестящего, — несправедливо обвиненного в расизме.

Роман впервые опубликован в "ИЛ", 2004, № 4—5.

Свифт Грэм *Свет дня (The Light of Day)* / Перев. с англ. Л. Мотылева. — М.: Издательство Ольги Морозовой. — 384 с. — 5100 экз.

В новом романе Грэма Свифта, лауреата премии Букера 1996 года, повествование увлекательно, как детектив, при этом трогательно и поэтично. События происходят в течение одного дня, но затрагивают далекое прошлое и возможное будущее. Свифт создает легенду о любви, страхе, предательстве и освобождении.

Роман впервые опубликован в "ИЛ", 2004, № 8.

Бегбедер Фредерик *Windows on the World* / Перев. с франц. Ирины Стаф. — М.: Иностранка, 2005. — 432 с. — (The Best of Иностранка). 10000 экз.

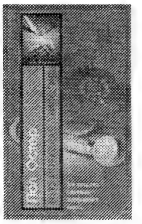
Спустя год после теракта, уничтожившего Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, Фредерик Бегбедер мучительно ищет слова́, способные выразить невыразимое, — ужас реальности, которая превзошла самые мрачные голливудские фантазии, — и одновременно стремится понять, как могла произойти самая чудовищная катастрофа в истории Америки и как нам всем жить в том новом мире, что возник на планете после 11 сентября 2001 года.

Роман впервые опубликован в "ИЛ", 2004, № 9.

Нотомб Амели *Антихриста (Antechrista)* / Перев. с франц. Натальи Мавлевич. — М.: Иностранка, 2005. — 112 с. — (За иллюминатором). 5000 экз.

"Антихриста" — это современная вариация неустаревающей сказки о Гадком Утенке: смешная, грустная, жутковатая история схватки доверчивой героини с хамоватой самозванкой Христой по прозвищу Антихриста. Но в то же время — это притча об испытаниях и искушениях, которым подвергается в начале жизни человеческая душа.

Роман впервые опубликован в "ИЛ", 2004, № 10.



Остер Пол *Нью-йоркская трилогия (The New York Trilogy)*: Авторский сборник / Перев. с англ. — М.: Эксмо, СПб.: Домино, 2005. — 400 с. — (Игра в классику). 5100 экз.

Содерж.: *Пол Остер. Искусство жить* (интервью с автором С. Таска). *Стеклянный город* (перев. А. Ливерганта). *Призраки. Запертая комната* (перев. С. Таска).

Случайный телефонный звонок вынуждает писателя Дэниела Квинна надеть на себя маску частного детектива по имени Пол Остер.

Некто Белик нанимает частного детектива Синькина шпионить за человеком по фамилии Черни.

Фэншо бесследно исчез, оставив молодую жену с ребенком и рукопись романа "Небыляндия". Безымянный рассказчик не в силах справиться с искушением примерить на себя его роль.

"Стеклянный город", "Призраки" и "Запертая комната" составляют "Нью-йоркскую трилогию", — знаменитый дебют знаменитого Пола Остера, краеугольный камень современного постмодернизма с человеческим лицом, вывернутый наизнанку детектив с философской подоплекой, романтичную трагикомедию масок.

В "ИЛ" впервые опубликованы роман *Стеклянный город* (1997, № 6) и интервью *Искусство жить* (2005, № 3).

Масловская Дорота *Польско-русская война под бело-красным флагом (Wojna polsko-ruska pod flagą bialo-czerwona)* / Перев. с польск. Ирины Лаппо. — М.: Иностранка, 2005. — 272 с. — (За иллюминатором). 5000 экз.

Польско-русская война - это сюрреалистическая аллегория упертого национального самосознания, ехиднейшая карикатура на всякую ксенофобию. Во всем виноваты русские, поэтому коренная польская раса ведет с ними войну. Мир героев Масловской напоминает наркотические глюки. В этом мире нет никаких ценностей, есть только бесчисленные идеологии и пустота пресыщения.

Роман впервые опубликован в "ИЛ", 2005, № 2.

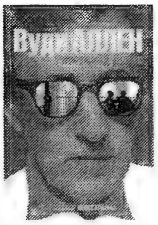
Барнс Джулиан *По ту сторону Ла-Манша (Cross Channel)*: Авторский сборник / Перев. с англ. Ирины Гуровой, Инны Стам. — М.: АСТ, Люкс, 2005. — 224 с. — (Bestseller) и (The Bestseller). 2500 + 2500 экз.

Джулиан Барнс — в лучшей своей форме творческой и в идеальной для его дара форме литературной...

Сборник абсолютно разных сюжетно и стилистически новелл, концептуально объединенных общей темой: англичане во Франции.

Барнс обыгрывает эту каноническую для британской прозы тему, кажется, всеми возможными способами — от изящного сюрреалистического эксперимента и стилизации под латиноамериканский модернизм до философской притчи и вполне классической "психологической новеллы".

Новеллы *Эксперимент*, *Навечно* и *Туннель* (перев. Инны Стам) впервые опубликованы в "ИЛ", 1998, № 11.



Аллен Вуди *Риверсайд Драйв (Three Plays)* / Перев. с англ. О. Дормана. — М.: Иностранка, 2005. — 173 с.— (The Best of Иностранка). 5000 экз.

Содерж.: пьесы *Риверсайд Драйв*, *Олд-Сэйбрук* и *Централ-Парк Вест*.

Три новых пьесы Вуди Аллена о непостоянстве чувств: благополучный адвокат хочет уйти из семьи, успешный сценарист — вернуться в семью, сестра влюбляется в мужа сестры, подруга уводит мужа подруги, жена оставляет мужа ради его друга. Три очень смешных трагедии...

Пьеса "Риверсайд-драйв" впервые опубликована в "ИЛ", 2004, № 7.

Стасюк Анджей *Девять (Dziewiec)* / Перев. с польск. Марии Курганской. — СПб.: Азбука-классика. — 320 с. — (Красная серия). 4000 экз.

Анджей Стасюк — один из лучших и наиболее популярных писателей современной Польши — уже известен российскому читателю экзистенциальным триллером "Белый ворон". И вот впервые на русском — его новый роман "Девять".

Герой "Девяти", частный предприниматель недавней эпохи первичного накопления капитала, всеми правдами и неправдами пытается вернуть крупный долг. Он ищет денег у старых друзей и бывших жен, у случайных знакомых и "крестного отца" местного значения. Поиски эти оборачиваются трагикомическим путешествием по кругам современного ада с бандитами и сутенерами в роли бесов...

В "ИЛ" (1984, № 4; 2001, № 5; 2004, № 9) публиковались рассказы Анджея Стасюка.

Лу Эрленд *Четыре сказки о Курте (Kurt series: Fisken)* / Перев. с норвежск. Ольги Дробот. — СПб.: Азбука-классика, 2005. — 400 стр. — (Белая серия). 10000 экз.

Курт работает на автопогрузчике и выделывает на нем прямо чудеса. Впрочем, он и без автопогрузчика такое иной раз устраивает, что вся Норвегия кричит "Караул!", а семья Курта не знает, куда ей деваться от своего удалого папаши.

Но он не злодей — когда пришел решительный час, Курт со своим автопогрузчиком вытащил из моря норвежского короля. Такое не каждому по плечу. А читать о его похождениях — со смеху помрешь!

В "ИЛ" (2005, № 11) опубликован роман Эрленда Лу *Допплер*.

Великобритания

"Букер" для Золушки

В этом году в дополнение к знаменитому "Букеру" была учреждена Международная Букеровская премия (официальное название "The Man Booker International Prize"). "Международный Букер" присуждается не за конкретное произведение, а за общий вклад в литературу. Лауреат, избираемый специальным жюри раз в два года, получает 60 тысяч фунтов стерлингов. В шорт-листе значилось 16 кандидатов (в связи с кончиной из списка, увы, выбыл Сол Беллоу).

Тот факт, что более половины номинантов, вошедших в окончательный перечень, пишут не по-английски, подтолкнул организаторов к еще одному решению. В мае было объявлено об учреждении дополнительной премии за перевод. Лауреату "Международного Букера" — им стал албанский писатель Исмаил Кадаре — предстояло самолично определить лучшего переводчика своих произведений на английский. Писатель был вправе присудить всю сумму (15 тысяч фунтов) одному человеку либо разделить ее между несколькими.

Лауреат первой в истории Букера премии за перевод был объявлен на Эдинбургском фестивале. Им стал Дэвид Беллос, преподаватель французского языка и сравнительного литературоведения в Принстоне, который перевел пять из двенадцати вышедших по-английски романов И. Кадаре.

Литературное сообщество воодушевилось — в мире еще не бывало столь весомой награды, присуждаемой за художественный перевод. Разве что в США с 1967-го по 1983 год существовала подобная номинация Национальной книжной премии. Конечно, многие государства поддерживают зарубежных популяризаторов своей культуры, но все же, по мнению журналистов и экспертов, статус переводчиков художественной литературы на современном Западе унизительно низок. Их сравнивают с Золушками, которые трудятся в безвестности ради чужой славы. В интервью газете "Гардиан" секретарь Ассоциации переводчиков Великобритании Дороти Сим сообщает: "Издатели очень не любят включать в договоры с переводчиками пункт о потиражных отчислениях. Обычно гонорар выдается как единовременная выплата. Даже если книга станет бестселлером, переводчик больше никогда ничего за нее не получит". В этих условиях Букеровскую премию за перевод стоит воспринимать как первую ласточку, свидетельствующую о том, что отношение к переводчикам, по выражению одного из членов жюри, "невоспетым героям мирового литературного процесса", меняется к лучшему.

Россия

Библиотека будет носить имя Мигеля Делибеса

Библиотека Института Сервантеса в Москве начала работать в феврале 2002 года, в торжественной церемонии открытия принял участие Его Королевское Высочество Принц Астурийский. Фонд библиотеки насчитывает более 19 000 единиц хранения — здесь можно найти самые разные материалы по истории, литературе, культуре Испании и Латинской Америки (книги, журналы, аудио- и видеокассеты), а также учебные пособия для изучающих испанский язык. Нельзя не упомянуть, что в дар библиотеке принесли часть своих собраний переводчики и испанисты: Э. Брагинская, Л. Синянская, Х. Кобо, А. Шлейфер и другие.

И вот недавно библиотеке было присвоено имя Мигеля Делибеса. Чем определился такой выбор? Мигель Делибес — один из самых известных и почитаемых испанских писателей современности, его творчество и нравственная позиция стали образцом приверженности гуманизму и "корневым" народным ценностям. В 1993 году Мигель Делибес был удостоен высшей награды в области испаноязычной литературы премии Сервантеса. Большинство романов Делибеса — "Дорога", "Крысы", "Пять часов с Марио", а теперь и "Еретик" — переведены на русский. Сам писатель сказал: "В Москве всегда очень тепло принимали мои произведения. Думаю, в этой стране мои книги выходят самыми большими тиражами после Испании".

На церемонии присвоения библиотеке имени Мигеля Делибеса присутствовал сын писателя Херман Делибес, который

прочитал лекцию о жизни и творчестве отца. К знаменательному событию Институт Сервантеса приурочил открытие библиографической выставки, где были представлены первые издания, автографы и рукописи классика испанской литературы.

История латиноамериканской литературы в пяти книгах

В октябре в Институте мировой литературы им. М. Горького состоялась презентация пятитомной "Истории литератур Латинской Америки". По отзывам специалистов, этот труд не имеет аналогов в мировой науке.

Работа над "Историей" началась еще в 1980 году. У истоков проекта стояли известные исследователи: В. Б. Земсков, В. Н. Кутейщикова, И. А. Тертерян; общее руководство осуществляли академики Г. В. Степанов (главный редактор первых двух томов) и Н. И. Балашов (главный редактор последующих книг). Первая книга ("От древнейших времен до начала Войны за независимость") увидела свет в 1985-м. Следующие книги вышли соответственно в 1988, 1994, 2004 и 2005 годах. При этом четвертая ("XX век: 20—90-е годы"), благодаря объему ценного материала, разрослась до двух томов, выстроенных по регионально-национальному принципу.

Пятая, только что вышедшая, книга представляет особый интерес — и не только для филологов, так как включает в себя очерки творчества самых известных писателей XX века: С. Вальехо, М. А. Астуриаса, П. Неруды, Х. Л. Борхеса, А. Карпентьера, Ж. Амаду, Ж. Гимараинса Розы, Х. Лесамы Лимы, О. Паса, Х. Кортасара, Х. Рульфо, К. Фуэнтеса, Г. Гарсиа Маркеса, М. Варгаса Льосы. Расположение глав, насколько это было возможно, приведено в соответствие с хронологией появления писателей на литературной сцене. Авторы очерков: Ю. Гирин, В. Земсков, А. Кофман, Т. Межиковская, И. Оржицкий и М. Надъярных. Кроме того, в книге помещен общий указатель имен наиболее значимых писателей по странам, призванный помочь читателю ориентироваться в 5-томной "Истории".

Следует добавить, что четвертая и пятая книги изданы при финансовой поддержке Российского государственного гуманитарного фонда.

США

"Когда ты на вершине..."

Летом этого года в лос-анджелесской публичной библиотеке состоялось торжественное чествование американской писательницы Харпер Ли. О событии сообщили крупнейшие информационные агентства и газеты, преподнеся его почти как сенсацию. Подобная реакция вполне объяснима: за те сорок пять лет, которые минули со дня выхода в свет первого и единственного романа писательницы "Убить пересмешника" (1960), она дала считанные интервью и всего несколько раз появлялась на публике.

В 1966 году Ли присутствовала на танцевальном вечере, который организовал ее друг детства и коллега Трумэн Капоте в честь Кэтрин Грэм, издательницы газеты "Вашингтон пост". В 1990-м Алабамский университет присвоил писательнице почетную докторскую степень — ни на самой церемонии, ни после нее Ли не произнесла ни слова. Семь лет спустя докторские регалии ей вручил Мобилский колледж, и опять виновница торжества хранила молчание.

В 1995 году Ли попросили написать предисловие к юбилейному 35-му изданию "Убить пересмешника" — она ответила вежливым отказом. Не удалось ее заманить и на спектакль по мотивам книги, который поставил любительский театр в ее родном Монровилле, штат Алабама.

Что же побудило 79-летнюю романистку нарушить затворничество? Дело в том, что приглашение ей прислала Вероника Пек, вдова актера Грегори Пека — исполнителя главной роли адвоката в экранизации 1962 года, которая в свое время была отмечена "Оскаром". С семьей Пеков Ли подружилась во время съемок и сохранила добрые отношения на все последующие годы.

Вероника Пек назвала Ли "национальным достоянием". "Ее книга изменила наше представление о жизни, — сказала она корреспонденту 'Лос-анджелес таймс'. — 'Убить пересмешника' по сей день изучают в школах. И я прекрасно помню, как после выхода фильма учителя буквально засыпали моего мужа письмами, он получал их тысячами".

Надо сказать, что первые отклики на публикацию романа были весьма сдержанные. В частности, ежемесячник "Атлантик мансли", похвалив авторский стиль, счел произведение довольно слащавым, хотя и не без юмора. Однако

даже самые высоколобые критики не устояли перед обаянием книги.

Харпер Ли была не готова к свалившейся на нее популярности. "Я совершенно не рассчитывала на успех, — сказала она в последнем интервью, датируемом 1964 годом. — Честно говоря, я думала, критики мигом разделают мою книгу под орех, хотя втайне надеялась услышать и несколько добрых слов в свой адрес. Главным образом, от читателей. Я, как уже говорила, мало на что рассчитывала, а все получилось совсем наоборот, но вообще-то успех оказался не менее пугающим, чем разнос критики, к которому я мысленно себя готовила".

Литературная слава повлияла на Ли странным образом: она перестала писать. В журналах "Вог" и "Макколс" появилась парочка эссе, а затем — тишина на долгие годы. Что только не предпринимали литературные критики и журналисты, чтобы доискаться до истинных причин молчания писательницы, но поскольку авторский комментарий так и не последовал, им оставалось лишь строить догадки.

Пожалуй, наиболее убедительное объяснение нежеланию Харпер Ли продолжать литературную карьеру содержится в статье, опубликованной в 1999 году в "Вашингтон пост". Двоюродный брат писательницы вспоминает, что как-то на его вопрос о следующей книге она ответила: "Ричард, когда ты на вершине, перед тобой открывается один-единственный путь".

Жители Монровилла, однако, твердо верят, что их прославленная землячка трудится над новым шедевром. Время от времени их обнадеживает местная пресса, подбрасывая новость, что будто бы Харпер Ли пишет мемуары или собирает материал для книги о черном проповеднике, который убил нескольких своих родственников, дабы получить деньги по страховкам.

В действительности досуг писательницы более прозаичен: она охотно проводит время со своей старшей сестрой, которая до сих пор работает адвокатом, и не прочь сыграть партию в гольф.

Франция

Путешествие по издательскому царству

Легко ли во Франции стать писателем? Этой теме посвятил подборку материалов журнал "Лир", рассказав об особенностях современного издательского дела и всяческих препонах, которые могут ожидать тех, кто мечтает испытать себя на ниве литературы. А число таковых не уменьшается. Даже мелкие издательства, выпускающие всего десяток книг в год, ежедневно получают по почте дюжины рукописей. В крупных же издательских домах рассматривается до десяти тысяч новых произведений в год. Несмотря на гигантские объемы, редакторы относятся к этой работе весьма добросовестно, считая ее главной частью издательского процесса. Правда, чаще всего мнение они составляют уже по прочтении первой пары страниц. Многочисленные истории об одиноких провинциальных старушках или девушках из предместий, равно как и модные ныне воспоминания о тяжелом детстве, забраковываются сразу, их авторы получают назад свою рукопись вместе со стандартным отказом. В неочевидных случаях текст проходит три инстанции, и если все отзывы положительные, автора приглашают на встречу.

Новичкам, однако, не стоит радоваться раньше времени: издатели не рискуют публиковать дебютные произведения чаще, чем раз в год. Говоря иначе, на одну одобренную рукопись приходится девять-десять тысяч отказов. Да и самых удачливых ждет весьма скромный гонорар и тираж, как правило, не превышающий 500 экземпляров. Помимо стандартных требований к тексту, существует еще и негласный свод правил, который касается личности писателя: он должен быть не слишком старым и не слишком провинциальным, обязан уметь хорошо держаться на публике, выступать по радио и телевидению и, главное, быть готовым регулярно поставлять в издательство новые произведения.

Чили

Зорро и Исабель Альенде

В августе 2003 года в калифорнийский дом Исабель Альенде постучали странные визитеры. "Мы — владельцы Зорро", — заявили они, когда писательница показалась на пороге.

Возглавлял группу Джон Герц. В 1920 году его отец заключил сделку с автором дешевого авантюрного романа о похождениях благородного мексиканского аристократа по прозвищу Зорро, которая закрепи-

ла за покупателем единоличное право использовать образ главного героя. Совместно с кинокомпанией "Дисней" Герц развил бурную деятельность — и человек в маске замелькал в телевизионных сериалах, кинофильмах, на страницах комиксов. Идя по стопам отца, Герц-младший усердно продолжал популяризировать Зорро, но как-то поймал себя на мысли, что персонаж представлен почти во всех жанрах, кроме серьезной литературы. И начались поиски автора, который смог бы увлекательно написать о детстве мексиканского Робина Гуда. Таковой, согласно правообладателю, помимо легкого пера должен был обладать целым рядом достоинств, а именно: как и Зорро, великолепно знать Калифорнию, говорить на родном испанском и чувствовать себя латиноамериканцем не только по происхождению, но и по духу. Перебрав немало кандидатур, Герц остановил выбор на Исабель Альенде.

Первое побуждение Альенде было отказаться. Она считала себя серьезным автором, которому не к лицу заниматься развлекательной литературой. Но, посмотрев видеокассеты с записями старых кинолент и полистав комиксы, она — к ужасу своего агента — дала согласие. "Я обожала Зорро в детстве, — сказала Альенде корреспонденту газеты 'Гардиан', — и теперь влюбилась в него заново".

Писательница особо упирает на то, что работу ни в коей мере нельзя считать заказной. Это бы противоречило ее творческим принципам. В прошлом ей доводилось отклонять предложения издателей, в том числе и довольно заманчивые. Не соблазнила ее даже перспектива написать книгу воспоминаний о своем дяде Сальвадоре Альенде. "Я не умею быть беспристрастной, — призналась она, — а потому не гожусь в биографы. Натура у меня неподходящая. Я никудышная журналистка — не могу держаться голых фактов, все время тянет приукрасить реальность".

В романе "Зорро", который недавно вышел в американском издательстве "Форт эстейт", не стоит искать исторического правдоподобия. Романтическое повествование переносит читателей в Калифорнию XVIII века, где среди индейцев и миссионеров растет ребенок-метис. Книга полна невероятных приключений, к которым примешан элемент магии. "Иногда люди задают мне такие серьезные вопросы о моем герое, что я вынуждена напоминать, что речь идет о Зорро, а не о Че Геваре", — замечает Исабель Альенде.

Япония

Сотовая связь и литература

В Японии абонентов сотовой связи не удивишь технологическими новшествами: их аппараты давно уже позволяют просматривать электронную почту и заголовки новостей равно как и узнавать прогноз погоды. А недавно ряд компаний задумал приобщить владельцев мобильных телефонов еще и к чтению.

Правда, чтобы воспользоваться этой услугой, требуется определенная сноровка: экран современного аппарата настолько мал, что на нем умещается всего несколько строк. Однако японцев, видимо, такое неудобство не пугает, тем более что предусмотрительные разработчики снабдили последние модели устройством, автоматически перелистывающим страницы. По отзывам некоторых, чтение с экрана не только не мучительно, но даже приятно: оно помогает абстрагироваться от действительности и полностью сосредоточиться на тексте.

Уже действуют несколько специальных электронных библиотек, где можно выбрать книгу себе по вкусу из нескольких сотен наименований. Среди них — классика, современные популярные произведения, а также литература, написанная специально для распространения по сотовой связи. Поиск осуществляется по фамилии автора, жанру и названию. За небольшую плату текст скачивается в аппарат и хранится в памяти.

Кто же главные пользователи подобных библиотек? Вечно занятые бизнесмены? Или студенты-технократы? Недавнее исследование показало, что более половины читателей "сотовых книг" — женщины, причем многие читают их дома.

По сравнению с рынком видеоигр, рынок книг для мобильников еще мало освоен, и это прекрасная ниша для начинающих авторов, которые хотят испытать свой талант. Тем более что читательская реакция на их сочинения, как правило, не заставляет себя ждать.

По материалам информационного агентства "Би-би-си ньюс", газет "Гардиан", "Индепендент" [Великобритания], журнала "Лир" [Франция].

Мюриел Спарк
Muriel Spark
[р. 1918]. Английская писательница и литературовед. Кавалер ордена Британской империи [1993].

Автор романов *Утешители* [*The Comforters*, 1957], *Memento mori* [1959; рус. перев. 1999], *Баллада о предместье* [*The Ballad of Peckham Rye*, 1960], *Девушки со скромными средствами* [*The Girls of Slender Means*, 1963; рус. перев. 2004], *Теплица на берегу Ист-Ривер* [*The Hothouse by the East River*, 1973], *Аббатиса Круская* [*The Abbess of Crewe*, 1974; рус. перев. *Новый мир*, 1977, № 9], *Передел* [*Takeover*, 1976; рус. перев. 2004], *Территориальные права* [*Territorial Rights*, 1979], *Умышленная задержка* [*Loitering with Intent*, 1981; рус. перев. 1984]; *Вдалеке от Кенсингтона* [*A Far Cry From Kensington*, 1988], *Реальность и мечты* [*Reality and Dreams*, 1996], монографий *Джон Мейсфильд* [*John Masefield*, 1953], *Эмили Бронте, ее жизнь и творчество* [*Emily Bronte, Her Life and Work*, 1953], *Мэри Шелли, биография* [*Mary Shelley, A Biography*, 1987; рус. перев. 1991], повестей *Птичка-"Уходи"* [*Go-Away Bird*, 1958; рус. перев. 1984], *На публику* [*Voices at Play*, 1961; рус. перев. 1971], сборников *Избранные рассказы* [*Collected Stories*, 1968], *Рассказы Мюриел Спарк* [*The Stories of Muriel Spark*, 1987], поэтического сборника *Избранные стихотворения* [*Collected Poems*, 1967], пьесы *Доктора философии* [*Doctors of Philosophy*, 1963] и др.
В *ИЛ* публиковался ее роман *Мисс Джин Броди в расцвете лет* [*The Prime of Miss Jean Brodie*, 1980, № 7].
Роман публикуется по изданию *Symposium* [London: Constable, 1990].

Хуан Хосе Арреола
Juan José Arreola
[1918–2001]. Мексиканский писатель, мастер малой прозы.

Автор сборников рассказов *Инвенции* [*Varia invención*, 1949], *Конфабуларий* [*Confabulario*, 1952], *Палиндром* [*Palindroma*, 1971], *Просодия и синтаксические вариации* [*Prosodia y variaciones sintácticas*, 1997] и др.
Публикуемые рассказы печатаются по изданию *Избранное* [*Obras*. México: Fondo de Cultura Económica, 1995].

Филипп Жакоте
Philippe Jaccottet
[р. 1925]. Швейцарский франкоязычный поэт, прозаик и переводчик, с 1946 г. живет во Франции. Лауреат литературной премии Монтеня [1972], Большой поэтической премии Парижа [1986], Большой национальной премии за перевод [1987], премии Петрарки [1988] и др.

Автор стихотворных сборников *Уроки* [*Leçons*, 1969], *Размышления под облаками* [*Pensées sous les nuages*, 1983], *После долгих лет* [*Après beaucoup d'années*, 1994], книг прозы *Прогулка под деревьями* [*La promenade sous les arbres*, 1957], *Пейзажи с пропавшими фигурами* [*Paysages avec figures absentes*, 1970], *Самосев* [*Semaison*, 3 тт., 1984, 1996, 2001], сборников статей о литературе *Собеседование муз* [*L'entretiens des Muses*, 1968], *Тайное соглашение* [*Une transaction secrète*, 1987], биографии Рильке. Переводчик Гомера, Гонгоры, Леопарди, Гёльдерлина, Р. М. Рильке, Т. Манна, Р. Музиля, Дж. Унгаретти, О. Мандельштама, японских поэтов.
На русском языке выходили его книги *В свете зимы* [1996], *Стихи. Проза. Записные книжки* [1998]. Отдельные стихотворения, новеллы, дневниковые записи печатались в *ИЛ* [1995, № 2; 2002, № 9], в литературном альманахе *Мосты* [2004, № 2], в сборнике *Западноевропейская поэзия XX века* [1977]. Публикуемая проза войдет в книгу избранных произведений Жакоте, которая готовится в московском издательстве *Текст*.
Публикуемые тексты взяты из книг *Записные книжки 1995–1998* [*Carnets 1995–1998*. Paris: Gallimard,

2001] и *Пейзажи с пропавшими фигурами* [*Paysages avec figures absentes*. PARIS: GALLIMARD, 1970].

Сол Беллоу
SAUL BELLOW
[1915–2005]. Американский писатель, лауреат Нобелевской премии [1976].

Автор романов *Приключения Оги Марча* [*The Adventures of Augie March*, 1953; Национальная книжная премия], *Планета мистера Самлера* [*Mr. Sammler's Planet*, 1969; Национальная книжная премия], *Дар Гумбольдта* [*Humboldt's Gift*, 1975; Пулицеровская премия], *Декабрь декана* [*The Dean's December*, 1982]; повестей *Лови момент* [*Seize the Day*, 1956; рус. перев. 1990], *Кража* [*Theft*, 1988]. Повести *Родственники* [*Cousins*, 1984] и *В связи с Белларозой* [*The Bellarosa Connection*, 1989] напечатаны в *Библиотеке ИЛ* [1991].
В *ИЛ* напечатаны его романы *Герцог* [*Herzog*, 1990, № 11–12], *Между небом и землей* [*Dangling Man*, 1998, № 4] и рассказы [1997, № 5].
Фрагмент книги печатается по изданию *Одно к одному: из смутного прошлого к неопределенному* будущему [*It All Adds Up: From the Dim Past to the Uncertain Future*. NEW YORK: VIKING, 1994].

Алан Лелчук
ALAN LELCHUK
[р. 1938]. Американский прозаик, критик, издатель.

Автор романов *Американская беда* [*American Mischief*, 1973], *Мириам исполняется тридцать четыре* [*Miriam at Thirty-four*, 1974], *Мириам исполняется сорок* [*Miriam in Her Forties*, 1985], *Мальчик из Бруклина* [*Brooklyn Boy*, 1990], *Игра* [*Playing the Game*, 1995] и др.
Эссе о Соле Беллоу печатается по рукописи.

Наталья Давидовна Старосельская
Литературный и театральный критик.

Автор монографии *Роман И. А. Гончарова "Обрыв"* [1984] и ряда статей по русской и зарубежной литературе.
Ее статьи неоднократно печатались в *ИЛ*.

Ирина Игоревна Ковалева
Филолог, критик, переводчик с греческого и английского языков. Кандидат филологических наук. Лауреат премии *Иностранная литература* [2004].

Автор стихотворных сборников *В прошедшем времени* [2002], *Кукольный ящик* [2002] и *Юбилейный гимн* [2003]. Переводила стихи и прозу Г. Сефериса, К. Кавафиса, стихи О. Элитиса, М. Сахтуриса, Т. С. Элиота и др. В *ИЛ* в ее переводе публиковались стихи Ага Шахида Али [2003, № 1], К. Кавафиса [2004, № 8], Г. Павлопулоса [2005, № 1]. Ею подготовлен Литературный гид "*Сеферис, или Путь Одиссея*" [2005, № 6].

Светлана Владимировна Силакова
Переводчик с английского и испанского языков. Лауреат премии *Странник*, присуждаемой издательством Terra Fantastica [Санкт-Петербург].

В ее переводах опубликованы романы Д. Адамса, Дж. Барнса, Б. Бетке, Э. Энрайт и др. В *ИЛ* печатались ее переводы эссе Т. Пинчона [1996, № 3], Д. Рэмптона [1996, № 10], Э. Саида [2003, № 1], рассказов Дж. Сондерса [2001, № 7], Р. Фернандеса, Х. Альварес, Т. Риверы [2003, № 1], а также романов П. Теру *Коулун Тонг* [2002, № 4], Д. Деллило *Мао II* [2003, № 11–12] и др.

Константин Аркадьевич Мильчин
[р. 1980]. Литературный критик, журналист.

Автор рецензий, обзоров, статей, публикуемых в различных периодических изданиях; ведущий ежедневной передачи *Книга на завтра* [Радио России].

Переводчики

Елена Суриц [Богатырева Елена Александровна]
Переводчик с английского, немецкого, французского и скандинавских языков. Лауреат премии *Инолит* [1994].

В ее переводе издавались романы Дж. Остин, У. Голдинга, Дж. Стейнбека, К. Гамсуна, пьесы А. Стриндберга, Э. Ионеско, сценарии И. Бергмана и др. В *ИЛ* в ее переводе печатались романы *Я в замке король* С. Хилл [1978, № 1—2], *Миссис Дэллоуэй* [1984, № 4], *Орландо. Биография* [1994, № 11], *Волны* [2001, № 10] и *Между актов* [2004, № 6] В. Вулф, *Мастер Джорджи* [2001, № 7] и *Согласно Куини* [2004, № 12] Б. Бейнбридж и др.

Юрий Николаевич Гирин
[р. 1946]. Литературовед, переводчик с испанского. Кандидат филологических наук.

Автор монографии *Поэзия Хосе Марти* [2002] и статей по истории латиноамериканской литературы и теории культуры. В его переводе вышла книга Л. Сеа *Философия американской истории* [1984]. В *ИЛ* в его переводе напечатаны стихи в книге Пабло Неруды *Дом на песке* [2004, № 10].

Екатерина Александровна Хованович
Переводчик с испанского и португальского языков.

В ее переводе публиковались произведения Г. Мистраль, А. Асусены Торрес, А. Бриса Эченике, Моасира Скляра и др. В *ИЛ* в ее переводе публиковался рассказ *Очевидцы* из книги *Последний раунд* Х. Кортасара [2001, № 6].

Валентин Андреевич Капанадзе
[р. 1940]. Переводчик с испанского.

В его переводе печатались произведения А. Карпентьера, Х. Кортасара, Г. Гарсиа Маркеса, О. Х. Кардосо и др. В *ИЛ* в его переводе публиковалось эссе Х. Кортасара [2001, № 6].

Борис Владимирович Дубин
[р. 1946]. Литературовед, переводчик. Лауреат премий *ИЛ* [1992], *ИЛлюминатор* [1994], им. Анатоля Леруа-Больё [1996], им. Мориса Ваксмахера [1998].

Автор статей по социологии культуры и книг *Слово — письмо — литература* [2001], *Интеллектуальные группы и символические формы* [2004], *На полях письма* [2005]. Постоянный автор *ИЛ* и ведущий рубрики *Портрет в зеркалах* [1995, № 1, 12; 1996, № 8, 12; 1997, № 4, 9, 12; 2000, № 1; 2003, № 10; 2004, № 12].
В *ИЛ* в его переводе публиковались стихи Э. Ади [1997, № 12], эссе Ч. Милоша [1992, № 8], Э. М. Чорана [1996, № 4], С. Сонтаг [1996, № 4], И. Бонфуа [1996, № 7] и Ф. Лежёна [2000, № 4], отрывки из записных книжек Ф. Жакоте [2002, № 9], миниатюры Х. Л. Борхеса [2005, № 10] и др.

Арина Кузнецова
Филолог, переводчик с французского.

Переводила произведения Ф. Серса, В. Томберга, Ж. Бастера, П.-Ж. Жува, Г. Аполлинера, Ф. Жакоте. В *ИЛ* публикуется впервые.

Мария Александровна Штейнман
Филолог, переводчик с английского.

Автор статей по английской литературе. В ее переводе опубликованы эссе К. Льюиса *Развенчание власти* [2004], статья Г. Маквея *Пень и конь: Поэзия Александра Кусикова* [2003]. В *ИЛ* публикуется впервые.

Содержание журнала *Иностранная литература* за 2005 год [1—12]

Романы, повести, рассказы, пьесы

Антология новеллы *Игра света* [11]

Аскильдсен Хьелль — *Соломенная шляпа.* Перевод с норвежского Л. Горлиной [11]

Берг Юнни — *Игра света.* Перевод с норвежского Н. Федоровой [11]

Борген Юхан — *Три притчи и рассказ.* Перевод с норвежского Норы Киямовой [11]

Брейтейг Бьярте — *Стокгольм.* Перевод с норвежского Екатерины Чевкиной [11]

Бьёрнебу Йенс — *Как мы с профессором Арне Нэссом напали на НАТО. История одной мирной акции в Норвегии.* Перевод с норвежского Т. Шенявской [11]

Весос Тарьей — *Недотепа.* Перевод с норвежского Л. Горлиной [11]

Вик Бьёрг — *Сквозь лед.* Перевод с норвежского О. Вронской [11]

Гримсрюд Беата — *День рождения.* Перевод с норвежского Елены Рачинской [11]

Грюттен Фруде — *Принцесса Бурунди.* Перевод с норвежского А. Афиногеновой [11]

Флёгстад Кьяртан — *Дорога на запад.* Перевод с норвежского Т. Шенявской [11]

Фоссе Юн — *Я не мог тебе сказать.* Перевод с норвежского В. Дьяконовой [11]

Хербьёрнсрюд Ханс — *Юханнес Хёуге, 63 года, крестьянин.* Перевод с норвежского Екатерины Чевкиной [11]

Якобсен Рой — *Правая рука.* Перевод с норвежского Екатерины Чевкиной [11]

Апдайк Джон — *Рассказы.* Перевод с английского Ю. Жуковой [1]

Арреола Хуан Хосе — *Инвенции* Переводы с испанского. Вступление Ю. Гирина [12]

Вальзер Мартин — *Из книги "Мысли Месмера".* Перевод с немецкого Л. Бухова [9]

Вольпи Хорхе — *В поисках Клингзора.* Роман. Перевод с испанского Николая Жарова [7-8]

Дай Сы-цзе — *Комплекс Ди.* Роман. Перевод с французского и вступление Натальи Мавлевич [8]

Депант Виржини — *Teen spirit.* Роман. Перевод с французского Ирины Радченко [4]

Жакоте Филипп — *Из разных книг.* Перевод с французского Арины Кузнецовой, Бориса Дубина. Вступление Б. Дубина [12]

Заганчик Марек — См. *Чатвин Брюс* [4]

Капоте Трумэн — *Три рассказа.* Перевод с английского В. Голышева, О. Качановой [10]

Кутзее Дж. М. — *Молодость.* Роман. Перевод с английского Сергея Ильина [10, 12]

Лу Эрленд — *Допплер.* Роман. Перевод с норвежского Ольги Дробот [11]

Малапарте Курцио — *Шкура.* История и рассказ. Перевод с итальянского Г. Федорова. Вступление Марио Корти [5]

Миллер Артур — *Голая правда.* Рассказ. Перевод с английского Дмитрия Веденяпина [10]

Моррисон Тони — *Любовь.* Роман. Перевод с английского В. Бошняка [9]

Мюллер Герта — *Эссе. Рассказ.* Перевод с немецкого и послесловие Марка Белорусца [4]

Нове Альдо — *Рассказы из сборника Самый большой мертвый кит Ломбардии.* Перевод с итальянского Геннадия Киселева [6]

Нордслеттен Ойвинд посол Норвегии в России — *К российскому читателю* [11]

Оэ Кэндзабуро — *Камнем, камнем сквозь пустоту...* Отрывок из романа. Перевод с японского и вступление О. Исаевой [10]

Паж Мартен — *Как я стал идиотом.* Роман. Перевод с французского и вступление Ирины Кузнецовой [7]

Петрович Горан — *Киносеанс.* Рассказ. Перевод с сербского Ларисы Савельевой [10]

Роббинс Том — *Вилла "Инкогнито".* Роман. Перевод с английского В. Пророковой [1]

Ружевич Тадеуш — *Рассказы.* Перевод с польского М. Курганской [5]

Спарк Мюриел — *Пир.* Роман. Перевод с английского Е. Суриц [12]

Торахико Тамия — *Рассказывает девочка.* Рассказ. Перевод с японского О. Исаевой [5]

Фейбер Мишель — *Рассказы.* Перевод с английского Ильи Кормильцева [6]

Фуэнтес Карлос — *Приятное общество.* Рассказ. Перевод с испанского Александра Богдановского [10]

Хюлле Павел — *Касторп.* Роман. Перевод с польского К. Старосельской [6]

Чатвин Брюс — *Утц.* Роман. Перевод с английского и вступление Дм. Веденяпина. Марек Заганчик *Далекое и близкое: Брюс Чатвин.* Перевод с польского М. Курганской [4]

Шкворецкий Йозеф — *Два убийства в моей двойной жизни.* Детективный роман с двумя параллельными сюжетами. Перевод с английского Е. Домбаян [3]

Шмидт Арно — *Черные зеркала.* Повесть. Перевод с немецкого и послесловие Т. Баскаковой [5]

Дебют

Масловская Дорота — *Польско-русская война под бело-красным флагом.* Роман. Перевод с польского и вступление Ирины Лаппо [2]

Стихи

Бенн Готфрид — *Стихи.* Перевод с немецкого и вступительная статья Вальдемара Вебера [8]

Грин Джо — *Стихи.* Перевод с английского и вступление А. Нестерова [1]

Карвер Реймонд — *Стихи.* Перевод с английского Максима Калинина [7]

Макарович Светлана — *"Не болит чужая боль".* Стихи. Перевод со словенского и вступление Жанны Перковской [9]

Павлопулос Георгис — *Стихи.* Перевод с греческого и вступление Ирины Ковалевой [1]

"Тринадцатое созвездие" [11]
Стихи Стейна Мерена, Поль-Хельге Хаугена, Юна Фоссе, Туне Хёднебё. Переводы с норвежского Антона Нестерова, Анны Турунтаевой. Вступление Антона Нестерова

Уэльбек Мишель — *Стихи.* Переводы с французского Ильи Кормильцева, Юлии Покровской, Ирины Кузнецовой, Натальи Шаховской [3]

Эдкок Флёр — *Стихи.* Перевод с английского и вступление Максима Калинина [2]

Из классики XX века

Беккет Сэмюэл — *Мечты о женщинах, красивых и так себе.* Фрагмент романа. Перевод с английского и послесловие Марка Дадяна [10]

Гильен Хорхе — *Стихи.* Перевод с испанского Натальи Ванханен. Вступление Натальи Ванханен и Татьяны Пигарёвой [7]

Гинзбург Наталия — *Дорога в город.* Повесть. Перевод с итальянского А. Маркиной. Послесловие Татьяны Бек [2]

Рильке Райнер Мария — *Из ранней прозы.* Перевод с немецкого Владимира Летучего [10]

Литературное наследие

Клэр Джон — *Стихи.* Перевод с английского и вступительная статья Григория Кружкова [4]

Россетти Кристина — *"Я отдала бы слово".* Стихи. Перевод с английского и вступление Маши Лукашкиной [9]

К 200-летию со дня рождения Х. К. Андерсена

Андерсен Ханс Кристиан — *Сказки и истории.* Переводы с датского Н. Федоровой, Норы Киямовой, А. Афиногеновой. Вступление А. В. Сергеева и А. Н. Чеканского [7]

К 100-летию со дня рождения Жан-Поля Сартра

Сартр Жан-Поль — *"Аминадав", или О фантастике, рассматриваемой как особый язык.* Перевод с французского и вступление С. Зенкина [9]

Мастера поэтического перевода

Гелескул Анатолий — *Двадцатилетние* [10]

Кружков Григорий — *Йейтс в 1922 году. Возвращение в Тур Баллили* [10]

Солонович Евгений — *Любимый журнал, любимый поэт* [10]

Эппель Асар — *Серебряный ярлык* [10]

Воспоминания

Вудхаус П. Г. — *Критикующие и критикуемые.* Глава из книги *За семьдесят.* Перевод с английского В. Пророковой [10]

Джойс, каким мы его знали. Главы из книги. Перевод с английского В. Скороденко [10]

Зингер Исаак Башевис — *Начало.* Из сборника *Любовь и изгнание.* Перевод с английского Дмитрия Веденяпина [10]

Эмис Мартин — *Визит к госпоже Набоковой.* Перевод с английского В. Кулагиной-Ярцевой [10]

In memoriam

Беллоу Сол — *Писатели, интеллектуалы, политики: воспоминания о главном.* Перевод с английского Марии Штейнман [12]
Лелчук Алан — *Памяти Сола Беллоу.* Перевод с английского Е. С. [12]

Нобелевская премия

Елинек Эльфрида — *В стороне.* Стокгольмская речь. Перевод с немецкого Александра Белобратова [7]
Елинек Эльфрида — *Досужими путями мышления.* Эссе. Перевод с немецкого Е. Белорусец [7]
Эльфрида Елинек: "Я ловлю язык на слове..." С Эльфридой Елинек беседует Александр Белобратов [7]

Документальная проза

Докучаева Ольга — См. Поссе Абель [3]
Жалло Никола — *Их Сталин поймал в ловушку.* Фрагменты книги. Перевод с французского Ирины Радченко [5]
Поссе Абель — *Страсти по Эвите.* Перевод с испанского Н. Беленькой [1—3]. Ольга Докучаева. *Героиня в аргентинской истории* [3]
Чжан Жун — *Дикие лебеди, или Три дочери Китая.* Фрагменты книги. Перевод с английского и вступление Романа Шапиро [9]

Литературный гид

Роза Никому: поэзия Пауля Целана [4]
Сеферис, или Путь Одиссея [6]
Чехия: маленькая страна в центре большой истории [3]
Аристов Владимир — *Посол и посланник.* "Южноафриканский дневник" Сефериса, предчувствие "Кихли" [6]
Библиография переводов Сефериса на русский язык. Составила И. Ковалева [6]
Дубин Борис — *Встреча на берегу сердца* [4]
Дубин Борис — *Вступление* [3]
Кобрин Кирилл — *Конец игры* [3]
Ковалева Ирина — *"Куда бы я ни пустился, Греция ранит меня...": странствие Сефериса* [6]
Краткая летопись жизни и творчества Пауля Целана. Составил Борис Дубин [4]
Оуржедник Патрик — *Европеана, или Краткая история XX века.* Фрагменты книги. Перевод с чешского и послесловие Екатерины Бобраковой-Тимошкиной [3]
Письма Пауля Целана. Перевод с немецкого и французского Т. Баскаковой [4]
Седакова Ольга — *Пауль Целан. Заметки переводчика* [4]
Сейферт Ярослав — *Эссе о Праге.* Перевод с чешского И. Безруковой [3]
Сеферис Г. — *"Кихли".* Перевод с новогреческого В. Аристова [6]
Сеферис Г. — *Мифосказ.* Перевод с новогреческого М. Л. Гаспарова и Е. И. Светличной [6]
Сеферис Г. — *Письмо другу-иностранцу.* Перевод с новогреческого Ирины Ковалевой [6]
Сеферис Г. — *Подражание Г. С.* Перевод с новогреческого Ирины Ковалевой [6]
Сеферис Г. — *Прогулки с Гомеровыми гимнами.* Перевод с новогреческого Ирины Ковалевой [6]

Сеферис Г. *Сценарий для "Кихли"*. Перевод Ирины Ковалевой [6]
Целан Пауль *Противосвет*. Перевод с немецкого Т. Баскаковой [4]
Целан Пауль *Стихи*. Перевод с немецкого Ольги Седаковой и Марка Белорусца [4]
Шабах Петр *Вода с сиропом*. Повесть. Перевод с чешского Антона Ширяева [3]
Шимов Ярослав *История как публицистика и публицистика как история*. О том, как чешские литераторы создали свой народ [3]

Возвращаясь к напечатанному

Разговор на "ужас дня". О презентации сентябрьского номера "ИЛ" за 2004 год, посвященного памяти жертв терроризма [1]

Полемика

Вебер Вальдемар *Что западный читатель ждет от русской литературы* [7]
Пригов Д. А. *Чего ждет г-н Вебер от немецкого читателя, который якобы чего-то ждет от русской литературы* [7]

Анкета "ИЛ"

В поисках утраченной поэзии На вопросы анкеты отвечают Владимир Гандельсман и Дмитрий Кузьмин [1]
В поисках утраченной поэзии. На вопросы анкеты отвечает Хамдам Закиров [12]
В поисках утраченной поэзии. На вопросы анкеты отвечают Катя Капович и Филипп Николаев [7]

Статьи, эссе

Борхес Хорхе Луис *Из поздних книг и посмертных изданий*. Перевод с испанского Бориса Дубина. Борис Дубин *Пространство под знаком лабиринта* [10]
Венедиктова Татьяна *"Культура спора" устала от себя?* [7]
Дубин Борис См. Борхес Хорхе Луис [10]
Зенкин С. *Учитель для умных* [1]
Клима Иван *Два эссе*. Перевод с чешского Н. Фальковской [5]
Ланге Вольфганг *"Элементарные частицы" Уэльбека и менippова сатира*. Перевод с немецкого Е. Драйтовой [2]
Менанд Луис *"Над пропастью во ржи" 50 лет спустя*. Перевод с английского А. Борисенко [10]
Церетели Тамара *"Бесценный урок унижения"* [6]

История и литература. XX век

Гамсун Кнут *Публицистика 1935–1944 годов*. Перевод с норвежского Н. Федоровой [11]
Коллоэн Ингар Слеттен *Неизбежное крушение?* Перевод с норвежского Н. Федоровой [11]
Нансен Фритьоф *Беженцы*. Перевод с норвежского Т. Шенявской [11]
Хегге Пер Эгиль *Бедствие в России*. Из книги *Фритьоф Нансен — только одно желание*. Перевод с норвежского Светланы Карпушиной [11]

Писатель и общество: норвежский вариант

Витошек Нина — *Христиане и модернизаторы: "пасторальное Просвещение" в Норвегии. Изобретение нации.* Перевод с английского Антона Нестерова [11]

Поллен Гейр — *Несколько слов о норвежской литературе.* Перевод с норвежского Елены Рачинской [11]

Сульстад Даг — *Рассказ учителя гимназии Педерсена о великом политическом пробуждении, которого сподобилась наша страна.* Фрагмент романа. Перевод с норвежского Елены Рачинской [11]

Хьярстад Ян — *Лжешь ты, Пер!* Перевод с английского Антона Нестерова [11]

Мастер-класс

Варгас Льоса Марио — *Письма молодому романисту.* Главы из книги. Перевод с испанского Н. Богомоловой [10]

Трибуна переводчика

Апт С. — *Классическая филология* [1]

"Влюбленный рассказ о подлиннике". Слово переводчикам стихов Шандора Каняди [6]

Мавлевич Наталья — См. Юлиана Яхнина [2]

Эко Умберто — *Сказать почти то же самое. Опыты о переводе.* Фрагменты книги. Перевод с итальянского Андрея Коваля [10]

Яхнина Юлиана — *О некоторых вопросах стилизации в связи с переводом романа Э. Юнсона "Прибой и берега". Опыты о переводе.* Наталья Мавлевич *Памяти Юлианы Яхниной* [2]

Carte blanche

Гиршович Леонид — *Об уличном музицировании как следствии высокопрофессионального обучения детей музыке* [2]

Наши гости

Альфред Коллерич: "Наш журнал – это объединение идеалистов" [3]

Ван Мэн: "Чувствую, что попал к старым друзьям" [4]

"Главная обязанность писателя – заботиться о гигиене языка". Беседа с польскими писателями Павлом Хюлле и Антонием Либерой [8]

Наши интервью

Остер Пол — *Искусство жить.* С американским писателем беседует Сергей Таск [3]

Зрительный зал

Старосельская Наталья — *Трагедия сознания* [12]

Письма из-за рубежа

Карп Мария — *По другую сторону* [5]

Киселев Геннадий — *Скромное очарование перевода. Премия "Гринцане Кавур" как итальянское зеркало русской литературы* [6]

Ковалева Ирина *Костас Монтис: Сократ новогреческой поэзии* [12]
Лемберский Павел *Зимние заметки об осеннем марафоне* [2]
Ливергант А. *Дым отечества* [8]
Ливергант А. *Золотой ключик, или Литинститут в Канаде* [9]
Тилькес Ольга *Подарок* [7]
Фрёмке Марина *Urbi et Orbi, или Ни к селу ни к городу.* Берлинский фестиваль поэзии — 2004 [1]

Среди книг

Бёлль Генрих *Лавр все еще горек.* О романе Стефана Гейма *Книга царя Давида.* Перевод с немецкого и вступление Б. Хлебникова [10]
Ванханен Наталья *Встреча через годы* [6]
Ермонский А. *"Что география отшибла..."* [12]
Ливергант А. *"Ты Бога облетел и вспять помчался..."* [3]
Мельников Николай *Малая проза большого писателя* [1]
Мельников Николай *"Мусорный феномен" Доналда Бартелми* [7]
Мельников Николай *Франкенштейниана Лоренса Даррела: от абсурдного к банальному* [6]
Надъярных М. *Феноменология открытия* [12]
Нестеров А. *Поэзия мысли, поэзия памяти* [5]
Соколова Е. *Русская литература: взгляд из Швейцарии* [3]
Соколова Е. *Три шага в разные стороны* [7]
Стариковский Григорий *Способ нарисовать Стивенса* [1]
Фалькович Е. *"Славянские ручьи..."* [12]

"ИЛ": Истоки и история

Блюм Арлен *Три цензурных эпизода из жизни "Интернациональной литературы"* [10]
Михеев Алексей *Между двумя "оттепелями"* [10]

Полтинник

Васильева Л. *"Пока мы лиц не обрели".* Роман голосов в двух частях с прологом и эпилогом [10]
ИЛзюминки. Из журнального архива. Составила Н. Богомолова [10]
Неюбилейное. Записал А. Ливергант [10]

БиблиофИЛ

Издательские планы [1, 4, 8, 12]
"ИЛ" рекомендует [12]
У книжной витрины с Константином Мильчиным [1, 3 — 9, 12]

Библиография

Норвежская литература на страницах "ИЛ" [11]
Норвежская художественная литература в России. Список книжных изданий 1994—2004 годов. Составил Б. Ерхов [11]

Курьер "ИЛ" [1 — 8, 12]

Авторы номера [1—12]

Подарок к Новому году? — подписка на "Иностранную литературу"!

Ф. СП-1

Министерство связи РФ
ГСП «Моспочтампт»
АБОНЕМЕНТ на журнал **«Иностранная литература»**

72261 (индекс издания)

(наименование издания) | Количество комплектов

на 200___ год по месяцам:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Куда (почтовый индекс) (адрес)

Кому (фамилия, инициалы)

ПВ | место | литер

доставочная карточка

72261

на журнал (индекс издания)

«Иностранная литература»

Стоимость: по каталогу ____ руб. ____ коп.; доставку за ____ руб. ____ коп.

Кол. комплектов

на 200___ год по месяцам:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Куда (почтовый индекс) (адрес)

Кому (фамилия, инициалы)

В оформлении обложки использован фрагмент фрески *Богоматерь с младенцем* [1425–1428] в церкви Санта-Мария дель Кармине во Флоренции итальянского живописца Мазаччо, наст. имя Томмазо ди Джованни ди Симоне Кассаи [1401–1428].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.
Старший корректор Анна Михлина.
Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.
Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

119017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
http://www.inostranka.ru
e-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции.

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.11.2005
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 2695.
Тираж 7500 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

Редакция журнала "Иностранная литература"
поздравляет с наступающим Новым 2006 годом
всех читателей, авторов, переводчиков,
а также те организации, которые в минувшем году
оказывали журналу поддержку.

Нам помогали:
Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ,
МИД Норвегии,
агентство NORLA,
посольство Королевства Норвегии в России,
Центральный дом предпринимателя,
кафе-клуб "Билингва",
издательство "Текст",
издательство "Икарос",
госпожа Анне Лонду [Греция],
госпожа Хриси Кариди [Греция].

Мы также благодарим зарубежных авторов,
предоставивших нам права на безвозмездную публикацию
на страницах журнала в 2005 году.
Свои произведения нам и всем нашим
читателям подарили:

Хьелль Аскильдсен [Норвегия],
Юнни Берг [Норвегия],
Бьярте Брейтейг [Норвегия],
Нина Витошек [Норвегия],
Джо Грин [США],
Марек Заганчик [Польша],
Светлана Макарова [Словения],
Стейн Мерен [Норвегия],
Герта Мюллер [Германия],
Георгис Павлопулос [Греция],
Горан Петрович [Сербия],
Гейр Поллен [Норвегия],
Тадеуш Ружевич [Польша],
Даг Сульстад [Норвегия].

---

14 октября 2005 года в Овальном зале Всероссийской государственной
библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино состоялся
торжественный вечер, посвященный 50-летию нашего журнала.
За помощь в организации вечера редакция выражает благодарность
его спонсору – Внешторгбанку.

“ИЛ” в 2006 году:

“Романтический эгоист” – новый роман-дневник-гламурная хроника овеянного славой француза ФРЕДЕРИКА БЕГБЕДЕРА.

“Флоренс Аравийская” – роман хорошо известного российскому читателю американца КРИСТОФЕРА БАКЛИ, увлекательный остросатирический рассказ о молодой женщине, волею обстоятельств вовлеченной в разворачивающуюся в Арабских Эмиратах политическую интригу.

“Любовный саботаж” – повесть о детстве тридцатилетней бельгийки, бессменного автора бестселлеров, АМЕЛИ НОТОМБ.

“Не отпускай меня” – новинка от известного английского романиста КАДЗУО ИСИГУРО. Это антиутопия, где речь пойдет о клонировании. Автор, мастер закрученной интриги, рассмотрел проблему в очень необычном ракурсе...

“Король среди ветвей” – повесть популярного американского писателя СТИВЕНА МИЛЛХАУЗЕРА, современная версия легенды о Тристане и Изольде, рассказанная свидетелем и участником событий – советником короля Марка.

“Свидания” – маленький французский роман о любви мастера стильной прозы КРИСТИАНА ОСТЕРА, которого “ИЛ” впервые представляет на русском языке.

“Игра в вышибалу” – новый роман самого читаемого автора в Чехии, МИХАЛА ВИВЕГА.

“Педант на кухне” – книга кулинарных рецептов от именитого английского острослова ДЖУЛИАНА БАРНСА.

“Рассказчик” ДЭНИЕЛА СТАШУОЭРА – биография английского писателя Артура Конан Дойла (1859–1930), создавшего образ знаменитого сыщика-любителя Шерлока Холмса.

Подписаться на журнал можно в любом отделении связи.
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: 70394 (на полгода); 72261 (на год).

А надежнее и дешевле подписаться прямо у нас, с получением номеров в редакции. Наш адрес: 119017, Москва, Пятницкая ул., 41 (метро “Новокузнецкая”, “Третьяковская”). Тел. 953–51–47.

---

[1] 2006

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ СКАЗКИ: РОМАН ПАОЛЫ КАПРИОЛО “СОН О ЯГНЕНКЕ” / БАЛЛАДА “ПЕСТРЫЙ ДУДОЧНИК” РОБЕРТА БРАУНИНГА В РУБРИКЕ “ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ” / ПОВЕСТЬ “КОРОЛЬ СРЕДИ ВЕТВЕЙ” СТИВЕНА МИЛЛХАУЗЕРА / ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД: БЕАТРИКС ПОТТЕР / ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ В РУБРИКЕ “CARTE BLANCHE” / ЭССЕ ДЖОНА АПДАЙКА, ДЖ. Б. ПРИСТЛИ И ДР.

книжное обозрение

выходит с 5 мая 1966 года

THE BOOK REVIEW

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

ВСЁ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ

О КНИГАХ

www.book-review.ru
www.knigoboz.ru

РАДИО РОССИИ

ежедневная передача "книга на завтрак" [с 8.00 до 9.00]

подписной индекс по объединенному каталогу ПРЕССА РОССИИ

50051
для библиотек и индивидуальных подписчиков

83102
для предприятий и организаций

подписной индекс по каталогу РОСПЕЧАТЬ

46793

Редакционная подписка: (095) 681 3215

129272, Россия, г.Москва, Сущевский вал, 64
тел./факс (095) 681 6266
e-mail:info@knigoboz.ru
Отдел рекламы: тел./факс (095) 681 4106

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2005, №12, 1-288